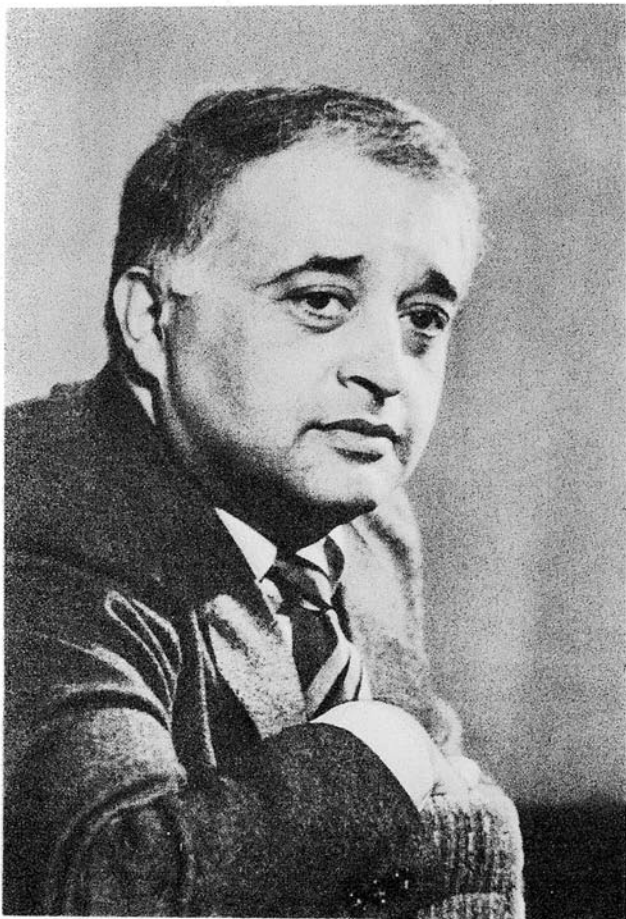


ЭЛЬЧИН

ПЕЛЛИ
ВЕРЛУД



ЭЛЬЧИН

БЕЛЫЙ
ВЕРЮЮЩ

РОМАН, ПОВЕСТИ

Перевод с азербайджанского

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1990

Художник
Борис СТРАХОВ

БЕЛЫЙ
ВЕРБЛЮД

4702060201—512
Э $\frac{083(02)—90}{209—89}$

ISBN 5—265—00767—9

© Состав и оформление Издательства
«Советский писатель». 1990

«Ты была моя жизнь».

Больше двух лет, возвращаясь с кладбища, я проходил мимо надгробного камня без имени, без фотографии, с одними только этими словами, и всякий раз простые слова, одна фраза волновали меня, вызывали щемящее беспокойство, как будто речь шла обо мне; бурый, потемневший, состарившийся, выщербленный многолетними ветрами, снегами, дождями, зноем, могильный камень вновь и вновь говорил о глубокой печали, говорил о превратном, быстротечном, говорил о чем-то миновавшем счастье, которое навсегда осталось в прошлом, а прошлое невозвратимо.

На надгробных камнях не бывает бессмысленных слов: даже самая простая надпись, самая примитивная мысль на надгробных камнях наполняются смыслом, становятся, быть может, самыми значительными в мире, потому что само кладбище — самое значительное место на свете.

На кладбище человек, кем бы он ни был, становится философом, и не имеет значения, что после ухода с кладбища его мысли кажутся обычными, даже примитивными, но пока он там — это самые мудрые мысли на свете.

Немного ниже — снова старый могильный камень без имени, без фотографии, и на нем кривые буквы каменотеса: «Бывали поэты, что ни строчки не написали».

Потом другой могильный камень: «Прощай».

Потом: «Пока жив, буду плакать, умру — земля моя заплачет».

Потом: «Матери, потерявшей сыновей, горе!»

Уже больше двух лет я, возвращаясь с кладбища домой, читаю эти надписи, и весь день, всю ночь настроение, навеянное этими надписями, остается со мной, потом

наступает новое утро, все вылетает из головы, и кладбищенские надписи забываются...

На кладбище стоит едва уловимый, особый запах: возможно, это смешанный запах свежих и увядших цветов, сгнивших листьев, свежевыкопанной земли? Не знаю, но мне кажется, что кладбищенский запах пропитывает одежду и не сразу выветривается: во всяком случае, когда я последние два года возвращаюсь с кладбища, Эсмер, моя жена, многозначительно взглядывает на меня, не говоря ни слова, но я понимаю, что Эсмер знает, откуда я пришел.

Был серый, туманный сентябрьский день, дождь смочил могильные камни, на кладбище царили бескрайняя чистота, бескрайняя печаль и ощущалась вечность.

В этот серый, туманный сентябрьский день я узнал их, как только увидел.

Вернее, я сначала увидел их, сердце мое вдруг заколотилось, и только после этого я узнал их, и все это длилось одно мгновение.

Через сорок лет я впервые видел их, но узнал каждого, всех шестерых; эти пожилые люди с поседевшими и поредевшими волосами, с морщинистыми лицами были ОНИ: это был Джафар, это был Адыль, это был Абдулалли, это был Годжа, это был Джебраил, это был Агаргим.

Все шестеро стояли вокруг могилы, покрытой черной мраморной плитой, ни один не произнес ни слова, все шестеро устремили взгляды на черное мраморное надгробие, все шестеро стояли выпрямившись; и то, что Джафар, Адыль, Абдулалли, Годжа, Джебраил, Агаргим стояли вот так, лицом к лицу с черным мраморным надгробным камнем, прямая осанка всех шестерых, то, что все шестеро в полном молчании смотрели на черный мраморный камень, — как будто вносило в кладбищенскую печаль серого, туманного сентябрьского дня какую-то неизъяснимую светлую надежду, и мне на мгновение показалось, что суровое безмолвие шестерых мужчин, их верность и почтение к черному мраморному камню пробудили какую-то безумную надежду у всех намоченных дождем надгробных камней на кладбище — и новых, и старых, и богатых, и бедных.

Я уже больше двух лет один раз в неделю, иногда один раз в две недели ходил по этой тропинке на свою могилу (можно ли так сказать? Но почему нельзя, если мы говорим: «мой сын», «моя мама», почему же нельзя

сказать «моя могила»? Это, разумеется, не значит, что ты сам должен находиться в ней...), но только теперь, когда я, задержавшись на тропинке, поглядел на шестерых прямо стоящих пожилых мужчин, мне показалось, что, в сущности, всегда, проходя мимо, я чувствовал на себе взгляд этого черного мраморного могильного камня...

...Балакерим, сидя под раздвоенным тутовым деревом на тротуаре, рассказывал, бывало, о взгляде больших черных глаз Белого Верблюда, о взорах Белого Верблюда...

...Стоя на тропинке, я смотрел на Джафара, Адыля, Абдулала, Годжу, Джебраила, Агарагима.

Постаревший Джафар, постаревший Адыль, постаревший Абдулала, постаревший Годжа, постаревший Джебраил, постаревший Агарагим в совершенном молчании стояли лицом к лицу с черным мраморным могильным камнем.

Внезапно мне послышался звук свирели Балакерима, и я узнал это место, вернее, нынешний облик этого места словно исчез, и перед моими глазами в нынешнем бесцветье, в мутной серости ожило прошлое этого места: рядом с этой могилой, с ее черным мраморным надгробием, я опять, как сорок лет назад, сидел лицом к лицу с Балакеримом; Балакерим вынул из кармана своего желтого пиджака свирель, и в тот жаркий, как летом, осенний день на кладбище зазвучала самая печальная в мире мелодия...

Тогда черного мраморного могильного камня не было...

Глядя на постаревшего Джафара, постаревшего Адыля, постаревшего Абдулала, Годжу, Джебраила, Агарагима, я слушал звучащую для меня одного мелодию свирели, я как будто смотрел сам на себя со стороны, со стороны увидел стоящего на тропинке между могилами начинающего полнеть мужчину в очках, в возрасте за пятьдесят, с поседевшими висками, полысевшей макушкой, и у меня в голове никак не уместалось, что этот мужчина — я; потом, слушая свирель Балакерима, я увидел семи- или восьми-летнего Алекпера; маленький Алекпер хотел подбежать к Джафару, Адылю, Абдулалу, Годже, Джебраилу, Агарагиму, крикнуть: «Я узнал вас! Я Алекпер! Узнаете? Вспомнили? Я о маленьком Алекпере — это я!» Хотел я сказать это, но не двинулся с места, стоял на тропинке, проходящей между могилами (на моей тропинке!); оглядывал по

одному ИХ: Джафара, Адыля, Абдулала, Годжу, Джебраила, Агарагима — и молчал.

В их осанке, в серьезности и почтительности взглядов, устремленных на черный мраморный надгробный камень, было нечто, рассеивающее печаль кладбища, нарушающее безнадежную кладбищенскую тишину, приносящее какое-то тепло намокшим под дождем в туманный сентябрьский день могилам, и это «нечто» застряло как комок у меня в горле, но и в этом подавленном рыдании было что-то похожее на радость, никак не вяжущееся с кладбищенской скорбью.

Потом мне показалось, что подул свежий ветерок, а я долгое время тосковал по такому вот свежему ветерку; начинавшие желтеть и вянуть листочки редких ивовых деревьев, лозы, трава не шевелились, замерли точно в забытыи, но свежий ветерок, мне казалось, все-таки пронесся...

Потом в той стороне, где стояли шестеро рядом с черной мраморной могильной плитой, я увидел гранатовое дерево, на которое до сих пор не обращал внимания, вернее, не видел его; на этом гранатовом деревце было три или четыре ярко-красных граната, и мне показалось, будто багрянец гранатов бросал ответ на начинавшие желтеть и вянуть листочки ив, лозы, траву.

Мне снова захотелось крикнуть, захотелось, не боясь громкости, выпренности этих слов, воскликнуть: я вас люблю, вы слышите, Джафар, Адыль, Абдулала, Годжа, Джебраил, Агарагим, я так вас люблю, вы слышите!.. Я и тетю Ханум любил...

Вот, тетя Ханум, ты видишь то белое надгробие немного повыше твоего, в самом конце этой тропинки? Это могила Соны, твоей соседки по двору, Соны, жены железнодорожника, проводника Агакерима, моей мамы Соны...

II

Однажды отец, сидя за чаем под навесом во дворе, взглянул вдаль, немного помолчал и сказал мне:

— Придет время, ты увидишь, что постарел... и не узнаешь, как промчались годы...

Тогда слова отца вещали об очень далеком и туманном будущем, и мне казалось, что я никогда не достигну столь далекого будущего...

III

В тишине ночи я взглянул на рукописи, недописанные страницы на моем письменном столе, и эти страницы, которые я исписывал ночами, показались мне совершенно бессмысленными и ненужными... Торопливо, как будто кто-то мог схватить меня за руки и удержать, я собрал эти рукописи, эти недописанные листки, не читая, не разбирая, и убрал со стола.

Поверхность письменного стола стала совершенно пустой.

Я прошелся, сел за свой письменный стол, посмотрел на эту пустоту на столе, и меня охватил ужас, потому что все, что я до сих пор писал, печатал, все, как давешние рукописи, наброски, показалось мне совершенно бессмысленным и ненужным...

Я должен был написать что-то другое.

Я должен был написать что-то, чего не писал до сих пор, и я чувствовал то, что я напишу (во всяком случае, постараюсь написать...).

С того дня, как я увидел шестерых лицом к лицу с черным мраморным могильным камнем, вся душа моя и ум были переполнены, и я знал, что все это должно излиться на белые листки. И вот эти белые листки передо мной...

IV

Сперва мне вспомнилось воскресенье, и то далекое воскресенье теперь улыбается мне...

Когда накануне возвращения отца из рейса мама готовилась его встретить, ее слова «Добро пожаловать, ай Агакерим!», которые она произносила в дверях нашего дома, потом, как они вместе входили в комнату и бросали друг на друга взгляды, которые пытались скрыть от меня, — это были лучшие встречи из тех, что я видел, о которых читал или слышал за всю свою жизнь.

И в тот воскресный день мама встала утром пораньше, замочила горох, почистила лук, разделала купленное вечером у мясника Дадашбалы мясо и поставила вариться на керосинке в нашей маленькой кухоньке любимый отцом бозбаш, который он каждый раз с аппетитом ел, покрыв в него хлеба, потом еще раз подмела нашу и без того чистую комнатку, коридорчик, кухню, вытерла тряпкой пыль с выходящего во двор окна на кухне (единственное в нашем доме окно), вытерла платяной шкаф,

сундук, полки, где внизу складывали постель, а сверху стояли миски, стаканы с блюдами, сахарница, обмахнула пять деревянных табуреток с тюфячками, и когда все было вычищено, с тихонько кипящего на керосинке бозбаша снята пенка и прикручен фитилек в керосинке, она открыла сундук, вытащила свое чисто выстиранное и выглаженное белоснежное нижнее белье, сложила в узелок, туда же положила мыло, банную жесткую перчатку, расческа, полотенце и со словами: «Алекпер, приглядывай за бозбашем» — ушла в баню.

У нас в переулке отца называли «проводник Агакерим», и с тех пор как я себя помню, отец всегда бывал в поездках. «Если б не поезд, ей-богу, у меня бы сердце разорвалось, дружок!..» — говаривал он, потому что мой отец был чужой в нашей махалле¹, и вообще мне иногда казалось, что он был чужаком не только в нашей округе, но и во всем мире: даже когда он радовался чему-то и смотрел на человека радостно, в глубине его глаз таилась печаль. Не знаю, может быть, я понял эту отчужденность моего отца позже, — когда отец погиб на войне, и понял постоянную печаль в его глазах; как бы там ни было, в первых моих детских воспоминаниях отец никогда не улыбался абсолютно беззаботно, не радовался абсолютно беззаботно, и в улыбке, и в радости отца всегда сквозила какая-то тень, вернее, затаенная тоска. Дело было в том, что отец мой еще в детстве вместе со своим отцом, то есть моим дедом, пришел в Баку с того берега Аракса², из окрестностей Гавриза, и устроился работать на нефтяных промыслах; потом дедушка задохнулся в нефтяной скважине и умер; отец вырос сиротой и на всю жизнь, видно, остался здесь чужаком. Когда отец женился на маме, он пришел в наш дом, дом отца и деда моей мамы, стал как будто здесь своим человеком, но порой, когда он задумывался, мама не выдерживала, в сущности, переживая за отца больше, чем он сам, и говорила:

— Ай Агакерим, родной мой, да буду я твоей жертвой, ну такова жизнь... Больше тебя ведь никто не ездит по свету, ты же сам знаешь это! Ну что ты себя мучаешь,

¹ Ма х а л л я — квартал; так называли кварталы в старой нагорной части Баку.

² Имеется в виду Южный Азербайджан, так называемый «иранский Азербайджан».

почему горе тебя гложет, и мы за тебя страдаем, родной ты мой?.. Вон, куда ни помотришь, портреты Фатуллы Хатема. Отчего же он свое сердце не изводит, да еще книги пишет, на какой портрет ни помотришь, отовсюду зубы скалит...

Фатулла Хатем тоже в детстве, как мой отец, перебрался в Баку из Ирана, работал на нефтяных промыслах, у Фатуллы Хатема тоже умер отец, он остался один; как говорится, сам себя вырастил и стал знаменитым писателем; каждые несколько дней в газетах появлялся его портрет, и однажды отец пошел с какой-то просьбой к своему другу детства Фатулле Хатему, которого давно уже не видел, а Фатулла Хатем не принял моего отца, с которым провел детство, делил пополам кусок хлеба, — времени у него не было, и с тех пор единственным врагом моей мамы на целом свете был Фатулла Хатем, хотя она никогда в жизни его не видела, а знала только по портретам.

Отец никогда больше не ходил к Фатулле Хатему, а Фатулла Хатем отца не разыскивал. Не знаю, может быть, они на самом деле не были близкими друзьями, возможно, Фатулла Хатем не любил моего отца, может быть, даже не вспоминал его, но я всегда чувствовал, что, хотя отец не говорил об этом, он чего-то ждал от Фатуллы Хатема: то есть в том смысле — я был в этом совершенно убежден, — что, если бы вдруг отворились наши дворовые ворота и в дом неожиданно вошел знаменитый во всем мире человек — Фатулла Хатем, отец обрадовался бы этому и гордился бы таким гостем; но однажды он вернулся из рейса задумчивым, потом выяснилось, что в вагоне, где работал отец, вместе с другими уважаемыми пассажирами ехал и Фатулла Хатем, видимо, что-то произошло во время этой совместной поездки, и я почувствовал, что отец больше ничего не ждет от Фатуллы Хатема.

Иногда, когда отец бывал особенно задумчив, мама говорила:

— Ты себя изводишь, Агакерим, а вон Фатулла Хатем продает поэтов по одному, себе имя зарабатывает!..

Отец поспешно прерывал маму, оглядываясь на наружную дверь, и говорил:

— Замолчи, женщина!.. Что за слова ты говоришь? Хочешь беду на нас накликаешь?

— Да какую беду, Агакерим, родной, — говорила мама. — Об этом вся махалля говорит: Фатулла Хатем про-

дает по одному всех сколько ни есть хороших поэтов, сколько ни есть ученых людей и за счет этого приобретает положение!.. Разве нашего бедного Саттара Месума не он заложил? На свете нет человека, кто не знал бы этого, Агакерим...

Саттар Месум жил в верхней части квартала, я не мог его помнить, потому что, когда его забрали, мне было три или четыре года; он был учитель, иногда писал газели, гошмы — стихи в старинном духе — и дружил с Алиаббасом-киши и еще с отцом тети Ханум. Когда Саттара Месума забрали, Алиаббас-киши очень за него хлопотал, ничего не боялся, много ходил по инстанциям, но это не помогло; и Алиаббас-киши тогда сказал: «Против бедняги Мирзы Саттара выступил Фатулла Хатем, будто несчастный Мирза Саттар был против нашей власти. Взял карандаш и стал подчеркивать строку за строкой газели Мирзы, тысячи толкований придумал, злодей!.. Мирза написал: о роза, твои шипы терзают соловья, а Фатулла Хатем говорит, что он оклеветал наше время. Кого разоблачил Фатулла Хатем, не дай бог! Дело кончено. Пропал бедняга Мирза Саттар...»

Отец сердился:

— Что ж, мне тоже продавать людей?

Мама пугалась:

— Ой, да ты что, Агакерим!.. Сохрани господь!..

Отец, уже с обычной своей мягкостью, продолжал:

— Что тебе до больших людей, баджи. (Отец иногда говорил маме «сестра», и это отцово обращение к маме — «сестра» — мне очень нравилось.) Не вмешивайся в дела больших людей... На что нам это?..

Вначале, когда я слушал эти разговоры, мне казалось, что Фатулла Хатем продает поэтов в буквальном смысле слова, то есть как инжир на базаре или пиджаки, туфли в магазине, и поэтому Фатулла Хатем был в моем представлении самым страшным человеком на свете, я его боялся и, как отец, не хотел, чтобы у нас в доме о нем говорили. Фатулла Хатем был единственным человеком и вообще единственным существом, о котором мама говорила с отцом недовольно, вернее даже, не недовольно, а недобро, но и сам разговор возникал от случая к случаю, когда отец был не в настроении, а мама заводила разговор, чтобы ободрить его. (Хотя она сама и не ведала об этом, ее немного задевало, что Фатулла Хатем, как и отец, был выходцем из Ирана, вместе с ним рос в лишениях — и почему-то стал

известным, «большим человеком».) Порой мама говорила с отцом так же, как со мной, и тогда мне казалось, что отец, несмотря на то что он — взрослый мужчина, тоже такой же, как я, ребенок моей мамы. Правда, иногда, когда отца не бывало дома, я тоже чувствовал, что мама ненавидит Фатуллу Хатема, потому что видел не раз, как мама чистила на кухне керосинку именно той частью газеты, где снят Фатулла Хатем; улыбающийся портрет Фатуллы Хатем терся о металл керосинки, намакал от керосина, крошился и кусочками падал на пол.

У отца была одна слабость, и если бы на его месте был кто-то другой, люди нашей округи перестали бы считать его мужчиной: отец не мог резать курицу. Иногда он покупал их по дешевке на станциях, привозил, а резать их я носил сыновьям тети Ханум — Джафару, или Адылю, или Абдулалю, или Джебраилу, или Агарагиму. (Годжа всегда сидел над книжками, тетрадками, поэтому я к нему не обращался; в моем представлении почему-то книжки и тетрадки не вязались с процедурой отрезания головы курице.) Но эта слабость отца, как ни странно, не умаляла уважения к нему в округе; более того, никто не смеялся и не подшучивал над тем, что отец разговаривал не так, как наши, а на другом диалекте и порой употреблял персидские слова.

Поезд увозил отца в далекие города России, и, возвращаясь из дальних поездок, он в первую очередь шел в Желтую баню и потом весь день с утра до вечера отдыхал дома, а на другой день надевал выглаженный мамой темносиний шевиотовый костюм, чистил кремом и отполировывал до блеска свои черные туфли, выходил на улицу, здоровался с мужчинами, а если за время рейса у кого-то в округе случалось несчастье, шел в этот дом, чтобы выразить соболезнование, если была свадьба или у кого-то родился ребенок, поздравлял, а потом, усевшись на один из деревянных табуретов, покрытых тюфячками и расставленных на тротуаре (эти деревянные табуреты притаскивали из домов мы, ребятишки), попивал чай (чай, заваренный дома нашими мамами, тоже приносили на улицу мы: на табурете, поставленном посередине, накрытом белой салфеточкой, мы выстраивали чайник, стаканы с блюдами, сахарницу), беседовал с дядей Агагусейном, дядей Азизагой, дядей Гасанагой, Алиаббасом-киши.

Алиаббас-киши спрашивал:

— Агакерим, ну как там дела, в Русете? (То есть в России.)

— Да как, дадаш¹?.. Люди везде люди...

...В этот воскресный день мама вернулась из бани, и, как всегда, когда она приходила из бани, щеки у нее были красные, прямо пылали, на чистом лбу выступили мелкие капельки пота.

— Ну что, Алекпер, бозбаш сварился?..

Быстро подняв крышку казана, мама посмотрела на бозбаш.

— Иди садись, Алекпер, я тебе положу, поешь, готов уже, — сказала она, положила порцию и придвинула ко мне, потом развязала красную ситцевую косынку на голове и, расчесывая гребнем с крупными зубьями, стала сушить свои длинные каштановые волосы, и я чувствовал, что у мамы бьется сердце, потому что она ждет отца.

Когда отец пришел, мама с привычным для меня волнением встретила его у дверей.

— Добро пожаловать!.. — сказала она и, как всегда, добавила: — Как долго длился этот рейс! Ты здоров?

Радуюсь тому, что вернулся домой, что видит маму, видит меня, отец с неизъяснимой печалью в глубине глаз сказал:

— Добрый день!.. Разве ты не знаешь, сестра, что я в дороге как рыба в воде... — Потом поцеловал меня, снял туфли и прошел в комнату.

Никогда в жизни отец при мне не целовал маму и мама — отца, но, хотя я этого не видел, я знал, что без меня они целуют друг друга, и в этой их тайне было что-то праздничное, как и в том, что мама накануне его приезда ходила в баню, и в ее белоснежном белье, и в том, как она вылизывала наш и без того всегда чистый дом.

Оставленную отцом в коридорчике полную соломенную корзину, как обычно, начал разбирать я, и благодатный вагонный запах той соломенной корзины я ощущаю до сих пор. (Иногда я смотрю на мою дочку и думаю, как жаль, что она никогда не чувствовала неповторимый запах той соломенной корзины, потому что ни в одном роскошном ресторане мира, ни в одном благоухающем достатком доме я не встречал такого запаха...)

Выяснилось, что график отца изменили, и вечером того же воскресного дня он снова должен выезжать в

¹ Дадаш — обращение к старшему.

недельный рейс; отец пошел в баню, но не стал там задерживаться, быстро возвратился.

— С легким паром... — сказала мама.

— Спасибо, — сказал отец. — Да наступит тот день, когда мы поведем в свадебную баню Алекпера!..

— Аминь! — сказала мама и, сняв с полки одну из глубоких мисок, которые ставились на стол только в особых случаях, то есть в праздничные дни или когда к нам приходил в гости мамин брат, налила в нее бозбаш, поставила перед отцом, принесла маринованные баклажаны, соль и перец, всякую зелень, а сама, усевшись напротив отца, стала смотреть, как он ест.

— С богом, — сказал отец, взяв хлеб, большими кусками накрошил в миску и, вооружившись оставшейся от маминих предков серебряной ложкой, начал с аппетитом есть дымящийся бозбаш.

Мама никогда не ела при отце, но, когда отец садился есть, она всегда усаживалась за стол, наблюдала, как он с удовольствием ест, и теперь вот, глядя на него, по обыкновению улыбнулась:

— Клянусь аллахом, ты с таким аппетитом ешь, Агакерим, — сказала она, — что хочется с утра до вечера сидеть рядом с тобой и любоваться...

И отец повторил свои обычные слова:

— Пусть будет таким наш худший день!..

И мама снова сказала:

— Аминь! Да умножит аллах твои дни, Агакерим!.. Дай бог тебе здоровья! Как ты день и ночь трудишься, чтобы содержать этот дом, так бог пусть не допустит, чтобы волосок упал с твоей головы, пусть лицо твое всегда улыбается, душа твоя радуется! — Потом мама сказала: — Алекпер, налей чайник!

И я быстро побежал на кухню, взял чайник и вышел во двор; в это прекрасное время, когда отец возвращался из рейса, я тоже был рад, что что-то делаю, что в этом маленьком домашнем празднике есть и моя доля, и мама это чувствовала, и по мере возможности поручала мне что-нибудь.

Посреди нашего двора был кран, под краном Джафар, Адыль, Абдулалли, Джебраил, Агарагим, помогая друг другу, соорудили небольшой бассейн (только Годжа вечно учил уроки и такими делами не занимался), кстати, и водопровод они провели, и мы уже не ходили с ведрами во двор Желтой бани; в разгар летнего зноя наш двор

сиял, облитый ледяной шолларской водой. И Джафар, и Адыль, и Абдулалли, и Джебраил, и Агарагим, а иногда даже сам Годжа, когда моей мамы не было дома, то есть когда мама уходила на базар или была в доме одной из женщин переулка, спускались во двор, раздевались до пояса и, нагнувшись, мылись под краном, хлопая себя руками по груди, по шее; наблюдать, стоя в сторонке, за их омовением со шлепками по груди было моим любимым развлечением весной, летом, осенью, и от водяных брызг, попадающих мне в лицо, от холодных водяных брызг, удивительное дело, становилось не холодно, а тепло. Как только приходила мама, все они, торопливо натянув рубахи, поднимались к себе на веранду, потому что мама была молодой женщиной и так мыться перед ней они считали неудобным, и вообще за все время нашей жизни в махалле я ни разу не видел, чтобы Джафар, или Адыль, или Абдулалли, или Годжа, или Джебраил, или Агарагим, выходя во двор, выходя со двора, поднимали глаза и посмотрели на наше окно, на нашу дверь или чтобы они глядели, как мама моет посуду во дворе, вешает белье; маму они называли «Сона-баджи» — сестрица Сона. Кроме отца, никто больше так приветливо, так тепло не обращался к маме.

Дверь нашего заасфальтированного маленького чистого дворика выходила в тупик, и, с тех пор как я помню себя, в этом дворе было два строения: справа — наш одноэтажный домик, с залитой смолой крышей, однокомнатный, с кухней и коридорчиком, и напротив — двухэтажный дом семьи тети Ханум, с двумя комнатами и застекленной верандой наверху. Первый этаж дома представлял собой подвал, и сыновья тети Ханум — шоферы Джафар, Адыль, Абдулалли, Джебраил и поступающий на водительские курсы Агарагим — хранили там разные части машин, покрышки, всевозможные инструменты. Подвал был моим любимым убежищем, я часто забегал туда, играл с инструментами (чему, разумеется, завидовали все мальчишки переулка), потому что я тоже хотел стать шофером. Но и Джафар, и Адыль, и Абдулалли, и Джебраил, и Агарагим посмеивались и говорили мне: Алекпер, ты не в нас пошел, ты в Годжу пошел, ты не станешь шофером, а будешь Мирза Алекпером, ученым человеком. Годжа был сыном тети Ханум, следующим за Абдулалли, и единственным в округе человеком, который учился в институте; а обо мне так говорили потому,

что меня тянуло к книгам, тетрадам. Алфавит я выучил сам, попадавшие мне в руки книжки еще до школы читал сначала по слогам, а позже уже запоем; не дыша слушал всегда мне интересные разговоры взрослых, общался не с ровесниками, а с теми, кто старше, а иногда выдумывал и рассказывал такие истории, что взрослые поражались.

Сыновья тети Ханум покрыли асфальтом наш двор и крышу нашего дома смолой залили, а около крана, посреди двора, посадили саженец ивы, и Годжа мне говорил: Алекпер, ты у нас растешь не по дням, а по часам, да еще эта ива. Мне запомнились слова Годжи, и я всегда внимательно смотрел на молоденькую иву, насколько она подросла. А у дворовых ворот, выходящих в тупик, посадили виноградные лозы, соорудили навес, лозы разрослись, целиком закрыли навес, и летом с навеса свисали гроздья винограда; иногда мама поливала двор, а папа, возвращаясь из рейса, садился в тени навеса, пил чай, беседовал с Джафаром, Адылем, Абдулалей, Годжой, Джебраилом, Агарагимом, а иногда и с самой тетей Ханум, рассказывал о садах и скверах, об аллеях Тавриза, о красоте зданий Тавриза, и мне, хоть я в жизни не был в Тавризе, казалось, будто я видел Тавриз, а по ночам, перед тем как заснуть, бродил мысленно по его прекрасным аллеям.

И еще в самом конце нашего двора была голубятня Джебраила. Эту голубятню, известную во всей нашей махалле и даже в кварталах, расположенных выше нашего, устроил сам Джебраил, и там с утра до вечера ворковали, словно весь мир принадлежит им, белоснежные голуби, сверкая холеными перьями; а когда небо бывало совершенно чистым и воркование становилось громче, Джебраил поднимал голубей к нам на крышу, потом с нашей крыши — на их крышу и подбрасывал их в небо; мои любимые голуби взмывали вверх и вскоре превращались в едва различимые белые точки в ярко-голубом небе, и тогда все ребята, все парни нашей махаллы, а иногда даже и мужчины, поднимали головы, наблюдая за полетом красивых птиц (а девушки, укрывшись за окнами, смотрели на летящих в небе голубей украдкой, как будто открыто смотреть на них значило смотреть на самого Джебраила). И тут моя грудь словно раздувалась от гордости, и я уже не вменялся в наш двор, наш тупик, переулок, потому что эти голуби были голубями нашего двора, потому что я был для них близким человеком, кормил их, гладил, когда хотел, потому что голуби знали меня.

В тот воскресный день в нашем маленьком, затененном навесом дворе никого не было, и в тишине, присущей только нашему двору (эту тишину сопровождало воркование голубей), я старательно ополоснул чайник, потом, наполнив доверху, принес домой, поставил в кухне на керосинку, прошел в комнату и, усевшись рядом с мамой, тоже стал наблюдать, с каким аппетитом и удовольствием отец ест бозбаш. И мама, и дядя — все говорили, что я похож на маму, но в те мгновения, когда я наблюдал за отцом, мне очень хотелось быть похожим на него, потому что я тоже печалился, что отец был здесь чужим, и мне казалось, что если я буду больше похож на отца, то немного уменьшу ту отчужденность, которая заставляет его время от времени так странно вздыхать.

Мама взяла с полки один из грушевидных стаканчиков «армуды» с блюдцем, которые употребляла только в особых случаях, и налила ярко-красный, как петушиный гребешок, чай, поставила вместе с сахарницей, наполненной аккуратно наколотыми кусочками сахара, перед отцом, и отец благодарным взглядом поглядел на маму; во взгляде отца было какое-то сияние, что-то праздничное, и мама под излучающим это праздничное сияние взглядом папы потупилась.

Отец сказал:

— Алекпер, в такую прекрасную погоду что это ты дома сидишь?

Мамины разумянившиеся после бани щеки при этих словах отца еще больше покраснели, и в такие минуты мне всегда вспоминались очень любимые мною праздничные яйца, как будто я тут же себя увидел на весеннем празднике Новруза¹.

— Пойду играть на улицу, — сказал я. — Но не уходи, не попрощавшись со мной.

— Когда я уходил, не попрощавшись с тобой? — сказал отец. — До моего ухода еще четыре часа.

Я вышел в тупик.

Наш тупик и весной, и летом всегда оставался в тени, потому что в первой половине дня тень отбрасывала одна стена, а во второй — противоположная, и я в тот воскресный день, миновав наш тенистый, прохладный тупик, вышел в переулок.

Был полдень, и потому на улице никого не было, только

¹ Новруз (новруз-байрам) — праздник весны.

в тени раздвоенного тутового дерева, пониже нашего тупика, сидела Шовкет, грызла кулленные рано утром у тети Зибы семечки, смотрела на людей, входящих и выходящих из керсиновой лавки. Балакерима тоже не было, ребята, наверное, играли сейчас во дворе Желтой бани, но мне не хотелось к ним, почему-то хотелось побыть одному, хотелось послушать тишину улицы, хотелось посмотреть на ее безлюдье, потому что иногда такая тихая, безлюдная улица жила чувствами, волнениями тех, кто удалился теперь в свои дома...

...Кто все это вспоминает? Смешной, маленький, но многознающий Алекпер, которому еще не исполнилось семи лет, или я? Напишу ли я все это, смогу ли выразить? Может быть, никогда больше не вернутся чувства, оставшиеся в бесконечной дали, которая становится все дорожее, все роднее; в той дали, откуда ни звук не донесется, ни слово не проникнет, — но те чувства захотят вернуться ко мне романом, повестью, пьесой, и однажды выяснится: потому я и мучился, потому написанное до сих пор и казалось мне таким бессмысленным, что именно те чувства, те ощущения все-таки возвратятся? Не знаю...

...Итак, в воскресный день я смотрел на безлюдную улицу, слушал тишину, но безлюдье и тишина не были холодными и мертвящими, и не потому, что стояло лето, было жарко, а потому, что в самой этой тишине, в этом безлюдье, в природе их было горячее дыхание, не сонливость летнего полудня, а краткий отдых, покоя кипучей жизни.

Вдруг в этой прекрасной тишине раздался вопль тети Амины, и я понял, что Ибадулла опять пришел, напустился на мать, а тетя Амина, снова подняв крик, прогоняет сына; тонкий, визгливый голос тети Амины, как эхо, волнами расходился по нашему тупику, нарушил безмолвие, разогнал покой.

Как обычно, доносился лишь голос тети Амины, а что именно она говорила, слышно не было, но я и без того, как все дети нашего квартала, и вообще все, кто жили в нашем квартале, знал, что говорила тетя Амина: «Как, опять пришел! Ах ты негодяй, сын негодяя! Ах ты недостойный! Опять пришел по мою душу?.. Убить меня хочешь?.. Да ускорит это аллах, побыстрее заберет меня, чтобы мне от тебя избавиться!.. Господи, смилуйся, забери меня!.. Эй, что ты хочешь от меня?.. Нет у меня ничего, нет!..» Тетя Амина выкрикивала эти слова Ибадулле, и,

когда, как в тот воскресный день, слышался крик тети Амины, мне казалось, что наш тупик, наш переулок, вся наша махалля стыдится, смущается, расстраивается, и я сам тоже расстраивался, у меня тоже портилось настроение, потому что сам я тоже был частичкой этой махалли, этого тупика.

Ибадулла же был единственным сыном тети Амины (как я был единственным сыном моих родителей; я знал, что у них больше не будет детей), женился на армянке и переселился из нашей махалли в другую часть Баку, в Арменикенд, в дом своей жены; всегда бывал пьян, а когда особенно сильно напивался, приходил к матери, устраивал скандал почти ослепшей тете Амине: требовал золота.

Возвращаясь из рейса, отец во время чаепития под навесом порой спрашивал:

— Ибадулла опять приходил, мучил эту несчастную женщину?

— Да, — говорила мама. — Неблагодарный сын, не дай бог никому.

— Опять золота хотел?

— Да.

Отец качал головой.

— Откуда у этой несчастной Амины золото, ай балам!¹ Если бы лысый знал средство, себе первому голову намазал...

Но пьяный Ибадулла, поскандалив с тетей Аминой и выйдя из дома, как обычно, ни с чем, иногда садился на тротуар, опершись спиной о толстый электрический столб перед нашим тупиком, и говорил нам, детям:

— Спрятала, спрятала от меня... Отец кучу золота оставил мне перед кончиной!.. Спрятала золото... Не дает... И найти не могу, везде искал, а найти не могу... А то какого бы черта кис бы я в этой развалюхе? Уехал бы себе в Воронеж!..

Мы никак не могли понять, да и вообще это и для всего квартала было загадкой: почему Ибадулла неизменно упоминает название столь далекого и неизвестного города и почему хочет уехать именно туда?

Ибадулла потому говорил все это нам, детям, что взрослые терпеть его не могли, и ни один соседский парень или пожилой мужчина не останавливался около

¹ Ай балам — ласковое обращение к детям.

Ибадуллы и не слушал, что он плетет, и вообще не считал Ибадуллу за человека.

Балакерим иногда не играл на свирели, ни о Белом Верблюде, ни о таинственных событиях прошлого не рассказывал, а, сидя на тротуаре перед Желтой баней, молчал, оглядывал один за другим дома переулка и вдруг произносил что-то серьезное, связанное с нашей округой; однажды он сказал:

— Иногда смотришь: отличная туфля, из отличной кожи сшита. Но в одном месте лопается, и туда ставят заплату. Туфля изнашивается, но вот на том же месте и заплата лопается... Вот наша махалла — такая же туфля, все изнашивается, изнашивается, изнашивается... А Ибадулла — трещина на этой туфле...

А Алиаббас-киши говорил:

— Да упокоит аллах душу Хамидуллы! Хорошо, что вовремя ушел из мира, не увидел этого выродка таким!..

Снова послышался вопль тети Амины. В тот воскресный день Ибадулла, кажется, уж очень много выпил, потому что тетя Амина кричала сильнее обычного. Тетя Амина жила в конце тупика, в последнем дворе, у нее было три комнаты, но жила она одна и потому две комнаты сдавала студентам, а студенты боялись Ибадуллу: как только Ибадулла приходил, они убегали из дома и возвращались где-то в полночь. Вот и теперь студенты, взволнованно переговариваясь, торопливо прошли мимо меня, и мне показалось, что их торопливые шаги в этот воскресный день были не по душе нашей улице: они словно пинали, били ее.

Соседи потихоньку высовывали головы из дверей, из окон, некоторые выходили, останавливались у своих ворот, выходящих в тупик, и смотрели в сторону ворот тети Амины. Ибадулла был скандальный человек, распускал язык сверх всякой меры, и потому никто не хотел с Ибадуллой связываться, каждый берег свое достоинство.

Тетя Амина закричала особенно громко, потом донесся голос Ибадуллы, и я, пройдя весь тупик, остановился против ворот тети Амины, и, конечно, если бы мама это увидела, она тотчас позвала бы меня и не разрешила бы торчать там, но мама сейчас была дома, отец вернулся из дальнего рейса, вечером снова должен был уехать, дома был маленький праздник, и мне не хотелось, чтобы в такой праздник отец с мамой услышали крик тети Амины; я

хотел, чтобы восстановилась прежняя тишина, чтобы вся махалла спокойно дышала в давленном безлюдье.

Ребята тоже прибежали со двора Желтой бани и хотя побаивались Ибадуллы, но, увидев меня у ворот тети Амины, осмелели и, запыхавшиеся, встали рядом со мной. Конечно, голос тети Амины до двора Желтой бани не долетал, но, странное дело, в каком бы конце округи что бы ни происходило, мы тотчас узнавали, и даже теперь я удивляюсь: как узнавали — бог знает...

В тот жаркий воскресный день ссора тети Амины с Ибадуллой действительно была яростнее обычного, и я ясно слышал слова тети Амины. Это были все те же слова: «Чтоб на меня камень упал, когда я сына рожала! Что ты хочешь от меня? Я первый раз в полдень ем. Золото у меня есть? Ах ты негодяй, сын негодяя! Ты зачем все тут лапаешь, нечестивец? Разве я намаз не совершаю, разве я не мусульманка, что ты, напившись водки, нажравшись свинины в своем хлеву, тут все оскверняешь?! Негодяй! Уходи отсюда!» А Ибадулла кричал: «Отдай мое золото! Это мое золото! Отец мне оставил это золото!.. Отдай, и я уйду. В Воронеж уеду, больше тени моей не увидите! Отдай, уеду!..» Тетя Амина отвечала: «Эй, поганец ты этакий, если у отца твоего столько золота было, зачем он тогда по улицам города фазтон гонял?..»

В тупике было полно народу, вернее, там теснились женщины, девушки, дети, а мужчины, конечно, из дома не выходили, потому что мужчинам не подобает слушать шум и крик, поднятые таким лоботрясом, как Ибадулла.

Каждый раз, когда тетя Амина громко вскрикивала, у меня сердце чуть не выскакивало из груди, потому что я не хотел, чтобы у нас дома слышали этот крик и шум; я хотел, чтобы отец и мама подольше глядели друг на друга полными праздничного света глазами; но тут головы всех людей повернулись, все посмотрели в сторону наших ворот, потому что наши ворота открылись и из них вышла тетя Ханум, а за тетей Ханум — Джафар, Адыль, Абдул-лалли, Годжа, Джебраил, Агарагим, и тетя Ханум быстро направилась к дому тети Амины, и сыновья тети Ханум — следом за ней. Всех женщин, девушек, выглядывавших из ворот, как будто окатили холодной водой, они замолчали и молча стояли, уставившись на тетю Ханум и ее сыновей. Увидев грозные черные глаза тети Ханум, глядевшие из-под широких сросшихся бровей, ее крепко сжатые тонкие губы, сморщенное бледное и суровое лицо, я понял,

что Ибадулла не будет больше заставлять тетю Амину кричать и через пять минут в нашем тупике, в нашем переулке снова воцарится тишина. Тетя Ханум скорым шагом прошла мимо и, словно даже не заметив меня, грозно глядя вперед, крупной рукой толкнула ворота, и Джафар, Адыль, Абдулалли, Годжа, Джебраил, Агарагим следом за тетей Ханум вошли во двор тети Амины. Ворота остались открытыми. Дом тети Амины был двухэтажный; на первом этаже жили студенты, а на втором — она сама, и тетя Ханум, подняв голову, пристально посмотрела на второй этаж, потом зычным голосом крикнула: — Ибадулла!

Из дома не доносилось ни звука, как будто там никого не было, и тетя Ханум позвала еще раз:

— Эй, Ибадулла!

На этот раз Ибадулла неохотно откликнулся со второго этажа:

— Ну что тебе? Затвердила — Ибадулла, Ибадулла! Чего?

И Ибадулла, разозленный, вышел из дома и остановился на маленькой, на два человека, площадке деревянной лестницы, обалдело вытаращил глаза, посмотрел на тетю Ханум, потом оглядел по очереди Джафара, Адыля, Абдулалли, Годжу, Джебраила, Агарагима, открыл рот, хотел что-то сказать, но ничего не сказал и закрыл рот.

Тетя Ханум сказала:

— Спускайся вниз!

Ибадулла теперь смотрел только на тетю Ханум и так, глядя на нее, постоял одну-две секунды на площадке, потом по деревянным ступенькам спустился во двор, как будто тетя Ханум грозным взглядом из-под широких сросшихся бровей стащила Ибадулла вниз, и мне показалось, что сейчас тетя Ханум своей ширококостной тяжелой рукой влепит Ибадулле хорошую оплеуху; наверное, на глазах съжившийся, сжавшийся Ибадулла и сам так подумал, потому что поднял плечи, втянув в них тонкую шею с огрубевшей под солнцем кожей, но тетя Ханум не подняла руки, посмотрела в вытаращенные светлые глаза Ибадуллы и сказала:

— Пошел вон отсюда!

Ибадулла вытянул шею, снова открыл рот, хотел что-то сказать, но, с трудом отведя глаза от глаз тети Ханум, оглядел по очереди Джафара, Адыля, Абдулалли, Годжу, Джебраила, Агарагима, ничего не сказал, закрыл

рот и, выйдя со двора, прошел мимо меня, под взглядами людей, стоявших у ворот, прошел по тупику и вышел на улицу. Когда Ибадулла проходил мимо меня, мне в нос ударил запах водки, а мама с отцом, сидя дома и беседуя, иногда так ругали эту водку, что при виде и при запахе ее я ощущал чуть ли не физическую боль, но на этот раз я не обратил внимания на противный запах водки от Ибадуллы, потому что в этот момент я гордился выходящей со двора тетей Ханум и шедшими за ней следом Джафаром, Адылем, Абдулалли, Годжой, Джебраилом, Агарагимом; мое сердце было переполнено чувством торжества.

Дойдя до конца тупика, перед тем как свернуть на улицу, Ибадулла остановился, обернувшись, посмотрел на жителей тупика, на тетю Ханум с сыновьями и хрипло закричал:

— Думаете, у меня защиты нет?! Как гуси, друг за дружкой на меня идете?! Ничего, еще увидите!.. Напушу на вас моих кирюх, тогда узнаете!..

Джафар хотел броситься за Ибадуллой, но тетя Ханум посмотрела на Джафара, и он остался на месте, а Ибадулла подумал, что Джафар идет за ним; придерживая рукой, чтобы не слетела с головы, кепку-шестиклинку с пуговкой, он рванулся с места, свернул на улицу и пропал из виду, а тетя Ханум, все так же глядя прямо перед собой, вошла в наш двор и сыновья за ней; женщины, девушки, вышедшие в тупик, тоже разошлись по своим домам, приоткрытые то там, то здесь ворота закрылись, пропали и силуэты мужчин в некоторых окнах. Опять никого не было, кроме нас, детей, стоявших у ворот тети Амины, да еще Балакерима, и в нашем всегда тихом, прохладном тупике снова воцарилась тишина.

Ворота тети Амины были открыты, и я видел ее, давно уже стоявшую у окна второго этажа и смотревшую вниз; правда, глаза тети Амины, можно сказать, не видели, но как только тетя Ханум позвала Ибадулла, она встала у окна, глядя то во двор, то в тупик, и среди вновь воцарившейся тишины я ясно услышал бормотание тети Амины: «Мой сын да я, нам виднее! Какое вам дело до нас, зачем вмешиваться в чужие дела?..»

Мы собрались пойти поиграть во дворе Желтой бани, но тут Балакерим, не глядя на нас, направился к туговому дереву в самом конце нашего тупика, уселся под ним, вынул из нагрудного кармана своего желтого пиджака, кото-

рый носил и летом, и зимой, свирель, прислонился спиной к толстому тутовому стволу, надул худые щеки и замгнул. Когда Балакерим играл, мне казалось, что звук свирели — продолжение тишины, воцарившейся у нас в тупике, в переулке, и развесистое тутовое дерево, к которому привалился спиной Балакерим, под звуки эти размышляет о мировых загадках.

Тутовник в самом конце нашего тупика прежде называли «дерево Ибадуллы», потому что у фазтонщика Хамидуллы и тети Амины не было детей и фазтонщик Хамидулла дал обет, что посадит дерево, если у него родится ребенок, и, когда родился Ибадулла, он во исполнение обета посадил тутовое дерево. Фазтонщик Хамидулла умер, Ибадулла, повзрослев, стал пьяницей, тетя Амина состарилась, глаза, можно сказать, перестали видеть, и ее стали содержать женщины нашего тупика (а куда девались деньги, что платили студенты-квартиранты — никто этого не знал, и, в сущности, никто этим не интересовался). Мама, а особенно тетя Ханум часто наполняли тарелку приготовленным обедом, давали мне, я относил тете Амине, а тетя Амина, сидя на зеленом бархатном тюфячке, расстеленном на полу, перебирала большим пальцем черные мелкие камешки четок и говорила: «Да примет аллах!», будто бы эта посылаемая ей пища — нечто вроде пожертвования.

Иногда тетя Ханум, накладывая еду в тарелку, качала головой и говорила:

— Этот несчастный Ибадулла какой славный мальчуган был ребенком...

Тетя Ханум произносила эти слова с мягкостью, не вяжущейся с ее черными грозными глазами, глядевшими из-под широких бровей, с плотно сжатыми, по обыкновению, тонкими губами, тяжелым подбородком, и эти ласковые слова пугали меня, потому что, неся горячую тарелку тете Амине, я думал: а вдруг и я, когда вырасту, стану таким, как Ибадулла...

Поскольку Ибадулла оказался никудышным, тутовник уже не называли именем Ибадуллы, и место под тутовым деревом было вторым заветным местом Балакерима, где он играл на свирели, рассказывал разнообразные истории о Белом Верблюде, размышляя. (А первым было место на нашем уличном тротуаре, под раздвоенным тутовым деревом рядом с домом Шовкет.)

Балакерим ночевал во дворе Желтой бани, в бывшей голубятне, а дни проводил на улице, зимой помогал

жителям округи колоть дрова, летом таскал в котлы куски смолы, растапливал их и помогал заливать протекающие крыши (ел, что готовилось в тех домах), но часто его груд был напрасным: например, с трудом приволакиваемые куски смолы оказывались никому не нужными булыжниками. Балакерим с натугой уносил их обратно, а по вечерам все дети округи собирались вокруг Балакерима, и он рассказывал о Белом Верблюде, о пророках, имамах, о падишахах, визирях, путешественниках; когда бывал очень задумчив, вдруг вынимал из кармана желтого пиджака свирель, начинал играть и так же внезапно переставал играть, приговаривая:

Внутри бани черт-те что,
Внутри соломы — решето,
Верблюд бороду побреет,
Бая бедного согреет...

Потом принимался рассказывать о таинственном и горючии таким тоном, так многозначительно, что и Желтая баня начинала казаться мне загадочной.

Иногда Балакерим бывал задумчив, умолкал совсем, и мы знали, что в это время ничего у Балакерима просить не нужно, потому что Балакерим вообще по просьбе, по заказу ни на свирели не играл, ни историй не рассказывал; он молчал и вдруг сам себе говорил: «Да упокоит аллах твою душу, Мирза Саттар. Да упокоит аллах твою душу!..» И мы понимали, что речь идет о когда-то жившем в нашем квартале поэте Саттаре Месуме, но почему Балакерим вспоминает именно Саттара Месума, мы не знали. А иногда, особенно в ясные ночи, когда светила луна и звезды, Балакерим, сидя под раздвоенным тутовым деревом, или во дворе Желтой бани, или здесь, под нашим тутовником, поднимал голову к небу, устремлял взор на луну, на звезды, долго молчал, и я отчетливо чувствовал, что, хотя Балакерим рядом с нами, в эти мгновения он очень, очень далеко от нас; но потом он снова возвращался к нам и говорил странные слова: «Каждый человек время от времени должен оставаться наедине с небом. Смотреть на небо... На эти звезды смотреть, на эту луну смотреть. Тогда он поймет, как сам он мал. Тогда поймет, как малы и другие...» Разумеется, я ничего не понимал из этих слов Балакерима, но слова мне запомнились, и хоть я и не понимал, что тут к чему, но что речь идет о звездах и луне, я понимал, и в этом было что-то таинственное.

Сколько лет было Балакериму? Может, сорок? Может, пятьдесят? Не знаю; кто были отец, мать Балакерима? Ничего не знаю, потому что в то время мне казалось, что Балакерим всегда был таким, у Балакерима никогда не было отца с матерью. Балакерим никогда не был ребенком, всегда был так же одинок, так же рассказывал о Белом Верблюде, так же играл на свирели. Мелодии, которые играл Балакерим, знал только он один, потому что таких мелодий больше нигде не было; эти мелодии играл только Балакерим, и, кроме нас, никто на свете не слышал этих мелодий...

На всю округу моим самым близким другом был Джафаргулу, и хотя Джафаргулу говорил, будто прежде отец Балакерима был миллионером, будто у него были фонтанирующие нефтяные скважины в Раманах, будто трехэтажка — самое высокое и самое красивое здание нашей махалли, где теперь на втором этаже живет семья Мухтара, а на третьем — семья шапочника Абульфата, в свое время принадлежала семейству Балакерима, будто Балакерим в детстве учился у видных ученых, но я обо всем этом не думал (и вообще мне казалось, что все это — пустые рассказы), потому что Балакерим был для меня просто Балакерим и поныне так и остался просто Балакеримом.

Мужчины нашей округи пытались выделить у себя во дворах место для жилья Балакериму; однажды даже, когда Муса — сын дяди Азизаги, тяжело заболел, дядя Азизага дал обет, что, если Муса выздоровеет, он у себя во дворе выстроит для Балакерима отдельный однокомнатный домик с кухней, с коридором (как наш дом), но Балакерим не желал уходить из своего жилища — голубятни во дворе Желтой бани, отвергал все посулы и предложения (и дядя Азизага вынужден был изменить свой обет, купил двух здоровенных баранов, дал нарезать мяснику Дадашбале и раздал мясо соседям), потому что Балакерим был чем-то вроде воробья, из тех, что налетали стайками, садились на раздвоенное тутовое дерево; ибо он, как бы стоя на крыше трехэтажного дома, с высоты смотрел на мир, оставшийся внизу, а по вечерам рассказывал нам самые прекрасные и самые таинственные приключения этого мира; впрочем, порой мне казалось, что Балакерим рассказывал эти истории не нам, а самому себе или, — особенно по ночам, когда наша улица, наш тупик, отдохнув немного, снова начинают тосковать по звукам шагов, — нашей мощенной булыжником улице, асфальтированным тротуа-

рам, окаймленным каменным парапетом, стенам наших домов, запертым дверям и окнам, раздвоенному тутовому дереву, тувовнику в глубине тупика.

Иногда, когда у нас дома заходил разговор о Балакериме, мама, улыбнувшись, говорила: «Бедняга Балакерим, батрак дьявола...» — все мое нутро протестовало против этих маминых слов, потому что прежде я понимал эти слова буквально, то есть мне казалось, что мама действительно считает, что Балакерим служит дьяволу, но потом я понял, что в маминых словах была любовь, мама жалела Балакерима за то, что он так часто зря таскал тяжести, попусту надрывался.

В тот жаркий воскресный день Балакерим, прислонившись спиной к стволу тувовника, долго играл на свирели, и тувовник вместе с нами внимательно слушал свирель Балакерима; звук его свирели после скандала с Ибадуллоей возвращал чистоту, непорочность тишины нашего тупика, переулка; и в то же время звук свирели вносил в тишину грусть, печаль, ощущаемую мною как нежный прозрачный шелк; грусть проникала и в маленький праздник у нас дома. Когда наступил вечер и мой отец, взяв свою пахнущую вагоном соломенную корзину, снова ушел в рейс, Балакерим начал рассказывать о событиях, случившихся в старину...

...Порой, особенно в последнее время, мне кажется, что все те истории я узнал не от Балакерима, а сам был их свидетелем.

Порой мне кажется, что все те истории я сам когда-то написал.

Порой мне кажется, что те истории сбудутся когда-нибудь и я во сне удивлюсь, откуда я знаю истории, которые произойдут в будущем, как я их вижу?..

V

Чаще всего Балакерим рассказывал о Белом Верблюде, и мы, собираясь вокруг него и слушая его рассказы, иногда ничего не понимали, но Белый Верблюд маячил у нас перед глазами, и мы знали, что, хоть иногда нам и непонятны были истории Балакерима, есть на свете белый, как снег, верблюд.

Мы никогда не задавали Балакериму вопросов, хотя не всё понимали в его историях, а Балакерим был совершенно убежден, считая, что так и полагается.

Однажды, проснувшись посреди ночи, я подбежал к окну, выходящему в переулочек. Мама вскочила с постели:

— Что такое, что случилось?

— Белый Верблюд идет по улице! — сказал я и посмотрел сквозь оконное стекло наружу: темная улица была совершенно пустой, безлюдной, но мне показалось, что в темноте на булыжнике, которым вымощен переулочек, белеют большие следы Белого Верблюда и издалека, все удаляясь, слышится звон бубенчика на его шее.

Отец сказал:

— Балакерим задурил им головы...

Мама сказала:

— Ничего. Привиделось ему...

Я снова улегся в постель и долго думал о Белом Верблуде, и мне показалось, что Белый Верблюд пришел в нашу округу, чтобы поспать у чьих-нибудь дверей. Балакерим говорил, что умерших уносит Белый Верблюд и что если Белый Верблюд хочет унести кого-то на тот свет, то ночью он приходит и ложится спать у дверей этого человека. В ту ночь я оглядел мысленным взором по очереди всех людей округи, и мне не хотелось, чтобы Белый Верблюд улегся перед дверью кого-либо из них; я боялся, сердце у меня колотилось, чуть ли не выскакивало из груди, я боялся, но молчал, потому что не хотел, чтобы отец плохо подумал о Балакериме.

Балакерим рассказывал о тех, кто ездит на Белом Верблуде, говорил о местах, где гуляет Белый Верблюд, и иногда сам пояснял нам необычные слова:

— Странник пересекал на Белом Верблуде пустыню... Вы знаете, конечно, что такое пустыня: со всех сторон песок, куда ни посмотришь, ничего, кроме песка, не увидишь.

...Ярко-алая рассветная заря окрасила в красный цвет пустыню, наступающее утро как будто хотело изменить монотонность Муганской степи, но само утро наступало так медленно, что и в его стремлении избавить Муганскую степь от монотонности было что-то монотонное.

Белый Верблюд, как обычно, шаг за шагом, не спеша, шел к цели, и неизменный ритм шагов Белого Верблюда сопровождал степную монотонность и возвещал о монотонности не только самой степи, не только миновавшей ночи и только что наступившего утра, но и всего мира и хода времени — сотен тысяч лет.

Сидевший на Белом Верблуде Странник, легонько

покачиваясь при каждом его шаге, впериw свои большие черные глаза на заалевший небосвод, думал, что монотонность этой степи и верблюжьих шагов и ярко-алого расцвета была такой же тысячу лет назад и останется такой еще через тысячу лет.

Тело, мысли, чувства Странника охватило какое-то томление, и это томление как будто приподняло Странника с горба Белого Верблюда, заставило трепетать его сердце, и Странник словно лишился опоры, повис в воздухе.

Прохлада наступившего утра томила тело, мысли, чувства Странника тоской по чуду, но Странник хорошо знал, что на свете никогда не было чудес и никогда не будет чудес, что и пророк Муса хотел увидеть чудо, быть может, сам того не зная, именно поэтому он долго молил аллаха на горе Тур:

— Явись мне...

Но ответил аллах:

— Ты никогда меня не увидишь...

Мир прост, монотонен, в мире нет чудес, и Странник подумал, что, в сущности, сама простота и есть чудо, но этого чуда никто не понимает, и даже народный мудрец Деде Коркут сказал: преходящий мир, бранный мир, венец его — смерть, итог — разлука; и, сказав это, Деде Коркут сам уже сколько столетий как ушел из этого мира, да упокоит аллах его душу.

Пожелав вечного покоя Деде, Странник посмотрел на землю, вернее, на песчаное тело степи, потому что, где похоронен Деде Коркут — здесь или на другом конце света, — неважно, недра этого мира одинаковы, земля везде одинакова, и Деде Коркут, как и прочие бесчисленные люди, находится под землей.

Белый Верблюд шагал, его большие следы оставались в песке, и Странник хотел, обернувшись, посмотреть на эти следы, но не обернулся, потому что и ровная линия верблюжьих следов, тянущихся по степи, стеснила бы сердце Странника, ибо линия следов уже проложена и будет теперь оставаться такой, как есть, не изменится, не изогнется, не извернется, эта линия следов тоже кажется вечной, хотя, когда поднимется ветер, сорвется ураган, следы исчезнут (вечность, имеющая конец!), но пока не поднимется ветер, не сорвется ураган — может быть, завтра, может быть, через пять месяцев, а может быть, через два года — они не исчезнут; и Странник снова, подняв свои

большие черные глаза, взглянул на ярко-алую полосу рас-света, на сей раз краснота неба возвещала о проливаемой в мире крови...

Что случилось со Странником? Что это были за мысли? Что за видения? И если мозг его был в плену таких мыслей, почему он об этом не знал, почему сам себя до сих пор не знал?

Вчера под вечер, перед тем как отправиться в путь, он увидел черную ворону, которая уселась на ветку старого инжирового дерева у их ворот, и сам не понял, зачем остановился и долго смотрел на эту ворону, внимательно смотрел, и вдруг ему стало ясно, что совершенно черные глаза черной вороны — самые прекрасные глаза на свете, и Странник увидел печаль в глазах черной вороны, и эта печаль потрясла Странника.

Говорили, что черная ворона живет триста лет, и печаль в глазах черной вороны была печалью ее трехсот лет.

Белый Верблюд, устремив взгляд к далекой цели, дви-гался вперед все тем же ритмичным шагом, и если бы Странник спешил и заглянул в глаза Белого Верблюда, то он и в его черных глазах увидел бы ту же печаль, что таилась в глубине глаз черной вороны.

Но такое Страннику в голову не пришло.

В последнее время Страннику нравилось отправляться в далекий путь в одиночестве. Караван с шелком он от-правлял раньше, и караван, дойдя до входа в город, разби-вал лагерь и дожидался своего хозяина — Странника.

Вот уже год, как начались его одинокие странствия.

В этом году он один отправился в путь, потому что в купле-продаже, в которой проходила вся его жизнь, не-долгое путешествие в город, раз в один-два месяца, было единственной возможностью побыть наедине с собой: зем-ля, небосвод, Белый Верблюд, он сам — вот и все; под ве-чер он садился на Белого Верблюда, выезжал из своих во-рот, начинал свой путь, никуда не спешил, время от вре-мени останавливал Белого Верблюда у караван-сараяв, построенных у дороги за счет пожертвований, заходил, вместе с незнающей его чернью съедал миску простоква-ши или выпивал пиалу шербета с шафраном и, снова, взобравшись на спину Белого Верблюда, продолжал свой путь; покачиваясь при каждом шаге Белого Верблюда, впервые за долгие-долгие годы, прошедшие в купле-про-даже, оживлял перед мысленным взором пору детства, видел давно развалившийся двор, давно умерших и за-

бытых мать, отца, соседей, вспоминал баяты¹, которые на-певала его бабушка: волосы подвяжи, в саду вымой, в саду расчеши, ради хорошего друга Шам обыщи, Багдад прочеши... и годы куда-то уходили, и Странник чувствовал, что в последнее время ждет этих странствий как мгновений жизни, не принадлежащих никому друго-му — ни сыновьям, ни дочерям, ни внукам, ни правнукам, ни друзьям, ни врагам, — а только и только ему самому.

Страннику казалось, что до сих пор он проживал жизнь — эту долгую жизнь — не для себя, а для других; вернее, Страннику казалось, что его жизнь проживал не он, а вместо него — другие, какие-то совсем другие люди.

Разбойники на всех этих дорогах хорошо знали белую чалму Странника, зеленую шелковую абу, что он надевал в теплое время, его меховое одеяние в холодную пору, а глав-ное — его Белого Верблюда, но разбойники, грабители хорошо знали и то, что Странник ничего не берет с собой в дорогу, при нем ничего нет, кроме двух-трех серебряных монет, чтобы перекусить в караван-сараяе или подать ми-лостыню встречным нищим. Конечно, можно было, убив Странника, съесть Белого Верблюда, но у Странника были знаменитые на всю округу, владеющие мечом абиссинские рабы, и разбойники ради одного шашлыка из верблюжьего мяса не хотели потом оказаться лицом к лицу с этими абис-синскими рабами.

Краснота рассветной зари таяла, пропадала, и начинали белеть предосенние караваны облаков. Странник, отведя большие черные глаза от нагромождений белых облаков, посмотрел на Белого Верблюда, на котором сидел, легонько покачиваясь, и подумал, что все-таки на свете лучше быть верблюдом, чем человеком, потому что Белому Верблуду неведомо, что, в сущности, между теми караванами белых облаков в небе и им, Белым Верблюдом, нет никакой раз-ницы, потому что и те белые облака когда-нибудь станут дождем, потекут и кончатся, исчезнут, и Белый Верблюд когда-нибудь сгниет в земле, исчезнет, как все живое на свете сгнивает и исчезает в земле.

Странник думал так потому, что не ведал о печали на дне больших черных глаз Белого Верблюда.

В одном из одиноких путешествий среди ночи Стран-ник неожиданно для себя произнес строку: «Меня создала тоска...» В нем ли самом созрела эта строка? Услыхал ее

¹ Баяты — азербайджанские народные четверостишия.

от кого-то? Или где-то прочитал? Он не знал, но с того времени, то есть с той минуты, совершенно неожиданной среди ночи, среди монотонного ритма верблюжьих шагов, строка эта не выходила из головы Странника, порой даже в разгар купли-продажи как молния пронеслась в его мыслях.

«Меня создала тоска...»

Странник двигался всю ночь, чтобы, как всегда, успеть в Город ко второму намазу. Ни одно его путешествие не было похожим на сегодняшнее: легонько покачиваясь на Белом Верблюде, он не мог вспомнить ни детство свое, ни тот двор, где жил в детстве, ни те баяты, что напевала его бабушка.

Правда, спокойствие ночи, безлюдье дороги, бескрайний, куда ни бросишь взгляд, простор мира снова завладела Странником, и он на спине Белого Верблюда, удалившись от суеты торговых дел, от домашних забот, свободно и привольно вздохнул, взглянул на звезды, на луну и, снова закрыв глаза, попытался вернуться в далекие детские годы, но ничего не вышло, и Странник неожиданно (как неожиданно явилась та строка...) понял, что эта ночь — необычная ночь, окутавший мир мрак этой ночи — это мрак глухой печали в глазах черной вороны.

Это ощущение потрясло Странника, и Страннику показалось, что окутавший сейчас весь мир мрак печали окрасил в черный цвет его белую абу, как клей, пропитав и абу, и рубашку, проник к телу. Он ощутил вязкую влагу этого клея всем телом.

Странник хотел освободиться от этого чувства, прислушался к тишине ночи, полюбовался безлюдьем дороги, звездами, лунной и подумал, что сарбаны, погонщики верблюдов, всю жизнь проводящие на этих дорогах, — самые счастливые люди на свете; потом сам улынулся наивности своей мысли: сарбаны, всю жизнь проводящие в дороге, наверное, каждый раз желают, чтобы дорога скорее кончилась, чтобы они скорее добрались до дома, потому что все на свете познается в сравнении. Странник подумал, что Адам, восстав против бога, сбился с пути истинного, и потому Адама изгнали из рая, он попал на Цейлон, и, как говорят, след его ноги до сих пор остался на Цейлоне; как пишут все великие ученые и писатели и как говорят многие купцы, которых хорошо знал сам Странник, Цейлон — это райское место, но Адама из рая изгнали туда, следовательно, Цейлон — для нас, простых смертных, это

рай, но по сравнению с настоящим раем это место изгнания и кары...

Вот так и все видимое и невидимое взору на земле.

И проводящие всю жизнь в пути, лицом к лицу с тишиной и простором мира, сарбаны тоже не были счастливы.

Странник подумал, что символом счастья, как говорят, является звезда Сириус, и, чтобы увидеть звезду Сириус во всем блеске, нужно поехать в страну Йемен, потому что только в Йемене она светит так ясно, и прибывающие из Йемена ткани, кожи оттого так мягки и нежны, что в них ответ красоте Сириуса; все это так, и можно поехать в Йемен, чтобы увидеть Сириус, но дело-то все в том, что сколько на земле живых существ, столько и судеб, и у каждой судьбы свой Йемен, а уж в тот Йемен съездить, из того Йемена поглядеть на Сириус невозможно, ибо тот Йемен недостижим, недосыгаем.

«Меня создала тоска...»

Ночь и дорога вдруг стеснили сердце Странника, и, тронув поводья Белого Верблюда, он двинулся по пустыне в сторону от дороги, параллельно дороге, но и простор пустыни не утешил сердца Странника: и Странник, и Белый Верблюд так и встретили тяжелый рассвет.

Странник снова посмотрел на груды белых облаков, потом посмотрел на Белого Верблюда.

Белый Верблюд, шагая в обычном своем ритме, как большими печатами, припечатывал свои следы на песке, и Странник думал, что и предки этого верблюда тысячи лет тому назад так же ритмично шагали по дороге, и монотонность верблюжьего шага была, по сути, не только монотонностью ночного путешествия по пустыне, это была монотонность тысячелетий.

И в самом деле, какая разница между грудями облаков и Белым Верблюдом?

И Странник вновь с заполнившим все его существо томлением пришел к выводу, что никакой разницы нет.

На маленьком песчаном холмике, немного в стороне, неподвижно, как высеченная из камня, едва отличимая от песка, замерла ящерица, глядя на Странника и Белого Верблюда, и как только Белый Верблюд совсем близко подошел к ее песчаному холмику, ящерица в мгновение ока, вильнув хвостом и взметнув струйку песка, исчезла.

В том древнем мире, где жили самые древние предки, они видели это небо и землю такими, как мы их видим; было времена пророка Мусы, когда он, сделав из самир-

ской глины теленка, заставил его заговорить, но того теленка нет, и придет время — а это время, наверное, не так уж далеко — меня тоже не будет, и какая разница между мною и глиняным теленком, что был слеплен тысячелетия назад? Меня через десять месяцев или через десять лет не будет, но в чем различие между всей моей жизнью и прошедшими со времен создания глиняного теленка тысячелетиями? Или в чем различие между прожитыми мной семьюдесятью или восемьдесятю годами и грядущими тысячелетиями? Тогда, возможно, люди будут одеваться по-иному, тогда, возможно, люди будут летать в небе, как птицы, или будут жить на дне океана, но по сути, по самой сути между мной и ими никакого различия не будет...

От этих вопросов, несмотря на утренний холод, Странника бросило в жар. Ему захотелось где-то скрыться, как та желтовато-серая ящерица, и Белый Верблюд словно почувствовал жжение в груди Странника, которого столько лет возил на спине, на мгновение, всего на одно мгновение приостановился, а потом снова так же ритмично зашагал дальше.

Что это были за вопросы, что за мысли?..

Странник, будто со столетней жаждой, подумал: «Я тысячи разных бед перенес, но и эта оказалась на моем пути... соевой, соевой, вещей птицей, горестной птицей стал я, господи, буду стонать я и лето, и зиму...»

Снова посмотрел Странник на караваны белых облаков, вернее, посмотрел на совершенно чистое ярко-голубое небо в разрывах облаков, и все его существо выражало мольбу: обнажи свой меч, господи, руби мне шею... руби... руби!..

Перед глазами Странника появилась давнишняя красная полоса зари, а эта краснота снова напоминала ему цвет крови, и Странник подумал, что в свое время были люди, которые не верили в пророка Мухаммеда, и если тех людей тоже сотворил бог, то почему те люди забросали Мухаммеда камнями, сломали ему зуб, разбили губу? Те люди не верили Мухаммеду, но ведь бог знал Мухаммеда, ведь Мухаммед был посланником бога, и если это было так, почему те люди бросали в Мухаммеда камни, почему руки их не отсохли, и вообще как получилось, что столь дурное деяние пришло тем людям в голову, почему тотчас же не поверили они пророку? Ведь бог заранее определил судьбу пророка, и разве шейх Ибрагим Алимухтар Казвини — да

упокоит господь его душу — не говорил, что самое высокое и самое мудрое суждение: бог лучше знает...

Почему же бог счел лучшим, чтобы всего двести лет назад те люди, побив пророка камнями, сломали ему зуб, разбили губу?

В это холодное утро Странник сам пришел в ужас от своих мыслей; выпрямившись на Белом Верблюде, он посмотрел на ярко-голубое небо между белых облаков, словно попросил пощады у чистоты и голубизны небесной, и на сей раз он подумал: наверное, истина так божественно высока, так велика, что, дабы осознать ее, должно вынести такие мучения.

Но почему?

Если нечто рождается в таких мучениях, в таких страданиях, разве оно может быть истиной?

Бог ведь справедлив...

Странник понял, что надо остановиться, собрать силы, немного отдохнуть, хоть чуть-чуть вздремнуть, иначе все перевернется вверх дном, все развалится.

У Странника было идущее от многолетнего опыта купли-продажи точное, безошибочное чувство меры, и теперь оно помогло ему встряхнуться, взять себя в руки, не позволило ему отдаться охватившим его будоражающим мыслям.

Странник, заставив Белого Верблюда опуститься на землю, спешился, прошел два шага по песку, встал на колени и закрыл глаза.

«Меня создала тоска...»

Странник ни о чем другом не думал, в мыслях его повторылась одна фраза: «Меня создала тоска...»

В эту минуту в бескрайней безлюдной степи Странник и Белый Верблюд оказались лицом к лицу, Белый Верблюд сейчас жевал губами так же ритмично, как шагал, и вперил большие черные глаза в лицо Странника, а глаза Странника были закрыты, и он не видел ни Белого Верблюда, ни черных глаз Белого Верблюда.

«Меня создала тоска...»

Эта фраза начала приносить облегчение уставшему, измученному Страннику, и он задремал.

Странник сам не знал, спит или бодрствует, но он видел красную полосу рассвета и черную печаль в больших черных глазах черной вороны, и красное смешалось с черным, и получался темный серо-бурый цвет, потом к этому тем-

ному серо-бурому цвету примешалась степная желтизна, и все вокруг окутала светлая серость...

Когда Странник открыл глаза, белые облака рассыпались по всему небу, взошло солнце и чистота небес очень далеко, на линии горизонта, соединялась с тянущейся, насколько хватает взгляда, гладью степных песков.

Странник, пробормотав молитву, провел рукой по лицу, встал, огляделся по сторонам и замер: Белого Верблюда не было.

И еще Странник увидел, что Белого Верблюда не украли, он сам ушел, потому что на песчаной глади не было никаких других следов, кроме вдавленных, словно крупные печати, следов Белого Верблюда.

Следы Белого Верблюда тянулись до самой линии горизонта, где степь сливалась с небом, и исчезали.

Утопая в мелком песке чуть ли не по колени, Странник некоторое время шел по этим следам, но он хорошо знал местность и понял, что следы Белого Верблюда ведут в даль, в невозвратность, остановился, долго смотрел на тянущиеся по серо-желтому песку, точно тропинка, следы не к горизонту, а в никуда, в какой-то иной мир, на тот свет.

Странник постоял еще некоторое время, посмотрел на тянущиеся, как тропинка, следы, потом повернул назад, совершил второй намаз в степи, нашел дорогу и пешком к вечеру добрался до раскинувшегося лагерем у входа в Город каравана.

Ученики, слуги, рабы Странника после второго намаза, устремив взгляды на дорогу, ждали Белого Верблюда, но увидели своего господина — Странника пешим. Абиссинские рабы решили, что Странника ограбили в пути, отобрали Белого Верблюда, схватились за мечи, хотели, вскочив на породистых арабских скакунов, поскакать за грабителями, но Странник жестом остановил их и сказал:

— Верблюд исчез...

Потом он подошел к разведенному костру, так же движением руки запретил сидевшим вокруг костра слугам вставать и сам, опустившись у костра, сел на сырую землю, устремил большие черные глаза в костер, горящий в той понемногу снова окутывающей мир мгле.

Отсвет костра падал на лицо Странника, и на дне больших черных глаз его сгущалась глубокая печаль.

Никто не осмеливался заговорить, спросить что-либо: люди знали суровый нрав Странника.

Никто не осмеливался заговорить, но и ученики, и слуги, и рабы смотрели на Странника и думали про себя, отчего этот человек, которого, несмотря на суровость, порой даже жестокость, люди прозвали Велиюннама — Протягивающий руку помощи, — у которого драгоценностей, золота, добра в сто верблюжьих поклаж, у которого есть храбрые сыновья, храбрые зятя, из-за одного-единственного верблюда — пусть даже это Белый Верблюд! — погружен в такую бездну печали?

Все сидели в молчании.

Все вокруг окутал мрак ночи, но тень глубокой печали не исчезала из глаз Странника.

Конечно, никто из сидевших в ту ночь вокруг костра не узнал, что глубокая печаль в глазах Странника походит на печаль в глазах черной вороны.

Все решили, что Странник горюет из-за пропажи Белого Верблюда.

Никому не пришло в голову, что в эти мгновения Странник думал: уйти бы и мне вместе с Верблюдом...

VI

Мама часто говорила: у кого что на лбу написано, то и сбудется, и когда мама это говорила, я думал: интересно, что написано у меня на лбу и кем я стану? Как буду жить? Интересно, неужели я и сам стану отцом? И у меня будут дети? И пройдет время — у меня волосы поседеют?

Прекрасные были дни...

Однажды мы играли в футбол в тупике, я сильно ударил ногой по мячу, он взлетел и ударил по руке моллу Асадуллу, проходившего мимо, молла Асадулла разозлился и, потирая руку, накинулся на меня.

— Ах ты туллаб! — закричал он. — Глаз у тебя нет, людей не видишь?

Туллаб у нас в квартале было ругательством, и, конечно, я знал, что это недоброе слово, потому что и взрослые, рассердившись, произносили его при нас (если бы это было неприличное ругательство, молла Асадулла не произнес бы его!), однако, что оно означает, я не знал.

Вечером я спросил у отца:

— Что такое туллаб?

Отец сказал:

— Ну, так бранятся у вас в махалле...

Ощущение чужака всегда было вместе с отцом, поэтому и махаллю, в которой жил многие годы, он называл «ваша махалля» (и от этого сжималось сердце, потому что я хотел, чтобы наша махалля была и махаллей отца).

— Что ты опять натворил, кто выругал тебя?

Я промолчал и назавтра, когда мы снова собрались вокруг Балакерима, спросил:

— Ты знаешь, что такое «туллаб»?

Ответ Балакерима меня удивил и обрадовал:

— Туллаб — это по-арабски «студент».

Все ребята нашей округи хотели, когда вырастут, стать шоферами, и, конечно, я тоже очень хотел, когда вырасту, стать шофером, как Джафар, как Адыль, как Абдулалли, как Джебраил (потом, как Агарагим), водить полторку, и чтобы моя полторка стояла перед тупиком, и стекла полторки украшали кружева с помпонами, связанные мамой, но, когда Балакерим объяснил мне значение слова «туллаб», меня внезапно охватила радость: мне захотелось стать студентом, как Годжа, и я вспомнил слова Годжи, которые он сказал мне после того, как выслушал придуманную мной историю: «Выдумки выдумками, но ты станешь писателем, книги будешь писать!..». Слова Годжи прозвучали так необычно, показались такими диковинными, что я не знал, радоваться мне или что? К тому же после слов Годжи я вдруг вспомнил Саттара Месума, потому что Саттар Месум тоже был поэтом, то есть пишущим человеком, и страх, что кто-то когда-нибудь «продаст» меня, как Саттара Месума, сжал мое сердце...

А теперь, когда Балакерим объяснил мне значение слова «туллаб», в моем сердце не осталось и следа страха; у нас дома было три-четыре книги, и те я порвал, когда был маленький, половина страниц была выдрана, и я, придя домой, аккуратно сложил оставшиеся половинки книг в мамин сундук, потому что я вырасту, стану студентом, потом стану писателем и заново напишу недостающие страницы...

Прекрасные были дни...

Книги эти до самого последнего времени хранились у меня на одной из книжных полок, но вырванные, потерянные страницы я не смог написать заново.

Однажды я не увидел на полке этих книг, и выяснилось, что дети вместе с ненужными газетами и журналами сдали их в макулатуру.

Я ничего не сказал детям.

Как только нам в руки попадали мелкие деньги, мы бежали к дяде Мейрангулу покупать жевательную резинку или домашние леденцы в виде красных петушков на палочке, или матерчатый шарик на нитке со свинчаткой внутри, и дядя Мейрангулу всегда встречал нас ворчащим: «Опять явились? Не знаю, ей-богу, куда мне от вас деваться?..», как будто кто-то заставлял дядю Мейрангулу варить жвачку, петушков, шить шарики и продавать нам, тетя Зиба была куда симпатичней, всегда улыбалась, всегда нахваливала свои семечки: «Чудные семечки, клянусь богом, просто необыкновенное что-то... Покупайте на здоровье!..» Тетя Зиба, даже когда у нас не было денег, могла насыпать в карман полстакана семечек даром, но мы привыкли к ворчливости дяди Мейрангулу и покупали жевательную резинку, покупали и облизывали красные петушки или, собравшись под тутовником в конце нашего тупика, вращали матерчатые шарики.

Двери дома дяди Мейрангулу открывались прямо на улицу (двора у них не было), и весной, летом, осенью, а в погожие дни и зимой, дядя Мейрангулу всегда сидел у своих дверей на улице, ставил перед собой деревянный табурет, который сам сколотил, и аккуратно раскладывал на этом деревянном табурете свой восхитительный товар. Всякий раз дядя Мейрангулу ворчал и придирчиво раглядывал полученные от нас монетки (как будто мы его обманем, вместо денег дадим что-нибудь другое или подсунем фальшивые деньги...), потом клал деньги в карман телогрейки в холодное время, а в теплое — в карман кофейного цвета рубашки и выдавал товар: жевательная резинка — десять копеек, петушок — пятнадцать копеек, игрушки — по двадцать копеек...

У дяди Мейрангулу был сын по имени Ибрагим, и вся округа знала, что дядя Мейрангулу для того с утра до вечера сидит на улице у своих дверей, чтобы Ибрагим хорошо одевался, чтобы у Ибрагима не было других забот, кроме как сидеть и сочинять стихи. Дело в том, что Ибрагим был поэт, и написанные Ибрагимом две строчки знали наизусть все парни нашего квартала:

Когда небо расстегнуло ворот, показалась луна!
Когда ты расстегнула ворот, показалось солнце!

Правда, Балакерим говорил, что это стихотворение Ибрагим украл: падишах Ануширван, путешествуя верхом

на Белом Верблюде, увидел купающуюся в озере Фахранду-ханум и произнес эти строчки, а теперь Ибрагим врет, будто это он сочинил. Говорили еще, что раньше, когда я был совсем маленьким, дядя Мейрангулу, собрав стихи Ибрагима, появившегося на свет после шести дочерей, показал их Саттару Месуму, и Саттар Месум, начиная читать первые строчки, наизусть декламировал конец, потому что все стихи Ибрагима принадлежали жившим ранее другим поэтам, но, во всяком случае, Ибрагим не крал деньги, не воровал одежду, а присвоение стихов было почтенным делом, и говорили, будто Ибрагим это стихотворение («Когда небо расстегнуло ворот, показалась луна! Когда ты расстегнула ворот, показалось солнце!») для Шовкет написал (или украл).

Дядя Мейрангулу не только торговал жевательной резинкой, шариками на нитках, клетками для соловьев, скалками, вырезанными из дерева ложками и другими подобными изделиями, но потихоньку, за деньги, наносил с помощью иглы и туши татуировку на руки, плечи, грудь соседних парней (приходили к нему и из других мест), разные надписи, рисунки; но теперь он больше этим делом не занимался, потому что однажды тетя Ханум пришла и во всеуслышание сказала: «Слушай, Мейрангулу, кланься могилкой твоего отца, если я еще раз увижу, услышу, узнаю, что ты кому-то на руке что-то написал или женщину нарисовал, ей-богу, Мейрангулу, я возьму тебя за шиворот и отведу в милицию, или я не дочь мужчины!» Конечно, дядя Мейрангулу знал, что от тети Ханум можно ожидать все что угодно, и, посмотрев на крупные, как у мужчины, руки тети Ханум, решил больше этим делом не заниматься, а торговать мелочью и лелеять своего единственного сына Ибрагима.

Говорили, будто тетя Ханум увидала на теле какого-то из своих сыновей рисунок, изображающий русалку, и потому так рассвирепела; мы про эту полуженщину-полурыбу не знали, но и у Джафара, и у Адыля, и у Абдулалы, и у Джебраила, и у Агарагима на руках были вытатуированы годы их рождения: у Джафара — 1915, у Адыля — 1917, у Абдулалы — 1919, у Джебраила — 1923, у Агарагима — 1925, только у Годжи на руке ничего не было. Правда, говорили, что Годжа где-то на теле вытатуировал имя Адыли, но говорить-то говорили, а видеть никто не видел. Годжа и шофером не был, но, несмотря на это, я любил Годжу больше всех в округе.

Иногда перед нашим тупиком выстраивались подряд четыре машины, те, которые водили Джафар, Адыль, Абдулалы, Джебраил; Агарагим тогда учился на курсах шоферов и иногда подъезжал к тупику на своей учебной машине, и перед нашим тупиком выстраивалось подряд пять машин. Порой тетя Ханум, положив еду в тарелки сыновьям, приехавшим на обеденный перерыв, выходила на улицу и смотрела на этот ряд стоящих друг за другом машин, как будто машины тоже были сыновьями тети Ханум.

Муж тети Ханум умер еще до моего рождения, но мне казалось, что семья тети Ханум всегда была такой: была тетя Ханум, и были Джафар, Адыль, Абдулалы, Годжа, Джебраил, Агарагим, а больше никого и не было; я не мог представить себе иной семью тети Ханум.

И Адыль, и Абдулалы, и Джебраил водили полторки, и мы все гордились этими новенькими «ГАЗ-АА». Джафар водил автобус, его «ЗИС-16» тоже был совсем новеньким; иногда Джафар, усаживал нас, ребятшек, в свой автобус, катал по округе, и мы становились самыми счастливыми детьми на свете, и, когда, полные зависти, взгляды ребят соседних кварталов устремлялись на нас, мы вскидывали головы, считая, что мы и есть подлинные хозяева этого прекрасного автобуса.

А у Годжи машины не было, он не был шофером, но, несмотря на это, я любил Годжу больше всех, и Годжа был особенно ласков со мной; недаром именно он произнес слова, которые я никогда не забуду: «Выдумки выдумками, но ты станешь писателем, книги будешь писать!..»

Потом я узнал и значение слова «туллаб», и слова Годжи вместе со словом «туллаб» произвели на меня такое впечатление, что иногда по ночам, улегшись в постель, я не мог уснуть, меня охватывало какое-то волнение, беспокойство: я, конечно, не знал толком, что такое писательство, но сердце мое было полно прекрасного волнения, и в те бессонные ночи я гордился своим будущим почти так же, как машинами Джафара, Адыля, Абдулалы, Джебраила...

...Древний философ изрек одну из самых мудрых и печальных истин на свете: все проходит...

...Однажды Годжа сказал мне:

— Хочешь пойти в цирк?

Я не поверил своим ушам, потому что за свою семилетнюю жизнь я ни разу не ходил ни в театр, ни в цирк, только в кино ходил, и, услышав слова Годжи, понял, что

я накануне большого события в своей жизни, и почему-то перед глазами заиграли разноцветные разводы: красный смешался с зеленым, зеленый с синим, синий с желтым, желтый с оранжевым... Я подумал, что это — цвета той радости, того счастья, накануне которого я пребываю, и по ночам, лежа в постели, перед тем как уснуть под храп отца (когда отец не храпел, я не мог спать, так привык к его храпу), я вновь увидел эти цветные разводы: краски перемешивались друг с другом, сверкали, и в их красных, зеленых, синих, желтых, оранжевых бликах была веселящая сердце теплая улыбка; иногда храп прерывался, и я, вздрогнув, возвращался в нашу маленькую комнатку, в постель, постеленную на полу между столом и платяным шкафом, но потом отец снова начинал храпеть, и разноцветные разводы возникали опять, я ждал праздника, такого праздника, который был далеко от нашей маленькой комнаты, от нашей маленькой кухоньки, где и по ночам чувствовался запах керосинки, от нашего двора, тупика, переулка, улицы, округи, но как бы далеко ни был этот праздник, он однажды наступит...

...Я и теперь, вспоминая ту далекую пору, думаю: странно ли, я представлял себе праздник непременно вдали от этой нашей маленькой комнаты, нашей маленькой кухоньки, нашего двора, тупика, переулка, тутовника, молоденькой ивы?..

...И вот Годжа сказал:

— Вечером пойдем в цирк.

Тому, что я пойду в цирк, мама радовалась так же, как я (потому что мама моя тоже никогда в жизни не была в цирке): днем быстренько выстирала мою рубашку, высушила ее над керосинкой, выгладила, отгладила и брюки, аккуратно заштопала носки на пятках; вечером положила мне в карман сорок копеек, чтобы я купил себе в цирке конфет и лимонаду, и мы вместе с Годжей отправились в цирк.

Мы сидели в седьмом ряду, представление еще не начиналось, люди приходили по двое, по трое, глядя на билеты, разыскивали свои места, усаживались, и я гордился тем, что нахожусь среди этих людей, меня наполняли доселе не испытанные радость, волнение, и мне очень хотелось, чтобы мама тоже была здесь, и отец тоже, и чтобы у них на сердце было так же радостно, как у меня.

Я в жизни своей не бывал в таком огромном здании, среди такого множества людей, и свисавшие с куполооб-

разного потолка цирка разнообразные веревки, лесенки, занавеси, светильники словно унесли меня в тот волшебный мир, о котором рассказывал Балакерим: иногда мне казалось, будто все это сон.

Я гордился тем, что нахожусь в этом круглом, высоком, ярко освещенном здании, среди такого множества людей, но я гордился и Годжей, мне нравилось, что проходящие мимо порой взглядывали на Годжу, потом на меня; я радовался, и доносящийся с цирковой арены конский запах, запах деревянных опилок делал эту радость не похожей ни на какую другую.

Годжа был первым человеком у нас в округе, который учился в институте, и первым человеком, который должен был стать врачом. Правда, Годжа не водил полторку на глазах у девушек квартала, украдкой выглядывающих из окон, не проезжал по улице, по переулку и не останавливался перед тупиком, но и толстые-претолстые книги у Годжи под мышкой производили на обитателей квартала (в том числе и на девушек, украдкой выглядывающих из окон) не меньшее впечатление, чем машины Джафара, Адыля, Абдулала, Джебраила (впоследствии и Агараги-ма), а наши мамы, читая нам нотации, чаще всего приводили в пример Годжу: «Вот видите Годжу? И вы должны хорошо учиться, ходить в библиотеку, чтобы стать таким, как Годжа!» Даже Мухтар, по вечерам выходя из черной «эмки» или по утрам садясь в нее, если видел Годжу, здоровался с ним.

В этот вечер я, гордясь собой и Годжей, вдыхая доносящийся с круглой арены конский запах, запах деревянных опилок (волшебный запах), ожидал начала представления (в сущности, для меня представление началось с той минуты, как я вступил в здание цирка!), как вдруг увидел Адилю. Адила с какой-то девушкой разглядывала билеты, прошла и остановилась чуть поодаль и ниже нас, в третьем ряду, и, прежде чем усесться на свое место, осмотрела верхние ряды, увидела нас, тотчас отвела взгляд и села рядом с подругой.

Я хотел показать Адилию Годже, мне казалось, что он так же счастлив и рад, как я, и мне хотелось, чтобы он еще больше обрадовался, но... показывать ему Адилию не было надобности: Годжа увидел Адилию и теперь тоже смотрел в ее сторону.

Я вдруг смутился и с трудом удержался, чтобы не заплакать, потому что сразу же понял, что мы пришли в цирк

не потому, что Годжа меня любил и отличал, — мы пришли потому, что сюда должна была прийти Адила, и Годжа потому меня сюда привел, что я был маленький и ничего бы не понял, что другие могли понять.

От недавнего веселья и радости ничего не осталось, я не ощущал больше прекрасный конский запах, запах деревянных опилок, хотел встать и с плачем убежать из этого огромного круглого, полного людей здания. Может быть, даже встал бы и убежал, но Годжа, отведя взгляд от Адилы, посмотрел на меня, улыбнулся, и я увидел белые-белые зубы Годжи и испугался: вдруг Годжа умрет, и эта странная мысль удержала меня.

А дело было в том, что некоторое время тому назад, в апреле, тетя Ханум, как обычно выглянув в окно веранды, позвала меня: «Алекпер, ай Алекпер! Опять я не могу продеть нитку в эту паршивую иголку!..» (Тетя Ханум с такими жалобами обращалась только ко мне.) Я бегом поднялся к тете Ханум, взял у нее, сидевшей над горой рубашек, трусов, носков, иголку, вдел в ушко нитку и хотел бежать обратно в тупик, играть, но взгляд мой упал на стоявший в углу веранды письменный стол. Это был стол Годжи, и это был единственный письменный стол на все дома нашей округи (кому еще был нужен здесь письменный стол?), всегда на нем лежали разные книги и бумаги, но на сей раз здесь лежали крупные белые-белые кости. Я, не удержавшись, спросил у тети Ханум, что это за кости такие, и тетя Ханум ответила, что это человеческие кости. Мне показалось, что я плохо понял тетю Ханум, и снова спросил, чьи это такие белые кости, и вновь тетя Ханум ответила, что это человеческие кости, а потом сказала, что Годжа принес эти кости из института и по ночам изучает их. Меня охватил ужас, ноги задрожали, и, выйдя от тети Ханум, я еще не один день чувствовал в себе эту внутреннюю дрожь. Никому я ничего об этом не сказал, потому что любил Годжу и не хотел, чтобы ребята плохо о нем подумали, но сам при виде Годжи пугался: белизна крупных человеческих костей на его письменном столе стояла перед глазами. День шел за днем, улыбка Годжи, как всегда, была мягкой и теплой, и постепенно я забыл холод белых-белых человеческих костей.

Но вот теперь, когда Годжа улыбнулся и я увидел белые зубы Годжи, мне вдруг вспомнились крупные человеческие кости, и я испугался, что Годжа вот-вот умрет...

Годжа зашептал мне на ухо:

— Мы ведь с тобой друзья?

Я кивнул.

Годжа снова зашептал мне на ухо:

— У нас одно слово, одни тайны?

Я снова кивнул, подтверждая слова Годжи.

Началось представление, но я не мог сосредоточиться, перед глазами все стояла белизна крупных человеческих костей, потом я посмотрел на Адилу: была видна одна сторона ее лица, и Адила внимательно смотрела на арену цирка, но я чувствовал, что все ее мысли — с нами, вернее, с Годжой; потом я почему-то вспомнил Белого Верблюда, и мне показалось, что Белый Верблюд, ухватившись за кончик этой тайной близости, медленно подойдет и уляжется у дверей Адилы; я опять посмотрел на Адилу, испугался своих мыслей и выбросил их из головы.

От всех — и от ребят, и от мамы, и от заходивших к нам женщин — я слышал, что Адила самая красивая девушка у нас в махалле, и теперь, глядя из седьмого ряда в третий, где сидела Адила, я начинал сам понимать, начинал видеть то, что слышал от мамы, ребят, соседок, и, странно, черные глаза Адилы, белое ее лицо становились мне родными, во всем облике Адилы я ощущал что-то близкое и не отводил глаз от ее доходящих до колен, густых каштановых волос, заплетенных в две косы, парни нашей и даже верхней махаллы, любясь Адилей, называли ее «Девушка с косами», а иногда махаллю нашу — «махалля Девушки с косами».

На посыпанной древесными опилками цирковой арене прыгали через голову акробаты, жонглеры в сверкающих трико, которых я видел впервые в жизни, вертели, подбрасывали и ловили какие-то фигуры, а я смотрел на Адилу и думал, почему тетя Ханум терпеть не может эту красивую девушку, девушку с такими косами, с такими каштановыми волосами?

Конечно, когда я ходил вместе с мамой в баню, в магазин или когда соседки собирались у нас, я слышал от них, что у тети Ханум когда-то был брат по имени Абузар и этот Абузар был влюблен в мать Адилы тетю Фатьму, но тетя Фатьме Абузар не нравился, она вышла замуж за папагчи-шапочника Абульфата, отца Адилы. Тетя Сафура, растирая в бане маме спину, говорила: «Бедняга Фатьма, много ли хорошего увидела, когда Абузара отвергла, а за папагчи Абульфата пошла... А Абульфат, бедняга? День и ночь шапки шьет, несчастных дочерей кормит...»

У тети Фатьмы и дяди Абульфата кроме Адилы было еще четыре дочки; все четверо были замужем, но муж одной зарезал человека и сидел в тюрьме, муж другой уже несколько лет болел и не вставал с постели, да и у других двух дочерей жизнь была несладкая, и все они вместе с кучей своих детей жили на средства шапочника Абульфата. Адилы, самая младшая, еще не была замужем, и тетя Сафура, растирая маме спину, говорила: «Клянусь аллахом, я до сих пор и не видела такой красавицы, как Адилы, да хранит ее бог!.. Ума хочешь — у нее!.. Скромности хочешь — у нее!.. А с этим дохтуром, сыном Ханум, они — Лейли и Меджнун!..» Зачерпывая медным ковшиком теплую воду из таза и наливая себе на голову, тетя Фируза говорила: «Да вы что, не знаете, что Ханум зла, как верблюду?.. Разве она позволит, чтобы ее сын привел в дом дочь Фатьмы?.. Она не Ханум, а дерева кусок». Тетя Мешадиханум, разбавляя в тазу воду, говорила: «Сказали, ай Меджнун, милый, ведь эта Лейли — чернушка, что ты увидел в ней, что так влюбился? А Меджнун, знаете, что ответил, а?.. Меджнун сказал, вы посмотрите на Лейли моими глазами. Абузар был видный, статны да хранит аллах Годжу, парень был картинка, как и Годжа. Ну и что? А Фатьма, бедняжка, выбрала Абульфата, а Абузара не выбрала, потому что эта несчастная смотрела на Абульфата глазами Меджнуна... Но что было, то прошло! Чего еще хочет Ханум от бедной девочки? Если я помру, вы и без меня увидите: кто бы ни вышел за парней Ханум, несчастными будут!.. У Ханум душа джаллада¹!.. Тетя Мешадиханум, как всегда, явно хватала через край, и на сей раз мама, растирая спину тете Сафуре, сказала: «Бог с тобой, что ты! Нет человека, у которого сердце мягче, чем у тети Ханум! Не знаете вы ее...» А я, представив себе толстого и совершенно лысого шапочника Абульфата, искренне удивлялся, как на дядю Абульфата можно смотреть глазами Меджнуна?

Когда сама тетя Ханум бывала среди женщин, разумеется, ни тетя Сафура, ни тетя Фируза, ни тем более тетя Мешадиханум таких разговоров не вели; даже когда тетя Ханум сидела у себя дома, если разговор заходил на эту тему, женщины то и дело поглядывали на дверь — вдруг тетя Ханум зайдет...

Абузар умер от туберкулеза, и я видел только его порт-

рет, но день, когда я увидел его портрет, навсегда остался в моей памяти, потому что в этот день я увидел две слезинки в глазах тети Ханум... Всех женщин махалли я видел плачущими, уж очень они были сердобольные (как моя мама) и, услышав худую весть, тотчас начинали плакать, только тетю Ханум я не видел плачущей, но однажды папа привез из Ростова соленых рыбок, и эти рыбки понравились моей маме: «Спасибо тебе, ай Агакерим, дорогой, как будто настоящая рыба из Энзели!» Рыбки так понравились маме, что она дала мне одну — отнести в подарок тете Ханум, и я, поднявшись по деревянным ступенькам на второй этаж, пройдя через веранду тети Ханум, вошел в комнату и увидел на стене портрет Абузара, а поскольку я всегда доходил только до веранды (тетя Ханум, можно сказать, все время проводила на веранде, и я не ходил дальше веранды, но в тот день она была в комнате), портрет я увидел впервые и подумал, что это Годжа. «Это Годжа?» — спросил я, и вот тогда из глаз тети Ханум выкатились и скатились по щекам две слезинки. «Нет, это его дядя, мой несчастный брат Абузар, чахоткой заболел и умер, царствие ему небесное. Годжа очень на него похож...» Тетя Ханум не здоровалась ни с шапочником Абульфатом, ни с тетей Фатьмой, ни с их дочерьми, и все знали, что тетя Ханум видеть не может этих людей. Бедняга тетя Фатьма всегда была настороже; со страхом ходила в баню — вдруг и тетя Ханум там окажется, с женщинами посидеть и посудачить боялась — а вдруг тетя Ханум подойдет; в такой вот тревоге и жила в нашем квартале.

...Глаза Адилы были устремлены на круглую арену, но я чувствовал, что все мысли ее — с нами, то есть с Годжей. В округе все знали, что Годжа и Адилы любят друг друга; разговоры об этом были из тех, которые с особым интересом слушали я и мои товарищи; это была история, которую мы как тайну передавали друг другу. Правда, часовщик Гюльага со своей женой Соной (маминой тезкой) у всех на глазах, при мужчинах, даже при Алиабасе-киши, ходили под ручку, что было даже для мужа и жены немисливо у нас в квартале, но к этому уже все привыкли, причем ни Гюльага, ни Соны в жизни квартала не участвовали, ни с кем не дружили, всегда бывали только вместе, прямо-таки не разлучались друг с другом; но то, что Годжа и Адилы любили друг друга, было совсем другое дело (они не были мужем и женой, хранили втайне свою

¹ Джаллад — буквально: палач. Здесь: боссердечный.

любовь, против этой любви встала озлобленность и враждебность тети Ханум!), и нам казалось, что между этой историей, то есть между тайной любовью Адили и Годжи, и рассказами Балакерима была какая-то связь, но когда порой вечерами мы собирались вокруг Балакерима и заговаривали об этом, Балакерим отвечал очень кратко: «Это история Ромо и Джульджульетты (так называл их Балакерим). Эту сказку написал один ингилис¹. Ромо и Джульджульетте тоже родители не позволили соединиться, и оба умерли. Потом их отцы и матери раскаялись, но что после драки кулаками махать? Поздним раскаянием делу не поможешь...»

В тот вечер в цирке я, конечно, расстроился, но я смотрел на Адилию, смотрел на ее толстые каштановые косы, сверкающие в разноцветных прожекторах, свисающих с потолка, время от времени слегка касался руки сидевшего рядом со мной Годжи и всем сердцем, всем существом восставал против того, чтобы они умерли.

Меня томило беспокойство, причина которого была мне не ясна, отведя глаза от Адили, пытался посмотреть на арену цирка, но взгляд независимо от меня самого снова возвращался к Адиле; помимо беспокойства, в моем сердце появились странные чувства, но я не мог разобраться в них, не знал, радость это или печаль, и в это время Годжа снова зашептал мне на ухо:

— Мы ведь с тобой друзья? У нас одно слово, одни тайны?

Я снова кивнул.

Годжа вынул из нагрудного кармана пиджака сложенную треугольником бумажку, дал мне и зашептал:

— Отдай ей. Сейчас будет антракт...

Я держал это треугольное письмо, и мне казалось, что от него по всему телу разливаются какое-то тепло, ласка, тепло и ласка смывали и уносили давешнее расстройство, обиду, и я снова начинал радоваться тому, что сижу в большом, светлом зале вместе с множеством людей, что сижу рядом с Годжой, что здесь находится Адилия, вернее, что Адили и Годжа пришли сюда, заранее сговорившись; треугольное письмо, что я сжал в руке, как будто приобщило меня к любви Годжи и Адили, связало с ними, как будто у нас и впрямь была одна тайна, и я чувствовал себя одним

¹ Ингилис — англичанин.

из героев тех загадочных историй, которые рассказывал Балакерим.

Начался антракт, и Адилия вместе с девушкой, что сидела рядом с ней, поднялась, и они вышли из зала. Адилия не взглянула в нашу сторону, но я почувствовал, что она с трудом удержалась, чтобы не взглянуть в нашу сторону, и мне стало жаль Адилию, я даже почувствовал, что глаза мои наполняются слезами.

Годжа удивленно посмотрел на меня:

— Что случилось?

Я поспешно произнес:

— Ничего... — и улыбнулся; цирковые огни засияли еще ярче сквозь пелену слез, заставшую мне глаза.

Годжа спросил:

— Отдашь письмо?

— Да, — сказал я, поднялся с места и вышел след за Адилией.

Разумеется, Адилия и Годжа не могли встретиться на глазах у такого количества людей, не могли постоять, поговорить, потому что Адилия не была невестой Годжи, и если бы кто их узнал, заметил, господа, что бы он сказал!

В фойе было полно людей, и я с треугольным письмом, зажатым в руке, среди чужих людей, искал Адилию и все больше тревожился, вдруг до конца антракта не смогу найти ее и не смогу отдать это письмо; конечно, я не знал, что там написано, но знал, что это прекрасное письмо и его надо непременно доставить Адиле.

— Алекпер!.. Алекпер!..

Услышав вдруг вот так, запросто, среди неизвестных мне людей свое имя, я сначала замер от изумления, а потом увидел Адилию, стоящую у буфета вместе со своей подружкой.

Конечно, Адилия меня знала; знала, что я сосед Годжи, но никогда меня не называла по имени, никогда со мной не разговаривала и, по правде говоря, то, что Адилия позвала меня, так меня обрадовало, что давешнее чувство радости и гордости ни в какое сравнение с этим не шло.

— Алекпер!..

Я подошел к ним, сердце у меня заколотилось, язык пересох, я не знал, что делать, что сказать, но и Адилия, и ее подруга смотрели не на меня, а на треугольное письмо,жатое в моей руке, потом Адилия спросила:

— Как ты, Алекпер?

Голос Адили был так мягко, так приветливо, в нем было

столько ласки, что мне показалось, будто это голос не Адили, стоящей передо мной, а донесшийся из какой-нибудь таинственной истории Балакерима.

Я собрал все силы, чтобы собственный мой голос не дрожал, и сказал:

— Хорошо, спасибо.

Воцарилось молчание.

Проходящие мимо нас, прогуливающиеся по фойе люди иногда с интересом, порой даже с восхищением смотрели на каштановые, толстые и длинные косы Адили, и, видя это, я гордился Адилей, Годжой, отношениями между ними и тем, что я причастен к этим отношениям, но волнение мое не проходило, сердце все так же колотилось, во рту было сухо.

Я не знал, отдать мне треугольное письмо Адиле при незнакомой девушке или нет? Сказать ли, что это письмо от Годжи или нет? Адиля начинала краснеть и, наверное, тоже не знала, что сказать, самой ли взять у маленького Алекпера треугольное письмо или подождать? Девушка рядом с Адилей, глядя на меня, улыбнулась и вдруг сказала:

— Алекпер, мы с Адилей — как сестры, у нас нет тайн друг от друга...

И Адиля поспешно сказала:

— Да, мы с Тамарой как сестры, тайн у нас друг от друга нет...

VIII

Однажды я покупал на базаре гранаты, передо мной пожилая женщина тоже покупала гранаты: ощупывая, отбирала по одному и клала на весы. Продавец гранатов — парень в надвинутой на глаза огромной кепке «аэродром» — пытался взывать к ее совести:

— Ну так же нельзя, сестрица!.. Ты все лучшие выбираешь себе, а остальные кто купит?

— Больному беру, — говорила пожилая женщина. — Пусть хоть отборными гранатами полакомится...

— Тогда бери кило за три рубля!

— Ты же сам сказал, что кило — два пятьдесят!

— Но я же не сказал, чтобы ты выбирала по одному...

Был студеный зимний день, и я, глядя на эту полную женщину, которой было тесновато темно-синее пальто, на покрытое морщинами лицо, на ее словно полинявшие водя-

нистые глаза, на выбивающиеся седые волосы из-под такой же, как пальто, темно-синей шляпки, на тонкие следы от ножа на пальцах, свидетельствующие о том, что она целые дни проводит на кухне, вдруг узнал ее. Между этой пожилой женщиной и Тамарой, которую много-много лет назад я всего однажды видел в цирке и еще раз на кладбище, не было никакого сходства, но в тот студеный зимний день на базаре я узнал ее тотчас, как увидел.

Располневшая пожилая женщина выбирала на базаре гранаты, и я с трудом сдерживался, чтобы не взять ее огрубевшие руки в свои, не спросить, куда девалась ее улыбка, не спросить, помнит ли она маленького Алекпера, что стоял перед ней в тот далекий весенний вечер в цирке, у буфета?

Продавец гранатов все ворчал:

— Так нельзя, сестра, ей-богу, так нельзя! Ты же все гранаты перебрала!..

— У меня тяжелобольной, — говорила пожилая женщина, — иначе бы не выбирала...

— Тогда по три рубля заплатишь!

— Почему? Ты же сам сказал, по два пятьдесят!..

Но продавец гранатов стоял на своем:

— Я ж не говорил, чтобы ты выбирала по одному?

У каждого свои заботы, сестра, ты выберешь все лучшие, а остальные кто купит?

— Я куплю, — сказал я. — Остальные мне продашь.

Пожилая женщина, обернувшись, взглянула на меня и, конечно, меня не узнала, но в ее водянистых глазах была признательность.

— Дело не в деньгах, — сказала она. — У меня и вправду дома больной, хочу, чтобы хорошие гранаты были.

— Понимаю, — сказал я.

Потом она положила килограмм гранатов в выдавшую виды кожаную сумку, заплатила и ушла.

Признательность в водянистых глазах пожилой, расплывшей Тамары в этот студеный зимний день сдавила мне сердце.

IX

А в тот весенний вечер в цирке, стоя у буфета, я протянул Адиле зажатое в руке треугольное письмо; Адиля, быстро взяв письмо, открыла тоненькую сумочку, положила письмо, и Тамара так внимательно посмотрела на

сумочку, будто хотела прочитать письмо Годжи прямо в сумочке, потом Адиля вынула из сумочки другое треугольное письмо, две шоколадные конфеты и сначала протянула мне шоколадные конфеты:

— Возьми, Алекпер, это для тебя...

Я смотрел на две шоколадные конфеты в руке Адили; конфеты были завернуты в шуршащую бумажку, на бумажках были нарисованы алые маки, и я не знал, взять мне конфеты или нет, но потом, даже через много лет, когда я думал о двух шоколадных конфетах в руке Адили, перед глазами у меня возникали не конфеты, не шуршащие бумажки, в которые были завернуты конфеты, не алые маки, а красивая, ласковая рука Адили, и каждый раз мне хотелось, чтобы эта красивая, ласковая рука погладила меня по волосам, по лицу, и мне казалось, что эта рука была не только красивой и ласковой, но и печальной.

— Возьми, Алекпер, — мягко сказала Адиля. — Ешь на здоровье. Пусть хоть тебе будет хорошо, Алекпер...

После этих слов я взял из рук Адили две шоколадные конфеты, потом Адиля протянула мне письмо:

— А это отдай ЕМУ, Алекпер...

Я взял у Адили письмо и неожиданно подумал, как было бы прекрасно, если бы Адиля написала такое письмо мне, и эта внезапно пришедшая в голову мысль потрясла меня, а потом мне стало стыдно перед Годжей за свои мысли.

Я стоял против Адили, письмо ее было у меня в руке, мне надо было уходить, отдать письмо Годже, но я не мог повернуться и уйти, может быть, я смущался? Может быть, это было от волнения, избытка впечатлений? Не знаю, я опустил голову, видел только ноги Адили и концы ее длинных, толстых каштановых кос, потом мне вспомнилась Шовкет; конечно, я понимал, что Адиля и Шовкет — совершенно разные, но теперь я чувствовал, что в Адиле есть что-то от Шовкет. Я не знал, что это было, к тому же все говорили о Шовкет дурно, и я в те минуты, когда стоял против Адили с опущенной головой, не хотел, чтобы так говорили и об Адиле, и само это произвольное сравнение было мне неприятно.

Годжа сидел на своем месте, я подошел, протянул ему письмо, и Годжа, так же как Адиля, быстро взял у меня письмо, но не положил в карман, а в ту же минуту развернул и стал читать.

Была весна 1941 года, и я только осенью должен был

ойти в первый класс, но сам уже выучил буквы и свободно читал. Годжа, держа перед глазами исписанный Адилей тетрадный листок в клеточку, читал, и я тоже, сосредоточив все свое внимание, стал читать обратную сторону письма, обращенную ко мне, и успел прочитать только одно четверостишие, навсегда оставшееся в моей памяти:

Письмо, к любимому спеша,
Пусть почта не обманет.
Не доберешься до Годжи —
Пусть мне конец настанет.

Конечно, хорошо бы, если б вместо слова «почта» стояло мое имя, потому что письмо Адили не по почте послала, а передала через меня, но все же, хоть в тех четырех строчках и не было моего имени, мне казалось, что они относятся и ко мне, говорят и мне эти прекрасные слова, ибо я тоже был участником этой переписки и тайной любви.

Потом Годжа перевернул тетрадный листок, и я опять, наклонив голову, сосредоточив все внимание, стал читать начало письма Адили.

ПИСЬМО ЛЮБВИ

Желаю тебе еще большего счастья, чем у вольных птиц, парящих в небе, мой любимый. После этого пожелания дарю тебе мой привет, благоухающий розой, которую я лелею в самом глубоком уголке моего сердца...

Дальше я прочитать не успел, потому что Годжа, аккуратно сложив письмо, положил его в нагрудный карман пиджака, и мы стали смотреть на арену.

Антракт закончился, началось второе отделение представления, и после обмена письмами между Адилей и Годжей, после прекрасных слов «Письма любви», подчеркнутых аккуратной волнистой красной линией, после необычайных слов ко мне вернулось светлое настроение цирка: оно было еще сильнее, чем прежде, и я, совершенно беззаботно, легко и залиvisto смеясь, смотрел на арену, и Годжа, смеясь, смотрел на арену, и Адиля тоже смотрела на арену, и мне казалось, что к доносящемуся с арены запаху древесных опилок, конскому запаху примешался запах роз, я ощущал в себе свободу птицы; алость волнистой линии, проведенной под словами «Письмо любви», окрасила для меня весь цирк в цвет радости, и я был счастлив.

На арене громко разговаривали друг с другом два клоуна, у одного был огромный красный нос, у другого — брюки до колен, большой клетчатый пиджак, а сам он был совершенно рыжий.

Красноносый сказал Рыжему:

— Счастливо оставаться, дорогой друг... Я ухожу...

— Уходите?

— Да. Навсегда ухожу из цирка. Прощайте!

— О, нет. До встречи!

— Мы больше не встретимся!

— Почему?

— Как почему? Я ухожу из цирка навсегда!

— Из цирка вы никуда уйти не сможете!

— Почему же?

— Потому что весь мир — это цирк! Куда бы ни пошли, все равно окажетесь участником представления!

Годжа прошептал:

— Он прав...

Я, кивнув головой, подтвердил слова, которые прошептал Годжа, но, конечно, ничего не понял из разговора Красноносого с Рыжим...

...прекрасные были дни...

...но мне было все равно, потому что я был переполнен радостью цирка, потому что к запаху древесных опилок, к конскому запаху примешался аромат роз, потому что из глаз моих не уходила алость волнистой линии, проведенной под «Письмом любви», и эта алость была прозрачной, и я как будто смотрел и на арену, и на Адилю, и на каштановые толстые и длинные косы Адилы сквозь прозрачную алость.

Красноносый сказал:

— Ну что ж? В том цирке, о котором вы говорите, я больше не буду клоуном, не стану смешить людей. Довольно! Теперь пусть другие будут клоунами, а я буду смеяться! Я теперь изобретатель! Я сделал такое открытие, которое принесет мне огромный доход!

— Вы изобретатель? И что же вы открыли?

— Да так, кое-что...

Красноносый сунул руки в карманы брюк, едва доходящих до колен, горделиво стал прохаживаться по арене; глядя на нас, он нам подмигивал, и мы смеялись, и Годжа смеялся, и Адиля смеялась, и я хотел, чтобы Адиля всегда вот так смеялась.

Рыжий спросил:

— Ну скажите нам, что вы такое открыли?

Красноносый, снова подмигнув нам, сказал:

— Завидует, э-э-э!..

Рыжий сказал:

— Значит, вы нас обманываете! Ничего вы не открыли!

— Открыл!

— Что?

— Это одно из самых великих открытий на свете! По-вашему, возможна жизнь без будильника?

Рыжий подумал немного, потом сказал:

— Нет!

— Верно! Хотя и Рыжий, а голова неплохо работает!

— Что вы говорите?

— Ничего... Я изобрел нечто лучшее, чем будильник!

Работать будет — безотказно!

— Очень странно... А что же за устройство у вашего изобретения?

— На первый взгляд очень простое.

— Э, на свете все просто: и родиться, и умереть...

— А просыпаться рано утром?

— Да, это трудновато...

Адиля смеялась, и, когда Адиля смеялась, на щеках у нее появлялись ямочки, и мне казалось, что ямочки на щеках Адилы появляются только для нас с Годжой.

— Мое изобретение таково: берете свечу. Вот так. — Красноносый вынул из кармана белую свечу. — Я подсчитал, что эта свечка полностью сгорает за десять часов. Поэтому, видите, я линиями разделил свечу на десять частей. В двенадцать ночи вы ложитесь в постель. Утром, допустим, в шесть часов вы должны встать. Отрезаете от свечи четыре части, остается ровно шесть частей. Потом зажигаете, кладете себе в рот. Свеча горит у вас во рту, а вы себе спите. Как только наступает шесть часов утра, вы чувствуете жар на губах и тотчас просыпаетесь! Ну, как?

— Занятно...

— Да гениально это! У вас язык не поворачивается сказать гениально! Потому что вы не хотите, чтобы я ушел из цирка!

— Нет, дело в том, что ваше изобретение не всем подходит...

— Не подходит? Почему?

— Потому, что, например, я сплю не на спине, а, наоборот, ничком...

— Ну и что?
— Как, ну и что? Как вы положите свечку мне в рот?
— Как?
— Вот именно!
— Ничего, пусть это вас не беспокоит! Я и для такого случая средство нашел...

Красноносый подошел и что-то шепнул на ухо Рыжему, никто ничего не услышал, но все закатились от хохота, и Годжа смеялся, и Тамара смеялась, только Адиля не смеялась, я издали увидел, как Адиля покраснела, и спросил Годжу:

— Чему все смеются?

Годжа, смеясь, ответил:

— Не обращай внимания...

Я кивком головы согласился с Годжей: мол, хорошо, не буду обращать внимания, но одно я понял, раз Адиля не рассмеялась, раз Адиля покраснела, значит, в этой шутке было что-то неприличное, и, значит, Адиля — не как Шовкет, а раз Адиля такая хорошая девушка, раз Адиля не такая, как Шовкет, тогда и тетя Ханум должна знать это, и мне очень захотелось, чтобы сейчас тетя Ханум была здесь и увидела, что Адиля не смеялась, что она покраснела.

Я думал обо всем этом, в сердце моем царили радость, веселье, но и давешнее беспокойство почему-то не оставляло меня, а на арене скакали лошади, и каждый раз, когда дрессировщик щелкал длинным кнутом, я вздрагивал, мне казалось, что сейчас и Белый Верблюд выбежит на арену, вместе с лошадьми пробежится по кругу арены, а потом подойдет и ляжет перед Адилей. Однако вскоре беспокойство прошло, бег холеных лошадей со сверкающими, расчесанными гривами по кругу арены заставил меня забыть обо всем, я опять с головой погрузился в радостное настроение цирка, снова ощущал аромат роз, и прозрачная алость была у меня перед глазами.

Когда представление окончилось, Годжа спросил:

— Ну, как?

— Хорошо!.. — сказал я.

— Я часто буду водить тебя в цирк.

После представления Адиля и Тамара встали с мест, вместе с толпой зрителей двинулись к выходу, а я держал Годжу за руку, и в моем сердце было немного печали, потому что и запах древесных опилок, и конский запах, и Красноносый, и Рыжий уже превращались в

воспоминание, потому что и аромат роз, и то «Письмо любви», и волнистая красная линия, проведенная под словами «Письмо любви», превращались в воспоминание, и, наверное, тогда впервые за свою семилетнюю жизнь маленький Алекпер почувствовал, как «сейчас» переходит в «было», бессознательно ощутил, что воспоминания навсегда остаются в прошлом и прошлое остается в вечности. Наверное, было так...

Вместе с людьми мы вышли в фойе, и в это время Адиля, выбрав момент, слегка повернула голову и один миг, всего один миг смотрела на Годжу, но в этом мгновенном взгляде Адиля словно тайлся аромат розы, и я невольно подумал, интересно, кто-нибудь когда-нибудь посмотрит так на меня? И в моем сердце появилось волнующее предощущение далекого будущего, в этом волнении было что-то заветное, что-то родное, неосознанность этого волнения была светлой, была радостной.

Разумеется, и Годжа увидел этот мгновенный безмолвный взгляд: я почувствовал, как рука Годжи сжала мою руку, мне показалось, что мгновенный безмолвный взгляд Адили пронизал все тело Годжи, я тоже сжал руку Годжи, и Годжа, взглянув на меня, снова сказал:

— Я часто буду водить тебя в цирк.

Адиля с Тамарой были впереди нас на десять — пятнадцать шагов, и из здания цирка первыми вышли они, а потом и мы. Я тотчас понял, что что-то случилось, понял, что произошло что-то худое. Адиля с Тамарой стояли посреди улицы, вернее, застыли посреди улицы, и я увидел, как, обходя людей, быстрыми шагами к Адиле направляется тетя Ханум. Младшие братья Годжи — Джебраил с Агарагимом — тоже были рядом с тетей Ханум.

Меня охватил ужас, от которого волосы встают дыбом, и даже теперь я не могу понять, как тетя Ханум узнала, что Адиля тоже в цирке.

Годжа, выпустив мою руку, пошел вперед, к Адиле, и я немного успокоился, думая, что Годжа защитит Адилю, что Годжа не позволит, чтобы тетя Ханум, как ястреб, снижающийся кругами, кинулась на Адилю, но Годжа, сделав два шага, поглядел на мать, остановился и дальше не пошел.

Тетя Ханум встала перед Адилей, Тамара взяла Адилю за руку, как будто хотела защитить Адилю от этого ястреба, но тетя Ханум не обратила на Тамару никакого внимания, грозным взглядом из-под широких бровей по-

смотрела Адиле прямо в глаза, еще крепче сжала тонкие губы, а потом сказала:

— Что, девушка! Ребенка в цирк заманиваешь?! Думала, я не узнаю? Что ты за ведьма, а?! Ну да яблоко от яблони недалеко падает!..

Только что вышедшие из цирка люди останавливались, кто с удивлением, кто с любопытством смотрели то на тетю Ханум, то на девушку с длинными косами, и я, хотя и не видел в темноте, но чувствовал, что лицо Адилы пылает, чувствовал, что Адиле в полном отчаянии и не знает, что делать.

— Что за бесстыжая девка ты, а?! — сказала тетя Ханум.

Адиле вдруг словно пришла в себя и как безумная бросилась от нас. Тамара с криком: «Адиле!.. Адиле!..» — помчалась за подругой.

Тетя Ханум прикрикнула на Годжу:

— А ну иди впереди меня!

Годжа посмотрел на тетю Ханум, на беззвучно стоявших рядом с ней Джебраила и Агарагима, потом медленно подошел к братьям, и я почувствовал, что Годжа не хочет смотреть на меня, но мне это было уже безразлично: Годжа мог смотреть на меня, мог не смотреть, я больше не любил его.

В тот весенний вечер по безлюдной и чужой улице я шагал рядом с Годжой, с Джебраилом, с Агарагимом, тетя Ханум шла за нами, но мне казалось, что человек, шедший за нами, это не тетя Ханум, которую я каждый день вижу во дворе, для которой вдеваю нитку в иглолку, чьи гостинцы ем, а тот хлещущий бичом дрессировщик в цирке.

Тетя Ханум никому ничего не говорила, и я, шагая рядом с Годжой, думал только о том, чтобы поскорей уйти, и мешал мне убежать не страх заблудиться, конечно, как-нибудь добрался бы: мне не давал убежать страх перед идущей за нами тетей Ханум, я боялся тетю Ханум. Я сделал только одно: отошел от Годжи и пошел рядом с Агарагимом, и Годжа, не удержавшись, посмотрел на меня; а я не взглянул в его сторону.

Пройдя по тупику и войдя во двор, я ни с кем не попрощался и пошел прямо домой. Мама не спала (отец был в очередном рейсе), ждала меня и, заранее радуясь за меня, спросила:

— Ну, как? Понравилось?

Я не ответил.

— Что с тобой? — снова спросила мама.

Я и на этот раз не ответил.

В свете десятилинейной керосиновой лампы мама с удивлением смотрела на меня, и я, не в силах больше сдерживаться, расплакался.

В тот весенний вечер я лег в постель, но уснуть не мог, сон не шел ко мне, и вдруг мне вспомнились шоколадные конфеты, что дала Адиле, и я подумал, что сохраню эти конфеты навсегда, что эти конфеты всю жизнь будут напоминать мне об Адиле, потом, не знаю, то ли я уснул и видел сон, то ли у меня началось что-то вроде бреда, но перед глазами мелькал то Красноносый, то Рыжий, и вдруг появилась совершенно высохшая, как палка, роза, — я глядел на нее с ужасом, — потом я почувствовал запах древесных опилок, конский запах, прыгали акробаты, потом я увидел упавшую на землю подстреленную птицу, и из груди птицы текла ярко-красная кровь.

Иногда, когда нам, ребятишкам, попадала в руки старая камера от шины, мы нарезали тонкие резинки и делали из них рогатки, мелкими и острыми осколками булыжников подбивали воробьев, и в ту весеннюю ночь все подбитые воробьи собрались в кучу, и ярко-красная кровь, льющаяся из грудок, постепенно превращалась в волнистые линии, потом волнистые линии становились ярко-красным морем и смывали слова «Письмо любви», и красивые, ласковые руки Адиле тоже исчезали следом за словами «Письмо любви», красивые, ласковые руки исчезали, тонули в ярко-красном море; потом я вдруг видел Шовкет: сидя на лавочке у ворот, Шовкет грызла семечки, порой подмигивая мне, громко смеялась и вдруг проворно вскакивала и уходила к себе домой, потому что с другого конца нашей улицы шла тетя Ханум; тетя Ханум приближалась, проходила прямо передо мной, и я, глядя на плотно сжатые тонкие губы тети Ханум, на ее глядящие из-под широких бровей черные суровые глаза, не боялся, напротив, мне хотелось остановить тетю Ханум, хотелось сказать тете Ханум, что Адиле — хорошая девушка...

...теперь моя дочь учится на четвертом курсе университета, Адиле, наверное, года на три-четыре была младше моей дочери.

...но я ничего не мог сказать тете Ханум, и тетя

Ханум, как всегда прямо держа голову, шла быстрыми четкими шагами.

После того вечера я некоторое время, видя Годжу, делал вид, что не вижу его, и Годжа тоже как будто обходил меня стороной, потом понемногу мы снова стали разговаривать, но в моем сердце осталось что-то от того весеннего вечера (я и сам не знал, что это), и, кажется, мы больше никогда не были с Годжей так близки, как прежде.

Конфеты я довольно долго хранил как память, но однажды сын дяди Мейрангулу поэт Ибрагим показывал у себя дома кино (у поэта Ибрагима был аппарат, демонстрирующий диафильмы, и иногда, собирая со всех ребят из окрестности по двадцать копеек, он показывал на стенке эти рисованные фильмы); у меня не было двадцать копеек, и я вместо денег дал поэту Ибрагиму две конфеты. Мне было стыдно за это, но одно обещание, данное себе в тот весенний вечер, я сдержал: долгое время не стрелял в воробьев, но пришел военный голод, и я опять стал стрелять в воробьев.

Иногда я встречал на улице Адилю — она шла либо домой, либо из дому выходила, и всякий раз, когда она замечала меня, глаза ее становились приветливыми; Адиля, возможно, обиделась на весь свет, но на меня не обиделась, и эта невысказанная, скрытая дружба между нами была тайной моего сердца, и в этой тайне была какая-то теплота.

В начале войны я однажды сидел у электрического столба на нашей улице, строгал кончики деревянных палочек, которые мы, состязаясь в меткости, метали в землю, в это время мимо меня проходила Адиля, остановилась и мягким, полным ласки голосом спросила:

— Как дела, Алекпер?..

Я почувствовал не только мягкость, не только ласку — почувствовал в голосе Адилы какую-то печаль и ничего не сказал; встал перед Адилей, почему-то опустив голову и устремил взгляд на концы длинных ее кос. Адиля погладила меня по волосам и ушла.

Некоторое время я постоял так, с опущенной головой.

Что же касается цирка, то мы с Годжей больше ни разу не ходили в цирк.

Все это надо написать...

Сегодня вечером, сидя в своей рабочей комнате, я курил сигарету, вошла Эсмер, пристально посмотрела на меня и спросила:

— Что с тобой?

— Не знаю... — сказал я.

Сначала она удивленно взглянула на меня, потому что последнее время на этот часто задаваемый ею вопрос я, отвечая «ничего», улыбался, а Эсмер почему-то беспокоилась, вновь и вновь под разными предлогами входила в мою комнату, полным тревоги взглядом искала что-то в моем лице, в глазах, но на этот раз я сказал «не знаю» и не улыбнулся.

Она повторила вопрос:

— Я спрашиваю, что с тобой?

— А я говорю, не знаю... — сказал, посмотрев на Эсмер сквозь сигаретный дым, и не улыбнулся.

Она снова пристально оглядела меня и вдруг сама улыбнулась, давно я не видел такого умиротворения в лице Эсмер; мое «не знаю», мою серьезность она истолковала как полную откровенность и безопасность для себя: раз я ничего не скрываю, не улыбаюсь фальшиво, значит, все хорошо... А может быть, я действительно не в состоянии улыбнуться и действительно «не знаю»... Тогда как?

XI

До войны, особенно перед весенним праздником новруз-байрамом, женщины, каждая со своей мукой, маслом, другими продуктами, часто собирались у нас и вместе с мамой пекли пирожки с сахаром и орехами — шекербура, слоенный пирог-пахлаву, соленые колобки-шоргогалы; иногда просто так, в будний день уговаривались готовить лакомые блюда у нас дома; без умолку говорили, сообща месили тесто, сообща мелко рубили мясо (что купили вечером, собрав деньги, у мясника Дадашбалы) секачом на доске, нарезали кусочки теста, и аромат плоских пирожков с мясом — кутабов распространялся по всему тупику, а вечером каждая забирала свою долю; поскольку аромат кутабов разносился на весь тупик, семье, не участвовавшей в этой затее (в том числе и тете Амине), посылали по три-четыре кутаба в подарок.

До войны женщины чаще всего собирались и стряпали у

нас, потому что отец часто бывал в рейсе, мужчин в доме не было, и они никого не стеснялись, говорили о чем угодно и сколько угодно.

Тетя Сафура, раскатывая скалкой тесно, говорила:

— Эх, на свете есть такие места, такие горы, как в сказке. Эйнулла говорит, что в этих горах бьют ледяные родники — кружкой зачерпнешь, выпьешь, и всех твоих горестей и забот как не бывало.

Тетя Мешадиханум, предпочитавшая работу полегче, укладывая горкой готовые кутабы, откликнулась:

— Выпила бы я такую кружку разом, может, и мне светлый денек бы выпал.

Тетя Фируза, лепя крохотные джюбере¹, заметила:

— Есть такие места, конечно, почему нет? Хафиз говорит, в Москве теперь дома так строят, что по лестницам уже пешком не поднимаешься. Сядишься в машину, тебя поднимает наверх. И к тому же без денег, представляешь!..

Тетя Ниса, нарезаая раскатанное тесто на круги величиной с блюдце, говорила:

— Эх, все зависит от того, где тебе хорошо. Где тебе хорошо живется, там и место хорошее!..

Сидя у керосинки, переворачивая кутабы на чугунной сковородке, мама сказала:

— Эх, Агакерим такое рассказывает про русские города и села, ей-богу, голова кругом идет!.. Он говорит...

Тетя Ханум, отрезая от теста новые кусочки, прервала маму на полуслове:

— Как вам не стыдно? Что вы ноете? Чем недовольны? Что ворчите, а? Почему это здесь вам так плохо стало?

Грозным взглядом из-под широких бровей тетя Ханум оглядывала по очереди тетю Сафуру, тетю Мешадиханум, тетю Фирузу, тетю Нису, маму, и все они тотчас умолкали и некоторое время так вот молча работали, старались не смотреть на тетю Ханум, но в конце концов тетя Мешадиханум не выдерживала, заговаривала о другом:

— Ей-богу, Мухтар хороший человек, пусть говорят что хотят! Кюбра — бездетная, да еще такая больная, а Мухтар ее не бросает... Ей-богу, всякий на месте Мухтара

женился бы на другой, детишек завел... Ну и что же, что у него уши маленькие?..

Но тетя Ханум и на этот раз прикрикнула на тетю Мешадиханум:

— Хороший, плохой, его дело! Нам-то что? Что нам за дело до ушей Мухтара, а?

После этого у женщин вовсе пропадала охота судачить, и они начинали торопиться, чтобы побыстрее закончить и уйти, потому что тете Ханум они грубить не смели и при тете Ханум сплетничать не смели, будь то у нас дома, в бане или на улице. Например, в бане тетя Мешадиханум, глядя на вздутый живот тети Фирузы, говорила: «Как только поняла, что беременна, надо сразу же закрыть глаза, если хочешь, чтобы был мальчик; потом ты должна подождать, чтобы луна вошла, открыть глаза, чтобы первой увидеть луну, а если, наоборот, девочку хочешь, тогда надо первой увидеть солнце...» Тетя Ханум вонзала свой черный взор в тетю Мешадиханум и спрашивала: «А может, зима, может, солнце целую неделю не выйдет, тогда как? Глаза не открывать?» Тетя Мешадиханум отвечала: «Да». Тетя Ханум говорила: «Слушай, походи закажи молитву, чтобы поумнеть!.. Взрослая женщина, а такую чушь порешь, людям головы забиваешь!» Или, например, когда я, прежде чем налить в чайник свежей воды из нашего дворового крана, выливая кипяток на землю, мама кричала: «Не лей, не лей горячую воду на землю! Попадет на джинна, обожжет, в беду попадем!..» Тетя Ханум, не удержавшись, с веранды ворчала на маму: «Слушай, Сона, ну что ты такое говоришь, зачем ребенка пугаешь?» Мама отвечала: «Как быть, тетя Ханум, люди так говорят, да...» — «А может, люди начнут биться головой о стенку, ты тоже будешь?» Мама умолкала, не оправдывалась; я никогда не видел, чтобы у нас в квартале какая-нибудь женщина перечила Ханум-хале.

Что до Мухтара, о котором говорила тетя Мешадиханум, то он жил по соседству, но, в сущности, не был «нашим»: государство дало ему квартиру на втором этаже единственного трехэтажного дома в нашей махалле, и каждое утро за ним приезжала черная «эмка». Эта же машина привозила Мухтара с работы. Никто не знал точно, какую должность занимает Мухтар, но шофер стоял перед ним навтыжку. Мухтар никогда, как другие мужчины, наши соседи, в выходной день не играл в нарды, сидя на тротуаре, не пил чай под тутовым деревом, не принимал

¹ Д ж ш б е р е — азербайджанское национальное блюдо. Напоминает пельмени.

участия в свадебных или траурных церемониях, ни с кем не разговаривал, только здоровался кивком головы и садился в «эмку» или выходил из нее и шел домой. Осенью, зимой и весной на Мухтаре всегда был длинный черный кожаный пиджак, говорили, что под этим пиджаком у Мухтара пристегнут к поясу пистолет; на голове у него тоже красовалась кожаная шапка, а летом он надевал застегнутую на все пуговицы темно-кофейного цвета рубашку; обут он был в черные хромовые сапоги, а темно-кофейные галифе Мухтара были знамениты на всю округу. И еще в квартиру Мухтара провели телефон (в махалле больше ни у кого не было телефона), и перед Мухтаром робели, потому что робели перед телефоном, перед черной машиной, перед черным кожаным пиджаком.

Кроме женщин-соседок, никто в махалле, даже дети, не любили говорить о Мухтаре, но однажды распространилась весть, будто Мухтар по ночам пьет коньяк из пупка Шовкет, это рассказывали молодые парни, потом услышали мальчишки, и мне тоже сообщил эту новость Джафаргулу (по возрасту он был старше нас, но младше парней и потому обычно общался с нами, но иногда крутился и среди парней). Я сначала очень удивился:

— А почему из пупка Шовкет?

Джафаргулу удивился моему удивлению:

— Как это почему?

— Пусть нальет в стакан и пьет...

Джафаргулу махнул рукой:

— Эх ты... Да ты же ничего не понимаешь, оказывается!..

Мне не хотелось выяснять, что именно я не понимаю, потому что я чувствовал, что здесь что-то дурное, а маленький Алекпер, наверное, в глубине души не хотел слушать дурного о Шовкет, и потому я не спросил ничего у Джафаргулу, но вдруг перед моими глазами возник белый, гладкий живот и глубокий пупок Шовкет.

Дело в том, что прежде, когда мама брала меня с собой в женскую баню, там часто бывала и Шовкет, и на белом и полном теле, гладкой коже, круглых бедрах Шовкет, в отличие от других женщин, не было ни одной морщинки; Шовкет всегда смеялась, всегда была в хорошем настроении, и здоровое, полное, налитое тело Шовкет тоже словно смеялось и радовалось.

Однажды в бане Шовкет внимательно посмотрела на мои волосы, потом наклонилась ко мне, взяла мою голову

в ладони, притянула к себе, и крупный мокрый сосок упругой торчащей груди Шовкет коснулся моего лица, потом Шовкет громко сказала женщинам:

— Смотрите, у него на голове три седых волоска!.. Счастливец вырастет, счастливец будет! — Шовкет отпустила мою голову, выпрямилась, и упругие груди оказались выше моей головы.

Маме тоже, как и другим соседским женщинам, не нравилась Шовкет, но слова, сказанные в бане, пришлось ей по душе.

— Да услышит тебя аллах! — сказала она.

Однажды, когда я, как обычно, смотрел на Шовкет в бане, она отвела от лица мокрые черные волосы, взглянула на меня сияющими большими зеленоватыми глазами, потом вдруг подмигнула, расхохоталась и сказала моей маме:

— Слушай, Сона, а он ведь ест меня глазами, зачем ты водишь его сюда?

Я так смутился, что лицо мое запылало; я не знал, что делать, но в хохоте Шовкет, в сиянии ее больших зеленоватых глаз, как и в белом, полном теле, гладкой коже было что-то такое, что я на нее не обиделся.

После этого происшествия я больше никогда не ходил с мамой в женскую баню; как мама ни старалась («Черт с ней! — зло ворчала она на Шовкет. — Почему ты из-за шутки какой-то стервы не идешь в баню?»), я все-таки не ходил, и вообще, я не хотел, чтобы мама говорила об этом, и не хотел, чтобы Шовкет ругали, чтобы Шовкет называли стервой; я больше ни разу не пошел в женскую баню, и после этого мама стала купать меня на кухне, грея воду в ведре.

Шовкет жила несколько в стороне от нашего тупика, около раздвоенного тутового дерева, и дверь ее одноэтажного, побеленного желтоватой известкой дома открывалась прямо на улицу. Шовкет жила одна, отец и мать ее давно умерли, и у нас в махалле никто их не видел, потому что Шовкет тоже, как и Мухтар, была здесь пришлой. Мама говорила, что в том двухкомнатном домике, где теперь живет Шовкет, прежде жила семья кровельщика Мирзы, потом семья кровельщика Мирзы переселилась в Мардакяны, а дом продали Шовкет; откуда у Шовкет были такие деньги, никто не знал, и когда заходил среди женщин об этом разговор, они многозначительно переглядывались, как говорили, у нее был старший брат,

но он с Шовкет не общался и не разговаривал, потому что Шовкет когда-то сбежала с женатым мужчиной, а потом этот мужчина из-за чего-то ее выгнал.

Шовкет попросила дядю Мейрангулу, и дядя Мейрангулу сколотил ей скамью рядом с раздвоенным тутовым деревом (тот день я хорошо помню: дядя Мейрангулу сколачивал скамью, а дядя Азизага, стоя на противоположном тротуаре, наблюдал, и между ними произошел тогда не понятый мною разговор: «Мейрангулу, здорово ты стараешься...» — «Э, Азизага, в мои лета я мед через стекло слизываю. На другое сил не хватит!..» (дядя Азизага громко рассмеялся); и Шовкет весной, летом, в начале осени по вечерам после работы или в выходные дни с утра до вечера, сидя на этой скамье, лузгала купленные у тети Зибы семечки, здоровалась, шутила, смеялась, хохотала с прохожими; иногда Шовкет вскакивала и заходила в дом, и это означало, что на улице вышла тетя Ханум. Почему Шовкет так боялась тети Ханум, никто не знал, и когда мы спрашивали об этом у Балакерима, он говорил: «Разве вы не знаете, что ужасный змеей пестрой веревки боится?..» Мы, конечно, смысла этих слов тоже не понимали, но, как всегда, делали вид, что все поняли, и спрашивали у Балакерима, почему Шовкет так хохочет? Балакерим говорил: «Верблюду сказали, у тебя шея кривая! Он ответил, а что у меня ровное, чтобы шея тоже была ровной?» Мы и этих слов не понимали (я, во всяком случае, ничего не понимал!), но понимали, что слова, сказанные Балакеримом, не в пользу Шовкет, и я этому удивлялся, потому что в махалле все знали, что Шовкет щедро оделяла Балакерима печеньями, конфетами, пряниками, пирожными, которые приносила с фабрики, и Балакерим часто был сыт именно за счет этих даров.

Шовкет работала на кондитерской фабрике, и карманы ее просторного длинного цветастого халата всегда были полны конфет. После той истории в бане она иногда мне подмигивала и, вынув из кармана конфету, протягивала. «Возьми, хорошая конфета, ну бери...» — говорила она, но я убежал, боялся, что, если подойду, Шовкет схватит меня за руку, удержит и, глядя мне в лицо, расхохочется, как в бане, я убежал, а Шовкет, смеясь, приговаривала мне вслед: «Этот еще не знает вкуса конфет!..»

Молодых девушек и женщин махалли тайно тянуло к Шовкет; в летнее время, в разгар дня, когда на улице нико-

го не было (только Шовкет, сидя в тени раздвоенного тутовника, лузгала семечки), они, направляясь в магазин за чаем, маслом или в лавку за керосином, если выдавался удобный случай, останавливались около Шовкет, слушали, как она, сидя в тени раздвоенного тутта и лузгая семечки, говорит и смеется.

Шовкет говорила:

— Клянусь богом, у меня часы испортились... Хочу отнести Гюльаге, чтобы починил, да боюсь его жены!..

Шовкет говорила это хохоча, и собравшиеся вокруг нее молодые девушки и женщины, не в силах удержаться, тихонько посмеивались, но при этом краснели и опускали глаза.

Я удивлялся, почему девушки и женщины краснеют, смущаются от этих слов Шовкет, и однажды спросил у мамы:

— Я слышал, как Шовкет говорила: у меня часы испортились, хочу дать Гюльаге починить...

— Ну и что? — сказала мама.

— Вот и спрашиваю... Что тут такого, что женщины краснеют?

Меня охватило полное изумление, когда мама, посмотрев на меня, вдруг тоже сильно покраснела.

Правда, я немного побоялся Шовкет, мне было даже как-то тревожно из-за Шовкет, но, как я уже говорил, мне не хотелось, чтобы о ней дурно говорили, и когда Джафаргулу сказал, что Мухтар пьет коньяк из пупка Шовкет, мне хотелось всем сказать, что это неправда, хотелось верить, что такого быть не может, но, конечно, никто бы мне не поверил, мои слова не имели никакого веса, потому что я был самым младшим среди товарищей; а сам я понимал, что сказанное Джафаргулу, может быть, и не обман, знал, что между Шовкет и Мухтаром есть что-то тайное, потому что однажды сам видел их... ночью...

Джабраил соорудил для меня в конце нашего двора, рядом с голубятней, ящичек из досок, и я держал в этом ящичке свои игрушки. Однажды ночью я проснулся от шума дождя и некоторое время слушал, как дождь стучал по крыше нашего дома, по дверям, по асфальту, потом сквозь шум дождя услышал неурочное воркование голубей и вспомнил, что игрушки мои остались под дождем (доски ящичка были пригнаны неплотно, дождь проникал

внутри), и, чтобы мама не проснулась (отец, как всегда, был в дороге), я тихонько встал, накинул мамин платок и вышел во двор, я никогда не видел наш двор таким пустынным, мне показалось, что двор наш тоже спит, некоторое время, стоя под деревянной лестницей тети Ханум и плотно завернувшись в мамин платок, я наблюдал за одиночеством нашего двора, слушал воркотню голубей, журчание воды в водосточных трубах, шум дождя, бьющего по крыше, по асфальту; меня так захватило волшебство одинокого двора, этого журчания и шума, что игрушки вылетели у меня из головы, и я, съевшись под маминим платком, выбежал из дворовых ворот в тупик, и тупик наш увидел совершенно пустым, каким никогда не видел, и мне показалось, что это не тот тупик, где я с утра до вечера играл в футбол, энзели¹ («Коза вошла в огород!.. Влетел камень козе в рот!.. Отвели ее к врачу!.. Врач промолвил: не хочу!..»), вращал матерчатые шарик со свинчаткой внутри, прыгал и скакал, в ту полночь под проливным дождем наш тупик был частью историй Балакери-ма; я выбежал в переулок и переулок наш увидел таким же пустынным, залитым дождем: все огни погасли, все окна спали, только слегка поблескивали булыжники, которыми был вымощен наш переулок, да листья раздвоенного тутового дерева; и в это время я стал свидетелем самого неожиданного: отворилась наружная дверь дома, где жила Шовкет, и мужчина, выйдя оттуда, быстро зашагал вниз по улице и исчез у дверей трехэтажки.

Правда, было темно, лица мужчины не было видно, но я тотчас узнал его по блеску кожаного пиджака, смоченного дождем: это был Мухтар, и вообще даже без кожаного пиджака маленький Алекпер узнал бы эту тень.

Дрожа от холода, я вернулся, лег в постель, укрылся одеялом с головой, после промокшего мамино платка одеяло обдало домашним теплом, и я подумал, интересно, что делали Шовкет с Мухтаром в это ночное время в доме Шовкет? Сколько ни думал, не мог найти подходящего ответа, но вот что было для меня открытием: оказывается, и у нашей махаллы есть ночные тайны... Еще некоторое время я прислушивался к шуму дождя, воркотне проснувшихся голубей, журчанию в водосточных трубах и пришел к заключению, что Шовкет не хотела в такую ночь оставаться одна, поэтому они сидели и беседовали с Мух-

таром, но почему с Мухтаром? Перед глазами возникли маленькие уши Мухтара, и я в эту дождливую ночь в разостланной на полу постели никак не мог в своем воображении соотнести Мухтара ни с этой ночью, ни с Шовкет; и потом, ведь жена Мухтара, тетя Кюбра, осталась дома одна... Снова я прислушивался к шуму дождя, воркотне голубей, и, по правде сказать, в ту дождливую ночь мне тоже захотелось встать и побеседовать с кем-нибудь, я даже собрался было разбудить маму, но не разбудил, потому что весь день она стирала во дворе и устала.

Я никому не рассказал о том, что видел в ту дождливую ночь, даже Джафаругулу ничего не сказал, потому что, хотя я не мог понять, что могли делать в ночное время Шовкет с Мухтаром, но хорошо знал, что, если расскажу кому-либо эту историю, она тотчас разнесется по махалле и наши мужчины, если и не убьют Шовкет (в доме не было ни брата, ни отца, чтобы убить Шовкет), то, во всяком случае, прогонят в другой район города; хотя Шовкет подмигивала мне, лузгая семечки, и громко хохотала, и я немного побаивался Шовкет, мне не хотелось, чтобы ее прогнали из квартала, и еще мне не хотелось, чтобы тете Кюбре стало совсем плохо.

Иногда, когда Мухтар, усевшись в черную «эмку», уезжал на работу, тетя Кюбра, выглянув из окна веранды второго этажа трехэтажки, звала нас:

— Идите сюда, ушаглар¹, идите!.. Поднимайтесь наверх!

Все мы — окрестные детишки — по каменной лестнице поднимались на второй этаж, сняв обувь, входили в комнату и рассаживались вокруг круглого стола посреди комнаты. У нас в домах никогда не пекли пирожков, и мы думали (во всяком случае, я так думал), что пирожки пекут только на улицах, в школьных буфетах, но потом обнаружил, что тетя Кюбра тоже печет очень вкусные пирожки с мясом, картошкой и горохом. Раз в неделю или десять дней тетя Кюбра пекла для нас пирожки, и мы, садясь за круглый стол, накрытый скатертью с бахромой, ели пирожки.

Мама с соседками говорили:

— Бедняга Кюбра, переживает за детей!

Они не сердились, что мы ходим туда и едим испеченные тетей Кюброй пирожки.

¹ Э н з е л и — азербайджанская детская игра.

¹ У ш а г л а р — дети, ребята.

Тетя Кюбра всегда задыхалась, она приносила из кухни тарелку, полную горячих пирожков, ставила перед нами, и я каждый раз удивлялся, что тетя Кюбра так тяжело дышит, хрипит, с трудом передвигается, потому что однажды я слышал, как тетя Мешадиханум говорила маме, что у мужчины с маленькими ушами жены бывают красивыми; у Мухтара уши были очень маленькие, но тетя Кюбра была некрасивой... Зато Шовкет была красивой, и, когда я думал об этом, перед моими глазами возникал белый, гладкий живот и глубокий пупок Шовкет.

— Ешьте! — говорила тетя Кюбра, а сама, еле дыша, садилась на стул рядом с нами (у этих стульев спинки были из черной кожи, как пиджак Мухтара), отдышалась, смотрела по очереди на каждого из нас и говорила: — Ешьте! На этот раз пирожков с мясом маловато... Я поручила Мухтару, пусть купит для вас хорошее мясо, на будущей неделе, бог даст, испеку побольше мясных пирожков... Только бы все были здоровы! Ешьте!

Слова тети Кюбры казались мне очень странными: я считал, что Мухтар — человек, сам дающий всем поручения, а ему самому никаких поручений давать нельзя, и еще мне было удивительно, что Мухтар знает, что, после того как он садится в «эмку» и едет на работу, тетя Кюбра печет для нас пирожки, и Мухтар не злится из-за этого на свою жену, почему-то мне казалось, что мы сюда приходим и едим пирожки по секрету от Мухтара и Мухтар, узнав об этом, должен был рассердиться на тетю Кюбру.

В доме тети Кюбры самой интересной вещью, конечно, был телефон, и мне очень хотелось, чтобы было такое место, куда я мог бы, подняв трубку этого черного телефона, позвонить, но такого места не было.

Порой, когда мы ели пирожки, этот черный телефонный аппарат, стоящий на белой кружевной салфетке, начинал громко звонить (иногда мы слышали этот звонок, даже играя на улице), и все мы вздрагивали и прекращали жевать. Тетя Кюбра, задыхаясь, подходила, брала телефонную трубку.

— Ай джан, — говорила она, заранее зная, кто звонит, потом улыбалась. — Хорошо, Мухтар. Ей-богу, мне хорошо, никакого врача не нужно, не беспокойся. Что тебе приготовить? Ей-богу, говорю тебе, все в порядке... Не беспокойся... Аллах хаггы!..¹

¹ Аллах хаггы — клянусь аллахом.

Потом тетя Кюбра очень осторожно клала трубку на рычаг, как будто боялась, что резкое движение причинит вред Мухтару, и я искренне удивлялся, что тетя Кюбра разговаривает с Мухтаром, как моя мама со мной.

— Ешьте! — говорила тетя Кюбра, и мы, обжигаясь, с удовольствием ели горячие пирожки, потом, когда, опустошив тарелку, мы собирались уходить, тетя Кюбра давала нам газетный сверток, в котором было несколько пирожков: — А это отнесите Балакериму...

Тетя Кюбра никогда не спускалась вниз из своей квартиры, во всяком случае я никогда не видел, чтобы тетя Кюбра куда-то уходила или просто так стояла на улице и беседовала с женщинами, даже в баню не ходила (Джафаргулу говорил невероятное, якобы Мухтар сам покупает дома тетю Кюбру), потому что она была больна, не могла спускаться и подниматься по ступенькам, но тетя Кюбра знала, что у нашей махаллы есть свой Балакерим.

Иногда мы сидели и ели пирожки, а тетя Кюбра, учащенно, с хрипом дыша, причем грудь ее болезненно вздымалась и опадала, снова шла на кухню, наполняла водой лейку, выходила на балкон и поливала цветы в горшках. На балконе было множество керамических горшочков, и в этих горшочках росли разные цветы, и однажды тетя Кюбра, поливая цветы, сказала:

— Когда я умру, эти цветы будут скучать по мне...

Правда, тетя Кюбра угощала нас вкусными пирожками, но никого из нас хорошенько не знала по имени, путала и однажды спросила меня:

— Тебя как зовут?

Я сказал.

— Ты сын Ханум?

— Нет, — сказал я, потом подумал, а вдруг тетя Кюбра решит, что я боюсь упоминать имя тети Ханум, потому что ем ее пирожки, и добавил: — Я не сын тети Ханум, но мы живем в одном дворе.

Дело было в том, что однажды зимой тетя Ханум осрамила Мухтара посреди улицы, при всем народе.

Та зима была похожа на осень, в Баку часто шли проливные дожди, и в один из этих дождливых зимних дней, в полдень, по округе разнеслась весть о том, что Мухтар велел посадить Абдулала — сына тети Ханум. Все соседи были совершенно ошеломлены, потому что, хоть Мухтар и был пришлым, но он жил в нашей махалле, и арестовывать парня из своего квартала мужчине не

подобало; даже если бы Абдулали убил человека, Мухтару не следовало так поступать, но через некоторое время выяснилось, что Абдулали никого не убил, никого не зарезал, не избил, а Мухтар потому велел арестовать Абдулали, что утром, когда «эмка» везла Мухтара на службу, Абдулали на своей полutorке обогнал ее, и уличная слякоть (всю ночь лил дождь) брызнула из-под колес полutorки на «эмку».

Дядя Агагусейн, проводя пальцем по своим пожелтевшим от папиросного дыма седым усам и качая головой, сказал:

— Да что же это такое? Из-за того, что его машину обогнали, молодого парня сажать в тюрьму?

Дядя Азизага сказал:

— Видно, конец света близок!..

Дядя Гасанага, указывая пальцем на застекленную веранду Мухтара, сказал:

— Да он же нас ни во что не ставит! Да что мы умерли, что ли, коль такие дела творит этот овраш¹? Или мы уже не мужчины, если этот пес так обращается с нами?

Среди женщин началась паника, жена дяди Гасанаги, теть Фатьма, говорила:

— Вот тебе на!.. Сидели спокойно у себя дома, занимались своими делами!.. И этот сукин сын Мухтар перевернул все вверх дном. Я же знаю своего мужа! Жена дяди Агагусейна, теть Сакина, сказала:

— Да что же это такое, а? Убьют ночью этого мерзавца Мухтара, а наши детки по тюрьмам глаза проглядят!..

Теть Мешадиханум говорила:

— Да вы что, не видите, какие у этого распутника уши? Да разве у мужчины могут быть такие уши?

Мы, то есть ребятишки махалли, весь день толпясь под раздвоенным тутовником, мокли под дождем, дрожали от ветра, ждали, когда наступит вечер, ждали приезда черной «эмки». Мы забыли, как часто ели пирожки в доме Мухтара; и про тетью Кюбру мы забыли; теперь мы считали Мухтара своим врагом, Джафаргулу даже засунул в носок под брюками железный осколок, решив, что, как только начнется драка между нашими мужчинами и Мухтаром, он ввяжется и воткнет этот железный осколок Мухтару в живот: возраст Джафаргулу не подходил под

судимость, и Джафаргулу, схватив, не посадили бы, а послали бы в детскую колонию; таким образом, он и Мухтара убивал, и наших мужчин от тюрьмы спасал. Только Балакерим на все эти разговоры не обращал внимания.

— Если что-то от тебя не зависит, — говорил он, — не надо об этом думать... — И, сидя под раздвоенным тутовником, на краю мокрого тротуара, особенно охотно играл на свирели.

Уроки, еда — все было забыто детьми, и мы обсуждали быстро распространяющиеся вести о ждущем Мухтара возмездии, о том, что будет вечером; Джафаргулу принес сообщение, что старший сын тети Ханум, Джафар, будто бы случайно встретил на улице черную «эмку», преградил ей дорогу своим автобусом, попросил Мухтара, чтобы он велел выпустить Абдулали, а Мухтар будто бы пригрозил Джафару: мол, и тебя велю арестовать. Я не знал, была ли эта новость, быстро, не переводя дыхания, сообщенная Джафаргулу, правдивой или нет; мне показалось, что Джафаргулу это сам выдумал, но, во всяком случае, он улучил момент и передал ее моей маме, и мама, хлопнув ладонью по колену, высказалась по адресу Мухтара:

— Ах, чтоб ты сгорел! Шипьон проклятый!

И тут в этот дождливый зимний день я увидел тетью Ханум. Как обычно в черном головном платке — келагаи, темно-синей юбке, такой же темно-синей кофте с мелкими белыми точечками, теть Ханум пришла к нам.

— Горох у меня кончился, Сона, — сказала она. — Если есть у тебя, одолжи немного. Ребята скоро вернутся, а обед еще не готов...

Мама, сидя на паласе в нашей комнате, распоролла мое одеяло и удлиняла его (в ту зиму все вдруг стало мне коротко: когда я ложился, ноги вылезали из-под одеяла), и как только мама увидела теть Ханум, она тотчас вскочила:

— А-а-а! Что это ты говоришь, теть Ханум, какой долг, как не стыдно?.. Крикнула бы сверху, Алекпер принес бы, зачем утруждалась, спускалась вниз?..

Видя спокойные глаза тети Ханум, глядящие из-под широких бровей, ее крепко сжатые губы, серьезное лицо, я не знал, что и думать: вся махалля занимается историей Абдулали, а теть Ханум спокойно сидит дома, готовит обед, как будто ничего не случилось.

В этот дождливый, ветренный зимний вечер к тому часу,

¹ Овраш — буквально: сводник.

когда возвращалась «эмка» Мухтара, дядя Гасанага, дядя Агагусейн, дядя Азизага и даже Алиаббас-киши вышли на улицу и встали у ворот дома Мухтара, на противоположном тротуаре. Алиаббас-киши был самый старший среди мужчин нашей махалли, ему было за восемьдесят, и об Алиаббасе-киши рассказывали одну странную историю (не знаю, было это на самом деле или нет, но я и теперь часто задумываюсь об этой истории)...

Джафаргулу на сей раз принес новость, что Алиаббас-киши вызвал к себе дядю Гасанагу: мол, не устраивайте в махалле скандала, — и, одевшись, вышел на улицу, решив сам просить Мухтара, чтобы он освободил Абдулали.

Дядя Агагусейн сходил домой, принес деревянный табурет, Алиаббас-киши, усевшись на табурет, положил подбородок на серебряный узорчатый набалдашник своей палки и устремил взгляд на дорогу, чтобы увидеть, когда появится черная «эмка».

Глядя на белоснежную бороду, на серебряную узорчатую палку Алиаббаса-киши, я думал: интересно, Алиаббас-киши тоже когда-то был ребенком?

Балакерим все играл на свирели, и какую именно мелодию играл Балакерим, сказать было, конечно, невозможно, потому что в звуках его свирели было понемногу от всех мелодий, и что играла, что говорила свирель в этот зимний вечер, знал только сам Балакерим.

Алиаббас-киши раза два кашлянул, потом, отведя взгляд от дороги, посмотрел в нашу сторону и позвал: — Балакерим!

Балакерим, перестав играть, взглянул в сторону Алиаббаса-киши, встал из-под раздвоенного тутовника, подошел к мужчинам, остановился перед Алиаббасом-киши. Алиаббас-киши спросил:

— Ну, как ты, Балакерим?

Балакерим сказал:

— Хорошо, дядя Алиаббас.

— Больше не играй, Балакерим.

— Хорошо, дядя Алиаббас.

— Не место здесь игре.

— Хорошо, дядя Алиаббас.

Балакерим отошел, рукавом желтого пиджака, потемневшего от дождя, вытер мундштук свирели, положил ее в карман и оперся спиной о стену Желтой бани.

На улице не было ни одной женщины: в это время

женщины, сидя дома, в тревоге ожидали, какая весть донесется с улицы, и, забыв стыд, наверняка ругали про себя Мухтара самой черной уличной бранью.

В конце улицы показалась черная «эмка» Мухтара, но тут произошло нечто совершенно неожиданное, и все обернулось не к ожидаемой с утра черной «эмке», а к нашему тупику: тетя Ханум впереди, а за ней Джафар, Адыль, Годжа, Джебраил, Агарагим, выйдя из тупика, быстрым шагом направлялись к парадной двери Мухтара. Черная «эмка» показалась одновременно с выходом семейства тети Ханум из тупика, и как это получилось — все были поражены.

Тетя Ханум шла на три-четыре шага впереди Джафара, Адыля, Годжи, Джебраила, Агарагима; прямо посередине мощенной булыжником улице шла на машину, и, когда черная «эмка» приблизилась к тете Ханум, шофер начал громко сигналить. Тетя Ханум будто ничего не слышала, будто это не машина ехала прямо на нее: на серьезном лице тети Ханум, в ее крепко сжатых губах не было и следа какого-либо волнения, только в черных глазах, глядевших из-под широких бровей, пылало пламя гнева.

Черная «эмка», издав на мокром булыжнике устрашающий скрежет, остановилась перед тетей Ханум, и Мухтар, у которого от злости дрожал подбородок, открыв дверцу кабины закричал:

— Эй, женщина...

Мухтар не успел произнести других слов, потому что тетя Ханум схватила его своей большой рукой за ворот кожного пиджака и стала вытаскивать наружу:

— А ну выходи на улицу! Выходи!..

От неожиданности Мухтар так вытаращил глаза, что они едва не вылезли из орбит; Мухтар растерялся, и мне показалось, что маленькие уши Мухтара ярко покраснели; он не выходил из машины, пытался забиться внутрь, пытался вырвать ворот из большой руки тети Ханум.

— Послушай, женщина! Послушай, женщина!

Мухтар не говорил других слов, а тетя Ханум не собиралась выпускать ворот Мухтара:

— Выходи!.. Выходи на улицу!..

Джафар, Адыль, Годжа, Джебраил, Агарагим стояли посреди дороги в двух-трех шагах от тети Ханум и, не говоря ни слова, смотрели, как тетя Ханум тянет Мухтара из машины, а Мухтар пытается вырвать ворот из руки тети Ханум. Все мы застыли под тутовым деревом;

поступок тети Ханум был таким неожиданным, что мы не могли в себя прийти; Алиабас-киши поднялся с деревянного табурета, но и он ничего не говорил, только смотрел во все глаза.

Шофер черной «эмки» был первым, кто пришел в себя, он выскочил из машины, вытащил из кобуры пистолет, выстрелил в воздух, но от звука этого выстрела никто даже не вздрогнул, а шофер посмотрел на стоявших на тротуаре мужчин, на стоявших посреди дороги молодых парней — Джафара, Адыля, Годжу, Джебраила, Агарагима, на нас, стоявших под раздвоенным тутовым деревом, и в полной растерянности произнес:

— Люди! Товарищи!.. — Потом рука его опустилась, глаза глядели испуганно, он не знал, что делать.

— Выходи на улицу!.. Выходи!.. И ты — мужчина? Тьфу! — Тетя Ханум выпустила ворот Мухтара, и этот жест (освобождение ворота) и плевков в лицо Мухтара произошли одновременно.

Мухтар ладонью стер с лица плевков тети Ханум.

На улице стояла такая тишина, как будто все умерло, как будто и сердца в груди у людей остановились.

Сложив вместе два длинных пальца правой руки, тетя Ханум, чуть ли не тыча ими в глаза Мухтара, громко сказала:

— Клянусь, если сегодня ты не велишь ребенка выпустить, я пойду, куда надо. И над тобою главные есть, их найду! Пойду к ним! Тебе такую головомойку устрою, что материнское молоко у тебя через нос потечет! Ты что думаешь, я умолять тебя буду? Да ты косынку должен носить, а не папаху!..

Мухтар, кажется, немного пришел в себя; во всяком случае, Мухтар должен был выйти из машины, даже если он не принимал во внимание собравшихся на улице людей, все же перед шофером было стыдно, и к Мухтару снова вернулась уверенность, порожденная наличием пистолета у него на боку, кожаного пиджака, хромовых сапог, черной «эмки», черного телефонного аппарата в доме; выйдя из машины и вытирая о полу кожаного пиджака руку от плевка тети Ханум, он сказал:

— Женщина, веди себя прилично!

Тетя Ханум отрезала:

— Сам ты женщина!

Мухтар сказал:

— Ты еще увидишь!

Тетя Ханум сказала:

— Ты тоже увидишь! — Потом обратилась к стоявшим на тротуаре Алиабасу-киши, дяде Гасанаге, дяде Агагу-ейну, дяде Азизаге: — Если вы скажете ему хоть одно слово, тронете его пальцем, вы — не мужчины! Я еще не умерла пока! — сказала она и, повернувшись, так же быстро, как пришла, пошла посередине улицы в сторону нашего тупика; Джафар, Адыль, Годжа, Джебраил, Агагагим пошли за тетей Ханум...

...Последовавших за этим событием я не видел, но они и теперь у меня перед глазами...

...Кем и где Мухтар работает, никому в нашей округе гочно известно не было, и на другой день, тоже дождливый, рано утром полуторка Адыля стояла перед тупиком, и тетя Ханум впервые за всю свою жизнь села в управляемую сыном машину, в кабину рядом с Адылем, подождала, когда пришла, пошла посередине улицы, увозя Мухтара на работу, и тогда полуторка Адыля тоже поехала по улицам города вслед за черной «эмкой».

Черная «эмка» остановилась перед воротами большого здания.

Адыль тоже остановил машину поодаль от черной «эмки».

Тетя Ханум сказала:

— Открой-ка дверцу!

Адыль открыл дверцу кабины с той стороны, где сидела мать.

Тетя Ханум вышла из машины и сказала:

— Езжай на работу.

Адыль некоторое время не трогался с места, и тетя Ханум сердито посмотрела на сына снизу вверх:

— Я что говорю? Езжай на работу!

Адыль хотел что-то ответить, но, посмотрев на крепко сжатые тонкие губы матери, на ее глаза, сверкающие из-под широких бровей, ничего не сказал и тронул машину с места.

Полуторка уехала.

Тетя Ханум посмотрела в сторону черной «эмки».

Рядом с воротами была будочка, из нее вышел человек с пышными усами в милицейской форме, вскинул ладонь к виску, открыл железные ворота, и черная «эмка», на которой ездил Мухтар, въехала во двор здания. Милиционер закрыл ворота и вернулся в будочку.

Было зимнее холодное утро, пошел редкий снег, но

ложась на землю, хлопья таяли, оставляя мокрые пятна.

Тетя Ханум остановилась перед воротами, внимательно посмотрела на здание, потом приблизилась к будке, открыла дверь и сказала милиционеру с пышными усами:

— Салам-алейкум.

— Алейкум-салам,— сказал милиционер и удивленно воззрился на женщину, возникшую в дверях будки.

Тетя Ханум сказала:

— Ваш главный нужен мне!

— Кто нужен?

— Ваш главный!

Милиционер с пышными усами был армянином, он рассмеялся и с армянским акцентом сказал на азербайджанском языке:

— Ахчи¹, тут все для меня главные... Здесь я самый маленький человек, поняла?

— Поняла.

— Теперь говори, кто тебе нужен?

— Главный над всеми в этом здании!

— Вах! Он вызвал тебя?

— Нет.

— Знает тебя?

— Нет.

— Ты знаешь его, ахчи?

— Нет.

— Ха, тогда чего ты хочешь?

— Разве ты не понял, чего я хочу? Я хочу главного в этом здании!

На сей раз милиционер не успел открыть рот, потому что в окошко будки увидел, что еще одна черная «эмка» остановилась перед воротами, поспешно встал, прошел мимо тети Ханум, снова встал навытяжку перед черной «эмкой», вскинул ладонь к виску, открыл железные ворота, черная «эмка» въехала во двор, милиционер закрыл ворота, пошел к своей будке и сказал стоявшей на том же месте тете Ханум:

— Иди, ахчи, иди... Тебе здесь не место! — и закрыл перед тетей Ханум дверь будки.

Тетя Ханум снова встала перед воротами, внимательно оглядела одно за другим окна здания, потом посмотрела на будку, а через окошко будки — на милиционера с пышными усами.

¹ Ахчи — сестра (арм.).

Милиционеру было лет под шестьдесят, из-под фуражки виднелись его поседевшие волосы, на деревянном табурете рядом с ним горела электроплитка, и, как видно, он дрожал от холода, держа руки над плиткой.

Многие приходили в здание пешком, войдя в будку, здоровались с милиционером, показывали ему маленькую книжечку и проходили через заднюю дверь будки. Некоторые, смеясь, говорили что-то милиционеру, и он, смеясь, отвечал им, а другие только кивали и проходили; были и такие, что даже не здоровались, голову держали совершенно прямо, как статуи, и проходили молча. Милиционер время от времени поглядывал в окошко на тетю Ханум и качал головой.

Подъехала еще одна машина, остановилась перед воротами, и в этой машине кроме шофера сидел кто-то вроде Мухтара. Милиционер опять, выйдя из будки, вскинул перед машиной ладонь к виску, человек сидевший в машине, кивнул головой, милиционер открыл железные ворота, впустил машину во двор, снова закрыл ворота, вернулся в свою будку и сказал тете Ханум:

— Ахчи, пожалей себя, воспалением легких заболешь. Ступай займись своими делами.

Тетя Ханум сказала:

— У тебя свои дела, у меня свои! Ты людям двери открывай!

— Вах! Какая ты злая женщина!

— Моя забота! Ты будь добрым!

Качая головой, милиционер вошел в будку, снова стал греть руки над электрической плиткой, не удержался, взглянул в окошко на тетю Ханум и опять покачал головой.

Тетя Ханум прошла из конца в конец улицу, где находилось это здание; кроме будки и железных ворот, другого входа не было, и тетя Ханум опять вернулась к воротам.

В здание больше никто не входил и никто не выходил, — наверное, начался трудовой день; милиционер словно забыл о тете Ханум, поставил на электроплитку маленький железный чайник, нацепил на нос очки и стал читать старый журнал «Огонек».

Снег шел все такой же редкий, падал на землю и таял, на асфальте оставались круглые мокрые пятна, и, когда ненадолго переставал идти, они высыхали.

В толстой шерстяной шали, накинутой на голову и

плечи поверх пиджака, тетя Ханум не чувствовала холода, но пальцы ног и рук околели.

Казалось, в этот холодный зимний день и огромное здание, как пальцы тети Ханум, окоченело; казалось, в этом здании никого не было, и тетя Ханум снова оглядела по очереди все окна: на всех окнах были темно-синие занавески; казалось, они были не вытканы из ткани, а вытесаны из темно-синего камня; ни одна рука их никогда не откидывала, никогда ветер их не колыхал.

Милиционер отвел глаза от журнала, тронул рукой чайник, проверяя, согрелся ли, потом потер руки, — наверное, хотел сохранить тепло чайника, потом решил продолжить чтение журнала, но вдруг посмотрел в окошко будки на тетю Ханум, сдвинул очки на лоб и снова покачал головой.

Шерстяная шаль постепенно намокала от редкого мокрого снега, но тетя Ханум не мерзла, только ощущала на плечах тяжесть шерстяной шали да еще стыли пальцы ног и рук.

Открылась дверь будки, и двое, выйдя из здания, прошли мимо тети Ханум и исчезли; вскоре вышел еще один человек.

Это были обыкновенные люди...

Милиционер заваривал себе чай.

Тетя Ханум приблизилась к воротам, внимательно прислушалась: изнутри не доносилось ни звука. Тетя Ханум открыла дверь будки:

— Ты меня внутрь непустишь, киши¹?

— Ахчи, ты интересная женщина!

— Пустишь меня внутрь или нет?

— Пропуск у тебя есть?

— Что?

— Бумага есть, говорю? Разрешение?

— Нет.

— Ну тогда чего ты хочешь?

— У меня к здешнему главному дело есть!

— Шипьона поймала?

— Что?

— Ничего. — Милиционер поднял крышку чайника, посмотрел, кипит или нет, потом сказал: — Заходи сюда и закрой дверь, холодно.

Тетя Ханум вошла в будку, закрыла дверь.

¹Киши — мужчина.

Милиционер спросил:

— У тебя действительно дело?

— Как это — действительно? Игру я здесь с утра?

— Вах! Очень важное дело?

— Да.

Милиционер протянул руку к телефонному аппарату, стоявшему на маленьком столике:

— Дай-ка я позвоню дежурному.

— А кто это?

— Дежурный.

— Мне здешний главный нужен, киши! Ты что, не понял?

— Ара, ахчи, ты меня с ума сведешь! Что ты скандал здесь устраиваешь? Ха, мой дед твоему деду должен что-нибудь? Иди, ступай домой, счастливого пути!..

— А ты оставайся в своей хибаре! — Тетя Ханум, хлопнув дверью, вышла на улицу и снова встала перед воротами.

Снег уже не шел, но подул холодный ветер.

Темно-синие занавески на окнах были все так же неподвижны, и маленькое окошко будки, где сидел милиционер с пушистыми усами, было единственным на все здание незапавешенным окном.

Милиционер пил чай, вдруг он поставил недопитый стакан на стол, тетя Ханум услышала звонок, милиционер выскочил из будки, открыл железные ворота, на этот раз со двора выехала большая, крытая брезентом машина, милиционер закрыл ворота, но не вернулся в будку, а подошел и встал перед тетей Ханум.

— Что выйдет из того, что ты будешь здесь стоять, ахчи? Почему не уходишь?

— Не твое дело!

— Вах! Представляю, что выносят те, кто живет в этом доме с тобой!.. Будешь стоять здесь и ждать его?

Тетя Ханум не ответила.

Милиционер сказал:

— Ахчи, какой ты наивный человек!.. Иди домой, напиши что хочешь в заявлении. Почитают заявление, вызовут тебя...

— Не твоя забота!

Милиционер, качая головой, вошел в будку и закрыл дверь.

Ветер все усиливался, снова пошел снег.

Так прошло несколько часов.

Большая, крытая брезентом машина, выехавшая давеча со двора, вернулась, милиционер закрыл за ней железные ворота, прошел мимо тети Ханум, ни слова не говоря, но перед дверью будки остановился.

— Иди выпей стакан горячего чая, упрямая мусурманка, замерзла же ты!

Тетя Ханум не ответила.

В это время еще один человек, через внутреннюю дверь будки, вышел на улицу, на нем было черное пальто, каракулевая шапка, и тетя Ханум, внимательно посмотрев на этого человека из-под широких бровей, быстро шагнула к нему, но ничего не сказала, потому что милиционер с пышными усами, глядя на тетю Ханум, легонько качнул головой, и тетя Ханум поняла, что это не тот, к кому нужно подойти.

После этого всякий раз, когда из здания выходил человек, тетя Ханум смотрела в сторону будки, и всякий раз милиционер легонько качал головой: мол, это не тот человек.

Так прошло полдня.

Когда снегопад усилился и ветер задул свирепо, милиционер еще раз вышел из будки.

— Ахчи, зайди, съешь хоть кусок хлеба!..

Тетя Ханум не ответила.

Милиционер сказал:

— Клянусь богом, из-за тебя меня с работы выгонят, да еще выговор дадут.

На этот раз тетя Ханум не удержалась:

— Очень высокий у тебя пост! Жалость какая!

Милиционер сказал:

— Вах! Ара, что за человек!.. Ара, что за женщина? У нее с языка яд каплет!..

Ворча он вернулся в будку, закрыл дверь, сел и, наверное, дал себе слово, что больше не глянет в ту сторону, где стоит эта женщина, но она так долго, так упорно стояла перед воротами, а метель становилась все сильнее, и это беспокоило милиционера с пышными усами больше, чем ее самое, он не мог, как обычно, сосредоточиться и читать старые номера журнала «Огонек», посмотреть на фотографии товарища Сталина, и чай не мог пить по-человечески, и есть хлеб с колбасой, принесенный из дому, и опять взглядывал в окошко будки на тетю Ханум, и опять, когда тетя Ханум собиралась подойти к очередному работнику, слегка покачивал головой, мол, не подо-

ди, от него помощи не будет, это не тот, кто тебе нужен, тебе же хуже будет.

Окна большого здания постепенно заносило снегом, и темно-синие занавески уже не были видны, снег наглухо залепил стекла.

Снег засыпал шерстяную шаль тети Ханум и, когда она поворачивала голову, он точно поскрипывал; тетя Ханум ни о чем не думала, только ждала, но легкое поскрипывание снега неожиданно без всякой причины напомнило этой женщине годы ее детства, перед глазами возникли лица отца, матери, белое чахоточное лицо Абузара.

Наступил вечер, и теперь уже покрывший улицы снег белел в сумеречной мгле.

Из здания выходило все больше людей, раздавались звонки, и милиционер открывал железные ворота; со двора выезжали черные «эмки», и тетя Ханум уже смотрела не на людей, выходящих из здания, не на машины, а на милиционера, он легонько качал головой, и тетя Ханум ни к кому не подходила.

Милиционер, время от времени выходя из будки, прочитал свое маленькое окошко; в будке зажегся свет, и окошко казалось глазом темного зимнего вечера.

Тете Ханум послышалось, что на этот раз звонок был особый, на другие звонки не похожий, и милиционер тоже как будто особенно подтянулся, торопливо вышел из будки, открыл железные ворота и, кивнув ей, подтвердил тем самым: выехавший со двора человек — тот, кого ждет тетя Ханум.

Тетя Ханум быстро приблизилась к машине; на заднем сиденье расположился плотный мужчина, и, когда тетя Ханум схватилась за ручку задней дверцы, этот человек с крайним удивлением посмотрел на тетю Ханум, потом на милиционера.

Милиционер стоял, вытянувшись в струнку, и правая ладонь его была вскинута к виску.

Шофер на мгновение остановил медленно выезжавшую машину, и сидящий сзади человек сам открыл дверцу.

— Что такое?

— У меня к вам дело!

Плотный мужчина снова взглянул на милиционера:

— Кто это?

Милиционер еще больше вытянулся.

— Не знаю!

Плотный мужчина крикнул:

— А что ты знаешь?

— Виноват!

Плотный мужчина приказал шоферу:

— Поезжай!

Машина сорвалась с места, и все это произошло так быстро, что тетя Ханум не успела ни сказать, ни сделать что-либо.

Черная машина удалилась, скрылась с глаз.

Милиционер стоял, все так же вытянувшись, глядя вслед удалявшейся машине, и только потом посмотрел на тетю Ханум.

Тетя Ханум не чувствовала ни рук, ни ног, но и холода не чувствовала; она повернулась и, чуть ли не по щиколотку утопая в снегу, пошла прочь.

Всю ночь шел снег, в Баку ударил мороз.

Наутро милиционер, сидя в своей холодной будке, все также держал руки над электроплиткой.

Милиционер был расстроен, проверив, есть ли вода в чайнике, поставил его на электроплитку, потом вынул из кармана большой платок, чтобы протереть стекла очков, и в окошко будки опять увидел тетю Ханум, стоящую против железных ворот. Милиционера с утра вызывали к начальнику, отругали, и теперь он должен был позвонить по телефону дежурному и доложить, что женщина, преградившая вчера вечером дорогу машине, снова пришла, но милиционер, глядя на женщину и ворча то на свою, то на ее судьбу, не стал никуда звонить, а вышел из будки, осторожно огляделся по сторонам и торопливо приблизился к тете Ханум.

— Уходи отсюда, — сказал он. — Уходи. Увидят тебя, плохо будет.

Тетя Ханум не ответила и не двинулась с места.

— Ара, клянусь богом, это кровью пахнет! Ара, это все мне на голову упадет, ей-богу! — Потом более мягким тоном добавил: — Иди домой, ахчи. Он не приходил сегодня. Два дня большое собрание будет, он будет там, на работу не придет.

Тетя Ханум промолчала, и милиционер, осторожно оглядевшись по сторонам, вернулся в свою холодную будку.

Весь снежный, морозный зимний день тетя Ханум с утра до вечера простояла на тротуаре против железных

ворот большого здания, и милиционер еще раз, так же осторожно оглядываясь, подошел к ней.

— Женщина, у тебя дома нет? — спросил милиционер. — Клянусь детьми, он не приходил, нет его здесь, Большое собрание идет, два дня он там будет... Ара, ахчи, ты мне не веришь?

Тетя Ханум впервые за день сказала:

— А вдруг придет?..

Это означало, что, мол, я тебе верю, но занимайся своим делом, не обращай на меня внимания.

Милиционер сказал:

— Ара, все может быть вдруг!.. Я сейчас могу упасть и умереть, ну и что? — Потом, убедившись в который раз за эти два дня, что увещевать эту женщину бесполезно, вынул из кармана шинели кусок хлеба: — Возьми, поешь хотя бы, упрямая женщина!

Тетя Ханум сказала:

— Большое спасибо. Иди сам поешь, на здоровье.

Милиционер не сказал больше ни слова, положил хлеб в карман, и, когда он направился к своей будке, тетя Ханум сказала вслед:

— Тебе-то я благодарна... Хороший ты человек...

По-видимому, эти слова тети Ханум в снежный, морозный зимний день растрогали милиционера с пышными усами, много чего повидавшего на свете.

Наступил вечер, все ушли, погасли и лампочки, горевшие за покрытыми снегом синими окнами, и милиционер сдал пост другому, а ожидаемая тетей Ханум машина не въезжала и не выезжала.

Так же прошел и третий день; тетя Ханум простояла с раннего утра до позднего вечера, пока не опустело здание, но ожидаемая машина так и не появилась. Однажды в «эмке» она увидела Мухтара, но Мухтар, как обычно, сидел, глядя прямо перед собой, и не увидел тетю Ханум, стоявшую на противоположной стороне улицы и пристальное смотревшую на него.

Черная «эмка» по-прежнему подъезжала и останавливалась у дверей дома Мухтара, Мухтар, выходя из машины, шел домой, и никто ничего не говорил Мухтару; не очень-то скоро после него приходила пешком тетя Ханум, и никто ничего у тети Ханум не спрашивал; все знали, что тетя Ханум рано утром куда-то уходит, но куда именно уходит, никто не знал, всем было совершенно ясно лишь

то, что тетя Ханум ходит туда, куда она ходит в связи с делом Абдулала.

Вся махалля ждала Абдулали, но Абдулала не возвращался.

И маленький Алекпер ждал Абдулала. И маленькому Алекперу, как и всем обитателям махалли, очень хотелось, чтобы тетя Ханум одолела черную «эмку», телефонный аппарат, черный кожаный пиджак...

На четвертый день, когда тетя Ханум встала у ворот этого здания, милиционер вышел из будки, поглядел на тетю Ханум и легонько кивнул головой. Тетя Ханум поняла, что ожидаемая ею машина во дворе.

И снова весь день шел снег, и тетя Ханум, время от времени отряхивая свою толстую шерстяную шаль, ждала до вечера, здание начало пустеть, едва различимые за заснеженными окнами огоньки гасли по одному, и наконец тетя Ханум услышала тот самый звонок.

Милиционер поспешно вскочил, подбежал к воротам, посмотрел на тетю Ханум, потом открыл железные ворота, и, когда черная машина выехала, тетя Ханум подошла быстрым шагом, встала перед машиной, обеими руками оперлась на капот.

Тот же плотный мужчина сидел на заднем сиденье и, увидев тетю Ханум, конечно, узнал ее, зло посмотрел на милиционера — милиционер стоял навтыжку с ладонью у виска, не дыша, как будто был куском дерева.

Шофер хотел выйти из машины, но плотный мужчина сказал:

— Не надо. — Потом открыл дверцу машины: — В чем дело? Чего ты хочешь?

— У меня к тебе разговор!

— Какой разговор?

— Жалоба у меня!

— На кого жалоба, арвад¹? Что за безобразие!

— На тебя жалоба!.. И на твоих работников!

— Что? — Плотный мужчина изумленно потянулся вперед. — Что ты сказала?

Будто ветер качнул стоявшего навтыжку с ладонью у виска милиционера.

— Я сказала, на тебя моя жалоба и на твоих работников! Ты что, не человек? Не живой человек? Всю

жизнь так и проедешь на этой машине? — Тетя Ханум стояла, опершись обеими руками о капот машины, и не двинулась с места. — Нет начальника выше тебя?!

Плотный мужчина с неподобающей его фигуре резкостью вышел из машины, подошел к тете Ханум, посмотрел на ее освещенные фарами сжатые тонкие губы, на посяневшее то ли от гнева, то ли от холода лицо, на занесенную снегом, задубевшую шаль, длинную складчатую юбку, чуть ли не по колено утонувшие в снегу ноги и спросил:

— Так весь день и ждешь меня здесь?

Тетя Ханум не ответила.

Плотный мужчина сказал милиционеру:

— Пропусти ее! — и, быстро пройдя через будку, вернулся в здание.

Тетя Ханум убрала руки с капота машины, посмотрела на милиционера, отряхнула шаль и следом за плотным мужчиной вошла в здание...

...Я хорошо запомнил эту ночь...

По округе разнеслась весть, что Абдулала выпустили, он вернулся домой, и в снежный, морозный зимний вечер сам Алиаббас-киши вместе с дядей Гасанагой, дядей Агагусейном, дядей Азизагой пошли к тете Ханум и сказали «хош гялдин»¹, Абдулала.

В тот вечер мы играли в снежки сколько хотели, потом, разведя костер перед Желтой баней, собрались вокруг Балакерима, до полуночи слушали старинные таинственные истории, которые Балакерим рассказывал особенно охотно; никто не звал нас по домам, словно в наш квартал пришел неожиданный праздник.

В тот вечер Балакерим рассказывал о том, как люди враждуют друг с другом, как воюют армии, какие большие войны бывали в мире, о том, что Белый Верблюд заговорил как человек...

Конечно, никому из нас в голову не приходило, что одна из самых больших войн в мире ожидает нас, притаившись в засаде, пройдет совсем немного времени, и самая большая на свете война не оставит мужчин в нашей махалле, мужчинами будем только мы, да еще Балакерим...

Утром, после той прекрасной зимней ночи, ближе к полудню, в конце улицы показалась черная «эмка» Мухтара, и все удивились, потому что машина Мухтара

¹ Арвад — женщина.

¹ Хош гялдин — добро пожаловать.

появлялась рано утром, когда Мухтар отправлялся на работу, и вечером, когда он возвращался с работы. На этот раз черная «эмка» не остановилась у ворот дома, где жил Мухтар, она остановилась перед нашим тупиком, и я побежал туда. Выйдя из машины, Мухтар посмотрел на открывающиеся в тупик ворота, потом на меня и спросил:

— Ты здесь живешь?

Я кивнул.

Мухтар спросил:

— И они тоже здесь живут?

Я конечно же понял, о ком идет речь, и снова кивнул.

Мухтар торопливо сказал:

— Иди покажи мне, где они живут...

Я сначала не хотел показывать Мухтару, где живет семья тети Ханум, но увидел, что Мухтар очень спешит, и я понял, что эта спешка — не во вред тете Ханум, потом я посмотрел на его маленькие уши, и почему-то мне стало жалко Мухтара. Я пошел впереди, вошел в наш двор, Мухтар вошел следом за мной.

Мама лопатой очищала крыльцо от снега, и Мухтар, войдя во двор, поздоровался. Мама удивленно посмотрела на Мухтара и на приветствие не ответила.

Мухтар опять взглянул на меня:

— А где она живет?

Я кивком указал на застекленную веранду, где жила семья тети Ханум, и Мухтар собрался было подняться по ступенькам, но в это время тетя Ханум открыла окно веранды и выглянула во двор.

Мухтар увидел тетю Ханум, остановился на деревянной ступеньке, и я впервые в жизни увидел, как один человек краснеет под взглядом другого, причем не было сказано ни единого слова: в этот зимний день лицо Мухтара пылало как огонь, и маленькие уши его были ярко-алыми, и пылали маленькие уши, конечно, не от мороза.

Тетя Ханум спросила:

— Чего тебе надо?

Мухтар сказал прямо:

— Мне приказали перед тобой извиниться.

Тетя Ханум не стала долго задерживать покрасневшего Мухтара на деревянной ступеньке.

— Ладно, — сказала она. — Но уходи, и чтобы в этом дворе, в этом тупике ноги твоей больше не было!

Мухтар вышел со двора, вскоре послышался шум

черной «эмки», потом стало тихо, тетя Ханум закрыла окошко веранды, и в тишине слышались только дребезжание лопаты в маминой руке да скрип сгребаемого снега.

Вдруг тетя Ханум снова отворила окошко веранды и позвала меня:

— Поднимись наверх, Алекпер...

Я поднялся на веранду. Тетя Ханум, сидя на веранде, в одиночестве жарила кутабы. Сняв со сковородки один из кутабов, она посыпала его сумахом и протянула мне:

— Угощайся, Алекпер.

Я, обжигаясь, с удовольствием съел горячий кутаб. Тетя Ханум спросила:

— Удался кутаб, Алекпер?

Я сказал:

— Еще как! — и понял, что Ханум жарит эти кутабы для кого-то специально, иначе она никогда не задала бы такого вопроса.

И правда, в полдень подъехала полуторка Адыля, Адыль вышел из машины, поднялся домой, вернулся с большим свертком под мышкой и позвал меня:

— Идем, Алекпер, у меня к тебе дело.

Разумеется, я с удовольствием сел в машину Адыля, и, когда мы ехали по городским улицам, мне казалось, что белизна засыпанного снегом города — это белизна и чистота нашего квартала, что она перешла на чужие улицы и сделала эти чужие улицы родными.

Адыль положил рядом со мной врученный тетей Ханум сверток, и я по теплоте и запаху свертка понял, что это — кутабы.

— Куда мы едем? — спросил я.

— Мама велела отвезти и отдать это в подарок.

Адыль остановил машину немного в стороне от какого-то большого здания и, показав мне маленькую будку у высоких железных ворот, сказал:

— Возьми кутабы, Алекпер, отнеси, там сидит один милиционер-армянин, отдай ему. Скажи, этот гостинец мама посылает для его детей.

Взяв сверток, я спрыгнул с машины и, утопая в снегу, пошел к будке, открыл дверь: внутри сидел милиционер с пышными усами и грелся, держа руки над электроплиткой; он удивленно посмотрел на меня. Я положил сверток на маленький письменный стол перед ним (это был такой же столик, как у Годжи).

— Ара, что это такое? — спросил он.
— Подарок, — сказал я. — Тетя Ханум испекла кутабы и послала вам. Вам и вашим детям.
Милиционер снова удивленно посмотрел сначала на меня, потом на аккуратный сверток на столе.

— Мне?
Я сказал:
— Да.
— А тетя Ханум кто такая, матах?
Я знал, что по-армянски «матах» значит «дорогой».
— Ну, тетя Ханум, да... — сказал я, не найдя другого ответа.

Вдруг милиционер с пышными усами спросил:
— Ара, неужели эта та женщина? — И лицо его словно озарилось. — Ара, большое спасибо! Ара, ну зачем она беспокоилась? Ни от кого бы этот гостинец не взял, клянусь богом, но та женщина — особая женщина!

Я сказал:
— До свидания, — и вышел из будки, и милиционер тоже встал и вслед за мной вышел из будки.
— Ара, матах! — крикнул он. — Передай той женщине от меня большой привет! Наверно, ее дело уладилось, да?! Ара, клянусь богом, я даже мужчин таких не видел!.. Вах!..

Вечером по округе разнесся слух, что Мухтара повысили в должности, потому что он пришел с работы домой пешком; черная «эмка» не показывалась, и то, что Мухтар на работу и с работы ходит пешком, всем нам казалось странным; но однажды снова за ним пришла черная «эмка», и на этот раз по округе разнесся слух, будто Мухтара считают хорошим работником и поэтому его снова повысили в должности.

XII

Раза два в год отец брал меня с собой в рейс, я любил эти поездки больше всего на свете: ехать в поезде, вместе с отцом убирать вагон, когда поезд останавливался, вместе с отцом выходить из вагона на далеких, незнакомых, неведомых станциях, видеть на этих далеких станциях незнакомых, неведомых людей, покупать что-либо из провизии, наполнять корзину — если было на свете нечто, именуемое счастьем, то это было оно: но моя мама была

молода, красива, и уезжать, оставляя ее одну, не полагалось, да я и не хотел, чтобы мама оставалась одна, скучала по нас; но все-таки раза два в год я отправлялся с отцом в рейс (это бывали сравнительно близкие поездки: мы ездили в Махачкалу, на Минводы, самое дальнее — в Ростов); и вот однажды, рано утром, мы вернулись в Баку, вошли в дом и увидели, что у мамы глаза красны от слез.

Отец спросил:

— Что случилось? — и вопросительно улыбнулся.
По эту сторону Аракса у отца, кроме мамы и меня, никого не было, и он позволил себе улыбнуться, потому что если я и мама стоим перед ним живые — здоровые, значит, ничего страшного не произошло.

Мама всхлипнула:

— Бедная Кюбра, жена Мухтара, вчера скончалась.

Отец посерьезнел и сказал:

— Царствие ей небесное... Аллах рехмет элесия!..

Перед глазами у меня вдруг возникли фарфоровые горшочки на веранде тети Кюбры, цветы в горшочках; те цветы со вчерашнего дня остались без тети Кюбры, те цветы со вчерашнего дня тосковали по тете Кюбре, и мне стало очень жалко и тетю Кюбру, и ее цветы.

Мухтар хоронил тетю Кюбру без моллы, потому что говорили, что Мухтар — враг религии, и вообще, если такой человек, как Мухтар, пригласит моллу отпевать свою покойницу, это окажет дурное влияние на простых людей.

Правда, в махалле поговаривали, что Мухтар потихоньку дал деньги молле Асадулле, чтобы тот прочел заусокойную молитву по тете Кюбре, и взял с него слово, что молла никому ничего об этом не скажет; было ли это на самом деле или не было, не знаю, но такие разговоры ходили.

Тетя Кюбра умерла, Мухтар остался один, потом началась война, и мы больше не ели вкусных горячих пирожков, что пекла тетя Кюбра.

XIII

Из другой комнаты доносятся звуки рояля: моя дочь играет прелюдию Баха.

Прелюдии Баха вечны, они всегда будут с людьми; эти

прелюдии играли и сто лет назад, и сегодня их играет моя дочь, и через сто лет кто-то их будет играть.

А мелодии, которые играл на свирели Балакерим, никто больше не услышит.

Бах был гением, а Балакерим был никем.

Песня, которую сложит никто, исчезает навечно.

Это очень грустно...

XIV

Последнее время мне часто вспоминается Гюльага...

Гюльага будто сейчас у меня перед глазами: он был высокий, с орлиным носом, тонкими черными усиками, причем усики такие, будто сделаны из абсолютно черных тончайших шелковых нитей; и еще мне хорошо помнятся миниатюрные инструменты Гюльаги: когда я в Баку, в других городах, за границей вижу часовые мастерские, инструменты часовых мастеров, мне тотчас вспоминается Гюльага.

Гюльага был часовщик, и, если у кого-нибудь в квартале портились часы, Гюльага, выбрав время, приходил сам, раскрывал маленькую сумочку, вынимал инструменты; если это были наручные часы, надевал на правый глаз лупу и, быстро исправив часы, уходил (а денег, конечно, не брал).

Гюльага потому так спешил, что все свободное время проводил вместе со своей женой Соной; рано утром они выходили вместе из дому; Гюльага шел в мастерскую, Сона — на швейную фабрику, а вечером, после работы, они встречались, вместе приходили домой, затворяли двери и весь вечер были вдвоем или, тоже вдвоем, под руку шли в кино, в квартале даже говорили, будто они и в театр ходили.

Однажды, накануне весеннего праздника новруз-байрама, вечером, под раздвоенным тутовником мы собрались вокруг Балакерима, и Балакерим после долгой игры на свирели вдруг сказал:

— Давным-давно, очень давно был пророк Сулейман, вы знаете, я вам рассказывал. У этого пророка Сулеймана была жена, звали ее Бильгеис. Преданная была жена. И еще была птица-верблюд, эту птицу звали Буббу-гушу. Эта самая Буббу-гушу доносила каждому из них тайны другого. Так вот, Гюльага — это Сулейман. А Сона — Бильгеис. Что касается Буббу-гушу, то это Гюльага с Соной...

В этот вечер, когда мы сидели под раздвоенным тутовником, я узнал, что Балакерим давно уже играл на свирели для Гюльаги с Соной, и вообще я понял, что каждый раз, когда Балакерим, неожиданно выпув из кармана желтого пиджака свирель, начинал играть, эта музыка кому-то посвящалась, Балакерим о ком-то думал.

Когда началась война, Гюльага ушел на фронт и погиб: прошло некоторое время после известия о смерти Гюльаги, Сона куда-то переселилась, и я никогда больше ее не видел.

Теперь припоминаю, что через несколько лет после войны где-то от кого-то я слышал, будто похоронка была ошибочной, будто вернулся Гюльага, но не знаю, насколько это верно.

...Сона, как и Гюльага, часто мне вспоминается, и я думаю о Соне...

XV

Иногда, когда речь заходила об Ибадулле, Алиаббас-киши говорил:

— Царствие небесное Хамидулле!.. Хорошо, что вовремя переселился в тот мир, не увидел таким этого негодника!

Слова Алиаббас-киши всегда производили на меня сильное впечатление, не выходили из головы; и не только потому, что мне тоже был противен Ибадулла, — мне было жаль и того покойного Хамидуллу-киши, которого я никогда не видел, и тетю Амину; еще и потому, что порой, когда мы дрались или делали что-то дурное и наши мамы сердились на нас, они говорили: «Ей-богу, боюсь, в конце концов ты станешь Мамедбагиром!..» «Ну будь, будь Мамедбагиром, осрами нас на весь свет!» «Слушай, ты что, Мамедбагир, что ли?»

Я спрашивал у мамы:

— А кто это — Мамедбагир?

Мама торопливо отвечала:

— Никто, спи!

— Я знаю, это был сын Алиаббас-киши...

Мама сердилась:

— Ты ребенок, вот и занимайся ребячьими делами! Кому я сказала, спи?!

Алиаббас-киши жил около Желтой бани, и все знали, что в махалле Алиаббас-киши больше всех уважает тетя Ханум, а тетю Ханум очень уважает Алиаббас-киши.

Поскольку Алиаббас-киши жил один, соседки часто посылали ему гостинцы, но Алиаббас-киши неизменно возвращал аккуратно упакованный гостинец даже тете Сакине — жене своего ближайшего соседа дяди Агагусейна (конечно, если бы это был не Алиаббас-киши, а кто-нибудь другой, возвращение подарка вызвало бы недовольство и обиду, но на Алиаббаса-киши обижаться было нельзя, потому что он был старейшиной-аксакалом); но от тети Ханум он гостинцы принимал и иногда даже сам, постукивая палкой, отделанной серебром, приходил к нам во двор, стоя внизу, вызывая тетю Ханум и, как только тетя Ханум выглядывала в окно веранды, говорил:

— Ханум, мне кутабы с тыквой вспомнились. Завтра или послезавтра, если будет возможность, испеки мне кутабы с тыквой...

Это значило, что Алиаббас-киши очень уважает тетю Ханум, считает тетю Ханум близким человеком и поэтому так по-свойски обращается к ней с просьбой.

Говорили, что Алиаббас-киши, отец тети Ханум, да еще Саттар Месум в свое время были неразлучными друзьями, и из трех друзей остался в живых один Алиаббас-киши, он состарился, ходил с палкой, был одинок, но, во всяком случае, остался жив.

Желтую баню построил отец Алиаббаса-киши, и поэтому пожилые люди нашей махалли, а также обитатели других кварталов часто называли Желтую баню баней Гаджи Касима, потому что отца Алиаббаса-киши звали Гаджи Касим. В свое время Желтая баня была собственностью Алиаббаса-киши, а когда в Баку установилась советская власть, он долгое время работал директором бани, но, состарившись, вышел на пенсию и передал свое место ближайшему соседу — дяде Агагусейну. Жена Алиаббаса-киши, тетя Халима, умерла, поэтому соседки хотели как-то помочь Алиаббасу-киши, но в этом отношении (да и вообще!) у старика был тяжелый характер, услуги любой женщины, кроме тети Ханум, отвергались. Единственная дочь Алиаббаса-киши, тетя Ниса, тоже разделяла уважение отца к одной только тете Ханум, благосклонно смотрела и на посылаемые тетей Ханум гостинцы, и на обращенные к тете Ханум просьбы и поручения. Тетя Ниса была замужем, жила в Маштагах, муж ее был мясником, и у них были взрослые дети, внуки, и сколько ни просили тетя Ниса, ее муж, дети, Алиаббас-киши отказался ехать к ним в селение (он повторял: «Вы меня

убить хотите? Без махалли я и дня прожить не смогу!», и раз или два в неделю они садились в пригородный поезд и приезжали навестить Алиаббаса-киши, готовили ему еду, убирали в доме, собирали белье для стирки-глажки и уезжали.

Когда шел дождь, дул сильный ветер с моря или хазри — северный ветер и Алиаббас-киши оставался один в своей квартире, тетя Ханум говорила или Джафару, или Адьюлю, или Абдулалю, или Годже, или Джебраилу, или Агарагиму:

— Пойди-ка навести дадаша, взгляни, что он делает?

В начале осени по утрам порой срывался ветер, чуть не вырывал с корнем раздвоенное тутовое дерево, и тогда, если Джафар, Адьюль, Абдулалю, Джебраил, Агарагим бывали на работе, а Годжа — в институте, то есть никого из мужчин не оставалось, тетя Ханум кричала с веранды:

— Алекпер, ай Алекпер! Пойди-ка взгляни, что дадаш поделывает?.. Не нужно ли ему чего?

Придерживая одной рукой шапку, чтобы ветер не снес ее с головы, а другой — полы пиджачка, я шел (в такую погоду бегом бежать было невозможно) — шел против ветра, открывал днем и ночью отпертую дверь Алиаббаса-киши и, войдя, впопыхах выпаливал:

— Тетя Ханум спрашивает, как ты?

Алиаббас-киши сводил брови, и я не знал, сердится он или шутит, потому что Алиаббас-киши вообще был и сердитым человеком, и шутником.

— Детка, что, в Иране люди не здороваются? — спрашивал он.

Маленький Алекпер, пожав плечами, отвечал:

— Не знаю...

— Почему же, детка? Ты разве не иранец?

— Нет.

— А откуда ты?

— Из нашей махалли!

При этом Алиаббас-киши одобрительно улыбался:

— Тогда, дорогой сосед, сначала поздоровайся по-человечески, а потом начинай разговор.

Я говорил:

— Салам алейкум, дядя Алиаббас.

— Вот молодец! Пусть аллах пошлет здоровья твоему отцу. Ну и что ж, что он иранец? Зато хороший человек!.. Алейкум салам, росток мужчины! Как я поживаю? Все у меня в порядке, только мудрости пророка Сулеймана

не хватает!.. — Алиаббас-киши снова улыбался. — Ты знаешь, Алекпер, твой тезка Мирза Алекпер Сабир был великим поэтом!.. Он говорил: даже если у старика богатств не счесть, в руках у него нет и силы ребенка!.. Понял?

Я кивал головой, мол, да, понял, но конечно же ничего не понимал. Потом Алиаббас-киши говорил:

— Царствие небесное Мирзе Алекперу, он знал, что говорил! Царствие небесное и Мирзе Саттару, он обожал Сабира, его стихи не сходили с уст Саттара... Потому что и сам он, как Сабир, любил народ...

Каждый раз, когда мама ругала Фатуллу Хатема, обрывком газеты с портретом Фатуллы Хатема чистила керосинку на кухне, мне вспоминался Алиаббас-киши, потому что судьба друга Алиаббаса-киши — Саттара Месума — подтверждала мамини слова и оправдывала в моих глазах те мамини неприязненные поступки, заочно обращенные к Фатулле Хатему.

Алиаббас-киши часто сидел, перебирая янтарные четки, на деревянном табурете, на который был положен тюфячок; одну ногу он подгибал под себя, другую ставил на табурет, и, видя, как Алиаббас-киши, вот так, съезжившись в клубок, сидит на табурете, мне казалось, что этот человек — не из обычных людей, живущих в нашем квартале: он явился откуда-то из другого мира, возможно, из того таинственного мира, о котором рассказывал Балакерим, а иногда мне казалось, что аллах, наверное, обликом похож на Алиаббаса-киши — с такими же седыми волосами, бровями и белой бородой; но когда Алиаббас-киши кашлял, он кашлял как обычные люди; кашлял и говорил:

— Алекпер, раз уж ты пришел, я открою тебе одну тайну. — Глаза Алиаббаса-киши смеялись. — Ты знаешь, конечно, что сейчас первая половина двадцатого века. Век, ты знаешь что такое? Этот несчастный сын несчастного отца Балакерим не объяснял вам, что такое век? Век — это значит сто лет. Ты будешь жить в двадцать первом веке, но и тогда ты будешь моложе, чем я сейчас... Вдруг ты увидишь, Алекпер, что явится враг пророка Мухаммеда Деджел и скажет: я — Мехти, спаситель; но ты, Алекпер, знай, что врет этот сукин сын Деджел, не Мехти он, а Мехти — Повелитель времени, явится потом. Ладно, Алекпер? Бог даст, в двадцать первом веке ты вспомнишь мои слова, и меня, может быть, вспомнишь. — Алиаббас-киши улыбался, и я не знал, шутит он или серь-

езно говорит все эти непонятные слова. — Хорошо, Алекпер?

Я кивал головой: дескать, хорошо, потому что все равно не понимал ничего из сказанного. И опять, придерживая одной рукой шапку, другой — полы пиджачка, на этот раз бегом (потому что теперь ветер дул в спину) я возвращался к нам во двор; тетя Ханум спрашивала:

— Ну что, Алекпер? Как там дадаш?

Я говорил:

— Ничего. Только кашляет.

Вечером тетя Ханум давала или Джафару, или Адюлю, или Абдулали, или Джебраилу, или Агарагиму, а чаще всего — Годже (потому что Годжа учился на врача) кусочек козьего сала.

— Пойди натри спину дадашу, — говорила она. — Пусть вытянет из него простуду...

Конечно, мама не хотела говорить о таком сыне, как Мамедбагир, поскольку это был сын такого человека, как Алиаббас-киши, но я и без того все знал. Балакерим говорил, что эта история произошла в начале двадцатых годов, то есть в первые годы революции...

...Сколько дней уже я думаю об этой истории, и порой мне кажется, что все произошло у меня на глазах...

...Кончался осенний вечер, начиналась ночь, и дождь лил все сильнее, и шум воды смешивался с воем ветра; и всякий раз, когда ветер швырял пригоршни дождя в окно Алиаббаса-киши, у старика в сердце словно что-то обрывалось, вскипало волнение, причины которого он не знал.

Алиаббас-киши, видимо, предчувствовал, что эта ночь принесет ему много страдания.

В свете горящей на столе керосиновой лампы Алиаббас-киши смотрел на Мамедбагира и совершенно ясно видел, что сын его тоже взволнован.

Мамедбагир, сидя на кушетке в углу, в полусвете семилитровой керосиновой лампы читал невесть откуда попавшую ему в руки газету, то и дело вставал, подходил к окну и внимательно смотрел сквозь стекло на улицу.

В тот осенний день у тети Халимы с утра разболелась голова, и женщина кое-как провела день, приготовила обед, управлялась с делами по дому и, совсем обессилив, обмотала голову платком, легла в постель.

— Вы-то что не спите? — сказала она, задремывая.

Алиаббас-киши, раздевшись, в белом белье сидел в пос-

тели, но то ли беспокойство не давало заснуть, то ли что-то другое, но спать он не мог.

Мамедбагиру было восемнадцать лет, он был единственным сыном (еще была Ниса — ее недавно выдали замуж, и она жила в Маштагах, с мужем; Алиаббас-киши в свете семилинейной лампы посмотрел на едва пробившиеся усики сына, и воспоминание увлекло Алиаббаса-киши в прошлое, в те времена, когда он сам был таким юношей; ему показалось, что с тех пор прошло не сорок пять, а тысяча лет, потому что молодость осталась в такой дали, груз сорока пяти лет был так тяжел, так труден, что не укладывался в обычные дни, в обычные годы.

Алиаббас-киши спросил сына:

— Почему ты не спишь?

Мамедбагир сказал:

— Дочитаю газету и пойду спать...

Алиаббасу-киши показалось, будто Мамедбагир прячет от него глаза, старается не смотреть в сторону отца, и в словах Мамедбагира, вернее, в том, как он их произнес, было что-то фальшивое, и эту фальшь он чувствовал не только сегодня, а вообще все последнее время, и в ту дождливую ветреную ночь Алиаббас-киши вдруг словно коснулся рукой раскаленного угля; он вздрогнул, сказав про себя: «Отойди от меня, сатана!», потом хотел встать, закурить папиросу, но пожалел тетю Халиму: весь день у нее болела голова, и Алиаббас-киши не хотел, чтобы жену беспокоил папиросный дым.

Алиаббас-киши сказал:

— Глаза испортишь. Гаси свет, иди спать.

Алиаббас-киши хотел еще сказать, мол, будешь столько читать — станешь в конце концов Саттаром Месумом, а дальше что? Беднягу терзают и те, кто читает его газеты, и те, кто не читает, так нападают на него, так разоблачают бог знает в чем, что бедный мирза не знает, куда податься; но Алиаббас-киши ни слова об этом не сказал, во-первых, потому что стать Саттаром Месумом все же куда почетнее, чем, не читая газелей Саттара Месума, искать что-то вредное в розе и соловье из этих газелей.

— Гаси свет, гаси, пора спать.

Мамедбагир сказал:

— Сейчас, — и встал.

В это время сквозь шум дождя, сквозь вой ветра послышался сначала шум машины, потом свет фар проник через окно в комнату, и Алиаббас-киши удивился, что это

за машина среди ночи остановилась у их дверей (обычно по нагорным улицам Баку ездили фэтоны, машины сюда не поднимались)?

Мамедбагир замер, и Алиаббас-киши явственно почувствовал, как замер его сын; в комнате было полутемно, но и в этой полутьме Алиаббас-киши увидел, что Мамедбагир сильно побледнел, и еще он почувствовал, что сердце у сына колотится, прямо из груди хочет выскочить.

В наружную дверь громко постучали, и Алиаббас-киши, конечно, понял, что-то стряслось, что это неспроста, встал, накинул на плечи пиджак, вышел в небольшую прихожую, остановился перед входной дверью.

— Кто там?

— Откройте! Это представители власти.

В голосе слышались такая резкость и властность, что не о чем было говорить, дверь надо было открывать, и Алиаббас-киши, возвращаясь в комнату, сказал:

— Сейчас. Погодите минутку.

Он торопился, чтобы тетя Халима поскорее встала и оделась, чтобы чужие люди не видели женщину в ночном белье, но голос снаружи с еще большей резкостью и властностью произнес:

— Быстро! Сию минуту открывайте! Выломаем дверь!

Алиаббас-киши говорил тете Халиме:

— Вставай, одевайся! Одевайся!

А тетя Халима, сев на постели, хлопала сонными глазами и не понимала, что случилось.

Алиаббас-киши твердил тете Халиме:

— Быстрее, одевайся!

Но тетя Халима не успела одеться, потому что на этот раз в дверь заколотили с такой силой, что слабая задвижка не выдержала, сломалась, дверь распахнулась настежь, и в тот же миг трое мужчин ворвались в комнату.

На одном из этих людей была длинная шинель, двое других были в черных кожаных куртках, и из-за того, что все трое стояли под дождем, с них лилась вода; человек в длинной шинели, четким и решительным шагом подойдя к столу, вывернул до предела фитиль керосиновой лампы, комната осветилась, но лампа начала коптить, и запах копоти тотчас заполнил комнату, точно этот запах копоти и принесли с собой эти трое, точно этот запах копоти и был запахом длинной шинели, кожаных черных курток.

Тетя Халима не могла отвести глаз от коптящей керо-

синовой лампы: если огонь стал коптить, значит, ночью в дом явится сатана.

Человек в длинной шинели бросил властный взгляд на стоявшего, не шевелясь, посреди комнаты Мамедбагира, потом подошел, встал лицом к Алиаббасу-киши и сказал:

— Значит, запираешь дверь перед лицом государства?

— Почему запираю? Я не запираю... У меня нет никаких секретов от государства...

— А почему не открывал?

— Полночь сейчас, жена, дети дома...

— Значит, о жене-детях заботишься, а представителей власти держишь под дождем?!

Один из тех, в кожаных куртках, сказал:

— Он и дышит, как враг!

Человек в длинной шинели сказал:

— Мы немало таких повидали! Неси золото!

Алиаббасу-киши показалось, что он не понял человека в длинной шинели:

— Что нести?

— Золото!

— Какое золото?

— Золото, которое ты скопил, грабя бедняков!

Алиаббас-киши сказал:

— Я — банщик, а не грабитель!

— Значит, ты не грабил бедняков?

— Не стал бы я сам себя грабить! Я сам и был бедняком, я...

Человек в длинной шинели, вытянув палец, чуть не воткнул его в глаз Алиаббаса-киши.

— Такие, как ты, сами не принесут и не сдадут золото государству! — сказал он. — Такие любят золото больше, чем самих себя. Голод, хлеба не хватает, а такие сидят на золоте. Если не отдашь своей волей, мы сами найдем. Ищите!

Двое в кожаных куртках начали обыскивать комнату.

Фитиль керосиновой лампы все коптил, и сидевшей в постели, завернувшись в одеяло, тете Халиме все хотелось встать и прикрутить фитиль, но, глядя на того, в длинной шинели, на двух, в кожаных куртках, она не двигалась с места.

Мамедбагир стоял посреди комнаты, не шевелился, и Алиаббас-киши, глядя на побелевшее лицо сына, подумал, что неожиданное вторжение этих людей и то, как они переворачивают все вверх дном, взбесило сына, поэтому

он так побледнел; Алиаббас-киши опасался, что Мамедбагир по горячности вдруг что-то выкинет, бросится на этих людей, затеет драку, обругает их — и уж тогда от них не спасешься, пропадет ребенок.

Правда, Алиаббас-киши думал об этом, но в то же время в лице, в позе Мамедбагира видел что-то такое, что не поддавалось его пониманию.

В комнате, в кухне, в коридоре не осталось угла, не осталось вершка, которые бы ни обыскали те двое, и, пока эти люди не находили в шкафу ничего, кроме одежды, постельного белья, скатерти, в казане — ничего, кроме лука, чеснока, гороха, человек в длинной шинели со все более откровенной злобой поглядывал на Мамедбагира.

Алиаббас-киши видел злобные взгляды человека в длинной шинели и никак не мог истолковать их, не мог понять смысла этих взглядов, но чувствовал в них что-то такое, от чего мурашки пробегали по телу.

Верхняя часть лампового стекла почернела от копоти, и в углах комнаты как бы легла тень.

Ветер швырял пригоршни дождя в окно, но Алиаббас-киши больше не обращал на это внимания, и Мамедбагир тоже не поглядывал на улицу, как прежде.

Один в кожаной куртке на кухне, чуть не до подмышек сунув руку в мешок с мукой (искал в муке золото, и мука набилась ему в нос), стал чихать. Когда он расчихался, тот, что в длинной шинели, еще больше разъярился, бешеные глаза его стали вращаться.

— Где золото? — закричал он, и, странное дело, Алиаббасу-киши показалось, что человек в длинной шинели кричит не на него, не на Алиаббаса-киши, а на Мамедбагира.

Двое в кожаных куртках встали рядом с человеком в длинной шинели, и человек в длинной шинели, в который раз уже внимательно оглядев комнату, уставился на тету Халиму.

— Осмотрите ее постель! — сказал он.

Мамедбагир густо покраснел.

Алиаббас-киши сказал:

— Ты что, не азербайджанец?

Человек в длинной шинели сказал:

— Чем быть таким азербайджанцем, как ты, который в голодное время прячет золото от сирот, лучше цыганом быть!

Тетя Халима еще крепче прижала к груди одеяло, в которое завернулась, и продолжала сидеть на постели.

В мозгу Алиаббаса-киши до этого, как пульс, билась одна мысль: «Сбереги Мамедбагира! Сбереги Мамедбагира! Сбереги Мамедбагира!» Но внезапно все вылетело у него из головы, все существо Алиаббаса-киши воспротивилось такому позору: лучше умереть, чем увидеть свою жену стоящей перед чужими мужчинами босиком, в ночной рубашке. И Алиаббас-киши понял, что все кончено, настал конец, в этом своем возрасте он сейчас бросится на человека в длинной шинели, хотя бы душу облегчит.

Тетя Халима, крепко прижав к груди одеяло, сидела на тюфяке, глаза ее были устремлены на Алиаббаса-киши, и тетя Халима тотчас все поняла, все прочитала в глазах Алиаббаса-киши, с которым тридцать лет клала голову на одну подушку, тут же встала, вместе с одеялом, в которое была закутана, отошла на шаг от постели, опередив Алиаббаса-киши, и торопливо произнесла:

— Идите, идите, родные, идите, ищите! Что ж? Каждый делает свое дело!.. Идите, идите, ищите... Но кто-то, чтоб он сгорел, обманул вас!..

Один в кожаной куртке пощупал подушку — отбросил в сторону, ощущал тюфяк — отпихнул, потом посмотрел на одеяло, в которое завернулась тетя Халима.

Тетя Халима сказала:

— Братец, ей-богу, и в этом одеяле ничего нет!

Человек в длинной шинели сказал:

— Мы ни в какого бога не веруем, женщина!

— Во что вы веруете, скажите, я поклонюсь этим. В этом одеяле золота нет, братец!

Человек в длинной шинели посмотрел на Мамедбагира, Мамедбагир отвел глаза, человек в длинной шинели закричал:

— Где же золото?

Воцарилась тишина, как будто и дождь перестал, и ветер стих. Мамедбагир, с трудом отрывая ноги, будто ноги его прилипали к деревянному полу, подошел к стоящей в углу комнаты кушетке, наклонился, сдвинул кушетку с места и с трудом отодвинул в сторону; под кушеткой, в деревянном полу, была маленькая дверца с небольшим замком.

Человек в длинной шинели посмотрел на маленькую потайную дверь в деревянном полу, потом на Алиаббаса-киши, и в глазах его была такая ненависть, будто он смот-

рел не на человека, не на Алиаббаса-киши, а на самое гнусное существо на свете.

Мамедбагир отошел в сторону от этой маленькой дверцы.

Алиаббас-киши не произнес ни слова.

Стоявшую, завернувшись в одеяло, тетю Халиму охватила дрожь.

Ветер снова время от времени с силой стал швырять дождь в стекла.

Стекло керосиновой лампы от копоти стало черным, и даже потолок почернел.

Человек в длинной шинели крикнул:

— Ломайте!

У него был такой вид, будто он хочет плюнуть в лицо Алиаббасу-киши.

Один из людей в кожаной куртке ручкой медной шумовки, принесенной из кухни, сломал маленький замок на потайной дверце в полу и поднял ее. Под полом был крохотный тайничок, и человек в длинной шинели, схватив со стола коптившую керосиновую лампу, быстро подошел к тайнику: язычок пламени задрожал от резкого движения, и черные тени на стенах тоже задрожали, потом человек в длинной шинели, вытянув руку с керосиновой лампой, осветил тайник: в нем лежала продолговатая шкатулка, обитая светло-коричневой кожей, шкатулка тоже была заперта крошечным замочком. Мужчина в кожаной куртке хотел продеть в этот замочек ручку шумовки и сорвать его, но замок был слишком маленький и тонкий, ручка шумовки в него не пролезала, и человек в кожаной куртке просто оторвал этот замочек.

Внутри шкатулки лежал Коран, уместающийся на ладони, и больше ничего.

Человек в кожаной куртке протянул шкатулку тому, в длинной шинели, но тот, в длинной шинели, движением руки отвел шкатулку, быстро прошел на середину комнаты, со злостью поставил лампу на стол и косо взглянул на Мамедбагира.

Мамедбагир тоже, подняв голову, посмотрел на человека в длинной шинели.

Алиаббасу-киши показалось, что Мамедбагир взглядом умоляет о пощаде.

Человек в длинной шинели хотел подойти к Мамедбагиру, но, сделав два шага, остановился, погрозил Мамедбагиру длинным пальцем и сказал:

— Все твои сигналы оказываются ложными! Позоришь нас перед людьми! Даже о доме, где живешь, ничего не знаешь! Где же, как ты говорил, отец твой золото спрятал?

Мамедбагир, запинаясь, показал на тайник:

— Я думал, там золото...

Человек в длинной шинели, с отвращением посмотрев на Мамедбагира, сказал:

— Дурак! — и, повернувшись, хотел выйти из дома Алиаббаса-киши, но у двери приостановился, посмотрел на Алиаббаса-киши. — Извини, гражданин! — сказал он. — Тяжелое время!.. Положение тяжелое... В общем, прости... — и вышел на улицу.

Двое в кожаных куртках тоже вышли вслед за человеком в длинной шинели.

Запыхла машина на улице, фары ее осветили окно, потом машина, как тот человек в длинной шинели, гневно сорвалась с места, и постепенно шум ее смолк, наступила тишина.

Дождь лил вовсю.

Наружная дверь, не запертая на задвижку, со скрипом открывалась, а ветер снова захлопывал ее.

Трое в комнате — Алиаббас-киши, тетя Халима, Мамедбагир — будто обратились в камень, не двигались, не шевелились.

Вдруг Алиаббас-киши подошел к окну, настежь раскрыв его, и ветер швырнул дождь ему в лицо; от возникшего сквозняка стекло керосиновой лампы упало на пол и вдребезги разбилось.

Алиаббас-киши, выставив обе руки в окно, воздел их к небу, дождь струился по его рукам, мочил тело, ледяной холод охватил Алиаббаса-киши, но он не чувствовал этого. Воздевая к небу руки, по которым текла вода, сдавленным от волнения голосом он произнес:

— О господи! О господи! Если ты есть, если видишь, если слышишь, покарай его! — Алиаббас-киши рукой, по которой текла вода, показывал на стоящего в комнате Мамедбагира. — Покарай его!.. Если же нет тебя и ты ничего не видишь, ничего не слышишь, пусть и тогда его постигнет кара!..

Тетя Халима, с плеч которой давно уже соскользнуло одеяло, стояла теперь только в ночной сорочке, босая, с непокрытой головой, с голой грудью, как безумная закричала:

— Алиаббас! Алиаббас!

Алиаббас-киши не слушал жену; с воздетыми к небу мокрыми руками в ночной мгле он повторял:

— Пусть его настигнет кара! Пусть настигнет!..

...После этого происшествия Мамедбагир ни разу не показался Алиаббасу-киши на глаза, в ту самую дождливую осеннюю ночь ушел из дому, и все говорили, что он примкнул к наркоманам-анашистам, к картежникам, проигрывал деньги, не отдавал: убегал, скрывался, и в одно зимнее утро тысяча девятьсот двадцать третьего года обитатели квартала под раздвоенным тутовым деревом нашли труп Мамедбагира.

Друзья-приятели, к которым он примкнул, картежники и анашисты, отыскали его и нанесли ему несколько ударов ножом; Мамедбагир с трудом дополз до нашей махаллы и умер под раздвоенным тутовым деревом.

Конечно, в то же зимнее утро новость разнеслась по всему району, и соседи вышли на улицу, окружили тело Мамедбагира.

На юном, бледном лице Мамедбагира не было и следа боли, страдания, напротив, на лицо его словно слетела тень счастья.

Вдруг все посмотрели в сторону Желтой бани.

Алиаббас-киши, выйдя из дому, медленными шагами шел к людям.

Соседи расступились, дали ему дорогу, и Алиаббас-киши, таким же медленным шагом пройдя мимо людей, остановился перед раздвоенным тутовым деревом, посмотрел на распластанного, лежащего лицом к небу сына.

Пальто и пиджак Мамедбагира были расстегнуты, кровь окрасила рубашку в ярко-красный цвет, на шее, под подбородком, запеклась кровь, руки и одна щека вымазаны в грязи.

Алиаббас-киши поглядел на труп сына и вдруг воздел дрожащие руки к небу.

— Господи! — сказал он. — Слава тебе! — сказал он. — Милостив господь и милосерден!

Потом, повернув назад, тем же медленным шагом прошел мимо людей и в этот зимний день больше не выходил из дому. Друг его Саттар Месум немного поколебался, потом пошел к Алиаббасу.

— Не будь таким жестоким, — сказал он, и Алиаббас-киши впервые в жизни не только не ответил другу, но даже не взглянул на Саттара Месума.

Мамедбагира похоронили соседи.

Алиаббас-киши не участвовал в похоронах сына и не знал, где его похоронили.

На похоронах Мамедбагира все молчали, плакали и причитали только тетя Халима и приехавшая из Маштагов Ниса. Женщины махалли плакали вместе с тетей Халимой, но тайком; Алиаббас-киши не держал траура по сыну и ни от кого не принял соболезнования.

XVI

Я никак не могу вспомнить, когда впервые услышал о начале войны. От кого? Что делал в это время? Чем занимался? Иногда мне кажется, впервые я услышал эту весть от мамы, а порой вспоминается, что от Балакерима, может быть, эту весть первым принес нам прибежавший вдруг Джафаргулу, когда мы играли с ребятами в самом конце нашего тупика под тутовником, а временами мне чудится, что о начале войны мне нашептала наша опустевшая улица, нашептала наш опустевший тупик, нашептала осиротевшая Желтая баня... ибо наша улица опустела, обезлюдела после того, как началась война, и наш тупик опустел, обезлюдел после того, как началась война, и Желтая баня осиротела после того, как началась война. Иногда я закрываю глаза и на пустой, безлюдной улице, на тротуаре, вижу одинокий деревянный табурет; взшло солнце, тень деревянного табурета падает на тротуар, и на той пустой, безлюдной улице медленно, незаметно для глаз движется только упавшая на тротуар тень деревянного табурета: солнце склоняется, тень вращается вокруг деревянного табурета, тень от четырех тонких ножек табурета истаивает, исчезает, потому что солнце стоит прямо над табуретом, потом эта тень снова понемногу удлиняется, а потом наступает вечер, солнце садится, тень исчезает, и мне кажется, что этот деревянный табурет — табурет Алиаббаса-киши: всегда его ставили на тротуар у Желтой бани и клали на него тюфячок; Алиаббас-киши приходил, садился на табурет, опирался подбородком на ручку своей отделанной серебром палки, смотрел на прохожих, принимал приветствия, что-то спрашивал, подзывал обиженных, рассерженных, мирил их, урезонивал скандаливших (кроме одного Ибадуллы, потому что Алиаббас-киши никогда не разговаривал с пьяными). Вскоре после начала войны, как только наша махалля осиротела, как только

желтизна бани, как цвет печали, словно распространилась на весь квартал, тетя Ниса с мужем и одним из сыновей впервые в жизни возразила отцу, не обращая внимания на его сопротивление, на его нежелание разлучаться с округой, увезла Алиаббаса-киши с собой в Маштаги, и мы больше никогда не видели Алиаббаса-киши, а на двери дома Алиаббаса-киши после этого всегда висел большой черный замок, и меня грызли злоба и ненависть к этому большому черному замку, и через много-много лет после окончания войны, даже и теперь, когда я думаю о войне, перед моими глазами появляется большой, черный замок.

XVII

Однажды мы стали свидетелями того, как в мечтательных темных глазах Балакерима появилась глубокая печаль...

В тот вечер, когда Балакерим, сидя под раздвоенным тутовником, рассказывал о Белом Верблюде и мы, как всегда, собрались вокруг Балакерима и слушали его, вдруг появился Ибадулла и тоже стал внимательно слушать рассказ Балакерима.

Балакерим рассказывал и рассказывал, как обычно, и сам уносился мыслями в те давние времена, где был Белый Верблюд, и мы тоже, как обычно, вместе с Балакеримом были рядом с Белым Верблюдом, в том волшебном мире, которого до конца не понимали.

Вдруг Ибадулла прервал рассказ Балакерима:

— Слушай, Балакерим, что за сказки ты рассказываешь этой детворе? Ты поговори о кутабах с начинкой из верблюжьего мяса, а!

И тут Ибадулла, сглатывая слюну, стал расписывать кутабы из верблюжьего мяса: на сковороде жарится одна сторона, потом — другая, посыпашь сверху сумахом и, обжигаясь, ешь... И выпьешь сто граммов джейраньего молочка, а потом еще сто!..

Балакерим, прервав рассказ, устремил свои всегда мечтательные темные глаза на Ибадуллу, и мы увидели в глазах Балакерима глубокую печаль.

Потом Балакерим, отведя грустные глаза от Ибадуллы, оглядел нас по одному, и мы увидели боль в его глазах, нам показалось, что сейчас мясом не Белого Верблюда, а самого Балакерима начинили кутабы и жарят на сковороде; Балакерим оглядывал каждого из нас, и взгляды его

как будто молили: не слушайте Ибадуллу, забудьте все, что он сказал. В ту ночь, перед тем как уснуть, я дал себе слово никогда больше не есть мясных блюд; впрочем, с началом войны у нас и без того не бывало мясных блюд.

Примерно через три месяца дядя Агагусейн и тетя Сафура, жившие рядом с Желтой баней, по соседству с закрытым на замок домом Алиаббаса-киши, резали барана по обету: старший сын дяди Агагусейна и тети Сафуры Эйнулла был ранен на фронте, лежал в госпитале в Баку и теперь живым и здоровым вернулся домой, тетя Сафура продала все свои золотые украшения, и дядя Агагусейн на эти деньги купил барана в честь того, что сын благополучно исцелился от ранения, поручил нарезать барана мяснику Дадашбале и, упаковав в газеты по полкило, разослал всем соседям в подарок.

Нам тоже вручили полкило баранины, и мама приговорила бозбаш.

Я забыл свой зарок и поел бозбаш...

...Через некоторое время Эйнулла опять ушел на фронт и не вернулся...

XVIII

Однажды — шли еще первые месяцы войны — по кварталу разнеслась весть: у тети Зибы был сын по имени Гавриил, и Гавриил этот жил в Америке, и вот он теперь приехал к нам в махаллю, чтобы забрать тетю Зибу в Америку.

Это событие поразило всех; потом по махалле разнеслась весть, что сын тети Зибы, Гавриил, был известным врагом фашистов; он поднял многих американцев против фашистов, выступал в газетах и журналах, повторял постоянно, что надо бороться с фашистами, и потому Гавриилу дали разрешение забрать с собой тетю Зибу, разрешили воссоединиться с матерью.

Дом тети Зибы находился в нижней части квартала, около керосиновой лавки, и всем, кто проходил мимо, кроме запаха керосина в нос шибало запахом жареных семечек, потому что тетя Зиба и зимой и летом жарила семечки, наполняя семечками свою синюю сумку, усаживалась на низкую деревянную лавочку у своих ворот, насыпала семечки в толстый стакан и продавала. Стакан, в котором тетя Зиба продавала семечки, был треснутый, надбитый, и трещины, отбитые места столько раз заклеи-

вались обрывками газет, цветными бумажками, что уж и стекла не было видно, и вместимость стакана все уменьшалась, пока не дошла до горсти.

Тетя Зиба была еврейка-татка, когда-то из еврейской слободы в Кубе переселилась к нам в махаллю, муж ее умер у нас в махалле, и с тех пор она жила одна, но все говорили, что у тети Зибы есть сын по имени Гавриил, и этот Гавриил живет в Америке. Правда, в глубине души никто не верил этому, потому что Америка была очень далекой страной, потому что об Америке рассказывали разные чудеса, говорили, что там есть здания выше пятидесяти этажей, говорили, что там есть такие машины, которые проходят 130 километров в час, говорили, что тамошние парни, взяв в руки автоматы и надев на лицо черные маски с разрезом для глаз, грабят банки, и еще говорили, что в Америке высушивают черепаши яйца, делают из них порошок, а потом разводят, жарят и едят (впоследствии порошок из этих черепаших яиц появился и в Баку, и мы убедились, что это была правда); а тетя Зиба была совсем простой женщиной, тетю Зибу мы видели каждый день: сидя на низенькой деревянной лавочке, она продавала семечки.

— Клянусь пророком, хорошие семечки! — говорила она.

Однажды Алиаббас-киши, проходя по улице и постукивая отделанной серебром палкой, услышал эти слова и, улыбаясь, решил подразнить женщину:

— Ты о каком пророке говоришь, ай, Зиба?

Тетя Зиба сказала:

— Алиаббас-киши, дай тебе бог здоровья, если он пророк, значит, хороший человек был. Хороший человек — для всех хорош, и для тебя — мусульманина, и для христианина, и для меня...

Алиаббас-киши покачал головой: мол, тетя Зиба отвечает разумно, и сказал:

— Ей-богу, на верное слово что возразишь?..

Разумеется, первой покупательницей тети Зибы была Шовкет, и, когда в доме, в магазине, в бане наши женщины ругали Шовкет, тетя Мешадиханум иногда шутила:

— Ради бога, не говорите так о Шовкет... Если что-нибудь с ней случится, тетя Зиба голодной останется...

У нас в махалле все любили тетю Зибу: она умела разделить со всеми и горе, и радость, была приветливая, благожелательная, никого не трогала, но, как только на-

чалась война и семечек не стало, тетя Зибя уже не сидела на длинной деревянной лавочке, приговаривая: «Клянусь пророком, хорошие семечки!»; она начала помогать то тому, то другому в соседних домах, особенно на траурных обрядах по молодым людям, на которых часто стали приходиться похоронки, мыла посуду, вытирала стаканы, блюда; она была одинока и жила когда сытая, а когда и впроголодь.

Уже несколько месяцев, как началась война, все мы видели, как уходят на фронт парни квартала, как приходят треугольные солдатские письма, и то, что теперь, наоборот, кто-то приехал к нам, да к тому же из Америки, и то, что он был известным врагом фашистов и притом родным сыном тети Зибы, к которой мы привыкли, которую видели каждый день, — все это произвело на нас такое впечатление, что все мы, ребята, собрались на тротуаре против дома тети Зибы и уставились на ее окно с белыми ситцевыми занавесками: мы хотели увидеть Гавриила, потому что говорили, что на нем странная одежда, а на голове будто бы цилиндр. Гавриил не выходил из дому, и мы так и стояли, глядя на окно тети Зибы с белыми ситцевыми занавесками.

Женщины говорили, что Гавриил приехал, чтобы увезти тетю Зибу в Америку, говорили, что в Америке у Гавриила десять комнат, причем на двадцать первом этаже.

Тетя Сафура говорила:

— Вай, бедная Зибя, как она будет подниматься на такой этаж?

Тетя Фируза говорила:

— Слушай, они не по ступенькам поднимаются, машина поднимает людей наверх!

Тетя Ниса говорила:

— А-а-а... Бедная Зибя, как она будет садиться в эту машину по нескольку раз в день, а?

Впервые после начала войны женщины квартала радовались за кого-то, потому что с тех пор как началась война, первый раз к нам пришло не горестное, а радостное известие: приехал сын тети Зибы!

Тетя Фируза говорила:

— Бедная Зибя много перенесла. Спина у нее сгорбилась оттого, что с утра до вечера сидела, торговала семечками. Пусть поедет к сыну, хоть в конце жизни поживет...

Тетя Мешадиханум говорила:

— Если уж он такой хороший сын, почему до сих пор

не показывался? Почему не говорил: слушай, а у меня же мать есть, а? Вот, ей-богу, помянете мое слово, увидите, его жена послала, сказала, поезжай, возьми мать, привези, пусть за детьми смотрит!..

Моя мама говорила:

— Не знаю, как вы, а я, ей-богу, буду скучать по тете Зибе.

В полдень, когда женщины собрались у нас, мамыны слова и на меня сильно подействовали: вдруг мне самому стало ясно, что я люблю тетю Зибу, о которой прежде не думал, которую видел каждый день и к которой привык как к частичке нашего квартала, когда тетя Зибя уедет, я тоже, как и мама, буду скучать по ней.

Мы все стояли и стояли так на улице, глядя на окошко тети Зибы с белыми ситцевыми занавесками, а Гавриил все не показывался, и мы совсем потеряли надежду, что когда-нибудь сможем увидеть Гавриила, в это время несколько женщин во главе с тетей Ханум пришли к тете Зибе, чтобы поздравить ее, снать Гавриилу «хощ гялдин», и мама была среди этих женщин. Мое желание увидеть приехавшего из Америки Гавриила было так велико, что я, отделившись от ребят, подбежал к маме и, взяв ее за руку, вместе с женщинами под завистливыми и даже злыми взглядами ребят вошел в дом тети Зибы.

Тетя Зибя, как будто всю жизнь ждала не сына, а женщин во главе с тетей Ханум, кинулась к ним, переселовала всех по очереди, и меня поцеловала.

— Как хорошо, что ты пришел, Алекпер!.. Дай тебе бог здоровья!.. — Тетя Зибя вдруг заплакала, всхлипывая. — Клянусь пророком, никуда бы я не уезжала!.. Куда мне ехать, как оставить вас? Кто меня человеком считает, кроме вас? Но у меня внуки есть в той дыре, хочу их поводить. Что поделает, когда же я их увижу? А внуки только по-английски разговаривают, как я их пойму? Ой, женщины, как я оставлю вас, как уеду, под какой камень голову свою подставлю? Да хранит вас бог, что я буду делать в той дыре?..

И мама, и тетя Сафура, и тетя Мешадиханум растрогались и заплакали, только тетя Ханум не плакала, внимательно смотрела на Гавриила, будто глаза тети Ханум испытывали этого Гавриила в маленькой комнате тети Зибы, вопрошали, увидит ли наша несчастная тетя Зибя хоть один светлый день рядом с этим человеком или нет?

Гавриил сидел за столом. Когда мы вошли, он встал и,

пока женщины целовались и плакали, стоял; потом снова сел за стол, и, по правде говоря, увидев Гавриила, я несколько разочаровался, думая, что увижу богатыря вроде Кероглу¹, победителя фашистов, а приехавший из Америки Гавриил, против всякого моего ожидания, был обыкновенным человеком: лысым, бледнолицым, худым, долговязым, и одежда на Гаврииле была обычная: на ногах — домашние тапочки тети Зибы, простые брюки, простая белая рубашка... А больше всего я растерялся оттого, что Гавриил разговаривал на простом азербайджанском языке и через каждое слово повторял: «Бог даст!», «С божьей помощью!», «Бог лучше знает!». И еще меня поразило, что, когда тетя Зиба плакала, когда моя мама, тетя Сафура и тетя Мешадиханум вытирали покрасневшие глаза, Гавриил тоже расстраивался, как женщины, и, закусив губу, устремлял в потолок глаза, полные слез; но, во всяком случае, дети Гавриила у себя дома разговаривали по-английски, и мне казалось необычайно странным, что внуки нашей тети Зибы, дети этого Гавриила, который поминутно говорил «Бог даст!» и чьи глаза наполнялись слезами, друг с другом разговаривают по-английски и не знают ни азербайджанского языка, ни татского, ни даже русского.

Мы сели за стол, и тетя Зиба, время от времени всхлипывая, вытирая маленьким платочком мокрые глаза и хлюпающий нос, говорила:

— Дай вам бог здоровья!.. Не забывайте меня!.. Я приеду обратно!..

Гавриил, кивая головой, подтверждал слова матери:

— Бог даст!..

— Вот съезжу, повидая внуков...

Гавриил говорил:

— С божьей помощью...

— А потом приеду, клянусь пророком...

Гавриил говорил:

— Бог даст!..

— Я вам всем буду письма писать, и вы, умоляю, не оставляйте меня там одну, пишите письма, дай вам всем бог здоровья!..

В это время Гавриил вынул из кармана белой рубашки что-то вроде маленькой свирели, отвинтил колпачок, и я впервые в жизни увидел автоматическую ручку... Этой автоматической ручкой Гавриил на полях газеты запи-

сывал свой американский адрес, а я не мог отвести глаз от автоматической ручки: я смотрел на маленькое красивое желтое перышко, смотрел на гладкое и блестящее, как перламутр, тело ручки, и только в этот момент я поверил, что Гавриил действительно приехал из Америки. Глядя на автоматическую ручку, я забыл и то, что Гавриил слезлив, как женщина, и что он каждую минуту говорит «Бог даст!» на простом азербайджанском языке.

Я никак не мог отвести глаза от этого чуда в руке Гавриила; у меня вообще была неудержимая тяга к разным перьям, ручкам (в тот год, то есть в год, когда началась война, я пошел в первый класс), и мне нравилось сидеть дома и, окуная в чернильницу-непроливайку перо, вдетое в тонкую и длинную деревянную ручку, писать в тетради на белых листках в полоску, и автоматическая ручка Гавриила произвела на меня такое впечатление, будто в моей собственной жизни произошло что-то возвышающее душу, в этом было что-то праздничное, а от ощущения праздничности мы все стали отвыкать с тех пор, как началась война; правда, в этом празднике было немного печали, даже боли, потому что автоматическая ручка была не моя, и никогда она моей не станет, но все же были в мире такие прекрасные ручки...

Написав маленьким красивым перышком гладкой и блестящей, как перламутр, автоматической ручки свой американский адрес (и теперь уже адрес нашей тети Зибы!), Гавриил передал его женщинам, потом закрыл ручку колпачком и положил в карман рубашки, и я не мог отвести глаз от кармана его белой рубашки, но тут я ощутил на себе мимолетный взгляд тети Ханум — не заметил, а именно ощутил, покраснел и отвел глаза от кармана белой рубашки Гавриила.

Несколько дней я находился под впечатлением от автоматической ручки; она вызвала во мне непонятный подъем, почти счастье, и я уже убедил себя, что в будущем и у меня непременно будут такие автоматические ручки, и этими автоматическими ручками я буду быстро и аккуратно, как Гавриил, писать, но писать я буду не адреса на газетных полях, а что-то другое...

Тетя Зиба закрыла дверь своего дома подле керосиновой лавки на маленький замок и уехала с сыном Гавриилом в Америку, и горе, которое принесла война, после маленькой сенсации, после минутной передышки снова забрало в руки всю округу, и по вечерам, когда Балакерим,

¹ Кероглу — герой азербайджанского героического эпоса.

не говоря никому ни слова, усевшись под раздвоенным тутовником на краю тротуара, начинал играть на свирели, его свирель наряду с таинственными образами и преданиями этого мира говорила и о постепенном осиротении нашей махаллы, говорила о печали, опустившейся на стены Желтой бани, на наш тупик, дома нашего переулка, улицы, квартал, и я, безмолвно слушая прекрасную свирель Балакерима, вдруг задумался о том, что придет день, и я опишу все, рассказанное этой прекрасной свирелью, словами, выходящими из-под маленького красивого перышка автоматической ручки... Эта мысль потрясла все мое существо, потому что была совершенно неожиданной; в сущности, эта мысль для маленького Алекпера была огромным открытием, а само открытие породило в моем сердце новые чувства, как будто я вдруг вырос в собственных глазах, как будто совершенно по-новому взглянул и на Балакерима, который, надув худые щеки, двигая тонким подбородком, играл на прекрасной свирели, и на раздвоенное тутовое дерево, и на проглядывающее сквозь листья раздвоенного тутового дерева небо, и на только что появившиеся звезды.

Каждый день, проснувшись рано утром, я укладывал учебники, тетради, чернильницу, тонкую длинную ручку в сумку, спитую мне мамой, когда я пошел в первый класс, и, перевесив сумку через плечо, шел в школу. Через два дня после отъезда тети Зибы в Америку я утром шел в школу, и тетя Ханум, выглянув в окно веранды, позвала меня:

— Иди сюда, Алекпер.

Тогда еще только три сына тети Ханум ушли на фронт: Джафар, Адыль и Абдулалли, всех троих забрали сразу, а остальные были дома; Годжа еще учился в медицинском институте, но говорили, что не сегодня, так завтра заберут и Годжу, потому что, говорили, такие, как Годжа, врачи и студенты-медики, теперь очень нужны на фронте (и действительно, прошло немного времени — Годжу тоже забрали); а Джебраил с Агарагимом продолжали работать. У всех наших женщин, девушек, невест, чьи сыновья, мужья, отцы, братья, женихи ушли на фронт, глаза всегда были влажные, все жили в тревоге, все нуждались в куске хлеба, но готовы были пожертвовать последним, чтобы получить с фронта хоть две строчки, что цел; и тетя Сакина, и тетя Мешадиханум, и тетя Фируза, и другие женщины квартала, проводившие на войну мужей, сыновей,

братьев, изменились на глазах, поблекли, состарились; и те женщины, чьи мужья или сыновья еще не ушли на войну, со дня на день ожидали дня, когда придется провозжать на фронт мужей или сыновей. Моя мама все повторяла: «Ай Алекпер, когда отца твоего заберут, куда мы с тобой головы приклоним, ай Алекпер?.. Такой смиряга, как твой отец, что там станет делать?..» Говорила она и плакала. Так и жила. Но я ни разу не видел тетю Ханум плачущей (и не увидел!); у тети Ханум и лицо не изменилось, тонкие губы, как всегда, были плотно сжаты, черные глаза, глядевшие из-под широких бровей, как всегда, вещали о суровости, но я чувствовал что-то новое в голосе тети Ханум, чувствовал, что в ее голосе что-то изменилось, но что именно, не знал.

— Иди сюда, Алекпер.

Я поднялся по деревянной лесенке к тете Ханум на веранду. Тетя Ханум стояла в дверях и, как только я вошел, протянула мне маленький мешочек:

— Возьми, Алекпер, я для тебя сшила... Положишь в него свою чернильницу.

Я понял, что за три-четыре дня, прошедшие с тех пор, как я увидел автоматическую ручку Гавриила, тетя Ханум сшила мне этот мешочек... Мешочек из зеленого бархата, в котором я носил чернильницу, как сейчас у меня перед глазами: тетя Ханум нашла на этот мешочек узоры из разных мелких бусинок, и эти разноцветные узоры из бусинок сделали таким красивым, таким нарядным зеленый бархатный мешочек, что он больше походил на девчачью, как мы говорили, игрушку, девчачье украшение, и все же этот зеленый бархатный мешочек с бусинками я носил в школу, пока он не изорвался; носил, можно сказать, до конца войны, до тех пор, пока за нами приехал дядя и увез нас из нашего квартала.

В то утро, когда тетя Ханум подарила мне изготовленный ею для чернильницы мешочек, я хотел обнять и поцеловать тетю Ханум; мне показалось, что тетя Ханум, как мама, — родной и дорогой человек, но я посмотрел на плотно сжатые тонкие губы, посмотрел на черные глаза, глядевшие из-под широких бровей, и, сказав только: «Большое спасибо», спустился по деревянным ступенькам, вышел со двора, остановился в нашем тупике, вынул чернильницу из сумки, вложил в бархатный, изукрашенный бусинками мешочек и пошел в школу. Конечно, я очень любил тетю Ханум, конечно, всю дорогу до школы оста-

навливался, любовался бархатным мешочком и радовался, но в то же время — не знаю почему — мне было жалко себя, и от этого чувства, которого я не понимал, появлялся комок в горле...

А тетья Зиба в наш квартал не вернулась, и маленький замок на двери тети Зибы около керосиновой лавки так и оставался висеть, когда перед концом войны мы продали наш дом и переселились к дяде; осенний дождь, зимний снег покрыли ржавчиной маленький замок, и этот заржавевший замочек вместе с большим замком на двери Алиаббаса-киши как будто не просто висели на дверях тети Зибы, Алиаббаса-киши, а сама война замкнула на заржавевший замочек и на большой замок нашу махаллу и как будто тетья Зиба не сама уехала в Америку, а Алиаббас-киши не сам переселился в Маштаги, к дочери, — нет, они пропали без вести на войне.

...Балакерим переставал играть и прятал свирель в нагрудный карман желтого пиджака.

Внутри бани черт-те что,
Внутри соломы решето,
Верблюд бороду побреет,
Баня бедного согреет... —

говорил он, отвлекая нас, хоть и ненадолго, от той грусти, той печали, которой, как сыростью, как запахом, были пропитаны стены, двери, окна домов нашего квартала, нашего тупика, булыжники нашей улицы, вводил в свой далекий волшебный мир; и иногда мне казалось, будто Балакерим рассказывает истории своего волшебного мира по-английски, как дети Гавриила, но я его понимаю...

XIX

Две семьи спустились с гор, поселились на этом красивом, этом плодородном склоне, и журчание текущей реки, зеленые цветы, которые были везде, насколько хватало взгляда, напоминали о добрых делах, добрых свершениях, ясности, чистоте мира, а запах здешней вспаханной темно-коричневой земли вещал о том, что муки и лишения далеких гор навсегда остались в прошлом, стали только смутным и горьким воспоминанием.

Солнце взошло, принесло с собой счастье: и густой лес над широким склоном, и зеленый луг под ним, и извилистая река с кристальной водой, и вспаханная темно-ко-

ричевая земля — все улыбалось Мухаммеду, Али, их женам, их детям.

Они переселились с далеких и крутых гор, жизнь провели среди камней, скал. Их предки когда-то — в эпоху Нух-Наби, когда вещей певец и сказитель Деде Коркут слагал свои сказания, пел свои песни, — спасаясь от врагов, укрылись в горах. Там — вдалеке от вражеских мечей, стрел, копий — основали селение, и с той поры осели в нем. В том селении не было земли — вокруг только камни, щебень, и сеять, растить приходилось в неслыханных муках; в том селении не бывало дождей, а если дождь выпадал, то ливнем смывало посевы, выращенные в муках; в том селении не бывало морозов, а если случался мороз, то вымерзали взлелеянные годами и только теперь обещавшие урожай плодовые деревья, вымирали овечьи отары, бычьи стада.

Мухаммед, родившийся в том селении, никогда не видел ничего другого, там вырос, там женился и всю жизнь очищал землю от щебня, строил плотины от ливней, рассекал камни, скалы, устроил себе крепкое подворье, но все это не имело значения: он видел плоды лишь сотой части неимоверного труда.

Али тоже родился в том селении. Али тоже никогда не видел ничего другого, и Али, как все мужчины селения, день и ночь работал, не зная ни лета, ни зимы, весной работал больше, чем осенью, осенью больше мучился, чем летом, но Али, как и все жители селения, не знал изобилия, дети Али тоже росли полуголодными.

В том селении и земля под ногами человека была непригодной для жизни, и небо над его головой было непригодным для жизни; природа здесь мучила и пытала сынов Адама; в том селении даже могилу копать надо было киркой, точно камень, долбить землю; и жители селения думали, что так и должно быть; тысячу лет они мирились со своей судьбой, и через тысячу лет должно было быть так.

Бог забыл об этом селении.

В последний день, что провели здесь Мухаммед и Али, с неба полилась вода, как селевой поток, обрушился ливень, смыл все, что было посеяно, а после того ливня не осталось ни посадок, ни самой почвы, остался только щебень, остались осколки скал, и отполированные водой камни сверкали под солнцем, вещая о страданиях, муках,

лишений завтрашнего дня, и будущего года, и грядущих столетий.

Впервые человек здесь дошел до отчаяния, человек забунтовался: Мухаммед, бродя среди осколков камней, заваливших поле, со страстью, не вмещающейся в его большое и сильное тело, воскликнул:

— Да будет пуста эта округа! Да будет проклята эта округа! Довольно мы жили как горные козы! Довольно. Прочь отсюда! Напрасно предки наши поселились тут! Лучше было пасть от меча врага, чем селиться здесь! Уйдем из этих мест! Много земли у бога! Уйдем! Переселимся!

Жители селения собрались вокруг Мухаммеда, но никто в ответ ничего не сказал, все изумленно взирали на Мухаммеда, изумленно внимали Мухаммеду: тысячу лет людям и в голову не приходило, что можно переселиться куда-либо в другое место, можно где-то найти другую землю, можно жить без камней и скал, без ливней и морозов.

Потом все посмотрели на самого древнего жителя этих мест Сулеймана Деде.

Деде Сулейман некоторое время безмолвствовал, потом как бы заговорил сам с собой.

— Дело предков — правое дело, — сказал он. — Дух предков благословен и не заслужил упрека...

Мухаммед подошел и встал лицом к лицу с Деде Сулейманом.

— Прости меня, Деде, — сказал он.

Деде Сулейман сказал:

— Я простил. Пусть бог простит... если престит.

Мухаммед сказал:

— Я ухожу, Деде.

Деде Сулейман еще некоторое время помолчал, потом оглядел всех жителей селения, собравшихся вокруг Мухаммеда, посмотрел на груды серых облаков, плывущих ниже крутых гор, и вдруг зашептал вдохновенно слова Деде Коркута:

Сын! Там, куда ты идешь,
дороги опасны.

Всадник увязнет, не вылезет из грязи,
ибо болота опасны.

Пестрая змея сворачивает с пути,
Ибо непроходимыми чащи бьются,
Молча голову сносят порою
Там, где палачи бьются...

Деде Сулейман умолк, посмотрел на Мухаммеда; прошло некоторое время, и Мухаммед снова сказал:

— Я ухожу, Деде.

Деде Сулейман еще раз за свою долгую жизнь понял: чему быть, того не миновать, что определено, то и сбудется, и сказал:

— Кто хочет, может пойти с ним...

Жители селения испугались слов Деде Сулеймана и начали расходиться; каждый удалился в свой дом, и вскоре на покрытом камнями поле остались Мухаммед, остался Деде Сулейман и еще остался Али.

Али подошел к Мухаммеду.

— Я пойду с тобой! — сказал он. — Мне тоже невмogu! Я тоже ухожу! — сказал он и посмотрел на Деде Сулеймана.

Сузившиеся за долгие-долгие годы, но не поблекшие глаза Деде Сулеймана блестели, и этот молодой блеск не сочетался с его белоснежными волосами, белоснежной бородой; и Деде Сулейман взглянул на Мухаммеда, взглянул на Али, взглянул на груды серых облаков, что клубились ниже крутых гор, и улыбнулся:

— Имам Али тоже всегда был вместе с пророком Мухаммедом, — молвил он.

Мухаммед сказал:

— Благослови нас, Деде.

Деде Сулейман сказал:

— Сынок, удачи тебе!

Те же слова он сказал и Али; в тоске и печали, охвативших его сердце, медленно побрел он к своему жилищу и лег в постель.

В тот же день и Мухаммед, и Али запрягли волов в телеги, взяли сохи, кетмени, лопаты, кирки, усадили в арбы жен, детей, сами встали впереди, последний раз бросили взгляд на свое селение, что стояло намного выше серых облаков, сказали: «С богом!» — и тронулись в путь.

Односельчане ничего не сказали ни Мухаммеду, ни Али, но, когда они двинулись в путь, собрались на отвесной скале, перед селением, глядя им вслед; старухи, молодые женщины, девичьи принесли чистой воды, плеснули вслед Мухаммеду и Али и заплакали; жители этого селения до сих пор прощались навечно только с умершими, и теперь впервые расставались, не закапывая в землю, а провожая куда-то в другое место.

Потом сельчане направились к жилищу Деде Сулей-

мана, потому что Деде Сулейман томился охватившей его сердцем тоской и печалью, потому что предчувствовал, что гостем того мира ему осталось быть столько дней и ночей, что можно по пальцам перечесть...

Мухаммед и Али шли не останавливаясь, перевалили через горы, прошли по холмам, словно бросая вызов трудным дорогам: мы одолеем вставшую на пути черную гору, мы одолеем бурную реку; поддерживали друг друга, помогали друг другу, делили последний кусок и наконец достигли плодородного широкого склона и обосновались здесь.

Перед Мухаммедом и Али, перед их женами и детьми впервые в жизни распахнулся такой простор, впервые в жизни они вдыхали аромат темно-коричневой земли, и влажность этой земли проникала в тело и давала никогда прежде не испытанное ощущение покоя, говорила о завтрашнем изобилии, о красоте земли и о счастье жизни.

И Мухаммед, и Али работали день и ночь, помогая друг другу, охотились, поддерживали друг друга, вместе построили дом Мухаммеду, потом — Али, наладили жизнь, и каждый стал распахивать для себя большой участок, возделывать землю.

В один из дней, едва взошло солнце, Мухаммед, сняв лапти-чарыхи, бродил по своему участку вдоль забора; этот забор был недавно построен и отделял участок Мухаммеда от участка Али, это был первый забор, который увидели, свидетелями которого стали зеленые горы, заросшая цветами равнина, темно-коричневая земля.

Мухаммеду жаль было топтать эту землю чарыхами, и впервые в жизни босые ноги Мухаммеда выше щиколоток утапали в мягкой земле, и во влажной темно-коричневой земле чувствовалось тепло: никогда ни одежда, ни одеяло не согревали Мухаммеда таким теплом; в этом тепле было что-то от родных материнских рук.

Так вот, согреваясь теплом земли, Мухаммед подошел, остановился у развесистого грушевого дерева и удивленно посмотрел на него и на забор, проходящий под грушевым деревом — и грушевое дерево, и земля под ним должны были находиться на участке Мухаммеда — так они договорились с Али и так отводили место для забора, но теперь забор был выдвинут вперед, и вся земля под деревом припала на участок Али.

Окутавшее тело Мухаммеда тепло земли в одно мгновение исчезло, словно и счастье, дарованное солнцем,

пропало, и горькое чувство разочарования охватило Мухаммеда.

В это время и Али начал обходить свой участок вдоль забора, подошел к грушевому дереву, остановился перед Мухаммедом, и Мухаммед, поглядев в большие, до вчерашнего дня чистейшие глаза Али, впервые увидел в них жадность и дрожащим голосом сказал:

— Мы говорили друг другу «брат»! Когда томила жажда, делили воду, когда мучил голод — хлеб и соль! Почему ты так поступил? Почему выдвинул забор вперед и забрал мою землю?

Али горделиво, даже надменно, окинул взором свой участок вдоль забора, посмотрел на вспаханную темно-коричневую землю, потом снова на Мухаммеда и сказал:

— Это место было моим. Я распахал его.

Мухаммед посмотрел на землю под грушевым деревом и пришел в ужас от явной лжи Али. Мухаммед увидел в больших и до вчерашнего дня чистейших глазах Али притворство, какого и представить себе не мог, но с усилием взял себя в руки и сказал:

— Ты ошибаешься, брат, это моя земля!

Али рассмеялся:

— Нет, брат, это ты ошибаешься... Вспомни хорошенько... Это моя земля!..

Али посмотрел на участок Мухаммеда, и Мухаммед увидел голод в глазах Али. Али будто хотел съесть распаханную землю Мухаммеда, и Мухаммед понял, что сейчас Али хочет стать владельцем и его земли; все существо Мухаммеда, никогда не имевшего землю, всю жизнь терпевшего муки и страдания, затрепетало, точно его опять захотели вернуть в бесплодные дождливые дни, когда он жил выше серых облаков, среди отвесных скал, и Мухаммед дернулся, всем существом как бы противясь возвращению в те дни, схватил с земли брошенные у забора грабли и со всей силой ударил Али по голове.

В одно мгновение прекрасная темно-коричневая земля приняла цвет крови, а потом уже Али ничего не видел и только в жутком изумлении произнес: «Брат?!»

Мухаммед некоторое время смотрел на распростертое тело Али, не в силах отвести от него глаза, и в необъятном просторе вдруг услышал слова Деде Коркута, произнесенные шепотом Деде Сулейманом:

Сын, сын, о сын!

Ясность моих серых, точно каракуль, глаз, о сын!

Хребет моей могучей спины, о сын!
Смотри, что же в конце концов стало!..

И будто Деде Сулейман шептал эти слова Деде Коркута не Мухаммеду, а распростертому под грушевым деревом Али, Мухаммед слышал этот шепот не своими ушами, а окровавленными ушами Али, потом Мухаммед почувствовал, что сзади верхом на Белом Верблюде едет Говорящий Истину, и обернулся.

Белый Верблюд, по обыкновению, медленно вышагивал, держа голову прямо, и каждый раз из следов его поднимали головки белоснежные цветы.

Говорящий Истину никогда ничего не надевал на себя, не стриг бороды, волос, не укорачивал ногтей, потому что и Говорящий Истину в сущности был человек, и, по его мнению, человек должен выглядеть таким, каков он есть изначально.

Говорящий Истину сидел на спине Белого Верблюда, его никто не видел, но все о нем знали.

Белый Верблюд, шагая так же медленно, подошел и остановился перед Мухаммедом.

Мухаммед в жизни своей не видел верблюда и решил, что на земле бывают только Белые Верблюды.

Глаза у Говорящего Истину тоже были белоснежными, как цветы, растущие из следов Белого Верблюда, в тех белоснежных глазах все находило свое отражение, и Мухаммед тоже увидел свое отражение в белоснежных глазах, увидел отражение развесистого грушевого дерева, увидел отражение залитого ярко-красной кровью тела Али.

Кровь Али загустела на его лице, на темно-коричневой земле, отразилась красным пятнышком в белых глазах Говорящего Истину.

— Эта земля была моя, а не его! — закричал Мухаммед. — Скажи, чья правда? Скажи правду!

Он бросил окровавленные грабли, которые все еще держал в руке, всем существом своим желая услышать от Говорящего Истину подтверждения своим словам.

Говорящий Истину посмотрел на Мухаммеда, посмотрел на распростертое под грушевым деревом тело Али и сказал:

— Я — это ты, я — это он. — Говорящий Истину простер руку и показал на тело Али. — Что я могу сказать? Ссора была из-за земли, у земли и надо спрашивать.

Белый Верблюд согнул передние ноги, вытянул шею, прислонил одно ухо к земле, послушал землю, потом под-

нял голову, посмотрел своими черными глазами в белые глаза Говорящего Истину; Говорящий Истину все прочел по глазам Белого Верблюда.

— Земля сказала, что вы оба говорили неправду! — молвил он. — Земля сказала: я не принадлежу ни одному из них. Земля сказала: это они — мои! Один уже идет ко мне в объятия. И другой, когда придет время, станет моим!

Белый Верблюд встал и, удаляясь обычно своим медленным шагом, исчез с глаз...

Белые цветы, выросшие из его следов, вещали о том, что когда-то здесь прошел Белый Верблюд...

XX

Первое несчастье в нашем квартале пришло в семью бедного дяди Мейрангулу, и бедный дядя Мейрангулу, не умея сдерживаться, при женщинах, при детях хлопал себя ладонями с худыми длинными пальцами по худым бедрам и, плача, повторял только одно:

— Мой сынок — поэт!.. Мой сынок — поэт!..

Шестеро сестер Ибрагима столько плакали, так испарали себе лицо, грудь, что сил у них хватало только стоять.

Все жители махалли собрались в доме дяди Мейрангулу. Дядя Гасанага, дядя Агагусейн, дядя Азизага (вскоре и они все ушли на войну...), а из нашего тупика Джебраил с Агарагимом посреди улицы, перед домом дяди Мейрангулу, соорудили палатку, и молла Асадулла, усевшись в палатке на почетном месте, читал Коран, время от времени с большой осторожностью откладывая в сторону эту большую, толстую книгу, снимал очки, клал рядом с книгой и, в тишине прихлебывая чай, шептал:

— Без савана ушел юноша... — Потом громко говорил: — Царствие небесное!.. Аллах рахмат элесин!..

Все сидевшие в палатке мужчины, слегка приподнямаясь с мест, хором произносили:

— Аллах рахмат элесин!..

Молла Асадулла говорил:

— Царствие небесное и всем вашим умершим! Да накажет аллах виновника! Да бережет аллах от пули всех ваших близких! Да не оставит аллах ни одного дома без мужчины, да не останутся дети сиротами!.. Да покарает аллах Гитлера, пусть унесет его Азраил, пусть загорится

не говоря никому ни слова, усевшись под раздвоенным тутовником на краю тротуара, начинал играть на свирели, его свирель наряду с таинственными образами и преданиями этого мира говорила и о постепенном осиротении нашей махаллы, говорила о печали, опустившейся на стены Желтой бани, на наш тупик, дома нашего переулка, улицы, квартал, и я, безмолвно слушая прекрасную свирель Балакерима, вдруг задумался о том, что придет день, и я опишу все, рассказанное этой прекрасной свирелью, словами, выходящими из-под маленького красивого перышка автоматической ручки... Эта мысль потрясла все мое существо, потому что была совершенно неожиданной; в сущности, эта мысль для маленького Алекпера была огромным открытием, а само открытие породило в моем сердце новые чувства, как будто я вдруг вырос в собственных глазах, как будто совершенно по-новому взглянул и на Балакерима, который, надув худые щеки, двигая тонким подбородком, играл на прекрасной свирели, и на раздвоенное туговое дерево, и на проглядывающее сквозь листья раздвоенного тугового дерева небо, и на только что появившиеся звезды.

Каждый день, проснувшись рано утром, я укладывал учебники, тетради, чернильницу, тонкую длинную ручку в сумку, спитую мне мамой, когда я пошел в первый класс, и, перевесив сумку через плечо, шел в школу. Через два дня после отъезда тети Зибь в Америку я утром шел в школу, и тетя Ханум, выглянув в окно веранды, позвала меня:

— Иди сюда, Алекпер.

Тогда еще только три сына тети Ханум ушли на фронт: Джафар, Адыль и Абдулалы, всех троих забрали сразу, а остальные были дома; Годжа еще учился в медицинском институте, но говорили, что не сегодня, так завтра заберут и Годжу, потому что, говорили, такие, как Годжа, врачи и студенты-медики, теперь очень нужны на фронте (и действительно, прошло немного времени — Годжу тоже забрали); а Джебрайл с Агарагимом продолжали работать. У всех наших женщин, девушек, невест, чьи сыновья, мужья, отцы, братья, женихи ушли на фронт, глаза всегда были влажные, все жили в тревоге, все нуждались в куске хлеба, но готовы были пожертвовать последним, чтобы получить с фронта хоть две строчки, что цел; и тетя Сакина, и тетя Мешадиханум, и тетя Фируза, и другие женщины квартала, проводившие на войну мужей, сыновей,

братьев, изменились на глазах, поблекли, состарились; и те женщины, чьи мужья или сыновья еще не ушли на войну, со дня на день ожидали дня, когда придется провожать на фронт мужей или сыновей. Моя мама все повторяла: «Ай Алекпер, когда отца твоего заберут, куда мы с тобой головы приклоним, ай Алекпер?.. Такой смиряга, как твой отец, что там станет делать?..» Говорила она и плакала. Так и жила. Но я ни разу не видел тетю Ханум плачущей (и не увидел!); у тети Ханум и лицо не изменилось, тонкие губы, как всегда, были плотно сжаты, черные глаза, глядевшие из-под широких бровей, как всегда, вещали о суровости, но я чувствовал что-то новое в голосе тети Ханум, чувствовал, что в ее голосе что-то изменилось, но что именно, не знал.

— Иди сюда, Алекпер.

Я поднялся по деревянной лесенке к тете Ханум на веранду. Тетя Ханум стояла в дверях и, как только я вошел, протянула мне маленький мешочек:

— Возьми, Алекпер, я для тебя спшила... Положишь в него свою чернильницу.

Я понял, что за три-четыре дня, прошедшие с тех пор, как я увидел автоматическую ручку Гавриила, тетя Ханум спшила мне этот мешочек... Мешочек из зеленого бархата, в котором я носил чернильницу, как сейчас у меня перед глазами: тетя Ханум нашла на этот мешочек узоры из разных мелких бусинок, и эти разноцветные узоры из бусинок сделали таким красивым, таким нарядным зеленый бархатный мешочек, что он больше походил на девчачью, как мы говорили, игрушку, девчачье украшение, и все же этот зеленый бархатный мешочек с бусинками я носил в школу, пока он не изорвался; носил, можно сказать, до конца войны, до тех пор, пока за нами приехал дядя и увез нас из нашего квартала.

В то утро, когда тетя Ханум подарила мне изготовленный ею для чернильницы мешочек, я хотел обнять и поцеловать тетю Ханум; мне показалось, что тетя Ханум, как мама, — родной и дорогой человек, но я посмотрел на плотно сжатые тонкие губы, посмотрел на черные глаза, глядевшие из-под широких бровей, и, сказав только: «Большое спасибо», спустился по деревянным ступенькам, вышел со двора, остановился в нашем тупике, вынул чернильницу из сумки, вложил в бархатный, изукрашенный бусинками мешочек и пошел в школу. Конечно, я очень любил тетю Ханум, конечно, всю дорогу до школы оста-

навливался, любовался бархатным мешочком и радовался, но в то же время — не знаю почему — мне было жалко себя, и от этого чувства, которого я не понимал, появлялся комок в горле...

А тетя Зиба в наш квартал не вернулась, и маленький замок на двери тети Зибы около керосиновой лавки так и оставался висеть, когда перед концом войны мы продали наш дом и переселились к дяде; осенний дождь, зимний снег покрыли ржавчиной маленький замок, и этот заржавевший замочек вместе с большим замком на двери Алиаббаса-киши как будто не просто висели на дверях тети Зибы, Алиаббаса-киши, а сама война замкнула на заржавевший замочек и на большой замок нашу махаллу и как будто тетя Зиба не сама уехала в Америку, а Алиаббас-киши не сам переселился в Маштаги, к дочери, — нет, они пропали без вести на войне.

...Балакерим переставал играть и прятал свирель в нагрудный карман желтого пиджака.

Внутри бани черт-те что,
Внутри соломы решето,
Верблюду бороду побреет,
Баня бедного согреет...—

говорил он, отвлекая нас, хоть и ненадолго, от той грусти, той печали, которой, как сыростью, как запахом, были пропитаны стены, двери, окна домов нашего квартала, нашего тупика, булыжники нашей улицы, уводил в свой далекий волшебный мир; и иногда мне казалось, будто Балакерим рассказывает истории своего волшебного мира по-английски, как дети Гавриила, но я его понимаю...

ХІХ

Две семьи спустились с гор, поселились на этом красивом, этом плодородном склоне, и журчание текущей реки, зелень, цветы, которые были везде, насколько хватало взгляда, напоминали о добрых делах, добрых свершениях, ясности, чистоте мира, а запах здешней вспаханной темно-коричневой земли вещал о том, что муки и лишения далеких гор навсегда остались в прошлом, стали только смутными и горьким воспоминанием.

Солнце взойшло, принесло с собой счастье: и густой лес над широким склоном, и зеленый луг под ним, и извилистая река с кристальной водой, и вспаханная темно-ко-

ричневая земля — все улыбалось Мухаммеду, Али, их женам, их детям.

Они переселились с далеких и крутых гор, жизнь провели среди камней, скал. Их предки когда-то — в эпоху Нух-Наби, когда вещей певец и сказитель Деде Коркут слагал свои сказания, пел свои песни, — спасаясь от врагов, укрылись в горах. Там — вдалеке от вражеских мечей, стрел, копий — основали селение, и с той поры осели в нем. В том селении не было земли — вокруг только камни, щебень, и сеять, растить приходилось в неслыханных муках; в том селении не бывало дождей, а если дождь выпадал, то ливнем смывало посевы, выращенные в муках; в том селении не бывало морозов, а если случался мороз, то вымерзали взлелеянные годами и только теперь обещавшие урожай плодовые деревья, вымирали овечьи отары, бычьи стада.

Мухаммед, родившийся в том селении, никогда не видел ничего другого, там вырос, там женился и всю жизнь очищал землю от щебня, строил плотины от ливней, рассекал камни, скалы, устроил себе крепкое подворье, но все это не имело значения: он видел плоды лишь сотой части неимоверного труда.

Али тоже родился в том селении. Али тоже никогда не видел ничего другого, и Али, как все мужчины селения, день и ночь работал, не зная ни лета, ни зимы, весной работал больше, чем осенью, осенью больше мучился, чем летом, но Али, как и все жители селения, не знал изобилия, дети Али тоже росли полуголодными.

В том селении и земля под ногами человека была непригодной для жизни, и небо над его головой было непригодным для жизни; природа здесь мучила и пытала сынов Адама; в том селении даже могилу копать надо было киркой, точно камень, долбить землю; и жители селения думали, что так и должно быть; тысячу лет они мирились со своей судьбой, и через тысячу лет должно было быть так.

Бог забыл об этом селении.

В последний день, что провели здесь Мухаммед и Али, с неба полилась вода, как селевой поток, обрушился ливень, смыл все, что было посеяно, а после того ливня не осталось ни посадок, ни самой почвы, остался только щебень, остались осколки скал, и отполированные водой камни сверкали под солнцем, вещая о страданиях, муках,

лишениях завтрашнего дня, и будущего года, и грядущих столетий.

Первые человек здесь дошел до отчаяния, человек забунтовался: Мухаммед, бродя среди осколков камней, заваливших поле, со страстью, не вмещающейся в его большое и сильное тело, воскликнул:

— Да будет пуста эта округа! Да будет проклята эта округа! Довольно мы жили как горные козы! Довольно. Прочь отсюда! Напрасно предки наши поселились тут! Лучше было пасть от меча врага, чем селиться здесь! Уйдем из этих мест! Много земли у бога! Уйдем! Переселимся!

Жители селения собрались вокруг Мухаммеда, но никто в ответ ничего не сказал, все изумленно взирали на Мухаммеда, изумленно внимали Мухаммеду: тысячу лет людям и в голову не приходило, что можно переселиться куда-либо в другое место, можно где-то найти другую землю, можно жить без камней и скал, без ливней и морозов.

Потом все посмотрели на самого древнего жителя этих мест Сулеймана Деде.

Деде Сулейман некоторое время безмолвствовал, потом как бы заговорил сам с собой.

— Дело предков — правое дело, — сказал он. — Дух предков благословен и не заслужил упрека...

Мухаммед подошел и встал лицом к лицу с Деде Сулейманом.

— Прости меня, Деде, — сказал он.

Деде Сулейман сказал:

— Я простил. Пусть бог простит... если престит.

Мухаммед сказал:

— Я ухожу, Деде.

Деде Сулейман еще некоторое время помолчал, потом оглядел всех жителей селения, собравшихся вокруг Мухаммеда, посмотрел на груды серых облаков, плывущих ниже крутых гор, и вдруг зашептал вдохновенно слова Деде Коркута:

Сын! Там, куда ты идешь,
дороги опасны.

Всадник увязнет, не вылезет из грязи,
ибо болота опасны.

Пестрая змея сворачивает с пути,
ибо непроходимыми чащи бывают,

Молча голову сносят порою
Там, где палачи бывают...

Деде Сулейман умолк, посмотрел на Мухаммеда; прошло некоторое время, и Мухаммед снова сказал:

— Я ухожу, Деде.

Деде Сулейман еще раз за свою долгую жизнь понял: чему быть, того не миновать, что определено, то и сбудется, и сказал:

— Кто хочет, может пойти с ним...

Жители селения испугались слов Деде Сулеймана и начали расходиться; каждый удалился в свой дом, и вскоре на покрытом камнями поле остался Мухаммед, остался Деде Сулейман и еще остался Али.

Али подошел к Мухаммеду.

— Я пойду с тобой! — сказал он. — Мне тоже невмogu! Я тоже ухожу! — сказал он и посмотрел на Деде Сулеймана.

Сувившиеся за долгие-долгие годы, но не поблекшие глаза Деде Сулеймана блестели, и этот молодой блеск не сочетался с его белоснежными волосами, белоснежной бородой; и Деде Сулейман взглянул на Мухаммеда, взглянул на Али, взглянул на груды серых облаков, что клубились ниже крутых гор, и улыбнулся:

— Имам Али тоже всегда был вместе с пророком Мухаммедом, — молвил он.

Мухаммед сказал:

— Благослови нас, Деде.

Деде Сулейман сказал:

— Сынок, удачи тебе!

Те же слова он сказал и Али; в тоске и печали, охвативших его сердце, медленно побрел он к своему жилищу и лег в постель.

В тот же день и Мухаммед, и Али запрягли волов в телеги, взяли сохи, кетмени, лопаты, кирки, усадили в арбы жен, детей, сами встали впереди, последний раз бросили взгляд на свое селение, что стояло намного выше серых облаков, сказали: «С богом!» — и тронулись в путь.

Односельчане ничего не сказали ни Мухаммеду, ни Али, но, когда они двинулись в путь, собрались на отвесной скале, перед селением, глядя им вслед; старухи, молодые женщины, девицы принесли чистой воды, плеснули вслед Мухаммеду и Али и заплакали; жители этого селения до сих пор прощались навечно только с умершими, и теперь впервые расставались, не закапывая в землю, а провожая куда-то в другое место.

Потом сельчане направились к жилищу Деде Сулей-

мана, потому что Деде Сулейман томился охватившей его сердце тоской и печалью, потому что предчувствовал, что гостем того мира ему осталось быть столько дней и ночей, что можно по пальцам перечесть...

Мухаммед и Али шли не останавливаясь, перевалили через горы, прошли по холмам, словно бросая вызов трудным дорогам: мы одолеем вставшую на пути черную гору, мы одолеем бурную реку; поддерживали друг друга, помогали друг другу, делили последний кусок и наконец достигли плодородного широкого склона и обосновались здесь.

Перед Мухаммедом и Али, перед их женами и детьми впервые в жизни распахнулся такой простор, впервые в жизни они вдыхали аромат темно-коричневой земли, и влажность этой земли проникала в тело и давала никогда прежде не испытанное ощущение покоя, говорила о завтрашнем изобилии, о красоте земли и о счастье жизни.

И Мухаммед, и Али работали день и ночь, помогая друг другу, охотились, поддерживали друг друга, вместе построили дом Мухаммеду, потом — Али, наладили жизнь, и каждый стал распахивать для себя большой участок, возделывать землю.

В один из дней, едва взошло солнце, Мухаммед, сняв лапти-чарыхи, бродил по своему участку вдоль забора; этот забор был недавно построен и отделял участок Мухаммеда от участка Али, это был первый забор, который увидели, свидетелями которого стали зеленые горы, заросшая цветами равнина, темно-коричневая земля.

Мухаммеду жаль было топтать эту землю чарыхами, и впервые в жизни босые ноги Мухаммеда выше щиколоток утопали в мягкой земле, и во влажной темно-коричневой земле чувствовалось тепло: никогда ни одежда, ни одеяло не согревали Мухаммеда таким теплом; в этом тепле было что-то от родных материнских рук.

Так вот, согреваясь теплом земли, Мухаммед подошел, остановился у развесистого грушевого дерева и удивленно посмотрел на него и на забор, проходящий под грушевым деревом — и грушевое дерево, и земля под ним должны были находиться на участке Мухаммеда — так они договорились с Али и так отводили место для забора, но теперь забор был выдвинут вперед, и вся земля под деревом пришлась на участок Али.

Окутавшее тело Мухаммеда тепло земли в одно мгновение исчезло, словно и счастье, дарованное солнцем,

пропало, и горькое чувство разочарования охватило Мухаммеда.

В это время и Али начал обходить свой участок вдоль забора, подошел к грушевому дереву, остановился перед Мухаммедом, и Мухаммед, поглядев в большие, до вчерашнего дня чистейшие глаза Али, впервые увидел в них жадность и дрожащим голосом сказал:

— Мы говорили друг другу «брат»! Когда томила жажда, делили воду, когда мучил голод — хлеб и соль! Почему ты так поступил? Почему выдвинул забор вперед и забрал мою землю?

Али горделиво, даже надменно, окинул взором свой участок вдоль забора, посмотрел на вспаханную темно-коричневую землю, потом снова на Мухаммеда и сказал:

— Это место было моим. Я распахал его.

Мухаммед посмотрел на землю под грушевым деревом и пришел в ужас от явной лжи Али. Мухаммед увидел в больших и до вчерашнего дня чистейших глазах Али притворство, какого и представить себе не мог, но с усилием взял себя в руки и сказал:

— Ты ошибаешься, брат, это моя земля!

Али рассмеялся:

— Нет, брат, это ты ошибаешься... Вспомни хорошенько... Это моя земля!..

Али посмотрел на участок Мухаммеда, и Мухаммед увидел голод в глазах Али. Али будто хотел съесть распаханную землю Мухаммеда, и Мухаммед понял, что сейчас Али хочет стать владельцем и его земли; все существо Мухаммеда, никогда не имевшего землю, всю жизнь терпевшего муки и страдания, затрепетало, точно его опять захотели вернуть в бесплодные дождливые дни, когда он жил выше серых облаков, среди отвесных скал, и Мухаммед дернулся, всем существом как бы противясь возвращению в те дни, схватил с земли брошенные у забора грабли и со всей силой ударил Али по голове.

В одно мгновение прекрасная темно-коричневая земля приняла цвет крови, а потом уже Али ничего не видел и только в жутком изумлении произнес: «Брат?!»

Мухаммед некоторое время смотрел на распростертое тело Али, не в силах отвести от него глаза, и в необъятном просторе вдруг услышал слова Деде Коркута, произнесенные шепотом Деде Сулейманом:

Сын, сын, о сын!

Явность моих серых, точно каракуль, глаз, о сын!

Хребет моей могучей спины, о сын!
Смотри, что же в конце концов стало!..

И будто Деде Сулейман шептал эти слова Деде Коркута не Мухаммеду, а расprostертому под грушевым деревом Али, Мухаммед слышал этот шепот не своими ушами, а окровавленными ушами Али, потом Мухаммед почувствовал, что сзади верхом на Белом Верблюде едет Говорящий Истину, и обернулся.

Белый Верблюд, по обыкновению, медленно вышагивал, держа голову прямо, и каждый раз из следов его поднимали головки белоснежные цветы.

Говорящий Истину никогда ничего не надевал на себя, не стриг бороды, волос, не укорачивал ногтей, потому что и Говорящий Истину в сущности был человек, и, по его мнению, человек должен выглядеть таким, каков он есть изначально.

Говорящий Истину сидел на спине Белого Верблюда, его никто не видел, но все о нем знали.

Белый Верблюд, шагая так же медленно, подошел и остановился перед Мухаммедом.

Мухаммед в жизни своей не видел верблюда и решил, что на земле бывают только Белые Верблюды.

Глаза у Говорящего Истину тоже были белоснежными, как цветы, растущие из следов Белого Верблюда, в тех белоснежных глазах все находило свое отражение, и Мухаммед тоже увидел свое отражение в белоснежных глазах, увидел отражение развесистого грушевого дерева, увидел отражение залитого ярко-красной кровью тела Али.

Кровь Али загустела на его лице, на темно-коричневой земле, отразилась красным пятнышком в белых глазах Говорящего Истину.

— Эта земля была моя, а не его! — закричал Мухаммед. — Скажи, чья правда? Скажи правду!

Он бросил окровавленные грабли, которые все еще держал в руке, всем существом своим желая услышать от Говорящего Истину подтверждение своим словам.

Говорящий Истину посмотрел на Мухаммеда, посмотрел на распростертое под грушевым деревом тело Али и сказал:

— Я — это ты, я — это он. — Говорящий Истину простер руку и показал на тело Али. — Что я могу сказать? Ссора была из-за земли, у земли и надо спрашивать.

Белый Верблюд согнул передние ноги, вытянул шею, прислонил одно ухо к земле, послушал землю, потом под-

нял голову, посмотрел своими черными глазами в белые глаза Говорящего Истину; Говорящий Истину все прочел по глазам Белого Верблюда.

— Земля сказала, что вы оба говорили неправду! — молвил он. — Земля сказала: я не принадлежу ни одному из них. Земля сказала: это они — мои! Один уже идет ко мне в объятия. И другой, когда придет время, станет моим!

Белый Верблюд встал и, удаляясь обычно своим медленным шагом, исчез с глаз...

Белые цветы, выросшие из его следов, вещали о том, что когда-то здесь прошел Белый Верблюд...

XX

Первое несчастье в нашем квартале пришло в семью бедного дяди Мейрангулу, и бедный дядя Мейрангулу, не умея сдерживаться, при женщинах, при детях хлопал себя ладонями с худыми длинными пальцами по худым бедрам и, плача, повторял только одно:

— Мой сынок — поэт!.. Мой сынок — поэт!..

Шестеро сестер Ибрагима столько плакали, так исцарапали себе лицо, грудь, что сил у них хватало только стонать.

Все жители махалли собрались в доме дяди Мейрангулу. Дядя Гасанага, дядя Агагусейн, дядя Азизага (вскоре и они все ушли на войну...), а из нашего тупика Джебраил с Агарагямом посреди улицы, перед домом дяди Мейрангулу, соорудили палатку, и молла Асадулла, усевшись в палатке на почетном месте, читал Коран, время от времени с большой осторожностью откладывал в сторону эту большую, толстую книгу, снимал очки, клал рядом с книгой и, в тишине прихлебывая чай, шептал:

— Без савана ушел юноша... — Потом громко говорил: — Царствие небесное!.. Аллах рахмат элесин!..

Все сидевшие в палатке мужчины, слегка приподнимаясь с мест, хором произносили:

— Аллах рахмат элесин!..

Молла Асадулла говорил:

— Царствие небесное и всем вашим умершим! Да накажет аллах виновника! Да уберет аллах от пули всех ваших близких! Да не оставит аллах ни одного дома без мужчин, да не останутся дети сиротами!.. Да покарает аллах Гитлера, пусть унесет его Азраил, пусть загорится

его могила и язык его обуглится!.. Да продлит аллах жизнь Сталина!..

Мужчины в палатке хором произносили:

— Аминь!

Джафаргулу и я часто входили и выходили из палатки: мы разносили чай мужчинам, собирали пустые стаканы, и, странное дело, слова, произносимые моллой Асадуллой, слова мужчин возвышали меня в собственных глазах, я казался себе большим.

Молла Асадулла говорил:

— Сын Мейрангулу Ибрагим был хороший парень. Своей чистотой он был похож на пророка Ибрагима. Царь вавилонский Немврод велел бросить Ибрагима в огонь, но пламя не тронуло Ибрагима Халила, так он был чист!.. И там, где горел огонь, вырос цветущий сад...

Когда молла Асадулла рассказывал такие истории, я не двигался с места, стоял и слушал; это производило на меня такое впечатление, что я забывал обо всем на свете и порой приходил в себя только тогда, когда либо горячий чай проливался мне на руки, либо Джафаргулу дергал за руку. Истории моллы Асадуллы порой походили на истории Балакерима, но отличие состояло лишь в том, как мне казалось, что молла Асадулла рассказывал то, что было на самом деле, во всяком случае молла Асадулла рассказывал эти истории не детям, рассказывал их взрослым, и поэтому его истории выглядели достоверными...

Я уже забыл, как Ибрагим показывал нам кино за двадцать копеек, как, когда у нас не было денег, брал за вход конфеты, и лишь две строки, написанные поэтом Ибрагимом, не выходили у меня из памяти:

Когда небо расстегнуло ворот, показалась луна!
Когда ты расстегнула ворот, показалось солнце!

Правда, я не понимал смысла этих строк, но эти две строки (они, возможно, действительно были не Ибрагима, но это не имело значения!..) после гибели Ибрагима будто стали самой горестной тоскливой песней на свете; тогда маленький Алекпер не понимал, что такое смерть; но горестная, тоскливая песня, зазвучавшая в душе со строками поэта Ибрагима, трогала меня, наполняла глаза слезами, мне хотелось плакать, и перед моим мысленным взором возникал тот цветущий сад, о котором говорил молла Асадулла, и растущие в том саду красные, оранжевые, фиолетовые цветы тоже были в тоске и печали.

Ночью, перед тем как заснуть, я представил себя на месте поэта Ибрагима: как будто погиб на войне не поэт Ибрагим, а я сам, и палатка перед домом дяди Мейрангулу сооружена в мою честь, и все мужчины округи собрались в палатке в знак траура по мне, и молла Асадулла меня уподоблял пророку Ибрагиму Халилу; перед моими глазами проходили лица всех мужчин махалли, и я, с одной стороны, горевал сам по себе, мне было жаль, что я погиб на войне, а с другой — я гордился собой, потому что сражался, потому что погиб на войне, потому что все мужчьины махалли ради меня собрались в эту палатку, и пожилые женщины, молодухи, девушки плакали обо мне; потом мне показалось, что вавилонский царь Немврод хочет сжечь меня, и я почувствовал жар пламени, но не испугался, потому что пламя должно было превратиться в цветущий сад и в саду выросли бы красивые, оранжевые, фиолетовые цветы.

Во второй раз у нас в округе похоронка пришла в дом тети Фирузы, и на этот раз палатка была сооружена перед домом тети Фирузы; потом палатка стала ставиться часто, от одного дома переселялась к другому; эта палатка превратилась как бы в Белого Верблюда: поставленная у ворот, она возвещала о горестных делах мира сего.

Однажды я спросил у Балакерима:

— А почему Белый Верблюд не ляжет у ворот Гитлера?

Балакерим, будто зная все заранее, многозначительно усмехнулся:

— Ляжет, Алекпер, ляжет... Персы, знаешь, что говорят, Алекпер? Спроси у отца, он должен знать, персы сказали: хар сухан джаиз, хар ногта мегам дарест...!

Я, конечно, не понимал смысла сказанных персами слов, но в произношении, в музыке этих слов были покой и тишина; однако покоя и тишины не осталось в нашей махалле.

Только однажды палатка не была поставлена: когда пришла похоронка на часовщика Гюльагу — мужа маминой тезки Соны; несколько мужчин, не пошедших на войну то ли по болезни, то ли по возрасту, то ли по другой какой причине, хотели поставить палатку перед домом Гюльаги, но Сона не позволила, подняла крик, не стала держать траур, потому что Сона не верила в гибель Гюль-

¹ Каждая точка ставится тогда, когда приходит момент (перс.).

аги и кричала, и объясняла людям, что похоронка — ложная.

Всем было жаль Сону, женщины махалли плакали по ушедшему молодым, спокойному, никого не обидевшему красивому Гюльаге, плакали и о бедной Соне, говорили, что Сона помешалась; но много об этом не судачили, а когда говорили, то с болью, со слезами на глазах.

В самом конце нашей улицы, на углу стояли рядом три лавки: мясная, хлебная и керосиновая, и жители махалли всегда покупали мясо в лавке у мясника Дадашбалы (горох, рис, сахар, соль и масло тоже продавались здесь); но когда началась война, лавка закрылась, и мясник Дадашбала стал чайчи; на поминках ставил самовары, ездил в Грузию, закупал и привозил сухой чай, заваривал чай и никогда не оставался без дела; он же и зарабатывал лучше всех, но называли его по-прежнему — мясник Дадашбала; мама и другие всю ночь стояли в очереди перед хлебной лавкой: лавка, перед которой выстраивалась очередь, открывалась рано утром и, быстро опустев, закрывалась; за керосином ходили мы и тоже выстаивали в многочисленных очередях, но скоро и керосин кончился (керосин, как и мужчины, шел на войну); через некоторое время исчезли из наших домов и керосинки, и керосиновые лампы.

Перед нашим тупиком больше не стояли рядышком автобус и четыре полуторки, потому что не только наша улица, не только наш тупик, но и двор наш пустел: сначала на войну ушли Джафар, Адыль, Абдулалы, потом Годжа, и тетя Ханум осталась только с Джебрайлом да с Агарагимом.

Началась война, и мы быстро усвоили, что горе кружит над теми домами, где есть сыновья, мужья, отцы, братья, и, конечно, никому не пришло в голову, что несчастье войдет в дом шапочника дяди Абульфата, у которого было пять дочерей (если женщины собирались вместе, тетя Мешадиханум говорила: «Есть и такое счастье — одних дочек иметь!.. Вон Фатьма! Пятеро детей, и все дочки, ни одна на войну не пойдет»).

Когда перед домами нашего квартала стали сооружаться палатки, когда мясник Дадашбала, отбросив в сторону пень и секач, стал заниматься приготовлением чая, когда мама до утра стала простаивать в очередях перед хлебной лавкой (карточек еще не ввели), все довоенные события вдруг остались в далеком-далеком прошлом, и моя жизнь,

как железный прут, согнутый посередине, вдруг разделась: на жизнь до того, как началась война, и жизнь после того, как началась война.

И радостный вечер в цирке, и краски цирка, которые жили и переливались в моей памяти, для восьмилетнего Алекпера остались в далеком прошлом; лишь изредка, когда я видел на улице Адилю, воспоминания о цирке возникали из далекого прошлого, несли тепло, но это теплое дыхание быстро остывало. Адиля исчезала за углом, и мои воспоминания возвращались в недосыгаемую даль; в махалле, и вообще в моей жизни больше не было ничего такого — ни событий, ни ощущений, способных вернуть из страшной дали «Письмо любви»; и странное дело — даже толстые длинные каштановые косы Адили тоже словно потеряли свой блеск, стали обыкновенными косами.

Одно время я, завидев Адилю на улице, убегал и прятался от смущения.

Дело было в том, что однажды отец, вернувшись из очередного рейса, сказал маме:

— Уж очень ненадежным стал этот мир, баджи... Раве или поздно я тоже пойду на фронт. Хочу увидеть хоть маленькую свадьбу Алекпера...

До войны обрезание у нас в округе превращалось в праздник (это было как бы подготовкой к будущей свадьбе); но на этот раз никакого празднества не было, отец нашел умельца лезгина, привел его, и все прошло очень обыкновенно; необычность была только в том, что я обмотал бедра ярко-красным полотнищем, фитой, и через два дня после обрезания с ярко-красным полотнищем на бедрах вышел на улицу играть с ребятами.

Мы всегда с завистью смотрели, как мальчики постарше нас играли на улице, обмотавшись красным полотнищем; теперь я и сам вырос, я и сам обмотал бедра ярко-красным полотнищем, и, по правде говоря, это красное полотнище на бедрах было единственной радостью в моей жизни с тех пор, как началась война.

На улице, у всех на глазах, я держался очень гордо, потому что вырос, потому что у меня на бедрах было красное полотнище; только при виде Шовкет я делал вид, что не замечаю ее, и — это было сильнее меня — спешил забежать в наш двор, да еще от Адили прятался, не хотел, чтобы Адиля увидела меня с красным полотнищем: Адилю я тоже стеснялся, хотя по-другому.

Шовкет опять время от времени сидела перед своим

домом, на деревянной лавочке рядом с раздвоенным тутовым деревом, но уже не грызла семечки, как прежде, потому что тетя Зибя уехала в Америку и вообще семечек больше не было, и Шовкет не хохотала, как прежде, лишь иногда улыбалась, и, хотя у Шовкет не было никого, кто уходил бы на войну, в ее улыбке тоже была какая-то грусть. Все это было так, но, когда я, обмотав бедра ярко-красным полотнищем, выходил на улицу, Шовкет снова, как прежде, подмигивала мне, тихонько спрашивала: «Очень больно было?» — и посмеивалась.

Несмотря на эти слова, я все же не обижался на Шовкет, а просто убегал во двор и не выходил на улицу, будто и это было игрой между Шовкет и мной.

А Адилю стеснялся по-настоящему.

Черные глаза Адилы, белое лицо, толстые и длинные каштановые косы были для меня родными, но в самом этом ощущении родства была какая-то отдаленность, что-то навсегда минувшее, и почему-то мне казалось, что такое же чувство, связанное с Адилей, было у Годжи — чувство отдаленного и навсегда минувшего, и Адиля это знает и страдает от этого.

Годжа тоже ушел на войну, и в махалле разговоры о Годже и Адиле, можно сказать, утихли и забылись; Балакерим больше не рассказывал о Ромео и Джульетте, я больше не боялся, что Белый Верблюд ляжет у двери Адилы; но однажды на улице я внезапно столкнулся с Адилей лицом к лицу, и Адиля будто даже не увидела красного полотнища, посмотрела на меня черными глазами, и я увидел в ее глазах затаенную тоску, увидел глубокую печаль, словно глаза ее смотрели не на меня, а искали что-то очень далекое; как глаза Балакерима, они были устремлены в некую неведомую точку; потом Адиля второй раз спросила у меня:

— Ну, как ты, Алекпер?

Адиля задала этот вопрос так, будто хотела сказать: мне очень плохо, Алекпер, сердце мое никогда не смеется, Алекпер, я несчастна, Алекпер, несчастна и одинока... Потом Адиля сказала мне самые трогательные на свете слова:

— Я сохранила на память те билеты в цирк, Алекпер...

Я не сумел сдержаться, и глаза мои наполнились слезами; я хотел скрыть полные слез глаза от Адилы, но ничего не вышло, Адиля увидела мои слезы, и в тот же миг черные печальные глаза ее тоже наполнились слезами.

После этого я больше никогда не видел Адилю.

Вдруг по махалле разнеслась весть: Мухтар пошел свататься к шапочнику Абулфату, получил от родителей Адилы «да», и ее выдали замуж за Мухтара.

Неожиданность этой вести была не только в том, что никому бы в жизни не пришло в голову, что Мухтар с Адилей могут пожениться, но еще и в том, что после того, как началась война, все свадьбы на свете, казалось, навсегда остались где-то в прошлом; и если теперь, когда в нашей махалле у каждого дома устанавливаются поминальные палатки, кто-то захотел жениться, пошел свататься, это вызвало крайнее изумление, вызвало своего рода столбняк.

После смерти тети Кюбры Мухтар жил один в их доме с верандой; все так же рано утром ездил на работу в «эмке», на той же «эмке» по вечерам возвращался домой; на нем был тот же черный кожаный пиджак, те же галифе и хромовые сапоги; и после начала войны жизнь Мухтара шла так же, только домой он возвращался позднее, чем прежде, иногда даже в полночь, и когда я, лежа в постели, не мог заснуть на голодный желудок, я слышал шум черной «эмки».

Однажды утром, направляясь в школу, я увидел, что Мухтар в нижней сорочке льет воду в фаянсовые горшочки на своей веранде, и, честно говоря, на меня произвело большое впечатление, что Мухтар с утра, как все простые люди, вот так, в нижней сорочке, поливает цветочки тети Кюбры в фаянсовых горшочках, и я несколько дней думал, что надо бы здороваться с Мухтаром, он тоже человек, от поклона голова не заболит. Балакерим говорил, что приветствие «салам» — божье, не мы его придумали, и я решил уделить этот божий «салам» и Мухтару; и однажды вечером, когда Мухтар, вернувшись с работы, вылезал из черной «эмки», я поздоровался, но он искоса взглянул на меня (может, узнал? Узнал того мальчугана, который, когда он приходил просить прощения у тети Ханум, показал ему дом тети Ханум и видел, как в тот прекрасный довоенный день тетя Ханум прогнала его?) и не ответил на мое приветствие; после этого я больше с ним не здоровался. Однажды Балакерим, сидя на тротуаре под раздвоенным тутовым деревом, некоторое время смотрел на веранду Мухтара, потом сказал: «Сколько в мире есть цветов — у каждого свой язык. Кюбра знала их язык, а Мухтар с ними говорить не умеет. У его цветов сердце болит...»

Сын тети Сафуры Эйнулла тогда еще не пропал на войне без вести, а, выздоровев после первого ранения, вторично отправился на фронт, и тетя Сафура говорила:

— Ну и что же, что Мухтар? Разве он не мужчина? Да еще на такой работе, что на войну не пойдет!.. Немного староват для дочери Фатьмы... Ну что ж, мужчина и должен быть старше, мужчина есть мужчина, что ты хочешь!.. Ну и что же, что у него уши маленькие? Человек может умереть и с красивыми ушами. А за Кюбрюй хорошо смотрел Мухтар, домовитый мужчина. Ну, конечно, Адилля красотка... Но пошла бы она за сына Ханума, и что? Оба молодые, а тут еще такая злая свекровь, как Ханум!..

Моя мама говорила:

— Ну почему тетя Ханум злая? Почему, Сафура, сестрица?

Тетя Сафура говорила:

— Ты мне про Ханум будешь рассказывать? Мухтар крепко стоит на ногах. Годжа — дай ему бог живым-невредимым вернуться с фронта — умный мальчик, воспитанный, слов нет, видит бог. У Ханум все сыновья воспитанные, но, дорогая, одной воспитанностью жену содержать нельзя... Время нынче тяжелое. Вон бедняга Гюльага, сиротка, чем кончил? Курицу зарезать душа не позволяла, а одна пуля — и кончилась его молодая жизнь. Дай бог, чтобы однажды Гитлеру, сукину сыну, досталась такая пуля!.. Чем бедная Сола виновата, не про тебя будь сказано, чтобы такого красавца потерять!..

Мама говорила:

— Кто по душе, тот и красив, Сафура, сестрица...

— Прекрати ты этот детский лепет! Дочке дашь волю, так она или за плясуна выйдет, или за халвичника...

Мама была моложе тети Сафуры, в душе болела за Адилю с Годжой, поэтому не хотела уступать в этом споре тете Сафура:

— Но ведь есть и такая поговорка, Сафура, сестрица: дочь отдай не тому, у кого дом богатый, а тому, у кого папаша на голове!

Я был полностью согласен с мамой, потому что мама и сама пошла не за того, у кого дом богатый: у отца вовсе дома не было, но отец был одним из тех мужчин, у кого папаша на голове: день и ночь в дороге, ни о чем не просил таких, как Фатулла Хатем, и даже в те тяжелые дни содержал нас, как мог.

Тетя Сафура говорила:

— А что, у Мухтара папаша нет? Ты больше Фатьмы переживаешь за ее дочь! Ей-богу, разумные слова говорит Фатьма дочке! Говорит, посмотри на нас, призадумайся, всегда мы были бедными, говорит, жили випроголодь, взгляни на своих сестер, говорит, да хранит аллах руки твоего отца, шьющие папаша, говорит, а то бы все твои племянники с голоду померли бы, говорит, и правильно говорит! Сама Фатьма, если бы не за шапочника Абульфата, а за брата Ханум, покойного Абузара, пошла, что теперь было бы? Сиротами остались бы их дети.

Мама говорила:

— Аллаху виднее... У кого что на лбу написано, то и сбудется.

Мама говорила это, а я хорошо знала, о чем она думала, моя мама: почему на свете все так несправедливо, господи? Все горести этого мира нам ли одним предназначены? Неужто даже такая война на хатемов не поддается? У людей сыновья погибают, мужья без вести пропадают, а газеты все печатают портреты Фатуллы Хатема: Фатулла Хатем написал письмо на фронт солдатам! Фатулла Хатем выступил против сукиных детей, фашистов!.. Чем выступать да письма писать, взял бы да сам пошел, как наши мужья и сыновья, сражался бы с фашистами! Почему не идет? Потому что он — Фатулла Хатем...

...То, что Мухтар ходил сам за себя сватать, просил руки Адилы и получил согласие шапочника Абульфата и тети Фатьмы, вызвало некоторое оживление на нашей осиротевшей улице, в нашей обезлюдившей, обесцветившейся махалле, но в один осенний день, горький день, в полдень, мы с мамой выскочили из дома и побежали на дикие вопли и крики.

Адила бросилась с крыши трехэтажного дома.

Мама, обхватив руками мою голову, прижала меня лицом к себе, чтобы я не увидел Адилю, упавшую на булыжники мостовой, но я и без того не хотел смотреть на Адилю, упавшую на середину мостовой, на булыжники: я уже был не ребенок, я кое-что повидал, я уже видел много палаток, поставленных у ворот соседних домов, и знал, что смерть — это вечная разлука; это я уже понял, осознал и еще сильнее прижал голову к маминому телу; слыша крики на улице, шум, мамины рыдания, я заплакал по Адиле.

Теплая мамина ладонь прижимала мое лицо к своему теплому телу, и так она довела меня до дому.

— Не бойся,— повторяла она,— не бойся! — Потом,

плача, сбежала во двор, принесла ковшик холодной воды, вымыла мне лицо, заставила выпить воды, но я никак не мог успокоиться, и мама объясняла мои рыдания испугом, ей и в голову не приходило, что маленький Алекпер плакал не от испуга, а от печали, и легкое, теперь уже прозрачное пятнышко той печали, разрывавшей мне сердце, осталось в нем и сейчас.

Адила была жива, но вся разбита, изломана, ее положили на машину и увезли в больницу.

Махалля ждала вестей из больницы, махалля молила бога, чтобы Адила выжила, и никто в махалле не произнес ни одного дурного слова в адрес Адили, не осудил Адилю за такой ужасный поступок.

Через четыре дня она умерла.

Адила была первым родным для меня человеком, который умер.

Правда, с войны в наш квартал приходили похоронки, правда, я хорошо знал и поэта Ибрагима, и часовщика Гюльагу, и других погибших; их смерть произвела на меня сильное впечатление, я, как и вся махалля, горевал о погибших, но со смертью Адили как будто умерла какая-то часть меня самого...

Спрятавшись, чтобы меня никто не видел, за горой бревен, палок, досок, сваленных во дворе Желтой бани (большую часть их находил где-то и притаскивал Балакерим), я думал об Адиле, воскрешал перед мысленным взором черные глаза Адили, ее белое лицо, толстые и длинные косы, высокую грудь, которая запомнилась мне с того довоенного весеннего вечера в буфете цирка; мне казалось, что Адила опять протягивает руку и гладит меня по волосам, и у меня в горле застревал комок, и волнистая красная линия в «Письме любви» теперь, когда я прятался за грудой досок и бревен во дворе Желтой бани, мне говорила только и только о печалах мира сего, и я вдруг ощутил аромат розы, возвратившейся из довоенной дали, из милого прошлого, но аромат розы тоже вещал о печалах мира сего, и я шептал четыре строки, которыми оканчивалось «Письмо любви»:

Письмо, к любимому спешу,
Пусть почта не обманет.
Не доберешься до Годжи —
Пусть мне конец настанет.

И мне казалось, что то «Письмо любви» так ни до кого и не дошло, всегда было в пути, даже сам я не читал его, и

оно всегда будет в пути, никогда ни к кому не придет, и бесконечность этого пути была для меня безысходностью мира сего...

Адила уже никому не напишет письма, Адила больше никому не пошлет привета с ароматом розы, и я вдруг подумал о тете Ханум и снова услышал слова: «Что за бесстыжая девка ты, а?!», которые тетя Ханум выкрикнула, появившись перед цирком в тот довоенный прекрасный весенний вечер, и еще больше расстроился; конечно, в мученической смерти Адили тетя Ханум не была виновата, но все равно мне не хотелось видеть тетю Ханум в своем воображении, не хотелось слышать ее голос, мое маленькое сердце надорвалось, после смерти Адили я гневался на тетю Ханум, и мне казалось, что я больше никогда не смогу помириться с ней.

Тело Адили вынесли из трехэтажного здания, молла Асадулла выступил вперед, все население округа двинулось вслед за покойной в сторону кладбища, и я никак не мог осознать, что это Адила сейчас лежит на погребальных носилках, плывущих на чьих-то плечах, что это ее накрыли шелковой накидкой и она не дышит.

Мы как-то привыкли, что умерших уже не хоронят: когда с войны приходили вести о смерти, сооружались палатки, в домах звучали вопли, плач, справлялись поминки, но никто не ходил на кладбище, потому что самого покойника не было, он оставался в сырой земле в дальних краях... А теперь, как до войны, люди шли за телом на кладбище, и этот обряд как будто сделал смерть Адили еще более горькой.

Кларнетист Алекпер был одноглазым, поэтому он не пошел на фронт, и иногда, когда с фронта приходили похоронки, особенно на молодых людей, еще не женатых, не обрученных даже, он без приглашения входил в палатки, сооруженные у домов, раскрывал футляр, не спеша собирал кларнет и с болью, идущей из самого сердца, играл народные траурные мелодии, в такие минуты кларнет Алекпера вызывал слезы даже на глазах мужчин, еще не ушедших на войну, и мужчины, прикрывая глаза платком, чтобы никто не видел их слез, беззвучно плакали, а плечи их тряслись.

Идя за телом Адили, Алекпер играл на кларнете мелодию «Сейгях», и, когда дрожащие пальцы Алекпера бегали по клавишам кларнета, мне казалось, будто я нахожусь в мире тех далеких и безлюдных пустынь, о которых рас-

сказывал Балакерим, и в том мире нет ничего, кроме бесконечно тянущихся бесплодных песков, кроме ярко-синего неба и горестного звука кларнета; но и в пустынях, и в ярко-синем небе, и в горестном звуке кларнета была печаль черных глаз Адилы, ее длинных каштановых кос.

Процессия проходила по кварталам, расположенным выше нашего; и те кварталы осиротели, в них почти не осталось мужчин, парней, а женщины, девушки постарели от горя; у всех глаза были устремлены на дороги войны, но когда мы несли тело Адилы, на тех улицах у ворот тоже собирались люди, и у людей выступали на глазах слезы, и у них сжимались сердца: «Эта девушка с косами, что убила себя...»

Конечно, вся наша махалля горевала, но наряду с горем люди тайли и безмолвное, неприятное любопытство, и, что скрывать, неприятное любопытство тайлось и в душе маленького Алекпера: что станет делать тетя Ханум? Покажется ли на улице во время похоронной церемонии или затворится дома? Покажется ли в этот горький день на глаза людям, которых считала своими врагами?

Тетя Ханум с Джебрайлом по одну сторону и Агарагимом — по другую вышла из тупика и обычным своим шагом подошла к людям; все вокруг тети Ханум, даже плачущие женщины, умолкли, никто ничего не сказал, и все в немом молчании, в сопровождении кларнета Алекпера, двигались за телом Адилы.

Пожилые женщины держали тетю Фатьму под руки, но тетя Фатьма, как только выдавался случай, хватала и рвала руками свои разлохмаченные волосы, царапала лицо и ошипшим от плача и воплей голосом стонала:

— Меня бы убила!.. Почему свою молодую жизнь не пожалела?

Лица шапочника дяди Абульфата не было видно, потому что он прижимал к глазам большой платок, но мне казалось, что плачут не только скрытые большим платком глаза шапочника дяди Абульфата, но и его спина, плачут шаги, плачет одежда на нем.

Рядом с шапочником дядей Абульфатом плакали навзрыд незнакомые мне маленькие дети и подростки, их было много, и Джафаргулу сказал, что это племянники Адилы.

Я увидел Тамару. У Тамары, как у тети Фатьмы, тоже были всклокочены волосы, лицо побледнело, глаза покраснели; в эту минуту мне захотелось подойти к Тамаре,

взять ее за руку, я хотел бы идти рядом с Тамарой, но не подошел к ней, потому что знал: это ничего не изменит.

Мясник Дадашбала был пузатый, толстый мужчина (правда, когда началась война, живот у него обвис, и сам он похудел, но все равно он оставался самым тучным человеком у нас в округе). Прежде, когда я смотрел на Дадашбалу, мне становилось жалко баранов и ягнят всего света, но теперь мясник Дадашбала так искренне плакал, плечи его так прыгали от рыданий, как будто он был самым кротким человеком на свете (а может быть, так оно и было?).

Помимо воли я время от времени искал в толпе глазами тетю Ханум: тонкие губы ее были так же плотно сжаты и черные глаза так же смотрели вперед из-под широких бровей, но вскоре на кладбище кое-что произошло, и я увидел, как плотно сжатые тонкие губы тети Ханум на мгновение приоткрылись, и в глазах ее увидел искорку, но не понял, что тут к чему.

Когда два могильщика с лопатами в руках засыпали могилу Адилы землей, взгляд рвущей на себе волосы, раздирающей лицо, грудь тети Фатьмы упал на стоявшую молча в сторонке тетю Ханум, в этот миг тетя Ханум тоже взглянула на тетю Фатьму, и тетя Фатьма с надувшимися на шею жилами почти пропавшим голосом закричала: — Позовет она твоего сына к себе!.. Позовет!..

На кладбище воцарилась тишина, все невольно взглянуло на тетю Ханум, и в этой мучительной тишине был слышен только скрежет лопат да мягкий стук комьев земли.

Тетя Ханум ничего не сказала; как стояла, так и осталась стоять, и глаза свои не отвела от глаз тети Фатьмы, вот тогда-то я увидел, как губы тети Ханум на мгновение, всего на одно мгновение раздвинулись, и увидел мгновенную искорку в ее глазах, глядевших из-под сросшихся бровей.

Потом молла Асадулла прочел поминальную молитву, женщины квартала с трудом оторвали упавшую на свежую могилу Адилы и не желавшую уходить тетю Фатьму, увели ее с кладбища, и шапочник дядя Абульфат побрел плачущими от горя шагами, все люди разошлись, и на кладбище осталась лишь могила с холмиком свежей земли; мы, дети, и Балакерим задержались, а потом я увидел, что и тетя Ханум с Джебрайлом по одну сторону и Агарагимом

мом — по другую стоит у могилы, а потом я увидел, что немного поодаль стоит Мухтар.

Я не видел Мухтара на похоронах, не знал, когда он пришел на кладбище, и теперь, неожиданно увидев его стоящим вот так у могилы, словно чего-то испугался.

Мухтар не отрывал взгляда от свежей могилы.

И тетя Ханум не отрывала взгляда от свежей могилы.

Мы молча смотрели то на свежую могилу, то на Мухтара, то на тетю Ханум.

Мне казалось, что тишина, воцарившаяся на кладбище, никогда не нарушится.

Вдруг тетя Ханум, подняв глаза, поглядела на нас и сказала:

— Балакерим, возьми-ка свирель, поиграй...

Конечно, мы все хорошо знали характер Балакерима, знали, что он никогда не играет по заказу, и испугались: а вдруг и сейчас Балакерим откажется играть. Но Балакерим сунул руку в нагрудный карман своего пиджака, вынул свирель и заиграл.

После кларнета Алекпера свирель Балакерима звучала слабо, как-то по-сиротски, и что играл Балакерим, было неизвестно, эту мелодию знал только Балакерим, это была его песня.

Балакерим играл, мы слушали его и смотрели на свежий могильный холмик.

Мухтар, не сказав ни слова, повернулся и под звуки свирели Балакерима медленно ушел к кладбищу.

Я смотрел на тетю Ханум и в тот осенний день на кладбище простил тетю Ханум, помирился с ней.

Ночью я опять не мог уснуть, и мама волновалась, тревожилась, часто вставала с постели, подходила ко мне, смотрела на меня, но я не издавал ни звука, не открывал глаз, и, наверное, мама решила, что я сплю, но свежий могильный холмик все стоял у меня перед глазами, и свежая могила была не на кладбище, как днем, а в том цветущем саду, о котором рассказывал молла Асадулла, среди горюющих красных, оранжевых, фиолетовых цветов; я думал о пророке Ибрагиме Халиде, думал о вавилонском царе Немвроде, и всякий раз Немврод предстал в моем воображении в облике Мухтара; я вовсе не хотел уподобить Немврода Мухтару, не хотел, чтобы Немврод предстал перед мысленным взором в образе Мухтара, потому что Мухтар, неотрывно глядевший сегодня днем на свежую могилу, был тем самым Мухтаром, который по утрам в нижней

сорочке поливал цветы, но хоть я и не желал этого, вавилонский царь Немврод предстал перед моими глазами в образе Мухтара...

XXI

Балакерим, как всегда, сидел на тротуаре под раздвоенным тутовым деревом, засовывал худую руку с обкусанными чуть ли не до корня белыми-белыми ногтями и синими-синими венами в нагрудный карман пиджака, вынимал свою свирель, играл свои обычные мелодии, но с начала войны, с начала осиротения нашей махаллы мелодии Балакерима все более грустнели; это были прежние мелодии, но та свирель прежде никогда не разговаривала с нами так печально, и однажды вечером мама, выйдя на улицу, чтобы позвать меня домой, остановилась, некоторое время слушала свирель Балакерима, потом возвратилась домой, и я хорошо знал, что она расстроилась, вдоволь наплакалась, облегчила душу.

Собравшись вокруг Балакерима под раздвоенным тутовым деревом, или под большим тутовником в конце тупика, или во дворе Желтой бани, мы сидели и слушали свирель Балакерима, и Балакерим так же внезапно, как начинал, вдруг переставал играть и говорил:

Внутри бани черт-те что,
Внутри соломы решето,
Верблюд бороду побреет,
Бая бедного согреет...

И вновь он рассказывал о том, что говорил, что делал Белый Верблюд, о самых удивительных на свете происшествиях, случавшихся в давние-предавние времена с колдунами, волшебниками, жестокими падишахами, хитрыми визирями, прекрасными принцессами, отважными принцами, но я больше не мог, как прежде, всем сердцем, всем воображением быть среди тех событий, потому что я слушал Балакерима, но во мне всегда томилось сиротство нашего квартала, печали нашего квартала ни на мгновение не оставляли меня, и порой, когда я слушал Балакерима, мне казалось, что цвет старого желтого пиджака на Балакериме, в сущности, стал цветом нашей улицы, нашего тупика, нашего двора, мне казалось, что, независимо от того, белой, голубой, розовой ли известкой были покрыты стены, вся наша махалла окрасилась в желтый цвет, и эта желтизна была желтизной пиджака Балакерима: грязной, поношенной, жалкой...

Прежде, то есть в те прекрасные времена, когда еще не было войны, когда Балакерим, сидя под раздвоенным тувонником, рассказывал что-то, а Шовкет, сидя внемного поодаль на скамье у дверей своего дома, грызла крупные семечки, купленные у тети Зибы, и в это время по нашей улице проходили чужие, то есть живущие в других кварталах девушки, женщины (особенно статные, полные женщины), Балакерим как бы терялся, полными грусти, но в то же время и внезапно загоревшимися глазами с отчаянием смотрел вслед этим чужим женщинам (когда мимо нас проходили молодые девушки, женщины нашего квартала, Балакерим никогда не поднимал головы), делал несколько глотательных движений, как будто забывал обо всем, — и о нас, и о Белом Верблюде, — при этом Шовкет начинала хохотать, глядя на Балакерима, и говорила: «А ты парень не промах!» Балакерим тогда совсем терялся, не знал, что делать, говорил невпопад, и хотя я не понимал причины его растерянности, глотательных движений, хохота и реплик Шовкет, я чувствовал, как сильно колотится у Балакерима сердце, чуть ли не выскакивает из груди. Теперь Шовкет так не хохотала, и однажды, когда мы опять собрались вокруг Балакерима под раздвоенным тувонником и Балакерим опять, внезапно забыв обо всем на свете, посмотрел вслед проходившей по нашей улице чужой статной женщине, Шовкет, стоявшая, прислонясь к своим воротам, печально сказала:

— Конечно, бедняга, ты ведь тоже человек...

Я впервые за всю мою жизнь услышал столь явную печаль в голосе Шовкет.

Балакерим взглянул на Шовкет, и я увидел в его всегда устремленных в неведомую точку, полных туманной грусти глазах никогда не появлявшуюся прежде благодарность, признательность — этот взгляд и теперь передо мной, — и в то же время во взгляде Балакерима вдруг стала видна беспредельная верность; я никогда не смог бы себе представить, чтобы чей-то взгляд мог так подействовать на Шовкет: она покраснела под взглядом Балакерима, опустила голову, вошла в свою комнату, аккуратно закрыла всегда распахнутую дверь, и я был совершенно убежден в том, что Шовкет в своей комнате, как и моя мама, вдоволь наплакалась, облегчила душу.

Выстраивавшиеся друг за другом перед нашим тупиком автобус и полторки, как я уже говорил, остались в дале-

ком прошлом; исчез автобус, полторок становилось все меньше; после Джафара, Адыля, Абдулали, после Годжи ушел на войну и Джебраил; новая (то есть для нас, для нашей улицы, для нашего тупика новая, а по сути старая, изношенная) полторка Агарагима, после обучения начавшего работать, какое-то время одиноко стояла перед тупиком, и, когда я смотрел на эту одинокую машину, мне казалось, что она тоскует по стоявшим здесь когда-то машинам Джафара, Адыля, Абдулали, Джебрайла и что эта одинокая машина тоскует, как наша улица, как наш тупик, как наш двор.

Тетя Ханум говорила еще меньше, чем прежде, и как будто совсем не размыкала губ, глаза ее по-прежнему были грозными, но я смотрел на плотно сжатые тонкие губы, в эти грозные глаза и чувствовал, что тетя Ханум страдает безнадежно, зная, что настанет срок Агарагима и он уйдет на войну, что и эта машина не будет стоять перед нашим тупиком...

И Агарагим тоже ушел на войну (примерно в одно время с моим отцом, в конце сорок третьего), и в нашем дворе теперь осталось всего трое: тетя Ханум, мама да я (и еще голуби Джебрайла).

Мама чуть ли не всю ночь стояла в очереди, чтобы купить поступающий из Америки зеленоватый порошок из черепашьих яиц, разводи его водой и варила что-то вроде каши; у этого порошка был странный запах и привкус, как будто он не яичный и не черепаший даже, а искусственный, приготовленный из несъедобного вещества; мама хвалила порошок, но при этом прятала от меня лицо, и я знал, что у мамы выступают слезы на глазах оттого, что мы дошли до такой нужды и я должен есть кашу из порошка черепашьих яиц.

После того как Джафар, Адыль, Абдулали, Годжа Джебраил и, наконец, Агарагим ушли на войну, когда тетя Ханум осталась одна, я порой видел, как она из окна веранды смотрела на кран посреди нашего двора, и я тоже все еще грозными глазами тети Ханум видел, как, голые до пояса, моются под краном Джафар, Адыль, Абдулали, Годжа, Агарагим, и сердце мое колотилось, мне казалось, что их мокрые, голые спины и грудь вот сейчас пронзит пуля, кровь из ран смешается с текущей водой, алая кровь прольется в маленький бассейн под краном... В такие минуты мне хотелось взбежать по деревянным ступенькам, обнять тетю Ханум, прижать голову тети Ханум к своей груди

(как мама прижала мою голову к себе в день, когда Адила бросилась с третьего этажа) или прижать свою голову к груди тети Ханум, уж не знаю, но во всяком случае что-то сделать для тети Ханум.

Мама горевала об ушедшем на войну моем отце, о моем сиротстве, горькой доле и еще — я видел это явственно — горевала о тете Ханум: иногда поглядывала на веранду тети Ханум, качала головой, вздыхала, глаза наполнялись слезами. «Бедная женщина!» — шептала она, и я сначала не мог соотнести этот мамин шепот с тетей Ханум, потому что, по моему мнению, все могли быть бедными, вся наша улица, наш тупик, наш двор могли быть бедными, даже Мухтар, в нижней сорочке поливающий цветы тети Кюбры, мог быть бедным, но тетя Ханум никак не могла быть бедной; однако со временем я перестал ощущать это несоответствие...

Тетя Ханум порой поглядывала в сторону ворот, и тогда я видел в ее суровых черных глазах беспокойство, даже страх, и мне казалось, что каждый раз, когда ворота открываются, каждый раз, когда из тупика доносится громкий голос, тетя Ханум ждет черной вести и всегда теперь живет в тревоге, которую от всех скрывает.

Однажды Ибадулла, и в это полное лишений военное время нашедший водку, напился, пришел к нам в тупик, и опять крик тети Амины разнесся по всему тупику, и опять Ибадулла, проклиная весь свет, вышел со двора тети Амины и заплетающимися ногами дошел до наших ворот, где встретился с тетей Ханум; наверное, он вспомнил прошедшие дни, вспомнил Джафара, Адыля, Абдулала, Годжу, Джебраила, Агарагима и, устремив на тетю Ханум полные злости пьяные глаза, проговорил:

— Ну, а ты что думала про немцев? Эти убийцы цацкаться с тобой не будут!.. Всадят пули — по одной в башку твоим сыночкам!..

Тетя Ханум стояла, глядя на Ибадулла и не говоря ни слова, а я, дрожа всем телом, закричал:

— Врешь, сукин сын!

Ибадулла сказал:

— Сукин сын — твой отец-персюк! И в его пустую башку всадят пулю!..

Я снова закричал:

— Врешь! — и, не в силах удержаться, громко заплакал.

После этого я некоторое время избегал тетю Ханум,

стеснялся показываться ей на глаза, смущался; и стеснялся я не только потому, что, не удержавшись, так громко заплакал, но и (самое главное!) потому, что сама тетя Ханум выглядела такой беспомощной, такой одинокой...

XXII

Года полтора тому назад, у меня было назначено выступление по телевидению, я должен был ехать на студию, а открывать гараж и выводить машину что-то поленился. Вышел на улицу и поймал такси.

Я не успел записать свое выступление, не успел даже обдумать его, времени не хватило, и теперь, сидя в такси, я думал, о чем буду говорить. Уже не осталось слов, не затрепанных случайными выступлениями, и я злился на себя: зачем я сам усложняю или позволяю другим усложнять свою и без того сложную жизнь? На что мне эти ненужные встречи? К чему эти ненужные выступления? К чему они другим? Почему я не сажусь за стол и не пишу свое, выношенное?

Может, не умею писать, поэтому?

Хотелось остановить такси, выйти и пешком, не торопясь вернуться домой, но как ни желал я этого, а в глубине души понимал, что все это зря: даже если сегодня я остановлю такси, завтра все равно придется ехать.

И вдруг шофер спросил:

— Алекпер-муаллим¹, как вы поживаете?

— Хорошо, спасибо, — ответил я и посмотрел на шофера: это был мужчина с большой лысиной на макушке, окруженной седыми кудрями, усы его тоже поседели; я не знал этого пожилого человека.

Прежде, в те времена, когда бакинцы, особенно студенты, только начинали узнавать меня в лицо, встречая на улице, на базаре, на Приморском бульваре, когда девушки, кивая в мою сторону, шептали друг другу: «Ты знаешь, кто это?» Все это если не радовало меня, то, во всяком случае, было приятно. Прошли годы, и это стало привычным: как будто так и должно быть. Вдруг водитель такси спросил:

— Алекпер-муаллим, вы не узнали меня?

Я снова посмотрел на лысину, на седые кудри, на потемневшее под солнцем лицо и сказал:

— Эх, что осталось от моей памяти?

¹ Муаллим — буквально: учитель; уважительное обращение.

Пожилой шофер промовил:

— Да ведь я Джафаргулу!..

Я сначала не понял, о ком идет речь, потом вдруг сразу узнал этого шофера; собственно, слово «узнал» здесь неуместно, потому что между моим другом Джафаргулу из далекого прошлого и пожилым шофером такси не было ничего общего, я не мог его узнать, просто я понял, что седой человек — совершенно незнакомый мне чужой человек — это оставшийся навсегда в далеком прошлом маленький проворный Джафаргулу с черными, как агат, сверкающими на солнце кудрями. Потом я увидел играющего на улице дружка того черноволосого кудрявого Джафаргулу — маленького Алекпера — и почувствовал, как я чужд тому маленькому Алекперу.

Джафаргулу, не отводя глаз от дороги, улыбнулся и сказал:

— А помните, Алекпер-муаллим, в махалле все говорили, что вы большим человеком станете, книги будете писать?.. Клянусь богом, ни разу такого не было, чтобы слово махалли не сбылось!.. Слава богу, теперь уважения к вам больше, чем к Фатулле Хатему!

Я смотрел на пожилого шофера такси и многое хотел сказать ему: хотел сказать, не называй меня муаллим, не говори со мной на «вы», хотел расспросить его, хотел спросить, что с Балакеримом, хотел спросить о Шовкет, о раздвоенном тутовом дереве, хотел спросить, где твои черные кудри, Джафаргулу, помнишь ли ты сказки о Белом Верблюде, Джафаргулу? Но ничего не говорил и ни о чем не спрашивал, не знаю, что со мной стряслось; хорошо, что Джафаргулу сам говорил: о сыне, о дочери говорил, о только что родившемся внуке.

Я улыбался, кивал, поддакивая Джафаргулу, и мне было жаль себя... Потому ли, что так быстро пролетели годы? Потому ли, что с такой вот скоростью кончается Прежде и приближается Конец?

Джафаргулу засмеялся:

— Помните, Алекпер-муаллим, как однажды вы разбили стекло на веранде Мухтара? — Джафаргулу покачал головой и вновь громко рассмеялся; потом с искренним любопытством, наверное, вспоминая тот далекий день — тот день, когда я разбил стекло на веранде Мухтара, спросил: — Что это такое, Алекпер-муаллим, мир меняется, а Фатулла Хатем не меняется, а? Включаешь телевизор — говорит, раскрываешь газету — его портрет, и всегда он на

высоких постах, а? Как это получается? Я рабочий человек, прямой, вот и спрашиваю у вас!..

Я улыбнулся, пожал плечами:

— Ей-богу, не знаю...

— Как он по ночам спит, а, Алекпер-муаллим? Бедные саттары-месумы ему не снятся?

Я снова пожал плечами, снова улыбнулся:

— Не знаю... Человек — сложное существо... У каждого найдется для себя оправдание...

Джафаргулу рассмеялся:

— Не говорите со мной такими словами, э, Алекпер-муаллим, не понимаю я этих слов!.. Я тоже переселился из нашей махалли, Алекпер-муаллим, теперь в седьмом микрорайоне живу, пять лет уже, трехкомнатная квартира, телефон, то да се, но, Алекпер-муаллим, махалля — совсем другое дело!

Джафаргулу был от души рад встрече со мной; он ничего не ожидал от нее, и на мое молчание не обращал внимания, говорил, смеялся.

Когда мы доехали до телецентра, он сказал:

— Ибадуллу помните, Алекпер-муаллим? Зараза был какой! — и снова от души рассмеялся.

Джафаргулу в промежутке между Прежде и Концом чувствовал себя как за рулем такси — свободно и спокойно.

XXIII

Ива, посаженная посреди нашего двора, у маленького бассейна под краном, росла; каждый раз, когда приходила весна, покрывались листьями новые ветки, а вместе с ивой рос и я.

Взрослея, я многое стал понимать; узнал и переносный смысл слова «продавать», узнал, что человек может продать человека, но для меня поэт был необыкновенным человеком, поэт был больше, чем просто человек, выше, чем человек, и однажды я спросил у Балакерима:

— Можно продать поэта?

Балакерим сказал:

— Можно...

XXIV

Было начало весны, не знаю, сорок третьего года или сорок четвертого — точно не помню; наступил апрель, и раздвоенное тутовое дерево проснулось, на его ветках лоп-

нули почки, стайка воробьев, усевшись на раздвоенный туювник, стала клевать эти крошечные почки.

С начала войны воробьи боялись ребят нашей махалли больше, чем кошек, потому что каждый из нас с рогаткой днем и вечером разыскивал и подбивал воробьев; воробьиное мясо было для нас не только самым вкусным на свете — охотничья добыча возвышала нас в собственных глазах; подбитые воробьи вызывали в осиротевших, как наша улица, как наш тупик, как наш двор, сердцах чувство гордости: мы, как мужчины, приносили домой мясо, приносили еду; бывали дни, когда каждый из нас подбивал по восемь — десять воробьев, и в такие дни мама вместе со мной ела мясо; когда она за чем-либо выходила на кухню или во двор, я перекладывал содержимое из своей тарелки в мамину, потому что хотелось, чтобы мама побольше съела добытых мной воробьев, но понемногу и воробьев стало меньше, они нас стали узнавать и, едва завидев наши силуэты, испуганно улетали.

Воробьи тоже голодали и на глазах худели, становились совсем маленькими.

В то летнее утро я с рогаткой, сделанной из старой камеры от шины, подаренной мне Джеббраилом еще до ухода на фронт, стоял под раздвоенным туювым деревом и смотрел, как стайка воробьев с гомоном жадно клевала крошечные почки.

Воробьи были голодны, и соблазн поклевать крошечные и, наверное, вкусные почки пересилил страх; увидев меня под раздвоенным туювником, они не испугались и не разлетелись, и я тоже, как ни странно, в это весеннее утро не ощутил желанья поднять рогатку, которую держал наготове, и выстрелить в них.

Мне было жаль маленьких почек туювого дерева, я боялся, что воробьи склюют их все и дерево больше не распустит листьев, но мне было жалко и отощавших воробьев, мне не хотелось их убивать; подняв голову, я просто смотрел на них.

— Алекпер!..

Я слегка вздрогнул, услышав вдруг среди воробьиного чириканья свое имя.

Шовкет стояла на тротуаре, прислонившись к двери, и глядела на меня.

Я уже давно сбросил красную повязку, и на мне были обычные брюки, но, увидев Шовкет так внезапно, я, как

всегда, растерялся, и не успела она сказать слово, как я уже густо покраснел.

Шовкет с улыбкой смотрела на меня, и я знал, что сейчас она скажет что-то такое, от чего я растеряюсь; слова Шовкет сделают меня ребенком, малышом крохотным, как чирикающий голодный воробей, и мне опять захотелось убежать, но я собрал все силы, сдержался, потому что считал уже неподобающим для себя так прямо убежать.

Шовкет стояла всего в трех шагах от меня, и я впервые в жизни увидел в ее глазах что-то такое, что никак не вышло с ее прежним смехом, подмигиванием, лукавыми репликами.

С той же легкой улыбкой на полных губах Шовкет спросила:

— Опять хочешь сбежать?

Легкая улыбка вдруг пропала с полных губ Шовкет, и мне показалось, что глаза ее устали в одну точку, и я этому удивился, потому что у Шовкет не было на войне ни одного близкого человека — ни мужа, ни брата, ни сына; правда, и у Балакерима никого не было, кто ушел бы на фронт, у Балакерима тоже глаза были всегда устремлены в одну точку, но Балакерим — другое дело... Глаза Балакерима и до войны так же устремлялись в одну точку... А с началом войны у всех женщин и девушек квартала глаза были устремлены в одну точку, потому что их близкие были на войне; но ведь все женщины, все девушки квартала — одно, а Шовкет — другое... Я никогда не видел Шовкет такой серьезной, такой задумчивой; Шовкет заговорила будто сама с собой:

— Ну что мне делать, несчастной? Пощечинами румянец себе навожу... что ж мне нос повесить, оплакивать свою жизнь с утра до вечера?.. Тогда и я хорошей для людей стану?..

И тут Шовкет назвала себя неприличным словом, вошла в дом и захлопнула дверь.

Чириканье воробьев заглушало все на свете.

Отведя глаза от двери Шовкет, я поднял голову и снова посмотрел на стайку голодных воробьев.

Воробьи с той же жадностью, поспешно клевали крохотные почки.

В то весеннее утро мне было жаль крошечные почки, но мне было жаль и исхудавших, съжившихся воробьев, в то весеннее утро мне было жаль и Шовкет.

Я опять посмотрел на дверь Шовкет.

Мне казалось, что эта дверь больше никогда не откроется, Шовкет никогда больше не будет сидеть на деревянной скамье, никогда не будет смеяться.

Мне стало нестерпимо грустно.

XXV

Где твои черные кудрявые волосы, Джафаргулу?.. Последнее время я часто думаю: если бы Джафаргулу не стал таксистом, а стал бы пишущим человеком, как я, что бы он написал о нашей махалле? Как изобразил бы дни войны, то сиротство нашей махаллы, ту печаль, пропитавшую, казалось, самые стены нашей махаллы, даже тротуары, даже мощенную булыжником улицу?

Но какой в этом смысл?

Мне интересно вернуться в махаллу именно по воспоминаниям шофера такси Джафаргулу, именно с видением, с памятью шофера такси Джафаргулу, а не писателя Джафаргулу.

XX

Я до сих пор помню, как плакало тутовое дерево, и даже теперь мне порой кажется, что звук разрываемой газеты — это плач газеты, а звук разбившегося вдребезги зеркала это — плач зеркала.

В тот зимний день взошло такое солнце, оно так улыбалось, как будто в мире не было никакой войны, смерти, как будто шесть сыновей тети Ханум, все парни, все мужчины нашей округи, мой отец были не на войне, а, как обычно, у себя дома, как будто в мире никто не был голоден и никто не дрожал от зимней стужи. У черных дел мира сего есть свои законы, и один из этих законов состоит в том, что во время войны словно становится холоднее: если во время войны термометр показывает минус два, то это не то же, что минус два в мирное время; минус два военных дней все равно что минус двадцать мирных дней: холодно, холодно.

В тот солнечный, но холодный зимний день первым услышал плач тутового дерева Джафаргулу; он побежал в конец нашего тупика и увидел, что Ибадулла большой пилой спиливает дерево под корень.

Сбежавшись, мы наблюдали, как Ибадулла пилит дерево, и каждый раз, когда Ибадулла проводил пилой с крупными зубьями по стволу тута, мне казалось, что звук, который мы слышим, это не звук пилы, а плач тутового дерева, и я, глядя на налитые кровью глаза Ибадуллы, сосредоточившего все внимание на большой пиле с крупными зубьями, думал, как хорошо, что я не сын Ибадуллы, как хорошо, что Ибадулла не мой брат, и как хорошо, что на свете есть Белый Верблюд и что Белый Верблюд неожиданно придет однажды ночью и ляжет у дверей того дома в Арменикенде, где живет Ибадулла.

Когда я был совсем маленький — войны еще не было и в нашей махалле, конечно, никому не приходило в голову, что через два-три года нас ждут такие испытания, — во дворе у нас то Абдулалы, то Годжа, то Джебраил показывали мне разные фокусы, и один из этих фокусов состоял в том, что правой рукой обхватывался большой палец левой руки, потом правую руку поднимали вверх, и большой палец левой руки исчезал. «Видишь, Алекпер? — говорили мне. — Пальца нет!» Я смеялся. «Ты спрятал, — говорил я. — Смотри! — и раскрывал ладонь левой руки. — Вот он!» Хорошо знакомый фокус всегда доставлял мне удовольствие, вернее, мне доставляло удовольствие то, что я понимал хитрость взрослых: они не могли меня обмануть...

В те времена однажды Ибадулла сидел на тротуаре перед нашим тупиком и, увидев меня, сказал: «Поди сюда. Я тебе фокус покажу». Правда, я не любил Ибадуллу, но очень любил фокусы, я подошел и встал перед Ибадуллой, Ибадулла закрыл правой рукой левую руку. «Смотри, — сказал он, — сейчас мой палец исчезнет». Я засмеялся и сказал: «Знаю». Ибадулла сказал: «Да что ты знаешь? Ничего ты не знаешь! Смотри!» Ибадулла поднял вверх правую руку, и, как я и ожидал, большой палец левой руки исчез. Я, смеясь, сказал: «А вот в кулаке ты спрятал свой палец!» — и спокойно начал раскрывать сжатую левую ладонь Ибадуллы; я распрямил один палец, второй, разогнул третий, разогнул и мизинец — и увидел, что большой палец Ибадуллы действительно исчез; я повернул ладонь, и меня охватил ужас, волосы встали дыбом, потому что я тогда не знал, что большой палец левой руки Ибадуллы когда-то попал под топор и был отрублен. Ибадулла стал хохотать, а я с плачем побежал домой, долгое время не мог успокоиться, и с того времени у меня возник-

ла ненависть к Ибадулле; я рос, но ненависть и отвращение не проходили.

Большая, широкая, с крупными зубьями пила вся вошла в тело дерева, и, по мере того как пила ходила туда-сюда внутри ствола, мне казалось, что сыплющиеся с обеих сторон пореза желтовато-белые опилки — это кровь тутовника, и маленький Алекпер сделал недолго запавшее ему в память и казавшееся очень значительным открытие, что кровь не всегда бывает красной.

Ибадулла не обращал внимания на ребят, наблюдавших за уничтожением тутовника, то есть на нас, и старательно делал свое дело. Время от времени он останавливался, выпрямлял спину, правой рукой потирал место, где когда-то находился большой палец левой руки, и в те минуты мне очень хотелось, чтобы это место заболело, стало открытой раной, чтобы она мучила Ибадуллу, причиняла ему страдание.

Стоя рядком, мы смотрели, как спиливают дерево, и ни один из нас не издавал ни звука, ни один из нас не шевельнулся; не знаю, что с нами случилось, чего мы боялись, но я тогда чувствовал, что на земле царит хаос, меня переполняла горечь, и эта горечь означала, что на свете нет ничего страшнее беззащитности и сиротства, и это чувство охватило нас всех, когда мы наблюдали, как Ибадулла пилит дерево, — чувство сиротства нашей махалли, нашего тупика, нашего тутовника.

Тутовое дерево вдруг стало для меня очень дорогим, стало любимым, моим самым красивым, и мне никогда не пришло бы в голову, что я так люблю это дерево, это безмолвное дерево, это родное дерево, голые ветви которого дрожали от военной службы.

Тутовое дерево плакало, и мне виделась в налитых кровью светлых глазах Ибадуллы какая-то злая алчность, а плач тутового дерева, сиротливость и беззащитность нашей улицы, нашего тупика будто прибавляли сил Ибадулле, мне казалось, что алчность в налитых кровью светлых глазах Ибадуллы всю его жизнь таилась в засаде, как волк, и ждала нашего сиротства, беззащитности, ждала, чтобы и Джафар, и Адыль, и Абдулали, и Годжа, и Джебраил, и Агарагим ушли на войну. Внезапно я почувствовал, что и Джафар, и Адыль, и Абдулали, и Годжа, и Джебраил, и Агарагим погибли на войне и больше никогда не вернуться в этот тупик, у меня в горле застрял комок, перед глазами появилась тетья Ханум, я посмотрел

в глаза тети Ханум, глядевшие из-под широких бровей, и словно глазами тети Ханум увидел Джафара, Адыля, увидел Абдулали, Годжу, Джебраила, увидел Агарагима и понял, что сейчас подниму с земли большой булыжник, изо всех сил швырну его и разобью голову Ибадулле; сердце мое заколотилось.

Джафаргулу стоял рядом со мной, и вдруг, отведя глаза от Ибадуллы, он обернулся, посмотрел на окно тети Ханум в середине тупика, и я понял Джафаргулу: конечно, если бы здесь были Джафар, Адыль, Абдулали, Годжа, Джебраил, Агарагим, если бы перед нашим тупиком, как в те прекрасные дни, когда еще не начиналась война, выстроились один за другим автобус и полуторки, это тутовое дерево никогда бы так не плакало, Ибадулла никогда не посмел бы вонзить в его ствол пилу с крупными зубьями; но ни Джафара, ни Адыля, ни Абдулали, ни Годжи, ни Джебраила, ни Агарагима здесь не было, они были на войне и должны были там погибнуть; и дядя Гасанага, и дядя Агагусейн, и дядя Азизага — все мужчины квартала были на войне, и мой отец был на войне, был военным железнодорожником.

Мне показалось, что Ибадулла внезапно ударил меня в сердце, потому что сверкала алчность в налитых кровью светлых глазах Ибадуллы, и его алчные глаза радовались гибели Джафара, Адыля, Абдулали, Годжи, Джебраила, Агарагима на войне, безумию тети Ханум, и тут Джафаргулу зашептал мне на ухо:

— Давай ночью убьем эту сволочь!

Глядя на злую алчность в глазах Ибадуллы, я прошептал:

— Давай! (Маленький Алекпер еще никогда не был таким решительным.)

Джафаргулу сжал мне запястье своей разгоряченной от гнева и волнения рукой (а день был холодный, зимний), и я понял, что это не слова: мы никогда еще так серьезно не говорили, это был первый серьезный разговор в нашей жизни, — и мы действительно ночью убьем Ибадуллу; мне показалось, что большая, широкая, с крупными зубьями пила больше не пилит тутовое дерево, а с хрустом распиливает кости самого Ибадуллы, и у меня волосы встали дыбом, перед глазами возникли белеющие среди алой крови, заливающей пилу, кости Ибадуллы, потом вдруг те крупные белые человечьи кости, что я видел на письменном столе Годжи, и меня охватил ужас, оттого что уже столько

времени тетя Ханум живет наедине с теми крупными белыми человеческими костями...

Пила в руке Ибадуллы уже допиливала ствол тутовника, и тут мне показалось, что плачет не только дерево — вместе с ним теперь плачет и фаэтонщик Хамидулла-киши, которого я никогда не видел; мне показалось, что фаэтонщик Хамидулла-киши оплакивает не только судьбу тутовника, который в свое время посадил по обету, но и убитого нами Ибадуллу, фаэтонщик Хамидулла-киши, конечно, очень любил свое дерево и, конечно, скорбел, что его сын спиливает это дерево, но все-таки фаэтонщик Хамидулла-киши любил и Ибадуллу...

Когда Ибадулла в последний раз, выпрямившись, потер правой рукой место, где был большой палец левой руки, Джафаргулу еще раз сжал мое запястье своей горячей рукой, и я под впечатлением этого жаркого прикосновения Джафаргулу подумал: я возьму наш длинный острый хлебный нож, ночью мы этим ножом убьем Ибадуллу, и меня конечно же арестуют, отправят в колонию, мама будет плакать, хлопая себя ладонями по коленям, но хотя мамины слезы всегда производили на меня очень сильное впечатление, мы ночью все же убьем Ибадуллу.

Тутовое дерево, мой плачущий тутовник, свалился, царапая стены тупика голыми ветками, растянулся на земле, и мне стало немного легче, я даже обрадовался, что все уже кончилось, страдания и муки завершились, тутовник больше не будет плакать; и это дерево вдруг напомнило мне мужчин, парней нашей махалли, погибших на войне.

Исцарапанные стены нашего тупика смотрели на меня и повторяли: убей Ибадуллу! убей Ибадуллу! убей Ибадуллу!

Ибадулла бросил на землю свою пилу с крупными и острыми зубьями, выпрямился, посмотрел на небо, и мне показалось, что алчность в налитых кровью светлых глазах Ибадуллы начинает гаснуть, потому что в этот холодный, зимний день, в этот последний для нашего тутовника день небо было удивительной голубизны, и небесная голубизна, небесная чистота убили алчность в глазах Ибадуллы: как тутовое дерево, алчность в глазах Ибадуллы умерла; как тутовое дерево, алчность в глазах Ибадуллы осталась, но была мертвой.

Тутовник с голыми ветками лежал на земле, а мы не двигались с места, и Ибадулла отвел глаза от голубого чистейшего неба, искоса глянул на нас, потом посмотрел

на лежащее тутовое дерево, и алчность снова ожила, придала блеск налитым кровью светлым глазам, и Ибадулла снова взял в руки топор, на этот раз он стал обрубать голые ветки тутовника; отрубил одну ветку, вторую, а когда, подняв топор, древко которого сжимал обеими руками, собирался отрубить третью, вдруг остановился, бросил топор на землю и пошел на нас.

Увидев, что Ибадулла идет на нас, ребята испугались, побежали к выходу из тупика, точно Ибадулла был зараженный, зачумленный, а не сын бедной, ослепшей тети Амины.

Я тоже хотел побежать, но растянувшееся на земле мое загубленное тутовое дерево, его осиротевший пенёк, обрубленные голые ветки, исцарапанные стены нашего тупика задержали меня, преградили путь, и я остался стоять. Горячая рука Джафаргулу сжимала мое запястье, Джафаргулу тоже не убежал с ребятами, остался.

Ибадулла подошел, встал перед нами и сверху вниз посмотрел нам прямо в глаза, но теперь в налитых кровью светлых глазах Ибадуллы не было и следа алчности; хриплым, сдавленным голосом он сказал:

— Ну что вы смотрите на меня как баран на новые ворота? У человека ничего не осталось. Так зачем, чтобы и это тутовое дерево жило? Вон фашисты уже сидят в Воронеже, развлекаются, заразы! Потому что весь этот мир — зараза! Человеку остается только саван, и то неизвестно, достанется он тебе или нет?..

Джафаргулу сказал:

— Тебе достанется!

Конечно, я понял смысл сказанного Джафаргулу. Погибших на войне в саван не заворачивали, просто так хоронили, и молла Асадулла, проходя по улице, постукивая старой палкой, останавливался перед домом, откуда ушли и погибли мужчины, парни, и время от времени вздыхал: «Без савана схоронены молодые!..» А Ибадулла не пойдет на войну, потому что у него нет большого пальца на левой руке, он здесь умрет. Мы убьем Ибадуллу, и хотя наша махалла терпеть не могла Ибадуллу, все равно она не позволила бы, чтобы труп Ибадуллы схоронили где-нибудь в другом месте: здесь похоронят; завернут в саван и похоронят.

Ибадулла не понял, что сказал Джафаргулу (или мне так показалось?), и снова хриплым, сдавленным голосом, дыша водочным перегаром, сказал:

— Вы думаете, я подлец, да? Я знаю, через тридцать

лет вы будете взрослыми мужчинами. И тогда вспомните, как я это дерево спилил. Могилу мою ругать будете. Была одна зараза, скажете, Ибадуллою ту заразу звали. Тогда уже мои кости сгниют!.. Но того знать не будете, что Ибадулла, несчастный, спилил это дерево, чтобы дрова из него нарубить, отнести на базар продать, детей своих накормить... Не будете знать, что не Ибадулла был заразой, а жизнь была заразой!.. — и из налитых кровью светлых глаз Ибадуллы выкатилась слеза.

Конечно, мы знали (то есть взрослые так говорили), что Ибадулла все попадающие ему в руки деньги пропивает, и деньги за эти дрова, наверное, тоже пойдут на выпивку, и слеза Ибадуллы не уменьшала жалости к сиротливому, беззащитному, сваленному на землю тутовнику с голыми, обрубленными ветками, умирая, царапавшему стены нашего тупика; мы в жизни не слыхали, чтобы у Ибадуллы были дети, наверное, он это наврал, но, во всяком случае, в тот холодный, зимний день мы с Джафаргулу, поглядев друг на друга, отошли от Ибадуллы и медленно вышли и тупика: мы знали, что уже не уьем Абадуллу.

В ту ночь я думал и о бедном тутовом дереве, и о плачущем Ибадулле, но больше всего я думал о словах ТРИ ДЦАТЬ ЛЕТ, потому что произнесенные Ибадуллою слова ТРИ ДЦАТЬ ЛЕТ произвели на меня наибольшее впечатление. Через ТРИ ДЦАТЬ ЛЕТ мне будет ТРИ ДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ЛЕТ, и этого я никак не мог осознать. Моему отцу было тридцать семь лет, и выходило так, что через ТРИ ДЦАТЬ ЛЕТ я буду на два года старше моего отца...

...Тридцать девять лет мне исполнилось десять лет тому назад...

XXVII

В тот зимний день — это был конец января 1943 года, но похож он был на ветреный и дождливый осенний день — ветер швырял пригоршни дождя в стены нашего тупика, возвещая о сырости, холоде, ознобе не только нашего тупика, но и всей нашей улицы, но и всего мира.

В этот дождливый зимний день Ибадулла будто вылетел из жерла пушки: одной рукой придерживая полы всегда расстегнутого пиджака (он в жизни не надевал пальто, всегда ходил в пиджаке), а другой — козырек

кепки-шестиклинки с пуговкой, он, шлепая по лужам, бежал по нашему тупику и кричал:

— Ура-а-а! Ура-а-а! Мы прогнали фашистов из Воронежа! Ура-а!

Ибадулла остановился в центре тупика, жилы его худой, сморщившейся под весенним, летним, осенним солнцем шеи набухли, он закричал изо всех сил:

— Ура-а-а! Ура-а-а! Мы выбили фашистских мерзавцев из Воронежа!..

Женщины и дети выглядывали из окон, собирались у дворовых ворот, и Ибадулла, потрясая кулаком, повторял:

— Видали?!.. Видали?!..

Как будто до сих пор все глядевшие из окон, собравшиеся у ворот обитатели тупика, даже стены, ворота, окна нашего тупика сомневались в величии Ибадуллы и мощи Ибадуллы, а теперь уж не должно остаться места для сомнений: все должны были признать величие Ибадуллы, мощь Ибадуллы.

— Видали?! Видали, как мы прогнали фашистов-подлецов из Воронежа?

Женщины и дети замерли, глядя на стоявшего посреди тупика, потрясавшего кулаком и изо всех сил, надувая жилы на шее, оравшего Ибадуллу, и не знали, что им делать: посмеяться над Ибадуллою или отойти от окон и закрыть двери. Во всяком случае, это было впервые, чтобы обитатели нашего тупика собрались у дверей, у окон не потому, что Ибадулла скандалит с тетей Аминой, — и люди растерялись.

Ветер чуть не валил с ног Ибадуллу, но в тот январский день 1943 года у Ибадуллы точно прибавилось сил, ветер не мог сдвинуть его с места; с налитыми кровью светлыми глазами, бросая вызов жителям нашего тупика, Ибадулла кричал:

— Видали?! Видали?!

Тетя Амина тоже вышла из комнаты, стояла на площадке лестницы и, можно сказать, ничего не видевшими глазами смотрела вверх дворового заборчика в сторону Ибадуллы; ее застывшее лицо со слезящимися глазами выражало в тот момент гордость, даже надменность, будто ее сын Ибадулла, один, своими руками, освободил Воронеж от фашистов.

У Соны, тетки моей мамы, жены часовщика Гюльаги, — у Соны была печальная красота...

Может быть, она и впрямь сошла с ума, может быть, и впрямь люди были правы, когда говорили, что она безумела, потеряла разум, у нее были видения? Но... ведь она своими глазами видела легкий трепет губ Гюльаги, и Гюльага прежде смотрел как-то иначе... Нет, нет, это было не безумие, легкий трепет Соны видела своими глазами.

В ту зимнюю ночь вся махалла спала, во мраке смутно белел снег на улице, на крышах, и Сона встала с постели, в ночной рубашке подошла к окну. Нет, она не сошла с ума, если она сошла с ума, тогда она не должна узнавать эти дома — силуэт Желтой бани, рядом с ней — дом Алиаббаса-киши (на дверях — большой замок, отсюда не видно), немного выше — тупик, где живет тетя Ханум (в том тупике еще «паравадник» живет, и жену «паравадника» тоже зовут Соной, и у них есть мальчонка, имя его, кажется, Алекпер), в той стороне живет семья дяди Мейрангулу, в другой стороне — семья тети Мешадиханум, сын дяди Мейрангулу Ибрагим в позапрошлом году погиб на войне, и сын тети Мешадиханум погиб на войне, и если бы Сона сошла с ума, она забыла бы все это, не могла бы узнать эти дома, помнить людей, живущих или живших в этих домах: нет, она не была безумна, и ту легкую улыбку на губах Гюльаги видела своими глазами.

Она хотела зажечь свечу, еще раз посмотреть на его портрет, но впервые за всю свою жизнь побоялась посмотреть на этот портрет, и вообще в глубине души ее таился страх, но в этом страхе была и какая-то надежда, и Сона ощущала эту невероятную надежду.

Портрет, висящий на стене, она отдала увеличить три месяца назад, и все время, что бывала дома, она оставалась лицом к лицу с портретом, разговаривала с портретом, высказывала портрету все, что было у нее на душе, и уже дней десять, пожалуй, чувствовала: в доме что-то происходит, но что — не знала, вернее, не могла точно выразить, не могла облечь в слова, и если бы сказала, никто не свете не поверил бы Соне, все сочли бы ее безумной.

Каждый день утром она вставала, шла на работу, вечером сразу же возвращалась домой; и на работе, и в округе только здоровалась с людьми, ничего другого сказать не могла — не могла разговаривать — и на работе, и в округе

юди, хотя и молчали, но глаза их говорили, что бедная она сошла с ума; и Сона по глазам читала это.

Разве люди виноваты? И как могла Сона объяснить, го не умеет говорить, не может беседовать как прежде, от ее не зависит это, ей самой хочется поговорить с кем-нибудь, даже посмеяться, но не умеет, невозможно это, отому что от нее самой это не зависит.

Ровно три месяца тому назад она вынула из альбома ортрет Гюльаги и пошла к фотографу Али; когда фотограф Али увидел Соноу, он вытаращил глаза от удивления, и Сона, глядевшая сейчас во мрак улицы, стоя перед кном, ясно припомнила это; фотограф Али устремил опросительный, полный любопытства взгляд на Соноу, одую в черное и повязанную черным платком и ни с кем не зворившую с тех пор, как пришла похоронка на Гюльагу. Она протянула портрет фотографу Али.

— Увеличь этот портрет.

Фотограф Али взял у Соны портрет, где Гюльага ыл снят по пояс; на обороте портрета синими чернилами ыло написано: «Мой цветочек Сона! Не вспоминай, как осмотришь, а вспомнишь — посмотри! Гюльага, Баку. 3 мая 1939 года».

— До какого размера увеличить?

— Какой сам Гюльага — до такого.

Фотограф Али ничего не сказал, но Сона поняла, о чем одумал фотограф Али.

Фотограф Али подумал, что бедняга действительно опшла с ума; так говорят, будто Гюльага и теперь жив КАКОЙ ОН САМ — ДО ТАКОГО); и потом, чевовеку, у которого голова в порядке, на что портрет в натуральную величину? Но фотограф Али уважал Гюльагу; вообще, поскольку у него были больные легкие, фотограф Али не пошел на фронт, но от души переживал за всех, кто шшел на войну, и особенно за тех, кто погиб; готов был сделать все, что было в его возможностях, и на этот раз, несмотря на то что заказ Соны не был обычным заказом, несмотря на то что найти такого размера фотобумагу было очень трудно, он не вернул протянутый Соной портрет.

Через два дня фотограф Али сам принес и вручил Соне увеличенный портрет, и Сона повесила портрет на стену омонаты.

На этом портрете Гюльага фотографировался, когда они с Соной еще не были женаты; это были времена, когда Сона, окончив школу в детском доме в Шуше, приехала

в Баку, ее взяли работать на швейную фабрику; пройдет всего три-четыре месяца, и в один прекрасный день она познакомится с Гюльагой, потом они с Гюльагой начнут встречаться, потом они с Гюльагой поженятся, и Сола войдет хозяйкой в этот дом, в эту комнату.

Какие простые были слова: «познакомиться... встретаться... пожениться...»

Однажды вот на этой кровати, в такую же зимнюю ночь, в такой же темноте, Сола была в объятиях Гюльаги, обнимала Гюльагу не только руками, но всем телом, всей душой и говорила:

— Я ждала этого дня... Я знала, что придет такой день, я увижу тебя, ты придешь... Я и имя твоё знала... И в лицо тебя знала...

Гюльага верил Соне, знал, что Сола говорит правду, что это действительно так: Сола ждала день их первой встречи, Сола до того дня никогда в жизни не видела Гюльагу, но знала Гюльагу и, как только увидела, — узнала...

Было лето, темная ночь, от зноя трудно было дышать, оба были голые; оба лежали на кровати; Сола держала Гюльагу за руку и рука Гюльаги несла душе Соны прохладу, очищение, и Сола в этой душной тьме, устремив взгляд в потолок, стала рассказывать о детстве Гюльаги.

Гюльага изумленно слушал.

— Когда я тебе об этом говорил?

Гюльага не мог припомнить, чтобы все это рассказывал Соне, но то, что она говорила, было правдой: Гюльага так поступал, так думал, так плакал в детстве...

— А вдруг ты колдунья, а, Сола?

Сола от души смеялась:

— Ой... Ведь я тебя очень люблю... И потому все знаю.

В те времена Сола и на работе так же от души смеялась, и девушки, работавшие вместе с ней, поражались такому сердечному смеху без особенных причин, и все с удивлением смотрели на Сону, а потом на повидавшую жизнь тетю Хадиджу, мол, тетя Хадиджа, что это с Соной? Тетя Хадиджа тоже смеялась и говорила:

— Счастлива Сола, потому так и смеется...

Девушки с интересом и в то же время с уважением глядели на Сону, потому что о счастье много читали, много слышали, но так, лицом к лицу, глаза в глаза, счастья не видали.

Однажды, моясь в бане вместе с девушками, молодыми женщинами, Шовкет сказала:

— Эх, Сола что! Она счастливица: когда холодно — тепло рядом, когда жарко — прохлада рядом... По глазам вижу!

Тогда еще не замужние девушки ничего не поняли из слов Шовкет, а замужние молодухи после этих слов Шовкет, встречаясь с Соной на улице, с завистью заглядывали ей в глаза.

Гюльага был высокий, широкоплечий, стройный парень, и вместе с сыновьями тети Ханум, был одним из самых почитаемых, уважаемых молодых людей махалли, Гюльага и сам очень любил махаллю, потому что был ребенком, когда у него умер отец, потом, когда Гюльаге было тринадцать или четырнадцать лет, у него умерла мать, и Гюльагу вырастила махалля, дом его содержала махалля, и отцом Гюльаги была махалля, и матерью, и братьями, и сестрами.

Потом появилась Сола, и Сола отобрала Гюльагу у махалли, для Гюльаги не существовало никого и ничего, кроме Соны. Правда, Сола отобрала Гюльагу у махалли, правда, махалля немного обиделась на Гюльагу за то, что он отверг соседских девушек, сам, ни с кем не посоветовавшись, привел в дом чужую девушку, но, увидев Сону, присмотревшись к Соне, махалля приняла ее.

Гюльага и Сола были первыми в этой махалле мужчиной и женщиной, которые среди бела дня, на глазах у всех, ходили под руку или держась за руки, и самое удивительное — никто в квартале плохо не взглянул на это, никто не упрекнул Гюльагу, никто не обругал Сону, потому что махалля все понимала, махалля хорошо знала Гюльагу, хорошо узнала и Сону.

В ту зимнюю ночь Сола, стоя у окна, смотрела на улицу.

Улица была погружена во мрак.

Белесое мерцание снега, едва различимое в темноте, было единственным свидетельством того, что на свете, кроме черного, есть и другие цвета.

Снежная белизна во мгле как будто стала проступать ярче, улица медленно прояснялась, и Соне почудилось, что все это — сон.

Может быть, и в самом деле сон?

В последнее время она видела белые сны.

Самого Гюльагу она не видела, но белые сны были ды-

ханием Гюльаги, были взглядами Гюльаги, были улыбкой Гюльаги.

Может быть, и то легкое движение губ Гюльаги она тоже видела во сне?

Нет, все это не сон, это белое — белизна снега на улице, на крышах, на оконных решетках, а не белый сон; вот там — силуэт Желтой бани, рядом с ней — дом Алиаббасакиши, немного выше — тупик тети Ханум, в том тупике еще живет молодая женщина — тетка Соны, и у этой женщины есть маленький, смысленый сынишка по имени Алекпер, имена сыновей тети Ханум — Джафар, Адиль, Абдулала, Годжа, Джебраил, Агарагим; все они — друзья Гюльаги, и если бы Сона сошла с ума, она не могла бы помнить ничего этого...

Она хотела отойти от окна, зажечь свечу, хотела снова посмотреть на висящий на стене портрет, но опять испугалась, не зажгла свечу, подошла к кровати, села: чего она боялась? Боялась, что посмотрит на портрет и опять увидит ту легкую улыбку, то легкое движение губ? Или боялась, что вдруг ошиблась, что ей почудилась та улыбка, то движение, она обманулась? Сона обеими руками обхватила голову и снова почувствовала другое дыхание, ощутила дыхание второго человека.

Сосредоточив все свое внимание, прислушалась.

Дыхание другого человека в комнате чувствовалось совершенно явственно.

Это дыхание, конечно, было дыханием Гюльаги, у Соны не было в этом ни малейшего сомнения: так и должно быть; но почему Сона боялась, почему сердце ее так колотилось, точно хотело выскочить из груди?

Ровно триста шестьдесят один день, как Гюльага ушел на фронт, и ровно двести пятьдесят три дня, как пришло то лживое письмо, та ошибочная похоронка.

Это не было треугольное письмо, которые приходят от солдат, и Сона надорвала конверт, прочла это официальное письмо один раз, потом второй раз, потом третий раз прочла: там ясно было написано, что Гюльага погиб, и Сона, в сотый раз, в двухсотый раз читая это письмо, знала, что это неправда, знала, что не может Гюльага, оставив ее одну, погибнуть на войне.

Махалля тоже узнала о похоронке и, чтобы отметить траур по Гюльаге, собрала о похоронке было поставить палатку перед домом Соны, и фотограф Али пришел попросить фотокарточку, чтобы размножить ее на миниатюры, что прикалы-

вают во время поминок к груди; женщины, девушки с плачем набились в дом к Соны, чтобы хоть как-то ее утешить, разделить с ней горе, но Сона впервые за все время, что живет здесь, воспротивилась махалле, накричала на людей, сбивавших деревянные опоры для палатки, на мясника Дадашбалу, который принес большой медный самовар и хотел наполнить его водой, не разрешила ставить у дверей палатку, прогнала фотографа Али, не дала фотокарточку. Она не плакала, а кричала:

— Неправда это!.. Неправда это!.. Неправда!..

Сона не позволила справиться сорокадневный траур по Гюльаге, потому что похоронка была несомненной ошибкой, Гюльага не умер, Гюльага не мог умереть хотя бы потому, что у него не было грехов на этом свете, он ничего дурного не делал, так почему же пуля должна была попасть в него, почему он должен был пролить кровь? Сона здесь была одна, была жива, — как же Гюльага мог умереть там, как могла пуля подстеречь Гюльагу?

Который час, интересно? Два? Три? Четыре?

Гюльага был часовщиком, и Сона ровно триста шестьдесят один день тому назад собрала все домашние часы, и свои наручные тоже, в ящик шкафа, и с того времени в этом доме часы не работали, потому что раз Гюльага был так далеко от любимых им часов, взял в руки те часы, а винтовку, подставил грудь по пули, Сона не позволяла, чтобы часы тикали в этом доме, не хотела, чтобы, в то время как Гюльага слышит там свист пуль, грохот пушек, Сона здесь, как в былые времена, слушала тиканье часов.

Все эти часы, хранящиеся в ящике шкафа, будут заведены, когда вернется Гюльага; после возвращения Гюльаги они начнут работать; а Гюльага конечно же вернется, потому что пришедшее с фронта извещение было несомненной ошибкой. Это было очевидно как белый день. Вот ей и снились белые сны.

Маленькая, на одного человека, часовая мастерская Гюльаги находилась в первом этаже большого здания у Двойных ворот крепости, и иногда Сона, окончив работу, садилась в трамвай, ехала к этой мастерской, в мастерской тоже кончался рабочий день, Гюльага заирал дверь, но сами они оставались внутри и, сидя рядом на двух деревянных табуретках, с трудом уместившихся в тесной комнатке, слушали тиканье ста больших и маленьких часов, развешанных на стенах, лежавших на столе, смотрели в окно на Двойные ворота Крепости, и в это время Двойные кре-

постные ворота становились Вратами тайных чувств, тайных желаний, которые влекли друг к другу Сону и Гюльагу.

Гюльага выключал свет, и проходившие по улице люди сквозь свисавшие на веревочках, вплотную к оконному стеклу разнообразные часы не видели сидевших в полумраке Сону и Гюльагу, но Сона и Гюльага видели этих людей; проходившим по улице людям и в голову не приходило, что крохотная, тесная мастерская часовщика по ту сторону стекла, завешанного разнообразными часами, в сущности, уже не была мастерской; это было гнездо чувств и желаний Соны и Гюльаги, такое, какое бывает у птиц на дереве; люди проходят мимо, не видят гнезда, а птицы из гнезда всех видят.

Иногда Гюльага отводил глаза от Двойных крепостных ворот, сквозь тиканье часов слышал стук сердца Соны, потом расстегивал ворот на платье Соны, как в прежние времена, когда они еще не были женаты; прятал лицо на груди у Соны, и Сона чувствовала слезы на его глазах, и ерошила мягкие волосы Гюльаги, и смотрела на Двойные крепостные ворота, будто обнаженной грудью бросала вызов многовековым крепостным воротам: выбоины среди крупных камней этих ворот вещали об оставшихся в далеком прошлом столетиях...

Зимой Гюльага зажигал в мастерской маленький примус, и тепла маленького примуса было достаточно для этой мастерской; запах примуса, голубовато-зеленое пламя и сопение, точно примус был живым существом, вместе с тиканьем часов уносили крохотную мастерскую в центре Баку в совершенно другой мир, и в этом мире, кроме Соны и Гюльаги, никого не было, этот мир принадлежал только Соне и Гюльаге.

Ровно триста шестьдесят один день, как Сона не видела мастерской.

Однажды, выйдя с работы, она хотела сесть в трамвай и поехать к Двойным крепостным воротам, хотела посмотреть на мастерскую, но не поехала, потому что Гюльага был далеко, а без Гюльаги смотреть на мастерскую, на Двойные крепостные ворота было чем-то вроде измены, Сона этого себе не могла позволить и, как обычно, пошла домой.

В день проводов Гюльаги на войну они и сами не знали, как получилось, что рано утром вместе пошли на площадь перед Двойными крепостными воротами и некоторое

время стояли посреди площади, смотрели на запертую мастерскую; Гюльага улыбнулся, и Сона улыбнулась, потому что расставались они не навсегда: с Гюльагой ничего не случится, Гюльага вернется живым и невредимым.

Ровно триста шестьдесят один день прошел, завтра будет триста шестьдесят два дня, потом, возможно, будет семьсот шестьдесят восьмой день, может быть, три тысячи девятьсот восемьдесят восьмой день, может быть, три тысячи девятьсот восемьдесят четвертый день, но в конце концов Гюльага вернется — это Сона хорошо знала: так будет, Гюльага вернется, но уже десять дней в этой комнате что-то происходило, Сона это чувствовала; Сона всем сердцем, всем нутром чувствовала и то, что ожидает чего-то, живет накануне чего-то, что вот-вот произойдет.

Сона не хотела думать об этом потому, что в глубине души, в той глубине, куда она и сама избегала и не осмеливалась заглядывать, там, в той глубине, она знала, что именно произойдет, а потому и боялась думать об этом, боялась, что вдруг и для нее станет ясным, что она действительно сошла с ума.

Сона встала с кровати.

Нет, Сона не сошла с ума.

Интересно, который час?

А не все ли равно, который час?

Сона зажгла свечу, взяла свечу в руку, подошла к стене, встала перед портретом Гюльаги.

Огонь свечи упал на портрет, и глаза Гюльаги засверкали, Соне показалось, что глаза Гюльаги были закрыты, то есть в темноте Гюльага закрывал глаза, и теперь глаза его дрогнули от света и открылись.

Фотопортрет Гюльаги висел на стене уже три месяца, и ровно три месяца Сона по утрам, прежде чем уйти на работу, и по вечерам, вернувшись с работы, пока не ложилась спать, разговаривала с портретом, беседовала с ним, часто даже без слов, потому что Гюльага всегда понимал Сону и без слов: достаточно было просто посмотреть друг другу в глаза; и на фотопортрете Гюльага тоже понимал Сону, Сона чувствовала это каждой клеточкой своего тела.

Уже несколько дней Соне казалось, что в портрете что-то изменилось, какой-то он другой, но она, всматриваясь, не могла найти, что же в нем изменилось; Гюльага и теперь смотрел как всегда, и улыбка на его губах была такой, как всегда, вместе с этим в портрете Гюльаги появилось

что-то такое, чего прежде не было и вообще... вообще с фотографиями такого не бывало.

Прежде чем раздеться и лечь в постель, Сона вновь подошла к фотопортрету Гюльаги и вдруг различила движение губ Гюльаги на этом портрете, своими глазами увидела, это не было обманом: у Соны не было никаких галлюцинаций, это была правда, губы Гюльаги слегка дрогнули.

Сона не тревожилась, Сона не боялась, что сойдет с ума, но рука ее, державшая свечу, дрожала, и, пока дрожала рука Соны, слабый огонь свечи играл на щеках, губах, подбородке Гюльаги.

Сона некоторое время внимательно смотрела на Гюльагу, но, кроме отблеска слабого огонька свечи, не уловила никакого изменения в портрете, потом Сона заглянула в глаза Гюльаги и вдруг в глубине глаз увидела какую-то боль, и в темную зимнюю ночь это потрясло Соны.

В один прекрасный день они познакомились с Гюльагой, потом начали встречаться, потом поженились, и с того времени глаза Гюльаги всегда были счастливы; даже в глубине его глаз не бывало никакой боли, — ее и не могло быть, потому что Сона и Гюльага были вместе, потому что у них была эта комната, была эта постель, потому что была маленькая, тесная мастерская против Двойных крепостных ворот, и шум примуса, горевшего в той мастерской голубовато-зеленым пламенем, был не просто шум примуса, а милый, мягкий, живой звук, живое дыхание.

Сона смотрела в глаза Гюльаги, и тут произошло неожиданное, даже невероятное событие: Сона услышала тиканье часов и, резко обернувшись, взглянула в сторону шкафа.

Тиканье часов доносилось из шкафа

Сона подошла к шкафу, выдвинула ящик, в который ровно триста шестьдесят один день назад сложила свои наручные часы, домашние настенные часы и настольные часы Гюльаги (и с тех пор к ним не прикасалась), поднесла свечу, осветила внутренность ящика: все трое часов тикали.

Время было разное.

На наручных часах Соны было одиннадцать часов пятьдесят три минуты.

Настенные показывали восемнадцать часов двадцать шесть минут.

Настольные часы Гюльаги показывали три часа двенадцать минут.

Время было разное; наверное, часы остановились в разное время, но теперь все трое заработали сразу.

Свеча в руке Соны больше не дрожала.

Сона вернулась к висящему на стене портрету.

Ящик шкафа, в котором тикали часы, так и остался открытым.

Огонь свечи снова упал на лицо Гюльаги, и Сона снова увидела боль в глубине глаз Гюльаги, рукой она провела по лбу Гюльаги на портрете.

На лбу его были мелкие капельки пота.

Нет, не фотобумага запотела от тепла свечи, — это были капли пота, потому что Гюльага мучился. Гюльага хотел выйти из этого портрета; Сона поняла это, и боль в глубине глаз Гюльаги была болью, которая мучила его теперь, сейчас.

Свеча сама собой погасла.

Сона некоторое время постояла в темноте перед портретом Гюльаги.

Свечу больше не зажигала.

Очень осторожно, на кончиках пальцев пошла к окну, будто спал ребенок и Сона боялась, что звук шагов разбудит его.

Улица была погружена во тьму, и в эту зимнюю ночь слабое мерцание снега на улицах, на крышах домов не напоминало Соне о белых снах, потому что Сона больше не думала о снах: стоя перед окном в темной комнате, она смотрела на улицу и ждала.

Снег уже не падал, и ветер утих, во всяком случае вой ветра в комнату не доносился; стояла тихая, бесшумная, безмолвная зимняя ночь, и в этой тишине, в этом безмолвии из открытого ящика шкафа слышалось тиканье часов.

Легкий чад от погасшего фитиля свечи разнесся по комнате, и этот запах немного походил на запах примуса, горевшего голубовато-зеленым пламенем в маленькой, тесной мастерской по ремонту часов напротив Двойных крепостных ворот, — но Сона и об этом не думала: без Гюльаги она даже мысленно не возвращалась в ту маленькую, тесную мастерскую против Двойных крепостных ворот; в ночной рубашке Сона стояла перед окном, смотрела на улицу и ждала.

Дней пятнадцать или двадцать назад какая-то из де-

вухек, с которыми она вместе работала, чтобы хоть чуть-чуть отвлечь подруг от смертей и похоронок, сказала что-то смешное, все рассмеялись, только Сона не смеялась, и повидавшая жизнь тетя Хадиджа сказала:

— Горюет Сона, как она может смеяться... Душа болит у Соны...

В эту зимнюю ночь, в эту тихую, бесшумную, безмолвную ночь, которую сопровождало только тиканье часов, Сона смотрела во тьму, на улицу, и не чувствовала никакого горя, душа у Соны больше не болела: боль была в глазах Гюльаги, и Сона ждала.

Сона хорошо знала Гюльагу и знала, что Гюльага сильный, ловкий, знала, что Гюльага тоже всем существом стремится сейчас к ней, и Сона ждала (и Гюльага это знал!).

Сона все так же стояла перед окном, потому что больше не хотела смотреть на портрет, не хотела видеть боль в глазах Гюльаги, не в силах была глядеть, как мучается Гюльага, и она стояла и ждала.

Сона была спокойна, совершенно спокойна, знала, что и боль в глазах Гюльаги, и страдания Гюльаги ненадолго: и боль пройдет, и муки.

Тиканье часов в открытом ящике шкафа словно было пульсом зимней ночи, он бился здесь в комнате.

Чад от погасшего фитиля свечи рассеялся, и воздух в комнате казался особенно чистым, и Сона знала, что комната тоже ждет Гюльагу.

Среди тиканья часов послышался постепенно нарастающий звук, и Сона поняла, что это — звук разрываемой бумаги.

Гюльага освобождался.

Гюльага возвращался.

Белесоватое мерцание снега на улице, на крышах домов, на переплетах оконных решеток как будто усиливалось, серебристым блеском возвещая о чистоте, обновлении улиц, городов всего мира.

Бумага больше не рвалась.

Наступила тишина, и даже тиканье часов в ящике шкафа как будто прекратилось.

Сона не поворачивалась, не смотрела в комнату, она стояла перед окном и ждала.

В комнате раздались шаги.

Один шаг...

Второй шаг...

Третий шаг...

Снова воцарилась тишина.

Сона услышала за спиной стук сердца, едва не касавшегося ее лопаток.

Потом Гюльага осторожно положил руку на плечо Соны.

Сона не вздрогнула, Сона знала, что так будет, и вдруг сердце Соны встрепенулось, горе, которое душило ее триста шестьдесят один день, муки, которые она выносила двести пятьдесят три дня, стали крупными каплями слез и полились из ее глаза.

Рука на плече Соны забралась под рубашку, погладила ее голое плечо, и тепло этой руки, жар этой руки пронзили Сону.

Потом Гюльага повернул Сону к себе, заглянул ей в глаза и понял, что никогда в жизни не видел Сону такой счастливой; даже в те минуты, когда они сидели вдвоем, прижавшись друг к другу в маленькой, тесной мастерской, Сона не была такой счастливой.

В зимнюю ночь перед окном темной комнаты Сона приникла к груди Гюльаги и, целуя лицо, глаза, шею, грудь Гюльаги, зашептала:

— Наконец-то ты пришел... Наконец-то пришел... Вернулся... Наконец вернулся... — шептала она. — Пришел... — сказала она. — Пришел...

Гюльага снял с Соны ночную рубашку, и обнаженное стройное тело Соны заполнило темноту комнаты страстью и волнением, которые она сдерживала ровно триста шестьдесят один день и которые только теперь вырвались на свободу.

Гюльага взял обнаженную Сону на руки, отнес на постель.

Гюльага целовал все еще не просохшие и соленые от слез глаза Соны, губы, напрягшиеся груди, и Сона, захлебываясь от счастья, задыхаясь, шептала:

— Мне пришло лживое извещение...

Гюльага прошептал:

— Нет, не лживое... Я умер... Меня застрелили... Ты меня воскресила... — говорил он. — Твое дыхание вызвало, вытянуло меня из портрета...

...Медленно наступало утро.

Снова пошел снег.

Сона лежала и смотрела на Гюльагу.

Гюльага стоял перед окном, наблюдая за наступлением

зимнего утра в махалле, которую не видел ровно триста сорок один день.

Сона улыбалась: радовалась за Гюльагу.

Во всем теле Соны был покой, и в этом покое была вечность постоянства.

Потом Гюльага отошел от окна, подошел к шкафу, вынул из ящика часы, поставил настольные часы на их обычное место, положил на стол наручные часы Соны, потом поглядел на настенные часы, которые держал в руках.

Сона тоже встала с постели, подошла к Гюльаге, взглянула на все эти часы.

Они, как и прежде, показывали разное время.

На наручных часах Соны было четырнадцать часов пятьдесят минут.

Настенные часы показывали двадцать один час двадцать девять минут.

Настольные часы Гюльаги — шесть часов пятнадцать минут.

Потом Сона и Гюльага посмотрели друг на друга и громко, от души рассмеялись.

Оба они были нагие, стояли посреди маленькой комнаты, глядя друг на друга, и громко, от души смеялись.

Потом Гюльага собрался прибавить часы на стене.

Сона сказала:

— Зачем их прибавить? В другом доме прибьешь. Все равно мы отсюда переедем...

— Переедем?

— Да кто же поверит, что ты из портрета вышел? — Сона посмотрела на фотопортрет Гюльаги.

От увеличенного фотографом Али портрета осталась только окантовка да едва заметные края плотной фотобумаги; там, где еще недавно был Гюльага, зияла пустота, и Соне показалось, будто его изображение вырезано ножницами.

XXIX

О многом я хотел спросить у шофера такси с седыми усами, побелевшими кудрями, окружавшими лысину, — у моего Джафаргулу, но ни о чем не спросил, вернее, не смог, а почему — не знаю... Ничего не спросил — и в ясный весенний вечер, выйдя из дому, пешком направился в сторону нашей махаллы.

Шагая по улице, ведущей в нагорную часть Баку, по

улице, которая должна была довести меня до угла, где располагалась керосиновая лавка — наша керосиновая лавка, где начиналась наша махалла, я смотрел на знакомые дома, на одноэтажные, двухэтажные, трехэтажные здания, и ни одного из них не узнавал; то есть здания эти были мне знакомы, я часто, держа маму за руку, ходил по этой улице в центр города, часто и один проходил здесь, но в то же время ни одно из этих зданий не наталкивало на какое-либо воспоминание, эти дома стали для меня чужими, и мне казалось, что это чувство взаимно, потому что улицы состоят не только из зданий, не только из асфальта, камня: я думаю порой, что и улицы хранят память; люди приходят, уходят, а улицы остаются, жизнь улиц намного длиннее жизни людей, улицы живут сто лет, двести, триста лет и дышат тем же воздухом, что приходящие и уходящие люди, живут чувствами, волнениями приходящих и уходящих людей, и, когда я думаю об этом, мне кажется, что если есть существа, именуемые муравьем, слоном или человеком, то почему не быть существу, именуемому улицей.

Когда я последний раз шел по этой улице? Не припомню... Когда мы переселились из махаллы, мне было лет десять-одиннадцать, и, наверное, сорок лет нога моя не касалась этой улицы (вот какова моя преданность!), и если у улицы есть память, если улица — существо, значит, она что-то забывает, что-то выпадает из ее памяти, и ощущение этого вызывает грусть; это не только грусть сорокалетней разлуки, не только грусть о том, что сорок лет остались в прошлом, — это грусть и о будущем, вернее, грусть от ощущения, что остающиеся еще в запасе пять, десять, даже сорок или пятьдесят лет тоже останутся навеки в прошлом.

Желтое одноэтажное здание, где была наша керосиновая лавка, я увидел издали, тотчас узнал и, признаюсь честно, хотел уйти, потому что какой во всем этом смысл? Кого я теперь искал в тех кварталах, что мы называли нашей махаллой? «Путешествие в прошлое» — это только придуманное нами книжное выражение; в сущности, прошлое никого не принимает, прошлое сделало свое дело — и конец: на его дверях висит вечный замок; как тот ржавый замок на двери тети Зибы, как тот большой замок на двери Алиаббаса-киши...

Моя жена говорит, что я в глубине души sentimental; не знаю, может быть, это и так, и то, о чем я думаю,

о чем хочу написать, — думы и желания сентиментального человека, возможно; но когда я увидел на углу в начале нашего квартала выкрашенное в желтый цвет низенькое зданье, мне захотелось повернуться и уйти: казалось, знакомые и в то же время чужие дома, окна, окрашенные в разный цвет, ворота, балконы, увитые начинавшими распускаться вьюнками, смотрят на меня с укором; конечно, в этом чувстве было что-то детское, но что поделаешь? Я ведь хотел вернуться в собственное детство...

Я все-таки дошел до угла в нижней части нашей махаллы, остановился перед керосиновой лавкой и посмотрел вверх, на наши улицы, — нет, сердце у меня не упало, я именно остановился, а не застыл на месте, как будто увидел то, что и ожидал: Желтой бани больше не было, и нашего тупика не было, и тех домов, что когда-то стояли между ними, не было, и на всей этой территории теперь высился огромный многоэтажный жилой дом. Окна в доме были освещены, на балконы выходили люди; большой дом жил своей обычной жизнью, и перед ним росло ветвистое ивовое дерево.

Подул легкий ветерок, шевеля только что появившиеся листочки развесистой ивы, и мне показалось, что теперь и это крепкое, развесистое ивовое дерево, как в свое время мой отец, чужое здесь, на новой, в сущности, улице.

Один, два, пять, семь, десять, одиннадцать... Дом был одиннадцатизэтажным, наверное, население всей нашей махаллы разместилось бы на двух его этажах.

На балконе третьего этажа лицом ко мне стоял мальчуган лет четырех и сквозь железные прутья балконной решетки смотрел на меня; я тоже посмотрел на него, подмигнул, и вдруг произошло странное: ребенок с громким плачем побежал в комнату; мать поспешно вышла на балкон, оглядела улицу, взглянула на верхние этажи дома и, наверное, не увидев ничего подозрительного, ушла с балкона.

Моя ива улыбнулась.

Однажды во сне я увидел ярко-красную луну и во сне, глядя на красную луну, понимал, что вижу сон, понимал, что такой большой, такой красной луны быть не может, но большой красной луне, как говорится, было плевать, понимаю я это или не понимаю; так и горела, так и стояла у меня перед глазами.

Сейчас в небе была всегдашняя (обычная!) луна, всегдашние (обычные!) звезды, да еще горели огни в окнах

огромного жилого дома, и его освещенные окна отнюдь не считали себя чужими нашей махалле, наоборот, в сиянии, красоте этих окон, стеклянных дверей было какое-то превосходство перед нашей махаллой.

Трехэтажный дом, где жил Мухтар, где жила Адиля, как и прежде, стоял на своем месте (теперь это казалось мне чудом!), но на застекленной веранде Мухтара уже не было горшочков тети Кюбры, и вообще этот дом хотя и был прежним, но в то же время был и другим; достаточно было лишь взглянуть на его стены, окна, веранду, входную дверь, чтобы понять, что теперь жизнь этого дома совсем иная. Лучше, хуже прежней — не знаю, но совсем иная; и у меня не было сомнения в том, что теперь в этом доме жили совсем другие люди.

Перед домом, на краю тротуара, как и сорок лет назад на маленьком, постеленном на асфальте тюфячке сидела дряхлая старуха (иногда, когда я думаю об этом, мне кажется, что в тот вечер старуха мне просто привиделась), и я медленно подошел, встал перед этой старухой, которую узнал еще издали (или убедил себя, что узнал?) поздоровался с ней.

— Добрый вечер, тетя Сафура.

— Добрый вечер, — сказала она.

— Как дела, тетя Сафура?

— Какие у меня дела? Не видишь? Что от меня осталось?

— Меня не узнала?

— Нет...

Но это же я!..

В тот весенний вечер в свете большого здания я увидел в переливчатых водянистых глазах тети Сафуры внезапную настороженность, и мне показалось, что тетя Сафура все еще ждет вестей о своем сыне Эйнулле, пропавшем без вести во время войны. Конечно, мы все много слышали, много читали о том, что матери до сих пор ждут своих сыновей, пропавших на войне без вести, но я впервые за свою жизнь увидел это своими глазами, почувствовал всем сердцем.

Я смотрел на морщинистое лицо тети Сафуры и думал, что в путанице морщин на лице тети Сафуры и нашей махаллы сорокалетней давности есть очень близкое сходство...

Тетя Сафура повторила:

— Нет, не узнаю...

— Я Алекпер...
 — Какой Алекпер? — Из водянистых глаз тети Сафуры исчезла настороженность, исчезло волнение: видно, у нее не было сил так долго удерживать в глазах настороженность и волнение.

— Сын Соны...
 — Какой Соны?
 — Жены проводника Агакерима...
 Сморщенное, старое лицо тети Сафуры улыбнулось, как моя ива.

— Ей-богу, я же тебе сказала, ничего от меня не осталось. Одна нога здесь, другая — в могиле... Скорей бы господь призвал меня... Ах, аллах!..

— Мы выше Желтой бани жили, в тупике...
 — Ей-богу, не знаю, в чем я провинилась перед господом, что не забирает меня?!

— Мы в одном дворе с тетей Ханум и ее сыновьями жили.

Водянистые глаза, казалось, задумались, желая что-то вынести из прошлого, и она сказала:

— Царствие небесное Ханум!.. Аллах рахмат элесин!..
 — Меня не узнаешь?
 — Нет... Да убьет меня аллах! Не убивает... Вот видишь, в долгу у тебя останусь...

Снова подул легкий ветерок, и я, отведя глаза от тети Сафуры, посмотрел на развесистую иву, едва раскрывшиеся листочки ее затрепетали, но это меня не взволновало, потому что ива уже сорок лет была не моя и конечно же она меня не узнавала.

Огни одиннадцатизэтажного здания один за другим гасли.

Скоро они погаснут совсем, останутся только луна, звезды на небе, и наша улица будет ждать не возвращения сорокалетней давности, а завтрашнего утра, тосковать по шагам завтрашнего утра, потом утро наступит, ребятишки одиннадцатизэтажного дома с шумом сбегут вниз, разойдутся по школам, в портфелях всех этих ребят будут прекрасные авторучки, и эти ребята никогда не увидят здесь Белого Верблюда; пройдут месяцы, подрастет и тот малыш на третьем этаже и — на третьем (или десятом, двадцатом!) этаже какого-либо здания увидит маленького ребенка...

Когда Джебраил уходил на войну, он очень тревожился за наших дворовых голубей, и после Джебраила за ними стал присматривать Агагарим. Голубей нечем было кормить, Агагарим рано утром и ближе к вечеру влезал на крышу, выгонял их, и голуби разлетались в поисках корма (во всяком случае, хоть что-то находили), возвращаясь в голубятню нашего двора.

Когда Агагарим тоже ушел на войну, дверца голубятни всегда оставалась открытой, голуби день ото дня тощали, совсем обессилели, и больше уже не было у них ни охоты, ни сил вылетать и искать себе пищу.

Голуби Джебраила смирились со своей судьбой, и это стало одной из моих горестей, но у меня не было никакой возможности помочь этому горю, потому что и наш двор, и наш тупик, и наша улица были совершенно лишены возможности помочь какому-либо горю.

Я влезал на крышу, пытался заставить голубей взлететь, но они не взлетали, вернее, раз-два взмахнув крыльями, кидались из стороны в сторону по крыше, склонив головки, смотрели мне в руки, потом, стоя в углу крыши, втягивали головки, закрывали глаза и иногда ворковали; руки мои всегда были пусты, я ничего не находил, чтобы дать голубям, и утешением для меня было лишь то, что, надевая длинный резиновый шланг Джебраила на кран у нас во дворе, я часто очищал и мыл голубятню, но, поскольку голуби ничего не ели и чистить было нечего, кроме осыпавшихся от голода и слабости перьев; потом голуби начали умирать, и я один раз в несколько дней по вечерам вынимал и выбрасывал умерших голубей, и мертвые голуби, наверное, доставались рыжей кошке; я очень любил этих голубей, мне было жалко их, но я брезговал мертвыми голубями, и моя брезгливость, из-за которой, беря несчастных мертвых голубей, приходилось удерживать тошноту, превращала мою жизнь в пытку: ну почему таков должен быть конец голубей? И жестокость мира заставляла страдать маленького Алекпера.

Однажды в наш двор вошел мужчина, у которого на плече висела большая сума, он был чрезмерно высок и даже при таком росте выглядел очень толстым; голова этого уroda была обрита наголо, у него был толстый загривок, и вся его фигура, его толстый загривок никак не вязались с сиротством и бедностью нашей махалли.

Безобразный мужчина хотел купить голубей Джебраила, но тетя Ханум; несмотря на то что он едва вмещался в наш двор, в наш тупик, в наш переулок, прогнала мужчину со двора, и урод с толстым загривком внимательно оглядел наш двор, как будто что-то проверял, что-то изучал, а выходя из ворот, сказал:

— Все равно они подыхают с голоду... — Когда он говорил, между его крупными желтыми зубами проступала слюна. — Для кого ты бережешь их, безмозгая?

Тетя Ханум так хлопнула дверьми вслед за безобразным мужчиной, что чуть не разбила его чисто выбритый выпуклый загривок.

Тетя Ханум сказала:

— Сукин сын! Хочет купить, чтобы подкормить, как кур, а потом отрезать им головки и продать!..

Когда я услышал эти страшные слова, волосы у меня зашевелились, я всей душой гордился тетей Ханум, мне показалось, что уж если она не испугалась жуткого мужчину, прогнала со двора этого безобразного мужчину, так хлопнула вслед за ним дверь, значит, она стала прежней тетей Ханум; мне показалось, что и автобус, и четыре полуторки опять друг за другом выстроились перед нашим тупиком, мне показалось, что и наш двор, и наш тупик, и наша улица, как прежде, защищены, как и до войны, сильно, непокоримы.

— Но ведь есть голубей — грех... — сказал я.

Тетя Ханум сказала:

— На свете столько людей, которые не боятся греха...

В ту ночь я долго прислушивался к голубиной ворковане, прежде, едва наступал вечер, белые голуби засыпали, но с началом войны, как только ушли на войну Джафар, Адыль, Абдулали, Годжа, Джебраил, Агарагим, и дворца голубятни оставалась открытой, голуби порой не могли заснуть до полуночи, все ворковали.

Я знал, что голуби голодны; у меня не было ни крохи, чтобы покормить их; я знал, что голуби больше никогда не взмоют в небо, не превратятся в едва различимые точки, но все мое существо было полно глубокой благодарности тете Ханум, потому что тетя Ханум не позволила, чтобы урод с толстым загривком захихнул голубей в мешок, висящий у него на плече; и вдруг мне показалось, будто сам я внутри мешка, и мне стало трудно дышать, я чуть не задохнулся от недостатка воздуха; но нет, урод с толстым загривком был не так страшен, как казалось, тетя Ханум

прогнала его со двора, и я был не в мешке, а в постели, которую мама как обычно постелила мне на полу, в углу комнаты; я слушал воркование голубей, тех отощавших, съезжившихся, больных голубей и снова видел небо ярко-голубым, без единого пятнышка, и в ярко-голубом, чистейшем, без единого пятнышка небе снова летели здоровые, проворные, сверкающие на солнце белокрылые голуби Джебраила, кружили над нашей махаллей — и с начала войны, может быть, впервые я заснул успокоенный и видел прежнюю яркую голубизну, чистоту, прозрачность; я впервые в жизни увидел голубой сон: и белые голуби были голубыми, и небо было голубым, и голубые голуби летели в голубом небе, и в той голубизне где-то сквозил белый свет, и я знал, что это белизна Белого Верблюда, и во сне мне казалось, что руками, всем телом я касаюсь белоснежной шерсти невидимого, но излучающего свет Белого Верблюда, и что шерсть его мягка, как шелк, нежна, тепла...

Утром меня разбудил мамин голос:

— Ах, сукины дети!.. Ах, чтоб вам сгореть!..

Мамин голос доносился со двора.

Я понял, что произошло что-то чрезвычайное, вскочил с постели, выбежал во двор.

Ночью всех голубей выкрали и унесли.

Это было первое на моей памяти воровство в нашем квартале.

Я сел на краю бассейна, посмотрел на пустую голубятню и, не сумев сдержаться, заплакал; мне было жаль себя, потому что ночью забрался в наш двор, украли наших голубей, несчастных, больных голубей, а я ничего не знал, и тетя Ханум ничего не знала, и мы не смогли уберечь голубей хотя бы для того, чтобы они умерли в своей голубятне; и, конечно, мне было жаль самих голубей, и маленький Алекпер, представив себе несчастных голубей сначала сваренными, а потом изжаренными на сковороде, заплакал еще сильнее; в это время кто-то положил мне на плечо большую руку, и я вадрогнул, потому что вдруг мне показалось, что рука на моем плече — это рука того безобразного мужчины с толстым загривком и пустым мешком на плече, но надо мной стояла тетя Ханум, и рука тети Ханум стала совсем легкой; мне никогда не приходило в голову, что большая рука тети Ханум может стать такой легкой, почти невесомой, и эта легкость, эта невесомость еще больше меня расстроили.

Тетя Ханум сказала:

— Не плачь, Алекпер... Не плачь...

Я заплакал еще громче.

XXXI

У нас в тупике была рыжая кошка, она была такая толстая, что казалось, шкура на ней вот-вот лопнет; она с трудом передвигалась, летом с утра до вечера спала в тени электростолба перед нашим тупиком, и я всегда удивлялся, когда она ест, что так жиреет?

В течение дня тень, падающая на тротуар от столба, передвигалась, и рыжая кошка, лениво вставая, переходила на другое место, снова укладывалась в тени, а иногда открывала глаза, вставала, потягивалась, зевала, снова ложилась, и Балакерим говорил, будто этой рыжей кошке тысяча лет и рыжая кошка никогда не умрет.

Не знаю почему, но у нас в округе рыжую кошку никто не любил.

Когда началась война, люди остались без хлеба, мышей поубавилось, рыжая кошка отоцала, и в конце концов от нее остались кожа да кости, никто не обращал на это внимания, потому что люди были поглощены своими заботами, им было не до рыжей кошки.

От лени рыжей кошки не осталось и следа, она больше не лежала в тени столба, с утра до вечера бродила по двору, иногда в тупике увязывалась за мной, мяукала, а я топал ногой и гнал ее, потому что мне нечего было дать ей, да и не по душе мне была эта несчастная рыжая кошка; слова Балакерима засели у меня в мозгу, и мне казалось, будто и вправду знакомые, любимые мною люди умрут, все люди на земле умрут, только эта рыжая кошка никогда не умрет, всегда будет жить.

Время от времени из дома тети Амины доносились шум и крики, и все понимали, что Ибадулла снова объявился, снова пьян, снова требует у матери золота, и, конечно, Ибадулла, как всегда, выходил от тети Амины с пустыми руками, вернее, выходил без золота, но хотя бы горсть из того, что соседи, отрывая от себя, давали тете Амине, он уносил с собой: вареный горох или лобио или что другое, и в один из таких дней я увидел Ибадуллу в конце нашего тупика в том месте, где прежде рос тутовник.

Ибадулла сидел на корточках; рыжая кошка стояла подле Ибадуллы, и я впервые в жизни увидел в кошачьих

глазах откровенную приязнь: рыжая кошка полными приязни глазами смотрела на Ибадуллу.

Ибадулла протягивал рыжей кошке что-то съедобное; я стоял далеко и не видел, что именно, но что бы ни было, разумеется, Ибадулла только что со скандалом отобрал это у матери.

Кормя рыжую кошку с рук, Ибадулла говорил:

— Возьми, пишик¹... Бедная кошечка... В этом мире ты одна мне друг... Люди враги друг другу, только у кошек осталась совесть, только кошки еще правдивы... На... ешь... Видишь, все отвернулись от тебя... Ну, ничего... Бери...

Я смотрел на Ибадуллу, который кормил рыжую кошку, и совсем растерялся; я растерялся не только потому, что увидел такое дружелюбие между Ибадуллой и рыжей кошкой, но и потому, что рыжую кошку кормил не кто-нибудь из нашей махалли, а именно Ибадулла; почему никто в округе, кроме Ибадуллы, не пожалел эту кошку?

Внезапно я сам себе показался вороватой кошкой, потому что вот так, украдкой, стоял и смотрел на то, что другой человек делал как бы тайне; я вернулся во двор и больше никогда не подглядывал за Ибадуллой и рыжей кошкой.

Всякий раз, когда из дома тети Амины доносился шум, я знал, что вскоре на месте, где раньше был тутовник в конце нашего тупика, Ибадулла будет отдавать рыжей кошке по кусочку, по крохе из отнятых у матери соседских даров, беседовать с рыжей кошкой, но я сдерживался и не ходил туда (а может быть, все это мне казалось, и если бы я пошел в конце тупика, то никого бы там не увидел?); один только раз я не выдержал, потому что услышал плач в конце тупика, и тихонько направился туда.

Ибадулла сидел на корточках рядом с пнем от тутовника и плакал.

Рыжая кошка лежала на боку перед Ибадуллой, лапы у нее были вытянуты, глаза закрыты, и я понял, что рыжая кошка околела.

Ибадулла плакал и приговаривал:

— Почему на свете людьми стали люди? Почему не кошки стали людьми?..

¹ Пишик — кошка.

Когда Эйнулла выздоровел после ранения и вторично ушел на фронт и от Эйнуллы не было ни слуху ни духу и дядя Агагусейн ушел на фронт, тетя Сафура все время плакала, но как-то однажды она вдруг сказала мне:

— Слушай, эта бедняжка Зиба в Америке, как она ест эти черепашины яйца?..

Мама с отвращением к черепашиным яйцам и сочувствием к горькой доле Зибы хлопнула себя по бедру и горестно промолвила:

— И не говори!..

Сказать по правде, тогда я удивился наивности этого разговора между тетей Сафурой и моей мамой; ведь как мы здесь ели порошок из черепаших яиц, так и тетя Зиба ела его в Америке.

Эсмер приоткрыла дверь моего рабочего кабинета, заглянула:

— Тебя к телефону.

— Да разве я не сказал, что работаю, чтобы не звали меня к телефону? — разозлился я.

— Это Фатулла Хатем...

— Ну и что ж, что Фатулла Хатем? — сказал я. — Фатулла Хатем что, племянник аллаха?

Правда, я это сказал, но встал и пошел к телефону, размышляя, что, видно, Фатулла Хатем действительно могущественный человек, если все в душе его ненавидят: и те, кто «внизу», и те, кто «наверху», однако он долгие годы противостоит этим «всем», и противостоит один — нет у него ни близкого друга, ни соратника, но он всегда на плаву, всегда руководит, наверное, потому, что сам себе ближайший друг и соратник, сам себе — моральная опора (большая это сила!). Меняются эпохи, меняются люди, иногда и Фатулла Хатем год-другой остается в тени, иногда даже теряет должность, но опять где-то выскакивает и восстанавливает прежний престиж.

— Здравствуй, Алекпер, бала!¹..

— Добрый вечер, Фатулла-муаллим.

— Не сердись, что я говорю тебе бала? — Фатулла

Хатем рассмеялся, и я представил себе его хитрые и умные глаза. — Проходят годы, вы подрастаете, слава богу, занимаете почетное положение, но для меня вы — все еще вчерашние дети. Держали в руках своих опусы, не решились войти в кабинет... — Фатулла Хатем снова рассмеялся.

Если б я верил в бога, а бог доверял мне и смог бы выполнить единственное мое желание, то я обратился бы к богу с просьбой: всего на один день впусти меня в мозг Фатуллы Хатема, чтобы я мог прочитать его мысли, посмотреть на мир его глазами, услышать его внутренние оправдания, познать его чувства, волнения и понять его; ведь, ясное дело, никто на свете не считает себя подлецом (может быть, на свете вообще нет подлецов в этом смысле?.. Может быть, любая подлость существует только до того момента, пока не поймешь подлеца?). В связи с разными событиями я ставил себя на место Фатуллы Хатема, хотел понять его, найти в нем самом, в его собственном «я» оправдание (почему я клеветал? почему чернил? почему, говоря одно, думаю и делаю другое?), но из всех моих попыток ничего не выходило. Однажды я, собрав все книги Фатуллы Хатема, заставил себя прочесть их, и прочел, но и в книгах Фатуллы Хатема была сплошная ложь — во всяком случае, мне так казалось; и книги тоже не сказали об их авторе больше того, что я знал; нет, я даже на полчасика не мог стать Фатуллой Хатемом, и это меня мучило, потому что, если я назвался писателем и если это был не самообман, я должен был суметь сделать это — должен был найти самооправдания Фатуллы Хатема, выявить их для себя... Я знал, чувствовал всем своим разумом, сердцем, что когда-нибудь напишу о Фатулле Хатеме, — роман ли это будет или что другое, я не знал, но произведение это будет написано тогда, когда я смогу вытащить Фатуллу Хатема из-под оболочек (подобно тому, как археологи проходят несколько пластов земли, извлекая фарфоровые сосуды!), смогу увидеть его наедине с самим собой...

— Я тебя не побеспокоил?..

— Нет, что вы...

— Я спросил у Эсмер о твоих дочках, говорят, все хорошо.

— Большое спасибо.

Все это, разумеется, был зачин, сейчас он перейдет к сути; во всяком случае за последние двадцать пять лет я хорошо изучил эти внешние приемы и повадки Фатуллы Хатема: мы виделись на разных литературных сборниках,

¹ Бала — детка.

оба занимались сочинительством, оба, как говорится, жили в литературной среде, но Фатулла Хатем никогда не знал, чей я сын (а может быть, он давно забыл имя моего отца...), никогда не знал, что мама газетой с его портретом вытирала керосинку у нас на кухне.

— Годы, Алекпер, бала, как птицы летят. Будто вчера вы только завели семью...

Я больше двадцати лет был женат, и с этим связано происшествие, которого я стыдился больше всего в моей жизни... В те далекие годы, в ту пору, когда еще не пришла похоронка на отца и дядя не переселил нас из махаллы и мы впроголодь жили в постоянном страхе и тревоге военных лет, однажды ночью мама вдруг поднялась и села на кровати:

— Ты спишь, Алекпер?

— Нет.

— Алекпер, слушай меня хорошенько. Говорят, о плохом не скажешь — хорошего не узнаешь. Типун мне на язык, не дай бог, пусть и вовсе у меня язык отсохнет, но если с фронта придет худая весть о твоём отце, если вдруг и со мной что-нибудь дурное случится и дяди твоего не будет, ты останешься один, не дай бог, Алекпер, никогда, слышишь меня, никогда не ходи и не проси помощи у Фатуллы Хатема!..

Прошло много лет с того ночного разговора, я стал печататься, мы встретились с Эсмер, решили пожениться, надо было посылать сватов, и тогда мама, которая с особым тщанием готовилась к этому событию — мечте всей ее жизни («Только бы мне увидеть твою свадьбу, Алекпер, только бы внучонка поносить на руках, больше я ничего не прошу у аллаха!..»), сказала, что сваты должны быть уважаемые люди, чтобы родичи невесты знали, кто ты, пусть увидят, с кем они породнятся; и через некоторое время, после долгих размышлений, мама вдруг сказала: «Алекпер, может, Фатулле Хатему скажешь, чтобы пошел сватом? Пойдет?» Я остолбенел от маминых слов, но самое постыдное — это то, что я пошел, смущаясь, краснея, обратился с этой просьбой к Фатулле Хатему, и он с энтузиазмом согласился. («Правда, вы только начали печататься, все краснеете да смущаетесь, — рассмеялся он, — но скоро это пройдет; впрочем, если ничего не бояться, — продолжал он, — значит, ничего и никого не уважать. Ну, да это на твоей совести! Куда мы идем и кого за тебя берем?») Взял с собой двух человек и сосватал меня...

— Да, — сказал я, — годы летят...

— Алекпер, ты знаешь, что я всегда считал тебя одним из самых талантливых наших писателей и всегда возлагал особые надежды на твое будущее. Но порой мне делается жаль, что ты вместо романов, произведений большой формы, ставящих большие духовно-нравственные проблемы, тратишь время на мелкие вещицы... Ты ведь сам понимаешь, что если бы я был безразличен к твоей творческой судьбе, то не говорил бы об этом.

— Что-нибудь случилось, Фатулла-муаллим?

(Может быть, я невольно выдал сохранившиеся с детских лет злость или враждебность к Фатулле Хатему?)

— Вот, например, сегодня мне принесли из издательства какую-то рухлядь старого поэта, как его имя? Да Сафара Месума. Смотрю, составитель — ты и предисловие твое. Тебе не жаль времени? — Фатулла Хатем понемногу начинал чувствовать себя как бы на трибуне или за большим столом в учреждении, как это бывало уже на протяжении пятидесяти лет; интимная часть беседы кончилась, теперь шел серьезный разговор, и я понимал смысл этого разговора. — Ну где вы находите и вытаскиваете этих пахнущих нафталином Саттаров Месумов?

— Саттар Месум, — сказал я; это тоже было одной из черт характера Фатуллы Хатема: он сознательно искажал имя человека, показывая, что человек этот так незначителен, что имя не запоминается.

— Да, да, Саттар Месум. Я знал этого несчастного. Бедняга был падок на выпивку... Верно, в газелях, в кошмах его чувствуется дарование, да и судьба его была трагичной; кровавые, горькие были годы; тогда не разбирали, где белое, где черное...

(«Против бедняги Мирзы Саттара выступил Фатулла Хатем, будто несчастный Мирза Саттар был против нашей власти. Взял карандаш и стал подчеркивать строку за строкой газели Мирзы, тысячи толкований придумал, злодей! Мирза написал: о роза, твои шипы терзают соловья, а Фатулла Хатем говорит, что он оклеветал наше время. Ну, а кого разоблачил Фатулла Хатем, не дай бог. Дело кончено. Пропал бедняга Мирза Саттар...»)

— Но, Алекпер, нельзя так увлекаться одними эмоциями... Этот безобразник Саттар Месум с утра до вечера пропадавал в закусовых...

— Вы с ним бывали в закусовых?

Наступило молчание. По правде говоря, я и сам не знал,

как у меня вырвались эти слова (Фатулла Хатем в жизни не пил больше двадцати пяти граммов коньяка и, наверное, никогда не был в закускойной); теперь и без того смуглое лицо Фатуллы Хатема словно еще больше потемнело перед моим мысленным взором. И напомнило мне змею, которая, свернувшись на земле пружиной, подняла головку, высушила раздвоенный язычок, уставившись на свою жертву.

— Я потому об этом спрашиваю, Фатулла-муаллим (кажется, я испугался, наверное, испугался, если пускаюсь в разъяснения), что ни от одного человека, кроме вас, я не слышал, что Саттар (на этот раз я произнес слово Саттар с особым ударением, то есть не Сафтар, а Саттар) был пьяницей...

— Моего слова недостаточно, Алекпер?

(«Алейкум-салам, росток мужчины! Как я поживаю? Все у меня в порядке, только мудрости пророка Сулеймана не хватает!.. Ты знаешь, Алекпер, твой тезка Мирза Алекпер Сабир был великим поэтом! Он говорил: даже если у старика богатств не счесть, в руках у него нет и силы ребенка!.. Понял? Царствие небесное Мирзе Алекперу, он знал, что говорил!.. Царствие небесное и Мирзе Саттару, он обожал Сабир, его стихи не сходили с уст Саттара... Потому что и сам он, как Сабир, любил народ...»)

— Фатулла-муаллим, книга Саттара Месума не о его приключениях в закускойной... Вы сами сказали, что он был талантливый поэт, популярен в народе, всю жизнь писал, учительствовал, был скромен. Хоть один раз нужно было собрать его стихи и напечатать. Не так ли?

— Алекпер, но ведь личность писателя должна быть совершенной, должна быть чистой, он должен жить высокими чувствами!.. Ты знаешь, что говорили французские просветители XVIII века? Тот человек, который, взяв в руки перо, беседует с читателем, должен быть самым непорочным и чистым существом на свете!

(Если аллах выполнит мое единственное желание, я готов в ту же минуту пойти и стать моллой, или попом, или раввином в синагоге!)

— Фатулла-муаллим, разве эта маленькая книжечка Саттара Месума помешает людям жить высокими чувствами? Саттар Месум, самое большее, рифмовал жалобы соловья на розу!

— А намеки?

— Какие намеки?

— Намеки в твоём предисловии! (...змея сжалась в

спираль...)! Многочисленные абзацы, написанные тобой по поводу судьбы Саттара Месума. (Он тоже стал произносить это имя с особым ударением, как я.) Как ни крути, ни верти, но ведь они прямо в мой адрес!..

В издательствах, в редакциях газет и журналов было столько бедолаг, готовых услужить Фатулле Хатему ради проталкивания своих маленьких дел (к примеру, чтобы Фатулла Хатем помог увеличить объем книги на один печатный лист, или дать статью в журнале на три месяца раньше, или поменять две комнаты на три, или послать в творческую командировку и прочее)... И теперь, наверное, в связи с подготовленной мной к печати маленькой книжкой Саттара Месума нащептали о ней Фатулле Хатему, и Фатулла Хатем, конечно, придумает какой-нибудь выход, который никому (в том числе и мне) не придет в голову.

— А обыватели, как они истолкуют твои абзацы? — спросил он.

— Какова истина, пусть так и толкуют.

(«Правда, вы только начали печататься, все краснеете да смущаетесь, но скоро это пройдет; впрочем, если ничего не бояться, значит, ничего и никого не уважать. Ну, да это на твоей совести! Так куда мы идем и кого за тебя берем?»))

— Ты еще ребенок, Алекпер!.. — Вот это уже был настоящий Фатулла Хатем. — Истина — весьма относительное понятие. Ты изучал те годы сугубо теоретически, а я жил в те годы, участвовал в литературном процессе тех лет. Пережил в душе все муки той сложной эпохи, противоречивой эпохи. Где ты был, когда я подвергался преследованиям?

— Вы страдали за своими большими столами?

Фатулла Хатем умолк, потом тем знаменитым сдавленным голосом, в котором совершенно откровенно чувствовалась угроза, спросил:

— Что ты сказал?

Эсмер, хлопая ладонью по губам, делала мне знаки, чтобы я замолчал, взял себя в руки, но уж если истина так относительна, рано или поздно должен я высказать Фатулле Хатему свою истину или нет? Действительно, до каких пор мы должны разговаривать с Фатуллой Хатемом намеками; если я человек в возрасте, за пятьдесят, с поседевшими волосами и бородой (писатель!) до конца своих дней буду разговаривать с Фатуллой Хатемом одними намеками (и вообще с фатулла хатемами!), тогда чего я хочу? Зачем пишу? И как я буду писать?

— Алекпер, бала, телефоны работают из рук вон, я не понял, что ты сказал...

— Фатулла-муаллим, помните, однажды во время войны вы пришли в гости к Мухтару? Это я тогда разбил окно на веранде!..

Эсмер больше не делал мне знаков; прижав ладонь к губам, она застыла на месте (помню, я когда-то рассказывал Эсмер эту историю).

Несколько мгновений в трубке царил тишина, слышались только хрипы, шипение, и я будто видел воочию — не только слышал — эти хрипы, это шипение, потому что еще более потемневшее от гнева лицо со злобно сверкающими глазами Фатуллы Хатема опять появилось перед моим мысленным взором и это оно издавало хрипы и шипение.

— Кто такой Мухтар?

— Он жил на одной улице с Саттаром Месумом...

Снова наступило молчание, затем Фатулла Хатем тем самым угрожающим знаменитым хриплым своим голосом, отчетливо произнося слова, сказал:

— Алекпер! Я тебе — не стакан воды, чтобы ты разом меня осушил!

— Знаю! — сказал я.

Фатулла Хатем положил трубку.

Только теперь оторвав ладонь от губ, Эсмер сказала:

— Что ты наделал?!..

Даже моя жена боялась Фатуллы Хатема...

XXXIV

После того как наша улица и наш тупик осиротели, наша махалля обезлюдела, после того как у входа в тупик не стало видно ни полуторок, ни автобуса, после того как в махалле не осталось мужчин и в тупике куражился Ибадулла, однажды невеселым летним вечером тетя Ханум сказала моей маме слова, которые произвели на меня сильное впечатление. Почему эти слова так подействовали на меня? Наверное, потому, что тетя Ханум никогда в жизни (даже после того как ее большая рука так полегчала!), в отличие от других женщин нашей махалли, не показывала на людях, что и у нее душа болит, не высказывала своих сердечных горестей, не вызывала у людей слез. Мама иногда говорила о тете Ханум другим женщинам, а порой и себе: «Хоть бы поплакала, попричитала немного, облегчила

бы душу... А то молчит, не говорит ни слова, тревогу за шестерых сыновей таит в себе... Может разве такое вынести человеческое сердце?» А в этот невеселый душный летний вечер тетя Ханум на несколько мгновений устремила свои глядевшие из-под широких бровей глаза на маму и, еле шевеля тонкими губами, сказала:

— Сона, мои ребята там, мои ребята борются со смертью, а я спокойно живу тут, живу без Джафара, Адыля, Абдулалы, Годжи, Джебраила, Агарагима... Я спокойно живу себе... Сона...

Мама сказала:

— Не мучь ты себя. С божьей помощью все они живыми, невредимыми вернуться домой!.. Чтоб провалился этот Гитлер со всеми своими проклятыми родственниками!.. Пусть гроб станет троном этого сукина сына, седло залетит кровью этого подлца; что он там устроил!

Тетя Ханум еще некоторое время смотрела на маму, потом поднялась по деревянным ступенькам к себе, и я увидел, что мама не поняла тетю Ханум, и тетя Ханум тоже догадалась, что мама ее не поняла; мама очень любила тетю Ханум, мама очень горевала, что тетя Ханум осталась одна, что тетя Ханум вздрагивала, заслышав какой-либо звук, и с волнением, которое желала скрыть (возможно, даже от самой себя!), оборачивалась к воротам, но... но тетя Ханум не могла так СПОКОЙНО ЖИТЬ, эта спокойная жизнь мучила, тяготила тетю Ханум.

Я пошел в конец тупика, где торчал пень от тутовника, спиленного Ибадуллою, сел на принесенный сюда до войны (в ту прекрасную пору, когда тутовник был в расцвете) мокрый, оттого что два дня подряд шел дождь, камень-«кубик»; я был противен сам себе, я никогда еще не переживал такого ощущения; маленький Алекпер стыдился себя, потому что мой отец сражался на войне, все мужчины, все парни махалли сражались на войне, а я тут СПОКОЙНО жил; сердце мое охватила грусть, тоска, но, в сущности, и в самой грусти, в тоске был ПОКОЙ, потому что я не ходил на смерть, как мой отец на войне, и в эти минуты даже в сиротстве, безлюдье нашей улицы, нашего тупика, нашего двора я видел ПОКОЙ.

В знойный летний вечер, когда я сидел на влажном камне-«кубике», перед моим мысленным взором появились глядевшие из-под широких бровей черные глаза тети Ханум, и я в ее глазах не почувствовал прежней строгости, мне показалось, что строгость в глазах тети Ханум уступила

ла место не голоду, не безлюдью, даже не тревоге, а вот этому ПОКОЮ.

Мы все уже привыкли к тому, что больше нет прекрасного тувовника, спленного Ибадуллою в прошлом году большой пилой с крупными острыми зубьями, не собирались здесь по вечерам вокруг Балакерима, не слушали его свирель, его истории о Белом Верблюде, и земля вокруг огромного пня, оставшегося от прекрасного дерева, за один этот год заросла травой, как будто небольшой участок — конец тушика, бывший постоянным местом наших игр, стал теперь символом сиротства и бесприютности всей махаллы.

Сидя на мокром «кубике», я смотрел на большую пень, оставшийся печальным воспоминанием от того прекрасного тувовника, и вдруг будто неожиданно очнулся: на обращенной к теневой стороне пня увидел колонию опять. Когда отец из поездок приносил домой полную всякой благодати, пахнущую вагоном соломенную корзину, я порой вытаскивал из корзины и эти грибы; отец покупал их на российских станциях, говорил, что это лучшие из грибов, мама жарила их с луком на сливочном масле, заливала яйцом, и я очень любил эту грибную чихиртму.

У меня была зеленая майка, вернее, майка когда-то была зеленой, потом она так изорвалась, истрепалась и мама столько раз заштопывала изорванные, истрепанные места, что майка уже не была зеленой, да и вообще перестала быть майкой. Я, собрав все большие и маленькие грибы, уложил их в полу майки.

Мой дядя примерно год назад привез нам откуда-то бутылку подсолнечного масла, и эту бутылку мама берегла как зеницу ока, но в тот занойный летний вечер мама тоже, как видно, вспомнила поездки отца, посмотрела на брошенную в нашем маленьком коридорчике соломенную корзину, вздохнула, прослезилась. «Да обвалится дом виновника!» — сказала она и, налив на сковородку немного подсолнечного масла, поджарила грибы, потом, поделив ровно пополам, разложила по двум тарелкам и, протянув мне одну тарелку, произнесла в тот знойный летний вечер самые прекрасные слова на свете:

— Отнеси Ханум-хала, Алекпер... Скажи, ты сам собрал грибы... Скажи, что мы досыта наелись...

Взяв у мамы горячую тарелку, источавшую чудесный запах, я вышел во двор, поднялся и передал тете Ханум сказанные мамой слова. Тетя Ханум сидела на тахте, под-

жав под себя ноги, посмотрела на меня, на жареные грибы, ни слова не сказала, но улыбнулась, и мне показалось, что в улыбке тети Ханум было что-то хрупкое, что может со звоном разбиться.

Я стоял посреди веранды и не знал, что делать; почему-то мне не хотелось уходить, хотелось, чтобы тетя Ханум поела эти жареные грибы при мне горячими; может быть, ждал, что тетя Ханум похвалит меня, порадует за меня, что я вот так, на пустом месте, нашел грибы? Не знаю... Тетя Ханум встала с тахты, подошла к столу, снова посмотрела на жареные грибы, снова улыбнулась, и я снова увидел в ее улыбке что-то стеклянное.

Тетя Ханум сказала:

— Помнишь, Алекпер, однажды ты приносил нам энзелинскую рыбу?

Я кивнул: мол, помню; действительно, мне вспомнился тот день, и я вспомнил те две слезинки, выкатившиеся из глаз тети Ханум в тот день, слезы тети Ханум, которые я видел первый и последний раз; потом вспомнил висящий на стене портрет Абузара (портрет Абузара тоже был за стеклом), потом вспомнил Годжу, похожего на тот портрет, а потом вдруг будто Балакерим заиграл на свирели, и, слушая далеко и в то же время очень близкую мелодию свирели Балакерима, вспомнил Адилю; и две слезинки, выкатившиеся когда-то из глаз тети Ханум, теперь, в моем представлении, были не только по Абузару, но и по Адиле... Потом мне показалось, что вся наша махалла пошла по миру, как сирота, и две слезинки тети Ханум были по нашему кварталу.

Я хотел уйти, потому что перед моими глазами сменяли друг друга разнообразные видения, и я сам не мог разобрататься в этих видениях; у меня начала болеть голова, я почувствовал себя усталым, и тут тетя Ханум, глядя на тарелку жареных грибов, вдруг сказала:

— Алекпер, может, мы пошлем это Алиаббасу-киши?

Я удивился:

— Алиаббас-киши давно переехал в село...

Тетя Ханум спросила:

— Да? — Потом сказала: — Да, верно... — и посмотрела на меня, и мне показалось, что черные глаза тети Ханум, глядевшие из-под широких бровей, тоже ослабели, как глаза тети Амины, плохо видят, и никто об этом не знает; потом меня охватил жуткий страх: а вдруг тетя Ханум сойдет с ума?..

Тетя Ханум повторила:

— Да, верно! — А потом: — Ты не волнуйся, Алекпер. Они вернутся, все шестеро, Алекпер... Я ведь знаю их, Алекпер, придут все шестеро, ничего с ними не случится, Алекпер... Ты не волнуйся, они еще будут тебя катать на машинах, Алекпер... И Джафар будет возить тебя на машине, Алекпер, и Адыль будет возить, и Абдулалли, и Джебраил, Алекпер, и Агарагим, и Годжа будет вместе с вами гулять, Алекпер...

Глядя на меня, тетя Ханум говорила эти слова, но у меня волосы вставали дыбом, мне казалось, что тетя Ханум меня не видит: глядевшие на меня глаза ее были устремлены куда-то очень далеко, и тетя Ханум говорила не мне, а тем людям вдальеке, а возможно, себе самой, и в эту минуту сама была очень и очень далеко от своей веранды.

— Не переживай, Алекпер, ни с одним из них ничего не случится, все шестеро возвратятся... Я ведь их знаю, Алекпер...

С дрожью в ногах я спустился по деревянным ступенькам, пришел домой, и некоторое время мне казалось, что тетя Ханум не знает, что я ушел, и до сих пор, обращаясь ко мне, говорит о возвращении Джафара, Адыля, Абдулалли, Годжи, Джебраила, Агарагима, говорит о том, что ни с одним из них ничего не случится; прошло немного времени, и тетя Ханум спустилась вниз по деревянным ступенькам, в руках у не был небольшой узелок; выйдя со двора, она пошла в конец туника, и я понял, что тетя Ханум несет жареные грибы тете Амине...

...Ночью, лежа в постели, закрыв глаза, я снова услышал ту далекую и в то же время такую близкую мелодию свирели Балакерима, свирель все играла, а потом я услышал слова Балакерима:

Внутри бани черт-те что,
Внутри соломы решето,
Верблюд бороду побреет,
Баня бедного согреет...

XXXV

Три дня и три ночи женщина с одним ребенком во чреве своем и с другим — на руках бежала от голода, но караванный путь все тянулся и тянулся, он был нескончаем, никак не приводил к цели, и вчера утром она дала последний кусочек хлеба ребенку, которого держала на ру-

ках, и совсем крошечный кусочек съела сама, чтобы доставить младенцу в ее утробе; прошло совсем немного времени, голод снова настиг их, голод снова стал терзать их.

На город навалились голодные времена, кто убежал сломя голову, а кто остался — умер от голода; муж той женщины, чьи большие глаза запали и сверкали голодным блеском, а когда-то белая кожа на полном и страстном теле теперь обвисла, тоже умер от голода; потом невиданный голод унес одного за другим трех сыновей этой женщины; всего один ребенок остался у нее на руках и один — во чреве, и три дня назад она спрянула за пазухой кусок ячменного хлеба, на который выменяла все свое имущество, дом, двор, взяла на руки ребенка, которому еще не исполнилось и года, вышла из голодного города, босая, с непокрытой головой, на караванную дорогу.

Этот караванный путь в свое время был полон путников, отсюда дни и ночи шли караваны, но теперь он был совершенно пуст, потому что в голодном городе были зарезаны и съедены все верблюды и лошади; в голодный город больше не заходил ни один караван, ибо люди тотчас резали и съедали верблюдов, мулов, ослов.

Караванный путь пролегал по совершенно пустой, серой равнине, и на равнине невиданной засухи не было ничего, кроме высохшего под солнцем чертополоха.

Солнце взойшло и постепенно разгоралось, но ни женщины, ни ребенок у нее на руках, ни дитя у нее в утробе не ощущали солнечного жара; помимо голода, съедавшего все ее нутро, все существо, в почерневших сосках женщины не утихала изнуряющая, изводящая, как в посыпанной солью ране, боль; пока тянулась дорога, голодная женщина совала в рот ребенку свои свисающие, как пустой мешок, груди, ребенок сколько было сил сосал ее груди, в которых давно не было молока; соски были изранены, и вначале хоть немного крови он отсасывал из материнских грудей, но теперь даже и крови не было.

Дитя в утробе женщины тоже голодало, толкалось ножками, ручками, головкой, и женщина, конечно, ощущала все это внутри себя, всем сердцем чувствовала страдания еще не рожденного, еще не появившегося на этот горький свет ребенка, но ничего не могла сделать; она смотрела на все тянущуюся и тянущуюся, не имеющую конца караванную дорогу, потирала живот рукой, пытаясь успокоить младенца, водила рукой по животу осторожно, чтобы ее пальцы с выступающими костями не повредили ребенку

сквозь отошавшую, обвисшую кожу живота: еще не рожденному, еще не появившемуся на этот горький свет ребенку... Взглянула на того, что был на руках: «Если я умру, да буду твоей жертвой; хоть ты не умирай; несчастная я... какой грех я совершила, что за несчастье постигло меня?..»

Голова ты моя, как ты мне тяжела,
Я с тобой только плакать доньше могла,
Ну куда от тебя мне бежать без оглядки?
Убежала — тебя я с собою взяла.

Надежда была только на караванную дорогу: караванная дорога рано или поздно должна была привести куда-то, там должны быть люди, и там должен быть кусок хлеба.

Собрав все силы, женщина волочила ноги, а рук своих не чувствовала: руки ее будто присохли к пеленкам младенца, будто окаменели, и еще у нее так болели соски.

Ох, любимый, под солнцем палящим бреду.
Где прохлада? Под солнцем губящим бреду.
Как проклясть мне тебя, моя злая судьбина?
Видно, ты мне суляла погибнуть в бреду.

На обочине дороги женщина увидела куст колючего чертополоха; ей хотелось подойти, остановиться у куста, но она испугалась, что потом не сможет подняться, однако ноги ее сами собой остановились, тело как бы само нагнулось, она осторожно положила ребенка на землю, руки сами стали выкапывать, вырвали корень, она поднесла его ко рту, стала жевать, чтобы хоть что-то попало в желудок, досталось младенцу в утробе, хоть что-то дать тому ребенку, которого положила на землю. Она не почувствовала ядовитой горечи чертополоха, но зубы ее не смогли разжевать корень; как ни старалась, ничего не вышло, бросила корень и сама не знала, как поднялась на ноги, как взяла с земли ребенка, снова пустилась в путь...

Небо было совершенно чистое, кроме солнечного света, в небе ничего не было, и в это время очень далеко показались с трудом различаемые зеленые горы; в тех горах, в том прекрасном мире на той стороне были разнообразные плоды, в тех горах были холодные, как лед, родники...

Горы, где же клеймо вы поставите мне?
Горы, что, кроме слез, вы оставите мне?
На груди моей места уже не осталось,
Чтобы вы приласкали меня хоть во сне.

Едва различимые, страшно далекие зеленые горы будто придали сил женщине, прибавили надежды, женщина была про иссохшие руки и боль в груди, поспешила к зеленым горам, пошла, пошла...

Мой любимый, проснись, перед нами гора...
Мы в крови добредя к тебе сама, гора.
Здесь — несчастье и гнет, здесь беда и невзгода
Что же там у тебя, в синей раме, гора?

Но вскоре и чистое небо стало хмуриться, зеленые горы вдалеке потемнели, и женщина поняла, что это уже конец, поняла, что и ее, и того, что на руках, и того, что в утробе, проклял бог, и даже если бы вдруг явились сто целителей, что они смогли бы сделать с одним божьим проклятьем?

Впереди, у края дороги, она увидела дерево, догадалась, что это оливковое дерево, и снова в ее сердце возникла надежда, снова, волоча обессиленные ноги, она добралась до оливкового дерева, положила ребенка на землю, пошарила под старым оливковым деревом и не нашла ни одной упавшей оливки, на дереве тоже не было ни одной оливки, женщина хотела поднять с земли ребенка, чтобы продолжить путь, но уже не смогла поднять его, села на землю и, чтобы не упасть прислонилась к стволу старого оливкового дерева; она поняла, что никогда больше не сумеет подняться, никогда больше не сумеет взять ребенка на руки, и, совсем уже без сил, застонала, заскулила, и это тонкое поскуливание будто придало силы ребенку, что лежал на земле, и ребенок громко заплакал.

Так прошло некоторое время.

Во всем мире никого не было: было только нахмурившееся небо, бесконечно тянущаяся дорога и еще эта женщина, с ее собачьим поскуливанием, с плачем ее ребенка на земле; был ребенок в ее утробе, был ребенок, лежавший на земле; повсюду, кругом воцарялась мгла, и женщина почувствовала, что это вечный мрак и что вечный мрак уносит их...

Так прошло еще некоторое время.

Стоны женщины и плач ребенка, лежавшего на земле, словно успокоили дитя в утробе матери, оно больше не толкалось ручками, не толкалось ножками, мрак и его стал уносить с собой, и тут женщина услышала, что плачет не только она и не только ее ребенок, но и кто-то третий, в последний раз собрала она свои силы, вынырнула из уносящего их мрака, открыла глаза.

Человек с Мягким Сердцем, опустившись на колени под

старым оливковым деревом, сидел перед женщиной, смотрел на женщину, на лежащего ребенка, смотрел на выпуклое чрево женщины, на то, как они плачут, лишаясь последних сил, и сам горько плакал над их горем.

Белый Верблюд стоял на обочине дороги, молча жевал, глядя на женщину, на живот этой женщины, на ребенка, лежавшего на земле, на Человека с Мягким Сердцем и на старое оливковое дерево.

Женщина узнала Человека с Мягким Сердцем, как только увидела его; значит, бог еще не совсем отвернулся от них, бог пожалел их, в этой пустыне послал им не когонибудь, а Человека с Мягким Сердцем.

В руке Человека с Мягким Сердцем был маленький узелок, и женщина тотчас почувствовала, что в маленьком узелке — хлеб.

Женщина больше не плакала, и ребенок, лежавший на земле, будто почувствовал, что мать сейчас даст ему что-то, замолчал, а Человек с Мягким Сердцем не мог успокоиться; стоя на коленях, он рыдал.

Женщина смотрела на узелок в руке Человека с Мягким Сердцем.

Наконец Человек с Мягким Сердцем пришел в себя, поднялся на ноги, засобиравшись в путь, и женщина в ужасе пропентала:

— Куда ты, братец?

Человек с Мягким Сердцем, вытирая рукой покрасневшие от слез глаза, молвил:

— Путь мой далек, сестра. Доберусь ли до цели, бог знает...

— Дай нам кусочек хлеба...

Человек с Мягким Сердцем посмотрел на маленький узелок, что держал в руке, и сказал:

— Это мое пропитание, сестра. Всей душой жалею тебя. Сколько хочешь, посижу, поплачу над твоим горем, — сказал он. — Но это — мое пропитание, его я не могу отдать тебе, — сказал он и снова, не сдержавшись, зарыдал.

Женщина, с трудом вытянув обессиленную руку, дрожащим пальцем показала на ребенка, лежавшего на земле, и сказала:

— Я и от него отрекаюсь. — Потом приложила руку к животу: — Чтобы хоть этого сохранить, дай мне один раз откусить хлеба...

У Человека с Мягким Сердцем были чистые, светлые

глаза, он посмотрел на женщину чистыми, светлыми глазами и ничего не сказал.

Женщина поглядела на Белого Верблюда, увидела большие черные глаза Белого Верблюда и прочитала в больших черных глазах Белого Верблюда такие слова, что были хуже и голода, и мучений бесконечно тянущейся дороги: они пронзили все ее нутро, все ее существо.

Большие черные глаза Белого Верблюда говорили женщине: нет, ты просишь хлеба не для младенца во чреве своем — ты просишь для себя; не оправдывая себя младенцем: хлеба ты просишь, чтобы спастись от смерти...

Женщина отвела взор от больших черных глаз Белого Верблюда.

Человек с Мягким Сердцем снова не мог сдержаться, зарыдал и медленно, всхлипывая, сел на Белого Верблюда, выехал на караванную дорогу; Белый Верблюд, медленно шагая, удалился, исчез с глаз.

Воцарилась полная тишина.

Под старым оливковым деревом словно осталось что-то от взгляда тех больших черных глаз Белого Верблюда, и это «что-то» шептало в тишине: ваши дела — не мои дела, о люди...

Сказанное большими черными глазами Белого Верблюда, подобно легчайшему, совершенно прозрачному, незримому туману, осело на караванную дорогу, окутало старое оливковое дерево и долгое время не покидало этих мест...

XXXVI

Отец уже четыре месяца как ушел на фронт, и мне казалось, что горюю об отце не я один, не одна мама; мне казалось, стаканы с блюдами, выстроенные на полках, кровать, стол, сундук, деревянные табуретки — все, вплоть до окна и дверей, — каждая вещь, каждый уголок нашего дома — горюет об отце; у отца был свой мир, отец по своей природе и судьбе, возможно, был для нашего тувика, для нашей улицы, для нашего квартала пришлым чужаком, но мне казалось, что теперь и наш тувик, и наша улица, и махалла горюют об отце; мне казалось, что за время, что отца не было здесь, с нами, то есть в течение этих месяцев, что он ушел на войну, он стал ближе, стал дороже нашей махалле.

Однажды осенним вечером, когда желтели и осыпались листья раздвоенного тутовника, три подряд черных «эмки» подъехали и остановились у дома Мухтара; и Джафаргулу,

и я, будто испугавшись трех черных «эмков», приникли к воротам Желтой бани и уставились на этих неожиданных гостей.

Первую «эмку» мы знали, она принадлежала Мухтару, и Мухтар, торопливо выйдя из машины, подошел и встал перед двумя другими; из второй машины вылез человек с аккуратно зачесанными назад длинными черными волосами; мне показалось, что я часто видел этого улыбающегося человека в сером костюме с галстуком, повязанным большим узлом, но кто он такой, я никак угадать не мог; из третьей машины тоже вышел человек, и Мухтар сказал:

— Добро пожаловать! Пожалуйста, проходите в дом!..

Я в жизни не видел Мухтара таким приветливым и не мог себе представить, что Мухтар может быть таким гостеприимным.

Улыбающийся человек с интересом оглядел нашу улицу и еще шире заулыбался (в его улыбке была едва различимая ирония, и это осталось у него до сих пор; улыбаясь, он словно насмеялся). Так, улыбаясь, он сказал Мухтару:

— Товарищ Мухтар, у вас здесь прямо экзотика...

Конечно, я в то время не знал значения слова «экзотика», но с тех пор это слово запечатлелось у меня в мозгу; я не знал значения этого слова, но слово это показалось мне каким-то нехорошим, и поныне у меня сохранилось враждебное отношение к этому слову «экзотика»; и еще мне вспоминается, что улыбка человека произвела на меня неприятное впечатление, будто меня взяли за руку и насильно проложили ладонь к мокрой лягушке; я тотчас почувствовал искусственность, фальшь этой улыбки: в нашей округе я никогда не видел, чтобы кто-нибудь когда-нибудь так фальшиво смеялся.

Когда этот человек вошел в дом Мухтара, Джафаргулу зашптал:

— Узнал? Это он продал Саттара Месума! Да-да! Видишь, как скалится?

После слов Джафаргулу я тотчас узнал этого человека: конечно, это был он, Фатулла Хатем; я много видел его фотографий в газетах; в нашем новом учебнике по литературе был его портрет; и мне вспомнилось, как мама газетой с его портретом чистила у нас на кухне керосинку и как обрывки этого портрета крошились и падали на пол.

Все три машины стояли у дверей Мухтара, во всех трех машинах остались сидеть шоферы, и эти три шофера были старые, потому что молодые шоферы все были на

фронте, как Джафар, Адыль, Абдулали, как Джебраил, Агарагим, но сам Фатулла Хатем не был старым, он был ровесником моего отца, однако мой отец был на фронте, все вещи нашего дома горевали об отце, соломенная корзина в нашем маленьком коридорчике была совершенно пустой и совсем утратила благодатный вагонный запах, а Фатулла Хатем сейчас был в нашей махалле, иронически улыбаясь, оглядывал нашу улицу, произносил слова, значения которых я не знал; Фатулла Хатем гостил сейчас в доме Мухтара; наверное, они что-то ели, что-то пили; Фатулла Хатем всегда улыбался, всегда посмеивался, а мой отец всегда бывал задумчив; Фатулла Хатем приехал на нашу улицу в черной «эмке», а мой отец всегда был чужаком; Фатулла Хатем, выйдя из дома Мухтара, на черной машине поедет к себе домой, а мой отец, возможно, никогда не вернется в наш дом; Саттар Месум очень любил Сабира, Фатулла Хатем выступил против Саттара Месума, посадил его в тюрьму, а теперь в нашем новом учебнике, через несколько страниц после портрета Сабира, шел портрет Фатуллы Хатема. В горле у меня встал комок (внезапно мне показалось, что крупные человеческие кости на письменном столе у тети Ханум — это кости Саттара Месума, и никто об этом не знает...), такая несправедливость наполнила мое сердце злобой, яростью, враждебностью, которых я до сих пор никогда не ощущал, рыдания душили меня; мне показалось, что и цветы на веранде тети Кюбры тоже рыдают; я и сам не заметил, как поднял с земли большой обломок камня и как запустил обломком камня в веранду Мухтара.

Одно из крупных стекол веранды со звоном разбилось, и осколки посыпались на улицу; от брошенного мною камня вся наша улица словно содрогнулась, но в этом содрогании я почувствовал и какую-то гордость; как будто я отомстил за всю нашу улицу веранде Мухтара, людям, сидевшим в доме Мухтара, и наша улица гордилась моим отмщением и мной самим.

Шофер Мухтара закричал:

— Ты что делаешь, негодяй?! — И открыл дверцу машины, но я, а за мной Джафаргулу метнулись за угол и скрылись из нашего квартала.

Конечно, гости Мухтара испугались, и, наверное, настроение у них было испорчено, но цветы на веранде, цветы тети Кюбры, наверное, улыбались мне вслед.

Домой я вернулся ночью.

Кажется, это было в позапрошлом году. В начале мая в Баку несколько дней подряд шел сильный дождь, дул ветер, и в один из этих ветреных и дождливых дней мне стало как-то тоскливо сидеть дома, я надел плащ, нахлобучил шляпу, вышел на улицу и направился к Приморскому бульвару.

Дождь, правда, заметно уменьшился, только моросил время от времени, но все вокруг было мокро, дул ветер, и я шагал, не замечая, что шлепаю по лужам.

Хорошо помню: было воскресенье, но многолюдные бакинские улицы были пусты, и, когда, глядя на льющуюся из водосточных труб, текущую вдоль тротуаров вспененную воду, мокрые стены и крыши, я смахивал падающие мне на руки, на лицо капли дождя, мне казалось, что бакинцы бежали из города и оттого-то пустые улицы, мокрые здания такие безлюдные.

На Приморском бульваре, открытом всем ветрам, разумеется, никого не было, берег был совершенно пустынен, его блестящая от дождя асфальтированная дуга тянулась вдоль моря.

Стайка белых чаек тоже слетела на берег и, несмотря на ветер и дождь, кружила над морем; снижаясь, они искали что-то в волнах, и я очень жалел, что в карманах у меня не было ничего для птиц; мне даже захотелось сходить в магазин, чтобы купить птицам килек, но эта мысль заставила меня усмехнуться. Я подумал, что становлюсь чудаковат не по возрасту: мелкие рыбешки все равно не насытили бы крупных голодных птиц, и желание это было наивным, каким-то детским...

Море волновалось, и гребешки волн пенились так бело, что чистая белизна пены никак не вязалась с серостью ветреного и дождливого серого дня.

Шагая вдоль бульвара, я представил себя со стороны: в такой дождливый непогожий день в прогулке писателя по бульвару было что-то романтическое, и, если взглянуть на это со стороны, становилось смешно.

Когда я в полном одиночестве бродил в этот ветреный и дождливый майский день по пустому бульвару, мне казалось, что на свете, кроме шума ветра и плеска моря да еще оставшихся вдалеке криков чаек, нет и не было других звуков. Но, проходя мимо старого летнего кинотеатра, будто в противовес этому моему чувству, услышал тупой

стук; я остановился, посмотрел в ту сторону, откуда доносятся стук: трое пожилых мужчин, прижавшись друг к другу, расположились на скамье, средний держал на коленях деревянную доску, и все трое, защищая доску от ветра, играли в домино.

Доска была мокрой, стук костяшек, которыми все трое темпераментно колотили по доске, был глухим, и в глухоте этого стука тоже было какое-то осеннее настроение, осенняя желтизна; если бы у звука был цвет, глухой стук доминошных костяшек был бы окрашен в цвет листопада.

Одного из пожилых мужчин я, хоть и не видел сорок лет, узнал тотчас же. Это был Мухтар.

Некоторое время стоял, со стороны глядя на Мухтара.

За сорок лет Мухтар мало изменился, но в то же время между тем Мухтаром, которого я знал сорок лет назад, и этим Мухтаром, который теперь, в этот ветреный и дождливый день, сидя на бульваре, шлепал костями домино в компании с двумя другими стариками, была наглядная и весьма чувствительная разница; это была не только разница в возрасте, но и в том, что теперь на Мухтаре не было черного кожаного пиджака, кожаной кепки, черных хромовых сапог — Мухтар был одет как самый рядовой человек.

Сезон в летнем кинотеатре еще не начинался, двери были заперты, окошечко билетной кассы зарешечено, и, странное дело, то обстоятельство, что эти трое, сидя у стены кинотеатра на этом пустынном бульваре, в этот ветреный и дождливый день играли в домино, делало кинотеатр еще более безлюдным, еще более сиротливым.

Стоя в сторонке, я смотрел на этих троих, слушал глухой стук костей домино, и мне показалось, что вокруг распространился какой-то родной запах; этот запах доносился издалека; я понял, что это запах горячих пирожков, потом вспомнил цветы в фаянсовых горшочках, которые тетя Кюбра выращивала на веранде.

Конечно, цветы давно увяли.

Трое пожилых мужчин тоже, как я, заскучали, сидя дома, сговорились, пришли на свое обычное место, у стены безлюдного, одинокого кинотеатра, и, прижавшись друг к другу, стали играть в домино.

Осеннюю желтизну глухого стука костяшек различал только я; этот стук только у меня перед глазами превращался в листопад; трое мужчин этого не замечали.

Я смотрел на Мухтара, и то, что Мухтар, как я, в этот ветреный и дождливый день затосковал дома и пришел сюда, как будто незримо сближало нас.

Когда я был ребенком, Балакерим нам говорил, что все люди на свете — родственники, потому что все мы произошли от Адама и Евы, говорил об этом Балакерим как о своем собственном важном открытии, и тогда слова Балакерима произвели на меня впечатление поразительной (и почему-то очень таинственной!) истины.

Я улынулся, потому что в этот ветреный и дождливый майский день мне показалось, будто мы с Мухтаром действительно в родстве.

Вечером небо очистилось, было буквально усыпано звездами, взошла луна, как будто и не было дождя, ветра и в эту лунную, в эту звездную ночь я увидел странный сон.

Это были обычные ступени, как в подъезде здания, только вели они не вверх, а вниз, под землю.

Я быстро спускался по этим ступенькам, вспотел, но они вели все дальше вниз.

Потом я вошел в какой-то дом и понял, что это — дом Мухтара.

Мухтар был в белой нижней сорочке, в белых домашних штанах, а в руке у него — большое ведро, полное воды.

Белизна сорочки и штанов Мухтара напоминала саван.

Он взял меня за руку, сказал: «Иди, иди сюда!» И мы стали спускаться еще ниже под землю, и, когда Мухтар спускался по ступеням, вода в ведре колыхалась, проливалась под ноги, оставляла лужицы как после дождя.

Сначала мне показалось, что перед нами — крышка гроба, но потом я увидел, что это узкая деревянная дверь подземелья, и мы остановились перед этой дверью. Мухтар, сунув руку по локоть в ведро, вынул из воды связку ключей, открыл большой замок на этой узкой деревянной двери (замок показался мне очень знакомым, я даже на мгновение вздрогнул, потом появился легкий, зыбкий силуэт тети Зибы...), и мы вошли внутрь.

Рукав белой сорочки Мухтара намок до локтя, белые штаны тоже были мокрыми до колен и липли к телу.

Мухтар сказал: «Ну вот они!.. Я их сохранил все до одного!»

На земляном полу подвала выстроились фаянсовые горшочки с цветами.

Это были цветы тети Кюбры, но были они бумажными.

Мухтар, наклонившись, зачерпывал из ведра воду горстями и поливал бумажные цветы в фаянсовых горшочках.

Потом я почувствовал, что сейчас проснусь, и действительно проснулся. Была середина ночи. Я закрыл глаза. Некоторое время ворочался с боку на бок. Мне хотелось снова уснуть, хотелось увидеть: не расцвели ли бумажные цветы от тех горстей воды, что выплескивал на них Мухтар, — может, ожили?

XXXVIII

В один из жарких, засушливых осенних дней 1944-го тетьа Ханум обычным твердым шагом шла по нашей улице. Внезапно она остановилась перед трехэтажкой, подняла голову, посмотрела в сторону окон шапочника Абульфата, вдруг позвала жену шапочника Абульфата тетю Фатьму и произнесла жуткие слова, которых не мог никто от нее ждать.

— Фатьма, Фатьма! — крикнула тетьа Ханум. — Скажи Адиле, пусть выйдет и плюнет мне в лицо!

На улице не было никого, кроме меня, Балакерима и Джафаргулу; мы сидели под раздвоенным тутовником, на тротуаре; Джафаргулу изумленно посмотрел на тетю Ханум, и я совершенно ясно увидел, что Джафаргулу испугался тети Ханум, этих слов тети Ханум; Балакерим тоже смотрел на тетю Ханум, но в глазах Балакерима, всегда устремленных вдаль, не было никакого удивления; я тоже смотрел на тетю Ханум, сердце мое колотилось, мне было больно, и все же я радовался: как хорошо, что на улице сейчас никого нет, как хорошо, что эти слова тети Ханум никто не услышал; я не хотел, чтобы соседи тоже смотрели на тетю Ханум с изумлением, как Джафар-

гулу; я слышал стук собственного сердца, я испугался сильнее, чем Джафаргулу, я так не хотел, чтобы тети Ханум сошла с ума!

И семья тети Фатмы тоже, наверное, не услышала слов Ханум-хала.

Тетя Ханум больше ничего не сказала, пошла своим обычным твердым шагом и свернула в наш тупик.

Балакерим некоторое время смотрел ей вслед, потом сказал:

— Проклятый мир! Чтоб ты...

И никогда в жизни не бранившийся Балакерим обругал этот мир самыми дурными словами.

XXXIX

Три года назад я ездил в Америку, и если еще раз попаду в Америку, то непременно разыщу там тетю Зибу.

Может быть, тетя Зиба давно умерла?

Не знаю...

Но у меня такое чувство, что тетя Зиба жива, и я даже представляю себе тетю Зибу совсем старой, спина согнулась, глаза слезятся, и эти слезящиеся глаза днем и ночью горюют по нашей далекой махалле, по махалле, которую никто не знает и никто даже не представляет...

Внуки, правнуки тети Зибы разговаривают по-английски и не знают о прекрасном мешочке с жареными семечками, о прекрасном стакане, полном жареных семечек.

Но ведь я даже не знаю фамилии тети Зибы. Как же ее найти?

«Кто такая тетя Зиба?»

«Мама Гавриила...»

И все. Что еще я могу сказать?

И еще: «Она жила на одной из окраин далекого Баку...»

XXXX

Война все не кончалась, и Джафар, и Адиль, и Абдулла, и Годжа, и Джабраил, и Агарагим были на фронте, и Ибадулла, можно сказать, каждый день приходил в округу, и, можно сказать, каждый день крик тети Амины разносился по нашему тупику: «Что ты хочешь от меня, паршивец? Опять пришел? Когда только бог приберет меня, чтобы избавилась я от тебя, негодяй?»

После того как рыжая кошка околела, я одно время — примерно неделю или десять дней — не видел Ибадуллы; я даже помню, что в течение этой недели или десяти дней мне иногда вспоминался Ибадулла, и я словно испытывал беспокойство, которое пытался скрыть от самого себя: что, интересно, случилось с Ибадуллой? Но прошла неделя или десять дней, и Ибадулла снова, дыша сивушным перегаром, стал ходить в наш тупик, стал приставать к тете Амине.

Женщины, девушки нашего тупика больше не собирались у дворовых ворот, не выглядывали из окон, не смотрели в сторону дома тети Амины, потому что каждой хватало своего горя, потому что, с тех пор как мы наслушались воплей в домах, куда приходили похоронок, крики тети Амины уже не прозвонили прежнего впечатления.

Однажды я сидел у наших дворовых ворот, выходящих в тупик; отец уже несколько месяцев был на фронте; в эти дни мама то и дело начинала разговаривать сама с собой, а я смотрел на наш безлюдный тупик, прислушивался к глухой тишине нашего тупика и чувствовал себя совершенно одиноким на всем свете, в груди моей билось совершенно безучастное сердце, я отчетливо слышал безучастное биение своего сердца, и мне казалось, что это одиночество вечно, сердце всегда будет биться так же безучастно, и горькое спокойствие, и сиротливое безлюдье, и беспризорность нашего тупика тоже навсегда; и стук моего сердца был будто сердцем нашего тупика; без радости, без волнения оно все билось...

Вдруг опять взвился крик тети Амины, но ее крик не то что никого больше не потрясал, напротив, крик тети Амины словно был неотделим от мертвенного спокойствия и безлюдья нашего тупика, был чем-то вроде его убогости, сиротства; потом так же внезапно крик тети Амины оборвался, тетя Амина больше не кричала, и мне показалось,

что стены, окна, дворовые ворота вместе со мной какое-то время ждали, как обычно, нового вскрика тети Амины, а потом забыли и ее крик, и тетю Амину и замкнулись в своем жалком безразличии и убожестве; и сердце мое билось все так же — без радости, без волнения...

И тут ворота тети Амины со стуком распахнулись, Ибадулла вышел в тупик, и я в мертвенном спокойствии нашего тупика, вернее, в глухом безразличии нашего тупика услышал слова тети Амины: «Убирайся, сукин сын, убираться, наконец избавилась я от тебя!.. Иди, сукин сын, иди, и черный камень тебе вслед!..»

Я в жизни не видел Ибадуллу таким; всегда налитые кровью, светлые глаза его сияли радостью победы, и блеск его глаз придавал даже какую-то красоту опаленному солнцем, смуглому лицу Ибадуллы, как будто и походка у него изменилась, шаг стал упругим, твердым; грудь выпячена; он прошел мимо, сначала не обратив на меня внимания, потому что в тот момент, кажется, вообще ни на что не обращал внимания и был самым счастливым человеком на свете, вернее, самым победоносным человеком на свете; потом внезапно остановился, повернулся, торжественным шагом подошел прямо ко мне, сунув руку в карман, вытащил что-то завернутое в белую тряпку, развернул перед моими глазами маленький тряпичный сверток, дрожащими от волнения губами, брызжа слюной сквозь пожелтевшие от махорки, крупные редкие зубы, произнес:

— Ну, видали?! В конце концов отдала мое золотишко!.. Видали?!

В белой тряпице была горсть золотых монет с изображением бородатого Николая.

— Теперь-то уже я... уехал. Ищите, найдете меня в Воронеже!.. Так вы и нашли!..

И все тем же торжественным и твердым шагом Ибадулла удалился.

Я слышал крики тети Амины: «Иди, сукин сын, чтоб ты кровью харкал!.. Чтоб тебя трамваем перерезало, сукин сын, вместе с той б..., которую содержишь!..»

Мне показалось, что в нашем печальном тупике разлилась лужа грязной воды.

Мне показалось, что и сама тетя Амина с головы до ног — в грязи.

Ибадуллу я больше не видел.

Но однажды произошло событие, которого я никогда не забывал.

В нашем тупике кто-то что-то кричал по-русски и плакал.

Разумеется, криком и плачем наш тупик, как и всю махаллю, удивить уже было нельзя, крик и плач в те годы стал так же естественным, как и сама печаль нашей махалли, но люди тотчас почувствовали что-то необычное в этом крике и плаче, стали выглядывать из окон, собираться у дворовых ворот.

Женщина лет пятидесяти в черной одежде, черном платке, с покрасневшими и опухшими глазами, стоя в воротах двора тети Амины, говорила по-русски:

— Где Ибадулла? Он ведь как маленький ребенок! Пропадет он!

Она повторяла это и плакала.

Мгновенно по всему тупику распространилась весть, что эта женщина, говорящая по-русски, — та самая армянская жена Ибадуллы, и соседи прямо-таки остолбенели, потому что серьезный вид этой женщины, лет на пятнадцать старше Ибадуллы, похожей на школьную учительницу, аккуратность ее черного платья, платка, русская речь и такой искренний плач не вязались с Ибадуллой и представлением об армянской жене Ибадуллы.

— Где он? Что вы с ним сделали? Ведь пропадет он без меня, как вы этого не понимаете? Где найти его, подскажите!.. — говорила она и плакала.

XXXXX

В один из осенних вечеров, сидя у двери, выходящей во двор, и глядя на пожелтевшие листочки ивы, ставшие красивым деревцем, я прислушивался к тишине двора; мне казалось, что тишина невидимыми глазами смотрит на меня, тишина знает, что я сейчас один, у меня никого нет, тишина стоит в засаде.

Мама пошла за хлебом, соседские ребята, наверное, собрались во дворе Желтой бани, но мне не хотелось к ним, мне не хотелось даже слушать свирель и рассказы Балакерима; просто я сидел во дворе, смотрел на иву, ставшую деревцем толщиной в руку, смотрел на свисающие до земли

ветки с уже совсем пожелтевшими листьями, и то, что листочки молоденькой ивы высыхали и опадали, как листья большого и старого тутовника, еще больше сжимало мне сердце; я привык уже к смерти мужчин, молодых и сильных парней нашей махалли, привык к приходящим с фронта похоронкам, но теперь, когда я смотрел на желтеющие и осыпающиеся листья этой тоненькой, толщиной в руку, ивы, нашей ивы, на моих глазах ставшей деревцем, мне казалось, что умирают только-только начавшие ходить малыши... Потом вдруг мне показалось, что воцарившаяся у нас во дворе тишина смотрит на меня глазами Белого Верблюда; мне показалось, что в этой ТИШИНЕ, глядящей на меня глазами Белого Верблюда, есть какая-то враждебность, что-то злое — я испугался тишины нашего двора, нашего маленького, нашего красивого дворика с беседкой и бассейном.

Потом я увидел тетю Ханум — стоя на веранде, она смотрела на меня через окно, и как будто стекло было не обычным оконным стеклом, а прозрачной границей между тетей Ханум и нашим двором, вообще между тетей Ханум и всей нашей махаллей, землей, небом; и в этой границе был ледяной холод, ледяная гладь, прочность вечного льда; какое-то время мы вот так смотрели друг на друга, потом тетя Ханум жестом поманила меня, и я впервые в жизни испугался тети Ханум, сделал вид, что не понимаю ее, мне не хотелось оказаться лицом к лицу, остаться наедине с тетей Ханум, но тетя Ханум открыла окошко веранды (а прозрачная граница ледяной холодности, ледяной гладкости почему-то не исчезала) и позвала меня (голос ее доносился из-за прозрачной ледяной границы, и в голосе ее тоже была какая-то ледяная бездыханность, безжизненность):

— Иди сюда, Алекпер...

Поднявшись на ноги, я опустил голову и пошел, стал подниматься по ступенькам, ощущая одну за другой; каждый раз, когда я ставил ногу на ступеньку, доски, пересохшие за лето и засушливую осень, скрипели, и в этот осенний вечер скрип деревянных ступенек тоже говорил о холодной прозрачной границе между тетей Ханум и двором, и землей, и небом.

Я взшел на веранду, но головы не поднял, потому что не хотел смотреть на тетю Ханум, боялся увидеть в глазах тети Ханум что-то уж очень жалостное, боялся даже, что вдруг тетя Ханум, увидев наш двор таким одиноким, меня

таким одиноким, заплачет, поймет, что у нас во дворе никого нет, я один, и никто не узнает, что она будет плакать. Я был готов даже отказаться от хлеба, только бы мама вот сейчас вошла в наш двор, только бы я не видел, как плачет тетя Ханум, но тетя Ханум не заплакала, напротив, улыбнулась.

— Садись, Алекпер, — сказала она, — я тебе что-то подарю. — Прошла в комнату и вскоре вернулась с фотографией: — Смотри, Алекпер, нравится тебе эта фотография?

Конечно, я хорошо помнил эту фотографию, и у нас дома была такая же, и мне очень нравилась эта фотография; еще до войны Годжа повел меня к фотографу Али, и мы снялись вместе.

У фотографа Али было четыре расписанных масляной краской листа картона величиной чуть ли не со стену: на одном из них двое вели самолет, и самолет этот летел над белоснежными облаками; на другом — богатырского сложения герой в каракулевой папахе, в черкеске, с кинжалом на поясе скакал на коне; на третьем — четверо, сидя на скамье среди деревьев, читали книги и на этих книгах (на русском языке) их названия: «Коварство и любовь», «Тамилла», «Несчастный миллионер, или Рзакулу бек Франгимааб», «Чапаев»; на последнем — три красавицы жарили у родника шашлык, и у всех, изображенных на этих картонах людей — летчиков, всадников, читателей, красавиц, — вместо голов были отверстия: желающие сфотографироваться выбирали один из картонов, совали головы в соответствующие отверстия и смотрели на четырехугольный, черный, как чемодан, аппарат фотографа Али. Фотограф Али сначала подходил, поворачивал просунутые в отверстия головы в одну сторону, в другую, немного отступив, пристально вглядывался, потом снова подходил и наклонял голову желающего сфотографироваться то туда, то сюда; наконец находил единственно верное положение для этих голов и говорил: «Не шевелитесь! Не шевелитесь!», поспешно заходя за аппарат, совал на этот раз и свою голову под черную шаль: «Не шевелитесь! Не шевелитесь!» — и фотографировал.

Поскольку картон для двоих был только один, мы с Годжей сфотографировались в самолете; впереди сидел Годжа, Годжа вел самолет над белоснежными облаками, а я сидел сзади, летел в этом самолете.

В тот осенний вечер в тишине нашего двора я сидел

лицом к лицу с тетей Ханум и, конечно, хорошо понимал, что тетя Ханум хочет хоть немного порадовать меня, хочет сделать для меня что-нибудь приятное, ибо сколько лет уже из нашего двора, с веранды тети Ханум не доносился запах кутабов (запах кутабов превратился в счастливое и печальное воспоминание прошлого), и теперь тетя Ханум хотела этой фотографией порадовать маленького Алекпера, потому что, когда тетя Ханум смотрела с веранды, она сквозь прозрачный ледяной слой разглядела, обездоленную, сиротство маленького Алекпера, когда этот маленький Алекпер сидел понурясь у своих дверей, боялся ТИШИНЫ во дворе; тетя Ханум сквозь прозрачный ледяной слой увидела страх в глазах ребенка.

Я конечно же не сказал тете Ханум, что у меня тоже есть такая фотокарточка; сидя напротив тети Ханум, я смотрел на фотографию и вдруг понял, что эта фотография уже не так привлекает меня, как прежде, ясно увидел фальшь самолета на этой фотографии, намалеванных облаков, даже подумал, что надо бы порвать эту фотографию, потому что в пору таких бед, в пору похоронок полет этого фальшивого самолета над фальшивыми белоснежными облаками был мне противен; а тетя Ханум улыбалась и говорила:

— Вот видишь, Алекпер... Я дарю тебе на память эту фотографию... Только ты храни, Алекпер, эту карточку, это хорошая карточка, очень...

Я кивал головой, мол, да, верно, но на большее сил у меня не хватало, я не мог произнести ни слова, только кивал головой: мне не хотелось, отведя глаза от фотографии, взглянуть на тетю Ханум, потому что мне не нравилась улыбка тети Ханум; вернее, в улыбке на тонких губах тети Ханум было что-то такое, что мне не нравилось, и я не хотел, чтобы тетя Ханум так улыбалась, я хотел, чтобы тонкие губы тети Ханум были, как всегда, плотно сжаты, чтобы большие черные глаза тети Ханум, глядевшие из-под широких бровей, снова взглянули грозно, чтобы всегда чувствовалась суровость этих глаз.

Мне не хотелось смотреть и на письменный стол Годжи в дальнем конце веранды, потому что мне казалось, что те белые-белые большие человеческие кости все еще лежат на его столе, и я не хотел бы увидеть те человеческие кости; скоро наступит ночь, округа уснет, и я не хотел, чтобы ночью тетя Ханум осталась на пустой веранде

наедине с белыми-белыми большими человеческими костями.

В ту ночь я не мог уснуть, все летел над белыми облаками; я не хотел садиться в самолет, не хотел летать, но все летел и отчетливо видел, что белизна облаков подобна белизне человеческих костей; на протяжении этого нескончаемого полета и меня, и самолет, и белоснежные облака сопровождала улыбка на тонких губах тети Ханум, и мне казалось, что ее улыбка, в сущности, возникла под взглядом больших черных глаз Белого Верблюда, и мы летели внутри этого взгляда, внутри улыбки, родившейся из этого взгляда.

Днем, когда я вернулся из школы, мама сказала:

— Сними-ка брюки, дай мне. Постираю.

Брюки, которые я надевал в школу, были грязные, но вечно не хватало мыла, мама не могла постирать их так, чтобы они высохли до утра и я в чистых брюках пошел в школу, однако в этот день дядя принес нам кусок гилаба — пенищейся глины (дядя мой был одноглазым, как кларнетист Алекпер, его не взяли на фронт, и время от времени он навещал нас), и мама решила не выменивать гилаба на что-либо, не тратить его на мытье в бане, а выстирать мне брюки.

В этот осенний день мама, взбивая пену гилаба, стирала под краном у нас во дворе мои брюки и вдруг оставила стирку, выпрямилась, взглянула в сторону веранды тети Ханум и, ни к кому не обращаясь, сказала:

— Почему эта женщина не показывается сегодня? — Потом как обычно вздохнула, покачала головой. — Бедняжка... Хотя бы поговорила, поплакала, облегчила сердце, так нет, все горе в себе таит... — сказала она. — Да покарает бог виновника, как и карает! (Все знали, что конец Гитлера близок, и мама часто повторяла: «Да сохранит бог тень Сталина над нами, мало уже осталось до конца этого сводника Гитлера!.. Да заберет Азраил виновника, как и забирает!..») — Потом мама сказала мне: — Алекпер, пойдй посмотри, что там эта женщина делает?

Я, как вчера, с опущенной головой, скрипя ступеньками, поднялся на веранду. Тетя Ханум, сидя на тахте, что стояла на веранде, прислонилась плечом к стенке и опала с закрытыми глазами. Я воровато взглянул на письменный стол в углу веранды: нет, на письменном столе ничего не было. Чтобы не разбудить тетю Ханум, я тихонько сошел с веранды и сказал маме, что тетя Ханум спит. Мама

опять покачала головой, опять вздохнула и опять сказала:

— Гедняга...

Мама выстирала брюки, повесила на веревку, брюки быстро высохли под еще горячим осенним солнцем, и, когда после полудня мама вышла во двор снять с веревки мои брюки, она снова посмотрела в сторону веранды Ханум-хала.

— Ой, ну что же эта женщина не показывается? — сказала она. — Алекпер, ай Алекпер, пойдй вагляни, детка, что делает с утра эта женщина одна в доме...

Я опять опустил голову, опять, скрипя ступеньками, поднялся на веранду. Тетя Ханум, как и прежде, спала, и я опять тихонько спустился во двор, сказал маме, что тетя Ханум спит. Мамино лицо выразило тревогу.

— Да разве можно столько спать? — вскрикнула она, ее тревога передалась и мне, и я тоже, подняв голову, посмотрел на веранду Ханум-хала.

Мама дала мне брюки, вытирая руки о фартук, который всегда надевала днем, посмотрела на меня, потом, скрипя деревянными ступеньками, поднялась на веранду тети Ханум. Я чувствовал волнение мамино сердца, мое сердце тоже сильно забилося, мама вошла на веранду, прошла долгая минута, вдруг мама громко закричала, и, как только я услышал мамин крик, я бросил брюки на землю, выбежал, плача, в тупик и закричал:

— Тетя Ханум умерла!..

Я не слышал ничего, кроме собственного голоса, и мой собственный голос доносился до меня как чужой, издали, я ничего не видел, ни о чем не думал, плакал и кричал:

— Тетя Ханум умерла!.. Тетя Ханум умерла!..

В тот вечер вся махалля была у нас во дворе, у нас в тупике.

Когда в махаллю приходила похоронка, в домах, во дворах начинались вопли, женщины плакали и рвали на себе волосы, но в тот вечер у нас во дворе, у нас в тупике никто не плакал, все молчали, никто не произносил ни слова, и эта тишина была намного горше плача; в тот вечер и вся наша улица была в таком же глубоком молчании, и в этом молчании улицы ощущалась черная траурная тяжесть.

В тот вечер Балакерим тоже, сидя на тротуаре под раздвоенным тутовым деревом, какое-то время молчал, потом, глядя в сторону нашего тупика, сказал:

— Она не виновата... Белый Верблюд лег у ее двери...

Наутро молла Асадулла выступал впереди и поскольку у нас в махалле, можно сказать, не осталось мужчин, большая толпа женщин и детей — вся наша махалля — провожали тетю Ханум на кладбище, и на кладбище, глядя на наших соседей, я представлял себе, что в эти минуты оставшиеся совсем пустыми наша улица, наш тупик, наш двор, оставшиеся теперь совсем пустыми, без людей, все дома махалли, окна, двери, стены, лестницы, булыжники, которыми была вымощена наша улица, раздвоенное тутовое дерево плачут в полной тишине, и шапочник дядя Абульфат, и тетя Фатъма тоже были на кладбище, и мне показалось, что теперь и Адиля откуда-то смотрит, и Адиля, как наша опустевшая махалля, в полном молчании оплакивает смерть тети Ханум.

После того как тетю Ханум закопали, люди разошлись, мама ушла с женщинами, а я не двинулся с места, потому что я знал, я был уверен, что Балакерим останется на кладбище, будет сидеть там один и играть на свирели, и я хотел в тот осенний день похорон тети Ханум послушать свирель Балакерима; мне казалось, что, если я не услышу голос свирели, я больше никогда не смогу войти в наш двор, больше никогда не смогу поднять голову и взглянуть на веранду у нас во дворе; Балакерим действительно остался на кладбище, немного постоял, сел на землю около старого могильного камня напротив могилы, где была похоронена тетя Ханум, вынул свирель из кармана своего желтого пиджака, и в тот жаркий, как летом, осенний день заиграл на старом кладбище самую печальную мелодию на свете.

XXXXII

Балакерим по-прежнему поденничал в окрестных домах, оставшихся без мужчин; таскал воду, колот дрова, где-то находил гвозди, строительный камень и, как усел, ремонтировал, подправлял обветшалые стены (во всяком случае, мама больше не называла Балакерима «подмастерьем дьявола»), а по вечерам, усевшись под раздво-

енным тутовым деревом или же во дворе Желтой бани, вынимал из кармана свирель и начинал выводить свои мелодии; потом, произнеся:

Внутри бани черт-те что,
Внутри соломой решето,
Верблюд бороду побреет,
Баня бедного согреет,—

рассказывал истории о Белом Верблюде, и в этих историях сквозила печаль, как в цвете его жалкого пиджака.

Балакерима на войну не взяли, и среди ребят ходил слух, будто Белый Верблюд не позволяет забрать Балакерима на войну; правда, я уже вырос, я уже понимал, что таких, как Балакерим, на войну не берут, но слух о Белом Верблюде придавал в моих глазах правдивость историям Балакерима (и даже значение и вес самому Балакериму!), и я верил в эти истории еще больше, чем прежде, эти истории производили на меня еще большее впечатление, и в мелодиях свирели Балакерима было как будто еще больше волшебства.

Нашу махаллю, конечно, уже ничем невозможно было удивить, и не только потому, что махалля все повидала, а прежде всего потому, что махалля каждый час, каждый день своей жизни со страхом ждала возможного прихода с фронта сообщения о чьей-то гибели, каждый час, каждый день в тревоге ждала вести о чем-то тяжком ранении и поэтому к другим вестям, к другим событиям была равнодушна, но однажды в нашей махалле произошло такое событие, что все от мала до велика были потрясены: Шовкет вышла замуж за Балакерима и привела Балакерима к себе.

Говорили, что ночью Шовкет вытащила Балакерима из птичника во дворе Желтой бани, силком привела к себе в дом, нагрела воду, выкупала, как ребенка, накормила, напоила, и никогда в жизни не знавший женщины Балакерим в ту ночь, глядя на Шовкет глазами, полными благодарности, нежности, преданности, громко заплакал, и Шовкет тоже, прижав голову Балакерима к своей груди, громко плакала.

После этого мы больше не собирались вокруг Балакерима: Балакерим больше не приходил и не сидел под раздвоенным тутовником или во дворе Желтой бани, не играл

на своей прекрасной свирели, вынув ее из кармана желтого пиджака, не рассказывал истории о Белом Верблюде; можно сказать, он весь день бывал дома, то есть в доме Шовкет, рассказывал эти истории уже только Шовкет и на нашей любимой, прекрасной свирели играл уже только для Шовкет; лишь иногда, когда слышался слабый звук нашей любимицы, нашей прекрасной свирели, мы подходили, садились на тротуаре под плотно закрытым, занавешенным окном Шовкет и слушали звуки свирели, которая еще недавно звучала для нас.

Однажды я столкнулся с Балакеримом на улице лицом к лицу и сначала подумал, что это не Балакерим, а очень похожий на Балакерима человек; желтого пиджака на Балакериме не было, вместо него был надет новый синий пиджак, и шел Балакерим, воровато оглядываясь по сторонам, как будто из-за этого нового синего пиджака стеснялся нашей улицы, стен, дверей, окон одноэтажных и двухэтажных зданий махалли, стеснялся Желтой бани, раздвоенного тутового дерева...

Глядя на Балакерима, мне вдруг захотелось, чтобы Балакерим снова стал «подмастерьем дьявола», чтобы мама опять его так называла и улыбалась (улыбалась как до войны)...

Мне казалось, что его женитьба была своего рода изменой нашей махалле, мне казалось, что с внезапным исчезновением Балакерима с нашей улицы стали еще горше сиротливость и обездоленность улицы, тупика, дворов — всей нашей махалли, но я не злился ни на Балакерима, ни на Шовкет, отобравшую у нас Балакерима, напротив, где-то в глубине души я радовался и за Балакерима, и за Шовкет, которая не жила больше одна, по вечерам, пока не сморит сон, слушала истории Балакерима, ложилась и вставала вместе с ухоженным и вымытым Балакеримом, и, в сущности, вся махалля, даже женщины, всегда прежде чернившие Шовкет (а в эти дни многие из них стали вдовами), радовались и за Балакерима, и за Шовкет... Но наряду с радостью в душе моей таилось и какое-то беспокойство (а может быть, это была тайная надежда?), что однажды Балакерим снимет и выбросит новый синий пиджак, наденет прежний прекрасный желтый пиджак, вернется на нашу улицу, во двор нашей Желтой бани, под раздвоенное тутовое дерево.

XXXXIII

В декабре 1944 года с фронта пришла похоронка на моего отца, дядя продал наш дом, забрал меня и маму и увез к себе.

Мы переехали из нашего квартала.

XXXXIV

Их было шестеро.

Все шестеро вернулись с войны живыми и здоровыми. У меня перед глазами опять были серьезные лица Джафара, Адыля, Абдулала, Годжи, Джебраила, Агарагима. День был серый, моросило, они в немом молчании стояли, выпрямившись, глядя на мраморный могильный камень, и сила, мужественность и в то же время почтительность, преданность в их взглядах как будто несли в этот вечер — дождливый сентябрьский вечер — какое-то тепло и радость жизни в мой рабочий кабинет.

В сентябре все время лил дождь и все время я оставался лицом к лицу с шестерыми, смотрел на них, читал их взгляды, и эти взгляды, эта прямая осанка день за днем несли тепло не только в мой рабочий кабинет, но, наверно, и в душу, в мою каждодневную жизнь, и в этом чувстве была чистота, прозрачность, вернее, мне казалось, что она очищает другие мои чувства, вносит чистоту и в мои раздумья, стремления.

Я сидел дома в своем рабочем кабинете в мягком кресле, откинувшись на спинку и вытянув ноги на паркетном полу, прислушивался к шуму дождя, бьющего в окна, выходящие на балкон, и лица шестерых стояли перед моими глазами (конечно, я и сам хотел, чтобы лица этих шестерых стояли перед моими глазами); я не вызывал их в своем воображении по одному — все шестеро вместе были у меня перед глазами.

Я увидел Джафара, Адыля, Абдулала, Годжу, Джебраила, Агарагима с неделю назад в тот серый день, под моросящим дождем, стоявшими перед черным мраморным могильным камнем, и все это время (весь сентябрь, когда дождь все лил и лил) маленький Алекпер был вместе со мной, вернее, чувства и раздумья маленького Алекпера, чистота маленького Алекпера были вместе со мной; его чувства, его раздумья, его чистота были чем-то вроде бальзама.

Мне не хотелось вставать, идти в спальню, не хотелось раздеваться, ложиться в постель, засыпать, — мне хотелось вот так сидеть и чтобы дождь все так же лил; в эту полночь под шум дождя мне открылось, что, оказывается, мое самое любимое время года — осень и самый прекрасный звук на свете для меня — шум дождя, и, слушая этот любимый звук, я начал задремывать; конечно, если бы я захотел, то не задремал бы, выпил бы чая, умылся и остался бы с теми шестерыми, что стояли у меня перед глазами (как было всю неделю), но в эту полночь, в мягком кресле дремота обволакивала меня, и я не оказывал сопротивления, напротив, поддался ей, потому что мое сердце чувствовало: дрема в эту сентябрьскую ночь, когда журчит дождь, что-то мне скажет...

...что-то покажет...

...не знаю...

...не знаю, все это был сон или игра воображения?

...но, во всяком случае, я все это видел...

...караван состоял только из Белых Верблюдов...

...один... три... пять... шесть...

В караване было шесть верблюдов, и у каждого верблюда был свой погонщик, каждый шел впереди своего верблюда, и я отчетливо видел, что погонщики — один за другим — похожи на Джафара, Адыля, Абдулала, Годжу, Джебраила, Агарагима...

Нет, нет, никто из погонщиков не был Джафаром, Адылем, не был Абдулала, Годжой, Джебраилом, Агарагом, это-то я знал...

...но очень были на них похожи...

...на спинах верблюдов были большие хурджины, и, конечно, эти прекрасные хурджины были шерстяными, но в то же время эти прекрасные хурджины были похожи на большие соломенные корзины, и я знал, что от них доносился едва различимый вагонный запах...

...себя я не видел, но я тоже был где-то рядом с караваном: может быть, сопровождал караван, не знаю, и я спросил у каравана (а может, спросил не я, а какой-то другой человек, или даже вовсе не человек, а сам караванный путь, тянущийся вдоль ярко-зеленой равнины под солнцем, или глядящие издалека лесистые горы со снежными вершинами?..):

...куда лежит твой путь?

...караван ответил (не погонщики, не Белые Верблюды, а именно весь караван):

...в грядущее идем!..

...зачем я или кто-то еще (либо тянущийся караванный путь, либо лесистые горы со снежными вершинами) задали этот вопрос? Я же с самого начала знал, куда идет этот караван, знал, что этот караван идет в Грядущее, да, я знал это и все-таки обрадовался ответу каравана, потому что, в сущности, радовался не я, вернее, радовался я, но я радовался за того ребенка, живущего теперь на третьем этаже большого многоэтажного дома, который, завидев меня, с плачем убежал с уличного балкона в комнату...

...теперь ребенок радовался, теперь ребенок смеялся и провожал караван...

...нет...

...нет...

...этот ребенок стоял в Грядущем и встречал караван, видимый из Грядущего,

...а провожали его большие черные глаза, глядевшие из-под широких бровей...

...провожали Белых Верблюдов в Грядущее.

(СЕРЕБРИСТЫЙ
ФУТОН

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВСТРЕЧИ

— Надо, чтобы повезло!.. Бывает, парень и девочка и живут-то в разных районах, и встретятся бог весть где, а вдруг оказывается, будто они, как нарочно, друг для друга рождены...

(Из высказываний Баладжанум, жены мясника Аганаджафа, когда она, лузгая семечки, беседовала с молоденькими девушками у ворот.)

— А мне только одно и нужно, чтобы Мамедага был счастлив!

(Эти слова Али сказал Самедулле в тот вечер, когда была свадьба Идуллы и Фатьмы и кларнет Алекпера заливался так, что ноги сами пускались в пляс.)

— У меня не получилось, пусть же хоть Месмеханум будет счастлива.

(Так подумала Гюльдесте, глядя на белевший в ночи снег из окна поезда, мчавшегося в Воронеж.)

ГЛАВА I

Эта глава знакомит читателя с Мамедагой и его алюминиевым фургоном, который в лунном свете сверкает как серебряный, с милиционером Сафаром, с Мирзоппой — а это сосед Мамедаги по кварталу в детские годы — и, наконец, с Месмеханум, читатель услышит, что сказали и чего не сказали друг другу Мамедага и Месмеханум...

Это был странный вечер. Нет, на Апшероне таких вечеров сколько угодно было и еще будет, но когда из-за алюминиевого фургона вдруг выплыло ярко-красное кучевое

облако, Мамедага подумал, что вечер сегодня какой-то удивительный, хотя и сам не понял, чему тут удивляться. И тогда он удивился своей мысли, прищурил глаза и некоторое время смотрел на ярко-красное облако, потом, задумчиво проведя ладонью по голове, взглянул на море, но все равно ничего не понял — ни в себе, ни в этом облаке.

А удивительный летний вечер только еще начинался, еще должно было пройти какое-то время, прежде чем окончательно закатится солнце, ярко-красным раскрасившее облако за алюминиевым фургоном, взойдет луна, зажгутся звезды, заквакают лягушки и заверещат во всю мочь цикады, погаснут огни во всем селе — только не в пансионате и санатории, расположившихся выше, среди загубинских скал, — пролетит и исчезнет сигнал электрички, идущей в Баку и обратно, — словом, кончится этот удивительный вечер, и начнется на морском берегу Загульбы обычная летняя ночь.

А пока что море, ставшее теперь сине-красным, сверкало, переливалось от самого горизонта до берега. Но Мамедага повидал таких летних вечеров на Апшероне немало, и в одновременном явлении луны и солнца на небе для него не было ровно ничего непривычного или странного.

В тот день с утра дул ветер; каждый час он менял направление, то с севера швырял белую пену волн на скалы, то превращался в южный — моряну. К вечеру ветер внезапно стих, и тогда снова набросились комары. Ни с чем нельзя было сравнить море Загульбы, ее песок, ее скалы, зато и комары ее были беспощадны. Но сегодня даже масированный налет комаров не мог расстроить Мамедагу, — удивительным был этот вечер!

Мамедага снова, прищурившись, посмотрел на красное облако: оно понемногу таяло, и то, что оно таяло, отзывалось каким-то странным сожалением в его сердце. Он не мог понять в себе этого сожаления, так же как не мог понять и удивительности сегодняшнего вечера; он просто решил, что удивительному не надо искать объяснения; успокоившись, он довольно потянулся и, почесав голову, поднялся по маленькой деревянной лестнице в фургон.

Как только ранним утром на дороге появлялся фургон Мамедаги с выведенными на нем разноцветными словами «Пневматический тир», у чайчи Газанфара сразу портилось настроение, а все потому, что большинство его клиентов — молодежь села и подростки — в этот день уже не

отходили от фургона: стреляли из ружья, разрушали пирамиды, построенные из банок, набрасывали на крючья резиновые кольца.

Приезжая в Загульбу летом, Мамедага останавливал фургон не в самом селе, а на песчаном берегу моря. Мамедага считал, что там, где нет простора, не может быть и отдыха. Где не видно горизонта, где тебя не обожжет солнце и не омоют дожди, где ты не можешь остаться один на один с морем, скалами, деревьями — там нет настоящего отдыха. Один на один — это не значит, что только ты и море, нет, но чтобы между тобой и морем не было асфальта, не было железной дороги, чтобы ты был далеко от дыма, мазута и шума.

Если бы Мамедага захотел, он мог бы устроиться в любом тире в центре Баку. В управлении его все знали и уважали; ведь каждую неделю он, как у них говорили, «привозил план» и не имел не только выговора — даже замечания; он мог ходить с высоко поднятой головой. Однако Мамедага не хотел работать в столичном тире, ибо был он влюблен в свой фургон, в свою бродячую жизнь. Раз в неделю он отправлялся в Баку, сдавал выручку, выходной проводил дома, потом снова в путь. Не было села на Апшероне, где бы он ни побывал. В каждом селе он останавливался на день, самое большее на два; он не любил задерживаться дольше, потому что хотел, чтобы появление его фургона воспринималось как праздник.

На этой неделе он из Баку выехал в Хурдалан, откуда — в Дуках, в Мамедли, потом в Фатмаи, из Фатмаи приехал сюда, в Загульбу, в ее удивительный вечер, а завтра рано утром он должен возвращаться в Баку.

После восьми или половины девятого вечера в тир уже никто из села не приходил, потому что в это время показывали фильмы, и Мамедага тоже, закрыв тир, шел в кино но чаще по вечерам он занимался своим фургоном: мыл, чистил, осматривал мотор, а потом ходил купаться в море.

Он любил смотреть с моря на стоящий на берегу фургон. Каждый раз, глядя на чистую алюминиевую поверхность фургона и выведенные на нем большими разноцветными буквами призывы, он испытывал желание похвастаться своим тиром перед всем светом. Но море смывало хвастовство, оставляя одну только чистую радость; так оно промывает раковину, доводя ее до зеркального блеска. Конечно, он понимал, что иметь в наше время такой фургон и разукрашивать его — не слишком большое дело, но почему-то

каждый раз, глядя на фургон и перечитывая призывы на нем, он поддавался чувству безмерного восторга. На боках фургона были выведены два одинаковых призыва:

Учитесь искусству метко стрелять!

и

Юноши и девушки!

Овладевайте техническими видами спорта!

А перед входом в фургон под надписью «Пневматический тир» было выведено тоже разноцветными буквами:

*Можно ли одним выстрелом убить двух зайцев? —
Можно!*

Это Мамедага придумал и написал сам, но это не было лишь красивой фразой для завлечения посетителей. Мамедага вообще никогда и никого не обманывал. Он сделал забавный механизм: на груди у деревянного зайца была красная точка, и, когда пуля попадала в эту точку, заяц падал направо, а прикрепленный сзади него второй заяц — налево.

Но случилось так, что, плавая в море этой удивительной летней ночью, Мамедага вовсе не испытал того чувства радости, которое обычно вызывал в нем фургон.

Позже, осматривая одну за другой бумажные мишени, деревянных зайцев, лису, медведя, льва и еще какого-то неведомого зверя, а также сложенную из банок пирамиду, Мамедага вообще почувствовал, как тоска подступила к горлу; за время работы в тире это происходило с ним впервые, и сразу же фургон показался ему тесным и скучным; он никак не мог понять, отчего это произошло и почему тоска нахлынула так внезапно. Зарядив одну из винтовок, он поднял приклад и, прищурился глазами, выстрелил: как всегда, он попал в десятку; потом с удивившим его самого безразличием (да что же это такое с ним?) перемахнул через стойку, взял щипцы и вытянул из резины железную пулю со щеточкой, затем, снова перешагнув через стойку, подошел к дверям фургона.

Он смотрел на огни села, и вдруг одна очень простая мысль потрясла его: если сейчас здесь с ним что-нибудь случится, никто об этом не узнает, пройдет время — этот фургон пригонит кто-нибудь другой, и люди снова придут сюда поразвлечься, но никто из них не вспомнит, что был на свете такой парень по имени Мамедага, который очень

любил и этот фургон, и этот песок, и это море. Мамедага посмотрел на свет, идущий от села, и ему показалось, что, хотя он с утра до вечера с людьми, на самом же деле он совершенно одинок — с этими своими деревянными зайцами, лисой, медведем, львом и неведомым зверем. Мамедага никогда не задумывался над такими вещами и не знал, что придет время — подобные мысли появятся...

Послышались чьи-то шаги, по глухому кашлю Мамедага понял, что идет милиционер Сафар. Войдя в фургон, Сафар сказал:

— Добрый вечер, гага¹, — и, вытащив платок, вытер свое худое, с выступающими скулами, потное лицо.

— Добрый вечер, Сафар, — ответил Мамедага, еще не пришедший в себя от своих недавних мыслей. Снова перемахнув через стойку, он сел на деревянную скамейку, покрытую маленькой подушечкой, верх которой был искусно шит из лоскутков Сакиной-хала, — эта подушечка была для Мамедаги самой дорогой вещью во всем фургоне.

— Да какой же я Сафар²? Зовут-то меня Сафар, а я только раз в жизни совершил путешествие, спустился вон с тех гор сюда, и все! — Сафар поднял руку над головой, как бы показывая те самые горы, которые можно увидеть, выйдя из фургона.

Прошло уже тридцать лет с тех пор, как милиционер Сафар расстался с горами Лачина. Но тоска по родным местам ни во сне, ни наяву не покидала его; каждый год собирался он поехать туда, но каждый раз что-нибудь да мешало. Конечно, если бы его жене Зибейде захотелось, то он бы сейчас гулял не здесь, а там!

...В квартале, где жил Мамедага, тоже были такие «путешественники». Это были люди, приехавшие в Баку из районов; одни из них получали от государства освободившиеся квартиры, другие покупали себе дома. Приезжие ни с кем не сближались и, как правило, чувствовали себя чужими в квартале, а квартал не забывал тех, кто жил в этих домах прежде. Старые жители получали квартиры в новых домах, они переезжали, но какое-то время поддерживали связь с кварталом, и, хотя постепенно все связи рвались, все-таки квартал держал их в своей памяти. Это было похоже на историю со старыми и новыми деньгами: в обиход уже вошли новые, но если нужно было подсчи-

¹ Гага — браток (разг.).

² Сафар — путешественник.

тать особенно тщательно, люди невольно переходили на старые.

Приезжих называли по местности, из которой они прибыли: карабахские, гянджинские, шемахинские: любопытно, что приезжие между собой тоже не очень-то сближались, словно между ними проходили невидимые границы их районов.

Агабаджи поселилась в квартале с незапамятных времен, а после того как Абдул бросил ее с детьми, она работала кассиршей в Желтой бане. Теперь Агабаджи возмущалась:

— Видели вы этих карабахских? Везери¹ они не едят... Говорят, эта трава не для людей... Тоже мне умники нашлись!

Жена ювелира Алашрафа Зибя вторила ей:

— Конечно, нашла о чем говорить, цену золота знает только ювелир! Правду говорят: откуда ишаку знать, что такое плов с шафраном!

— Э-э, ей-богу, ну не понимаю я этих бакинских!.. Каждый день с утра до вечера варят кюфта-бозбаш. Утром, только проснешься, уже слышишь: тук-тук, — это они на доске рубят мясо, ночью ложишься спать — и опять тук-тук, опять мясо рубят!

Это уже рассуждает Аллахверди, который продал дом в Барде, переселился со всей семьей в Баку и теперь учится на курсах водителей трамвая.

А окончивший еще до революции Харьковский университет преподаватель русского языка Алхасбек, глядя поверх очков со стеклами плюс восемь, говорил:

— Сынок, что это за слова такие: «карабахские», «бакинские»? Что за «чушки» и «хамшари»? Как не стыдно? Зачем вы друг другу ярлыки приклеиваете, зачем проявляете друг к другу такое неуважение?

Конечно, милиционер Сафар не знал, о чем сейчас вспомнил Мамедага, но, вытерев пот с лица и обмахиваясь уже мокрым платком, он сказал, обращаясь к Мамедаге:

— Гага, у одного человека спросили: «Откуда ты?» Он ответил: «Я еще не женат». Это верно, но проклятые горы никак не выходят из головы! Не выходят из головы, и все тут! Попасть бы туда сейчас, гага, клянусь тобой!.. Наде только надеть шерстяной джемпер, а пиджак застегнуть, не то зуб на зуб не попадет от холода, да еще крепкого чая

¹ Везери — съедобная пряная трава.

выпить цвета петушиного гребешка, чтобы сразу и тело согрелось, и душа насладились.

Когда разговор дошел до чая, милиционер Сафар совсем расстроился.

— Здешний чай — разве чай?.. Сколько ни сыпь заварки, каким способом его ни заваривай, все равно того вкуса не получится... А знаешь отчего это, гага? От воды! Вода, которая из-под скал, — это совсем другое дело, гага!

Милиционер Сафар снял фуражку и вытер свою давно полысевшую голову. Солнце до черноты опалило его лицо, но часть головы, постоянно закрытая фуражкой, осталась белой; она была похожа на белую касу, которую перевернули вверх дном и надели ему на голову.

— Клянусь тобой, гага, этого чая я бы выпил сейчас стаканов двадцать, и не скажу, что напился бы... Хорошо бы самовар поставить и чтобы на нем чайник мурлыкал!..

Милиционер Сафар, очевидно, страдал оттого, что не может сию же минуту выпить чай цвета петушиного гребешка, заваренного на горной воде. Мамедагу же чай в данный момент интересовал меньше всего на свете; он все еще находился во власти своих тоскливых мыслей и не мог понять, что с ним происходит, откуда эти мысли; быть может, он уже начинает чувствовать бремя своих лет? Неужели возраст дает о себе знать?.. Он перевел взгляд с белой головы милиционера Сафара на деревянного зайца, лису, медведя и неведомого зверя и почувствовал, как в нем просыпается прежнее желание, мечта, которую он носил в своем сердце уже два года, с которой колесил по дорогам Апшерона.

Два года назад в Баку на бульваре открылась выставка американских аттракционов, и с того самого дня, как Мамедага побывал на выставке, одна мечта не оставляла его: захотелось ему ездить по селам не с одним алюминиевым фургоном, но и возить с собой такой вот аттракцион, нечто вроде передвижного цирка. Для детей и подростков Апшерона это было бы праздником; каждую неделю в очередное село приезжал бы этот праздник, так думал Мамедага, и вдруг именно теперь ему показалось, что, если бы у него был такой аттракцион, он не только не затосковал бы, у него не было бы времени и в затылке почесать!

Милиционер Сафар наконец надел на голову фуражку.

— Вот так-то, гага, — сказал он, — зовут меня Сафар, а путешествовал я лишь раз в жизни...

И тут же он вспомнил, что сегодня утром, когда он во

дворе зубным порошком доводил до блеска свои форменные пуговицы, его жена Зибейда на что-то разозлилась и сказала, что он не Сафар, а сафех¹. Почему Зибейда разозлилась, этого милиционер Сафар вспомнить не мог и улыбнулся: он привык к выходкам Зибейды и уже давно на нее не сердился. Потом Сафар вспомнил, что Зибейда вышла из себя, кажется, из-за Начальника. И тут милиционер Сафар явно расстроился; шлепнув севшего ему на плечо комара и почистив рубашку, он сказал:

— Правильно говорят, где твоя цель, туда и путь твой. — Посмотрел на Мамедагу и улыбнулся: — Ты еще молод, чтобы понимать такие вещи.

Конечно, Мамедага не знал, о чем подумал милиционер Сафар, но зато он хорошо знал, что этот худой долговязый человек никогда больше не увидит своих гор и никогда не выпьет чая цвета петушиного гребешка, заваренного в горной воде. Неизвестно, почему Мамедага так решил, должно быть, весь вид милиционера Сафара говорил сам за себя.

Мамедага не знал и того, что у милиционера Сафара два начальника: один, естественно, в отделении, а другой — дома. Дело в том, что у милиционера Сафара было шесть дочерей и один сын; сын был последним ребенком в семье, и, когда он родился, Сафар и Зибейда впервые в жизни договорились назвать ребенка Начальником. Дети, конечно, смеялись над именем их сына, и тот приходил домой в слезах: зачем только его так называли! Зибейда обвиняла теперь во всем милиционера Сафара, хотя когда-то и сама была довольна. Вот отчего и поселилась грусть в сердце милиционера Сафара: он понял, что Зибейда хотела назвать своего мальчика этим именем, потому что знала — муж ее никогда не будет начальником.

Милиционер Сафар не переживал и теперь, что дал ребенку такое имя, во-первых, потому, что не имя красит человека, а человек красит имя; во-вторых, ведь это не какое-нибудь ругательное слово! Чтобы оправдать свое имя, Начальник должен был стараться хорошо учиться, но все было наоборот — вот это действительно расстраивало милиционера Сафара и, кстати, было причиной его прихода в этот вечерний час к фургону.

Милиционер Сафар снова снял фуражку, вытер мокрым платком белую голову, потом длинными черными пальцами

¹ Игра слов: сафар — путешественник, сафех — непутевый.

вытащил из старого портсигара папироску «Памир», зажег ее, глубоко затянулся и сказал:

— На свет летят, э, гага, эти сукины дети комары, на свет летят. Я сейчас уйду, а ты погаси свет.

Мамедага посмотрел на электрическую лампу, висевшую в салоне фургона. Двухсотваттная лампа, которую Мамедага протирал чуть ли не ежедневно, так ярко освещала фургон, что казалось, будто свет не вмещается в небольшое помещение тира. Мамедага вдруг ощутил всю тесноту своего фургона, сердце у него сжалось, и он принял категорическое решение завтра же поднять вопрос в управлении об аттракционе. Если понадобится, он пойдет к Наджафу и вообще начнет действовать!

Раньше Наджаф жил в одном квартале с Мамедагой, он был старше его всего на четыре года, но работал теперь заместителем министра. Кто бы из квартала ни приходил к Наджафу с просьбой, он делал все, что было в его силах. Воспоминание о Наджафе немного успокоило Мамедагу, он заметил пустую кобуру милиционера Сафара, — милиционер Сафар каждый день перед выходом из дома на работу заворачивал в газету свой завтрак, хлеб с сыром, и клал в кобуру. Мамедага пододвинул ему на стойке ружье и предложил:

— Если хочешь — постреляй.

Милиционер Сафар шлепнул комара, севшего теперь уже на шею, обтерся мокрым платком, сказал:

— Нет, гага, большое спасибо. Я не люблю бить и стрелять. Мое правило — решать все вопросы мирно, спокойно... Знаешь, гага, зачем я к тебе пришел? — Милиционер Сафар наконец решился перейти к самой сути: — Не пускай ты сюда моего сына! Как придет — гони его!

— Он что, тайком брал у тебя деньги на тир?

— Да нет, скажешь тоже... Разве станет мой сын воровать? Неужели ты его не знаешь?

— Нет.

— Вот потому и говоришь так... Дело в другом, гага. Позавчера я спрашиваю его: ты уже взрослый парень, перешел в восьмой класс, должен знать, кем хочешь стать. А он отвечает: я знаю. Так кем же ты будешь? Он и говорит: у меня будет фургон, и я буду по селам возить тир...

Мамедага посмотрел на горестное лицо Сафара, на его промокшую от пота рубашку со сверкающими металлическими пуговицами, встал, перемахнул через стойку и, подойдя к двери фургона, взглянул на огни села. Ему пока-

залось странным, что рано утром он уже уедет отсюда и не скоро еще придет снова, а какой-то совершенно другой человек завтра же, купаясь в море, будет представлять в своем воображении сверкающий под солнцем алюминиевый фургон и в мечтах будет считать его своим, будет гордиться им... Огни села вдруг показались ему близкими, они согрели душу, и он подумал, что в каждом селе Ашперона, когда гаснут огни, кто-то еще не спит и у кого-то перед глазами стоит серебристый фургон, тот самый, который принадлежит ему, Мамедаге. Он поднял голову и посмотрел на небо. Красное облако растаяло, нигде уже не было видно его отсвета — ни в море, ни на горизонте.

Взошла луна, зажглись звезды, слабый норд гнал к берегу волны, их гребешки отливали в лунном свете молочной белизной, которая словно бы воплощала в себе всю чистоту этой удивительной легкой ночи. Мамедага совсем уже не мог понять, отчего это минут десять назад ему было так тоскливо? Если есть на свете вот такая молочная белизна, о чем можно тосковать и о чем может болеть сердце?!

Милиционер Сафар никогда никого не обижал — что может быть хуже этого? Но теперь, глядя со спины на темные волосы парня, на его широкие плечи, мускулистые руки, он подумал, что сказал что-то не совсем то, чем-то задел этого парня. Но ведь и парень, со своей стороны, должен его понять! Милиционер Сафар аккуратно сложил свой мокрый платок, положил его в карман, достал из старого портсигара своими длинными черными пальцами еще одну папиросу «Памир», зажег ее, глубоко затянулся и сказал:

— Знаешь, гага, ты зря обижаешься. Что я сказал? Ничего плохого... Я просто хочу, чтобы мой единственный сын хорошо учился, стал большим человеком.

Разные люди говорят разное, слов наговорено и выслушано за жизнь множество, но слов, которые в детстве сказал ему молла Сулейман, Мамедага не забывал никогда. Странно! Бывает, бросят тебе слово, которое прозвучит как пощечина, но через месяц забудется — и не вспомнишь. А порой скажут тебе такое, на что и внимания не обратишь, но потом всю жизнь жди с тобой.

Молла Сулейман жил в одном квартале с Мамедагой и рассказывать о нем — это все равно что рассказывать о старой Желтой башне, старой мечети, в которой нынче разместилась небольшая шерсточесальная фабрика; об Узком тупике, по которому с трудом и боком могут про-

тиснуться два человека. На глазах моллы Сулеймана были очки с толстыми стеклами, на голове — кофейного цвета, местами польсевшая бухарская папаха, в руке — старая палка, отделанная серебром. Сначала слышался стук трости моллы Сулеймана, а потом он, выйдя из какого-нибудь двора, шагал по тротуару.

В квартале не любили моллу Сулеймана. Молла Сулейман был незваный гость, человек, который суется не в свое дело. В то время Желтая мечеть не была еще шерсточесальной фабрикой, и в один из дней, во время махаррама¹, Мамедага в первый и последний раз в жизни влез с ребятами на желтый забор и заглянул во двор мечети.

Молла Сулейман, стоя посередине маленького дворика, повторял слова мерсие².

Как не плакать камню кровью сегодня,
Отрезаны семьдесят две головы сегодня.
О если бы в этот день, в этот миг
Я был в Кербеле!

Увидев выпученные глаза моллы Сулеймана за чистыми стеклами очков, Мамедага подумал о том, что если бы молла Сулейман в самом деле попал в Кербеле в тот день, когда там рубили головы, то первым, кто сбежал бы, оставив людей в беде, был бы молла Сулейман. Вечером дома Мамедага рассказал обо всем, и Сакина-хала сначала накричала на него, чтобы не смел больше ходить к мечети, но, не сдержавшись, улыбнулась:

— А ты хорошо сказал...

В квартале, где жил Мамедага, дома были, как правило, одно-и двухэтажные, и у всех крыши были залиты киром. Взобравшись на крышу, Мамедага с ребятами поджидал моллу Сулеймана. Они продергивали нитку сквозь дырочку в бумажном рубле и, как только раздавался стук палки, спускали деньги с крыши на тротуар. Дойдя до лежащей на тротуаре рублевки, молла Сулейман останавливался, внимательно смотрел на нее сквозь очки, потом, нагнувшись, хотел поднять ее. Как только молла Сулейман наклонялся, ребята тянули за нитку, и старик несколько метров полз чуть не на четвереньках за бумажкой. Потом мальчишки с криком смотрели нитку вверх, и рублевка, минуя большой рыбой нос моллы Сулеймана, поднималась

на крышу. Носылая проклятия, призывая всяческие бедствия на их головы, молла Сулейман, постукивая палкой, продолжал свой путь по тротуару.

— Погодите, собачьи дети! Я заставлю вас наизусть читать эллезине¹!

Однако самое удивительное заключалось в том, что через три-четыре дня молла Сулейман почему-то снова, не удержавшись, наклонялся, чтобы поднять привязанную к нитке рублевку.

Однажды Мамедага, сидя под тувовым деревом перед Узким тупиком, строгал палочки (для игры в шимагадер). Вдруг кто-то схватил его за шиворот и поднял. Мамедага никогда бы не подумал, что в руках у моллы Сулеймана такая сила. И глаза моллы он никогда не видел так близко. Глубоко запавшие, эти сердитые глаза увеличивались толстыми стеклами. Притянув лицо Мамедага вплотную к своим глазам и брызгая слюной, молла Сулейман сказал:

— Единственное, что я хотел бы знать, это кем ты будешь, когда вырастешь?! Амбал ты будешь, амбал! Амбал Дадаш² будут тебя называть!

В это время откуда-то появился сосед Мамедаги по тупику Китабулла и забрал его из рук моллы Сулеймана.

— Отпусти ребенка, ай киши. Отпусти, говорю!

Молла Сулейман, оглядев сердитыми глазами высокоую фигуру Китабуллы, его широкие плечи, сильные руки, сказал:

— А ты кто, Гочу Наджафгулу³?

— Нет, я не Гочу Наджафгулу, но ребенка отпусти!

— Так... Значит, ты чесальщик Мансур⁴! — Эти слова молла Сулейман произнес, прямо-таки корчась от злости, но отпустил Мамедагу.

Ровно неделю потом чувствовал Мамедага на своей шее сухие пальцы моллы Сулеймана.

С тех пор прошло много лет, сказанные в то время слова забыл, наверное, и сам молла Сулейман.

Приезжая в Баку, Мамедага ставил фургон у своего дома колесами на тротуар, и тут же со всего квартала сбе-

¹ Эллезине — труднопроизносимые арабские слова в Коране.
² Амбал Дадаш — до революции известный бакинский носильщик.

³ Гочу Наджафгулу — до революции известный бакинский атаман.

⁴ Чесальщик Мансур — символ великодушия, доблести в классической восточной литературе.

гались к нему ребяташки. Никто из них не подозревал, что в свое время и Мамедага так же вот прыгал перед машинами, останавливающимися в квартале, хотя машины эти, полуторки и «виллисы», по сравнению с его алюминиевым фургоном были все равно что старый барабан рядом с новой нагарой. Первым делом Мамедага шел в Желтую баню, где начинал с терщика Джабара. Растеревшись как следует, он двигался в парную, там парился в свое удовольствие, а выйдя из бани, выпивал кружку холодного пива в будке Асадуллы. Дома надевал чистую рубашку, новый костюм, повязывал галстук и шел на улицу к туговому дереву, что растет в начале тупика. Там к нему подходили товарищи, соседи по кварталу, здоровались, спрашивали, как дела, рассказывали Мамедаге все новости: кто обручен, какую девушку согласились выдать замуж, кто поменял работу, кто поругался с соседями, кто с кем помирился и кто на кого обиделся. Но о главных новостях он узнавал еще дома. Когда его приглашали на свадьбу, то приглашительный билет вручали Сакине-хала. Мамедага всегда старался так распределить свое рабочее время, чтобы суметь прийти на свадьбу, иначе тут же начинались пересуды, чего Мамедага крайне не любил. Когда же прийти не было совсем никакой возможности, он заранее приносил свой подарок и поздравления. Оставаясь в Баку каждое воскресенье, он ходил то на поминки и выражал соболезнование, то приносил извинения. В квартале все любили Мамедагу, а молодые его уважали. Мнение квартала было единодушным: «Мамедага — настоящий мужчина!»

Иногда и молла Сулейман, постукивая палкой, проходил мимо сверкающего под солнцем, крытого алюминием фургона; остановившись под окнами Мамедаги, выходящими на улицу, он поднимал свою палку, стучал по стеклу, вызывая мать Мамедаги, и, уставившись женщине прямо в глаза своими страшными, увеличенными стеклами очков глазами, говорил:

— Сакина-баджи, машаллах! Машаллах! У тебя хороший сын! Да не сочтет аллах его лишним для тебя. Пусть будет счастлив!

И Сакина-хала с тайной тревогой бормотала:

— Большое спасибо, ай молла! Долгой тебе жизни!

Боялась Сакина-хала, что молла Сулейман сглазит Мамедагу. Утром она варила в медном казане бозбаш и прямо в нем отправляла молле Сулейману — это было нечто вроде взятки.

Было у моллы Сулеймана два сына, и оба сидели в тюрьме. Один во время войны попал в плен и перешел на сторону фашистов, а другой изнасиловал пятнадцатилетнюю девочку-армянку.

Сакина-хала была довольна своим сыном. В прошлом году Мамедага по-шахски выдал замуж свою сестру. Теперь у Солмаз был хороший дом, семья, да и в мужья хороший человек попался. И все-таки Мамедага вызывал постоянное беспокойство у Сакины-халы. Во-первых, Сакина-хала волновалась за сына, когда он бывал в отъезде, а во-вторых, время шло, а Мамедага никак не женился. Сакина-хала прочила ему лучших девушек квартала, но Мамедага не только думать, но и разговаривать об этом не хотел. Сакина-хала знала, что, если сын скажет «да», она приведет ему в жены самую достойную девушку квартала из самой почитаемой семьи. Даже их сосед, управдом Керим, несколько раз намекал, что зря, дескать, Мамедага ходит холостым. А у управдома Керима дочка — украшение всего квартала; днем она работает в библиотеке, вечером учится в институте.

В эту удивительную летнюю ночь Мамедага вдруг вспомнил свой квартал, дом, туговое дерево перед Узким тупиком, и почему-то ему показалось, что его отделяют от дома не два часа езды, а долгие дни дороги; ему показалось, что квартал его и снежные горы миллионера Сафара очень-очень далеки от песчаного морского берега Загульбы. И, обращаясь к Сафару, который давно уже раскаивался в сказанном и, прислонившись к стойке, стоял, смущенно обмахиваясь фуражкой, Мамедага спросил:

— Так ты говоришь, хорошо сейчас в горах?

Лицо Сафара прорисовало: так просто и легко было снято это тягостное напряжение между ними. Он с радостью воскликнул:

— Клянусь тобой, гага, там сейчас такая красотища! Ну просто слов нет! — Помолчав немного, он сказал совсем иным, будничным и служебным голосом: — Кажется, к тебе посетители идут.

И привычным движением надел фуражку на голову. Всмотревшись через дверь в людей, подходивших к фургону, милиционер Сафар явно помрачнел:

— Паршивец, опять, кажется, напился...

И тотчас в фургон поднялись двое — толстый и худой, — распространяя вокруг себя резкий запах спиртного. Увидев перед собой толстого парня, Мамедага сразу же

узнал его. А Мирзоппа, косо взглянув в сторону милиционера Сафара, равнодушно посмотрел на Мамедагу, на деревянного зайца, лису, медведя, льва, неведомого зверя и вдруг рассмеялся:

— Шикарно живете!

Он вытащил из кармана мятую пятерку и шлепнул ею по стойке.

— Пятьдесят пуль! Стреляем до утра!

Приятель Мирзоппы, худой парень, проголосовал обеими руками за это предложение:

— Постреляем!

Мамедаге стало ясно, что Мирзоппа его не узнал, но не это было важно сейчас, а то, что Мирзоппа пьян; поскольку речь шла о ружьях с пулями, хотя эти пули для тира, со щеточками, будь на месте Мирзоппы родной брат Мамедаги, он и ему не позволил бы стрелять в пьяном виде.

Прищуриив набухшие веки, Мирзоппа посмотрел на деревянного зайца и громко рассмеялся:

— Да здесь и вправду шикарно! И чего мы до сих пор сюда не заходили?

Мирзоппа взглянул на худого, и худой снова поднял обе руки вверх и снова ответил кратко:

— Постреляем!

— Дай-ка нам, брат, ружье, но чтоб оно стреляло без обмана! — сказал Мамедаге Мирзоппа.

И, конечно, в другое время сказавший такие слова Мамедаге вылетел бы из тира, как пуля со щеточкой вылетает из ружья. Но Мамедага умел держать себя в руках, когда надо пропустить мимо ушей обидное слово. И сейчас, глядя прямо в заплаканные жиром глаза Мирзоппы, он спокойно ответил:

— Постреляете в другой раз. Я уже закрыл тир.

— Что это он сказал? — Мирзоппа взглянул на худого, мол, что за глупости мы выслушиваем. — Давай живее ружья и пули!

Худой был в состоянии только еще раз поднять руки и крикнуть:

— Постреляем!

— Не постреляете! — сказал милиционер Сафар.

— А ты заткнись! — бросил Мирзоппа милиционеру Сафару и провел рукой по горлу. — Я тобой сыт во как! Куда ни пойду, всюду прешься за мной. Отвяжись!

Милиционер Сафар фуражкой отмахивался от запаха водки, наполнившего фургон.

— Эх, Мирзоппа, не желаешь ты быть человеком! — сказал он. — На ногах ведь не стоишь, где уж тебе стрелять.

Мирзоппа достал из кармана еще одну мятую пятирублевку и шваркнул ее о стойку:

— Деньги плачу! Сто пуль давай!

Худой снова проголосовал руками и выкрикнул свой лозунг:

— Постреляем!

— Не постреляете, — повторил милиционер Сафар.

Мирзоппа почесал свою жирную волосатую грудь, выпиравшую из расстегнутой рубашки, и хмуро пробурчал:

— Разве я не сказал тебе — отвяжись? Чего тебе надо, а? Денег не хватает — могу дать!

Удивительное свойство Мирзоппы — сказать самое обидное для человека. От злости милиционер Сафар даже охрип:

— Я за всю свою жизнь не съел и крошки хлеба, добытого нечестным путем! За всю жизнь я ни разу даже краешком глаза не заглядывал в чужой карман. Я всегда был честным, жил по правде и буду так жить всегда.

Мирзоппа с ненавистью смерил милиционера Сафара с ног до головы:

— То-то ты так и живешь!

Милиционер Сафар, надев фуражку, подошел к Мирзоппе вплотную:

— Как я живу, ну? Как живу?!

Мирзоппа, не отвечая ему, обернулся к Мамедаге:

— Быстро! Каждому ружье и сто пуль!

Мамедага никогда не предполагал, что однажды, да еще в такую удивительную летнюю ночь, он снова встретится с Мирзоппой. Сейчас ему казалось, что он совершенно забыл о Мирзоппе и, если бы не увидел его теперь, может быть, никогда бы и не вспомнил. Мамедага молча глядел на толстого парня.

— Ну, в чем дело, а? — Прищуриив один глаз, Мирзоппа внимательно осмотрел Мамедагу и узнал его. — Ты не Мамедага?

— Мамедага...

...Отец Мирзоппы Алиаббас-киши был кирпичик, и всю их семью называли кирпичиками. Большой котел для варки кира стоял на улице перед домом, где жил Мирзоппа, и до наступления осени котел медленно передвигался от дома к дому вдоль квартала: Алиаббас-киши заливал крыши всех

домов киром. И если почему-либо большого котла нигде не было видно, то всем казалось, будто в квартале чего-то не хватало, что-то было явно не так.

Мирзоппа вечно был окружен ребятишками младше его на несколько лет, и они, конечно, ему повиновались. Никто, впрочем, не знал точно, сколько Мирзоппе лет, и ребят дома иногда стращали:

— Видишь, Мирзоппа курит папиросы, потому и не растет. Кто курит, тот обязательно будет таким же толстым, как Мирзоппа, и не будет расти. Таким он останется до самой смерти!

Никто из ребят не хотел быть похожим на Мирзоппу: многие его боялись, но не было таких, которым бы он нравился. Он первым среди ребят закурил и первым заговорил о женщинах.

Семья Мирзоппы жила в нижней части квартала, рядом с маленьким летним кинотеатром. Как-то летом в этом кинотеатре три месяца подряд ежедневно крутили фильм о Тарзани. Проснувшись утром, ребята тут же бежали в очередь за билетами. Перед кинотеатром появилась толпа спекулянтов. И в то лето некоторые, особо энергичные из них, спекулируя билетами, набрали денег на «Победу». А у ребят не всегда хватало на билет, и они лезли на крышу дома Мирзоппы, чтобы посмотреть кино оттуда, и за это Мирзоппа собирал с них по двадцать копеек.

Мирзоппа разговаривал высокомерно, готов был на любую пакость, заставлял ребят прислуживать себе, а сам прислуживал взрослым. Мамедагу он не любил, потому что хотел, да не мог послать его ни за папиросами, ни за дровами для разжигания огня под котлом. Пару раз в укромном месте Мирзоппа дрался с ним; ни тот, ни другой по-настоящему не победили, только Мирзоппа все равно ходил как победитель и вел себя как победитель.

А однажды все переменилось.

В тот день Мирзоппа, сидя на тротуаре перед своим домом, ел селедку с черным хлебом и тихонько напевал про себя:

И «Победе» я не рад:
У Тарзана горе,
Джейн обрезала канат,
Я с ней в споре.

Жена мясника Аганаджафа, Баладжаханум, иногда под настроение пела среди девушек квартала эту известную песенку иначе:

Мне «Победа» ни к чему,
На «Москвич» не сяду.
Только «ЗИМу» самому
Буду рада!

Она пела и, как обычно, подмигивая собравшимся вокруг нее молоденьким девушкам, громко хохотала.

Мать учившегося на трамвайных курсах Аллахверди — Айна, глядя на Баладжаханум из окна своей квартиры, говорила сама с собой: «Посмотрите, как она хохочет! Слово лиса соблазняет ворону...»

Мамедага, купив в керосиновой лавке керосину, нес его домой и, проходя мимо Мирзоппы, не удержавшись, остановился.

В те годы в доме Мамедаги часто бывала шекербура, пахлава, шекерчурек¹. Сакина-хала работала на кондитерской фабрике, где раз в два-три дня им выделяли сладкий паек, зато других продуктов в доме почти не было, а селедочкой вообще никогда и не пахло — Сакина-хана не любила запаха селедки.

Конечно, Мирзоппа сразу смекнул, что у Мамедаги слюнки потекут при виде селедки, — Мирзоппа потому и был Мирзоппой, что знал, чем и в какой момент раздражить человека.

— Мирская селедка! — Мирзоппа, причмокивая, сосал рыбий хвост. — Хочешь?

Мамедага понимал, что Мирзоппа так просто никогда не угощает, но не удержался и сказал:

— Да, хочу.

— Деньги с собой есть?

Когда Мамедага покушал керосин, ему дали сдачу, и эта мелочь лежала сейчас в нагрудном кармане трикотажной рубашки Мамедаги, но в то время каждая копейка в их доме была на счету, и он не решался отдать эту мелочь Мирзоппе.

— Ну, есть деньги?

— Нет.

— Тогда держи! — Мирзоппа просунул вымазанный жирной селедочкой палец между двумя другими пальцами и показал Мамедаге кукиш, продолжая причмокивать и сосать хвост. Однако тотчас он придумал иное: — Принеси из дому шекербуру, поменяемся. Только чтобы хорошую, а сверху миндаль. И побольше!

¹ Шекербура, пахлава, шекерчурек — печенье сладости.

Конфеты, шоколад, шекербура, пахлава, шекерчурек считались в квартале самым большим лакомством, но, ясное дело, в те годы эти сладости были редкостью. У кого бывала возможность, пекли к новруз-байраму шекербуру и пахлаву. Понятно, что домашние шекербура и пахлава получались вкуснее фабричных, но в те времена никто не обращал внимания, дома они готовились или на фабрике.

Мамедага вынес из дому шекербуру, а Мирзоппа, который ждал его перед Узким тупиком, взяв шекербуру в руки, оглядел ее со всех сторон, как ювелир Алашраф разглядывает золото, и Мамедага подумал, что Мирзоппа сейчас что-нибудь выдумает, но шекербура все-таки соблазнила Мирзоппу, и он ограничился тем, что сделал вид, будто это с его стороны большое одолжение:

— Ну ладно, для тебя разве... Держи!

Мамедага взял селедку и кусок черного хлеба и тут же все съел, а Мирзоппа между тем ушел домой.

Прошло два дня, и на третий вечером Мирзоппа сам пришел в Узкий тупик и показал Мамедаге зажатый в руке кусок черного хлеба с селедкой.

— Шекербуру принесешь?

— Нет, не хочу.

— Не хочешь? Селедки не хочешь? — Глаза у Мирзоппы чуть не вылезли на его жирный лоб. — Ах, так, значит!

В тот же вечер Мирзоппа собрал вокруг себя под тутовым деревом ребят со всего квартала и начал:

— Ей-богу, не вру, здорово я тут поразвлекся — надул этого маменькиного сынка. Он мне приносил шикарную шекербуру, притом сверху миндаль, а я совал ему старую селедку с черным хлебом, хлеб я принесил из хлева в Ясамаллах¹, где его бросают баранам Гаджибалы. А шекербуру я съел в свое удовольствие!

Мирзоппа выразительно рассказывал, ребята охотно смеялись, а Мамедага в жизни еще так не краснея: ясное дело, Мирзоппа приносил хлеб вовсе не из сарая в Ясамаллах, и селедка была свежая, он все выдумывал, но рассказывал эту ложь с удовольствием, и Мамедагу выставил растапой.

Прошло несколько дней.

Однажды, когда Мамедага возвращался из школы, Мирзоппа вновь стоял перед Узким тупиком, и Мамедаге показалось, что Мирзоппа давно здесь стоит, чтобы не пропус-

тить его. На мясистом лице Мирзоппы было то самое выражение, с каким он стоял перед теми, кто старше и сильнее его, если бывал виноват. Едва завидя Мамедагу, он, вроде бы смущаясь, сказал:

— А, кореш, из школы идешь? — И тут же перешел на свой обычный тон свысока: — Ну, ладно, подумаешь, что случилось, а? Ну, пошутил я, ты что, совсем наивный, шуток не понимаешь? Брось... — Мирзоппа слегка запнулся и добавил, снова вроде бы немного смущаясь: — Послушай... Мировая селедка есть, клянусь жизнью, высший класс! Хочешь?

— На, держи! — На этот раз Мамедага соорудил ему кукиш из пальцев, вымазанных чернилами, и ткнул им Мирзоппе прямо в лицо.

Мирзоппа страшно рассвирепел.

— Ей-богу, жалко, отец мой дома, а то бы я тебе врезал! — сказал он и ушел.

Мирзоппа ушел, но Мамедага почему-то не ощутил сладости этой мести, что-то было в сегодняшнем разговоре Мирзоппы, в его позе, даже в том, как он уходил, такое, что мешало Мамедаге спокойно торжествовать.

Был полдень, и Сакина-хала, придя с работы на пере-рыв, чистенько вымела двор мокрым веником. Во дворе, как всегда после этого, стало прохладнее. Мамедага, сидя на большом камне у дверей, наматывал на катушку для только что изготовленного воздушного змея нитки десятого номера. И тут из переулка раздался поглубевший, уже совсем как у мужчины, голос Мирзоппы:

— Мамедага!

Мамедага кинул катушку за ворот бумагаевой рубашки и вышел к воротам.

— Ну чего? — спросил он и снова увидел на лице Мирзоппы то же выражение — просительное, которое появлялось у Мирзоппы, если ему приходилось держать ответ перед теми, кто старше и сильнее.

— Выйди на минуту.

— Зачем?

— Дело есть к тебе...

Мирзоппа отвел его в укромное место в тупике за мусорными ящиками и, перед тем как перейти к делу, вежливо осведомился:

— Как твои дела?

— А тебе что? Тебе чего надо?

Мирзоппе стало ясно, что наладить отношения с Маме-

¹ Ясамаллах — отдаленный район Баку.

дагой ему будет трудно. Скривившись, он озадаченно почесал голову и посмотрел своими выпуклыми глазами на воробьев, сидевших на высоко протянутых электрических проводах. Мамедага понял, что Мирзоппа не знает, с чего и начать. Наконец Мирзоппа решительно сказал:

— Слушай, Мамедага, клянусь жизнью, отец привез шикарную кильку, на банке написано «экстра», а купил он ее в продмаге перед музеем Низами.

Мамедага подумал, что Мирзоппа завтра же соберет ребят и заставит его краснеть, выдумав очередную небылицу, но вдруг ему почему-то стало жаль Мирзоппу. Перед ним был какой-то другой Мирзоппа, хотя он снова попытался взять тон благодетеля.

— О тебе же хлопочу, шикарная килька! Принеси только шекербуру, можно и без миндаля. Принесешь?

Не отвечая ни слова, Мамедага ушел домой. Взяв одну шекербуру, он вернулся к Мирзоппе, а тот, отрезав ломоть черного хлеба и положив кильки, тоже вышел из своих ворот. Взяв шекербуру, он снова, как ювелир Алашраф, оглядел ее со всех сторон и только после этой процедуры протянул Мамедаге хлеб с кильками.

— Бери, клянусь, ни с кем другим бы не поменялся. Мирровая вещь! Кореш ты мой, что поделаешь.

И тут Мирзоппа рассмеялся, и жалкое выражение с его толстого лица слетело, вмиг Мирзоппа стал прежним Мирзоппой. Он круто повернулся и вошел в свой двор, закрыв за собой ворота. В этот момент Мамедаге показалось странным, что Мирзоппа опять не стал есть шекербуру тут же, на месте.

Мамедага бросил кильки смотревшей на него серой кошке, мяукавшей у электрического столба, хлеб сунул в решетку уличного окна Мирзоппы и, взобравшись по столбу, понал на крышу одноэтажного здания. Спрятавшись за кирпичную трубу, он глянул в сторону двора Мирзоппы.

Около крана во дворе на перевернутом ведре сидел Дуду, и Мамедага удивился про себя, как это ведро выдерживает тяжесть такой туши. А перед Дуду стоял Мирзоппа и подносил шекербуру прямо ко рту юродивого брата. Дуду, откусив кусочек, пережевывал и проглатывал его так медленно и величественно, как огромная грузовая машина идет на первой скорости по асфальту, и пусть другие машины одна за другой обгоняют ее, она не обращает на них внимания и движется словно черепаха.

Никто из ребят в квартале не знал настоящего имени

Дуду; все называли его просто Дуду. Дуду был чрезмерно толст, но и голова у него тоже была большая. Ему всегда надевали очень широкие сатиновые шаровары, чтобы он не растер до крови ляжки, к тому же на его фигуру брюк просто не было. У Дуду всегда тряслась голова, изо рта текла слюна. Дуду не умел разговаривать, и когда он хотел сказать слово, то издавал какие-то странные звуки. Дуду никогда не подходил к ребятам, а, появляясь изредка на улице, останавливался у дворовых ворот и смеялся сам с собой, издавая те самые звуки. Дуду было тринадцать лет, он был всего на полгода младше Мамедаги, но в школе он не учился.

Отец Дуду приходился Мирзоппе дядей; он погиб на войне, а мать его за дурные дела (говорили, что среди ночи приходили мужчины из других кварталов целоваться с ней под тутовым деревом) отец Мирзоппы, Алиабасс-киши, выгнал из дому. Дуду остался в их семье.

Вкладывая шекербуру прямо в рот Дуду, Мирзоппа говорил брату:

— Ешь, ешь! Завтра опять принесу. И сверху миндаль будет. И конфеты куплю. Завтра кино мировое, ребята придут на крышу, будут кино смотреть, а я с них деньги соберу и конфеты тебе куплю.

Дуду, устремив свои ничего не выражающие глаза в неведомую точку, медленно пережевывая кусочек шекербуры, внезапно поднял голову и, посмотрев на крышу, увидел там Мамедагу, пытавшегося спрятаться за трубой. Дуду начал издавать свои нечленораздельные звуки, из-за чего кусочки шекербуры из его рта полетели прямо в лицо Мирзоппы.

Мамедага хотел убежать не потому, что боялся Мирзоппу, а потому, что понял: он не должен был видеть то, что увидел; понял, что раскрылась тайна сердца Мирзоппы и вот так, подглядывая, раскрывать эту тайну нехорошо.

— Эй, негодяй, сын негодяя, ты чего влез на нашу крышу?! — Мирзоппа прямо-таки лопался от злости, но его ругань обозлила и Мамедагу, потому что для Мамедаги самое непростительное — ругать отца: отец его тоже не вернулся с войны, и Мамедага даже лица его не помнил. Али ушел на фронт в первый год войны и в первый же год недалеко от Москвы пал жертвой фашистской пули.

Мирзоппа кинулся к стене так, будто вот сейчас подпрыгнет и будет на крыше:

— Спускайся вниз, негодяй, сын негодяя!

— Сам ты сын негодяя. — Мамедага ответил Мирзоппе тем же ругательством, но лицо у него пылало так, словно высакивающие изо рта Дуду кусочки шекербуры попали ему в глаза, а не Мирзоппе.

Мамедага соскочил по столбу вниз и, не дожидаясь, пока Мирзоппа выскочит со двора на улицу, добежал до Узкого тупика и исчез: Мамедага не боялся, но будто устыдился чего-то.

Весь этот день он уже не выходил из дому, а вечером из Узкого тупика раздался густой, как у мужчины, голос Мирзоппы:

— Мамедага!

(Часто матери и старшие сестры, перехватив взгляд Мирзоппы, не пускали ребят играть с ним, говорили: «Он взрослый мужчина, только не растет. Из глаз его летят бесстыдство. Он вам не пара. Играйте со своими сверстниками».)

Мамедага выглянул из ворот:

— Чего тебе?

— Выйди на минуту, дело есть.

Конечно, Мамедага по понятной причине не хотел говорить с Мирзоппой, но рано или поздно они должны были встретиться, и он вышел в тупик. Мирзоппа отвел его в укромное местечко у мусорных ящиков, помолчал, уставившись своими выпуклыми глазами в электрический столб, потом достал из-за пазухи пачку «Беломорканала» и закурил папиросу с тем горьким выражением на лице, какое бывает у взрослых курильщиков.

— Послушай, — сказал он, — Мамедага, клянусь жизнью, мало ли что бывает между братьями, ну и что? С этого дня я против тебя ничего не имею, клянусь братом, но и ты не говори ребятам, что Мирзоппа кормит шекербуры Дуду, ладно?

Мамедага даже и не думал делать этого, то есть что он увидел и услышал, взобравшись днем на крышу, произвело на него такое впечатление, что Мамедаге стало понятно, что и у Мирзоппы есть сердце и это сердце не всегда закрыто, иногда оно раскрывается, но сейчас Мирзоппа испугался, что о чистоте и широте его сердца узнают другие ребята квартала, — и Мирзоппа снова стал обычным Мирзоппой, а тут же Мамедага здорово на него разозлился, в его сердце внезапно забушевала жажда мести, ему хотелось хоть немного помучить Мирзоппу, расплатиться с ним за все его подлости и оскорбления!

Мирзоппа спросил еще раз:

— Ну?

— Скажу!

Мирзоппа искоса взглянул на него, потом, выкурив папиросу до конца, швырнул окурочок в мусорный ящик и, скрипя зубами, сказал:

— Слушай, я тебя прошу, клянусь, никого никогда не просил! У каждого есть свое достоинство...

Мамедага знал, что Мирзоппа нахально врет, что он всегда канючит, когда ему приходится туго; умоляя старших, он тысячи раз говорил «я плохо поступил», и, зная это, Мамедага снова не захотел уступить Мирзоппе и ответил ему зло, ехидно:

— А на собранные с нас деньги Дуду конфеты покушаешь?

Мирзоппа помахал рукой перед глазами Мамедаги:

— Эй, человек должен быть мужчиной, а не мартышкой. Мы тебя человеком считали, в дом приходили!.. Что за человек ты, а?

Самое плохое в Мирзоппе было то, что он боялся, как бы другие не узнали о его доброте; обманывать, приставать к людям, отрезать подметки у прохожих — вот что было в его глазах выражением силы, и он всерьез боялся, что ребята из квартала, узнав о его нежности к юридическому брату, перестанут его уважать и отвернутся от него. Он некоторое время мрачно смотрел на Мамедагу, как бы раздумывая, что делать и как выйти из положения, в которое попал, треснуть ли сейчас пару раз Мамедагу и получить сдачи или снова приняться за уговоры? Наконец, решившись, он поморщился, почесал за чем-то шею и сказал:

— Если никому не скажешь, я окажу тебе небывалое уважение, клянусь!

— Какое?

— Небывалое! Отведу тебя в шикарное место...

Естественно, что ни одно слово Мирзоппы не вызвало у Мамедаги доверия, и Мирзоппа, зная это, не стал тянуть резину и, приблизив губы к его уху, прошептал:

— Смотреть на шикарных женщин!..

Мамедага считал, что Мирзоппа способен на что угодно и может совершить любое самое подлое дело, которое другому и в голову не придет, но на этот раз он ему не поверил. Когда толстые жирные губы Мирзоппы коснулись его

уха, он содрогнулся. А Мирзоппа, оглянувшись по сторонам, снова приблизил свои губы к его уху:

— На купающихся в бане женщин. Совсем голых, клянусь!

У Мамедаги как будто сердце оборвалось и упало под ноги, он, сам не узнавая себя, спросил:

— А не обманешь?

— Э, парень, я что — шучу с тобой? Идем.

В верхней части квартала, где жил Мамедага, стояла старая баня, которая называлась Желтая баня; ее потому так называли, что стены ее почему-то всегда красили в желтый цвет. Фасад бани был обращен к улице, задняя сторона почти вплотную примыкала к глухой стене другого двухэтажного здания, а между ними на этом небольшом свободном пространстве гушбаз¹ Агамехти соорудил свою голубятню. По ночам здесь царил непроглядная тьма.

Мирзоппа привел Мамедагу к голубятне и, показав ручку на ее крышу, сказал:

— Если смотреть оттуда, все видно шикарно!

На задней стене Желтой бани, наверху, было маленькое оконце, и до этого светящегося оконца можно было дотянуться с крыши голубятни Агамехти. Мирзоппа, как пес, идущий по следу, разыскал это место.

Мамедага был словно во сне и сам не знал, как он пришел сюда, он понимал, что его приход сюда с Мирзоппой — плохой поступок, понимал также и то, что тот, кто, вынюхивая, как собака, нашел это маленькое окошко, — самый низкий человек на свете, а присоединиться к подлецу — тоже подлость. Он хотел убежать отсюда, душный и влажный воздух в этой щели меж двух домов едва не лишил его сознания, но что-то, словно магнит, удерживало его здесь, и к тому же было уже поздно: если бы он сейчас сбежал, то оказался бы размазней перед Мирзоппой; сердце у него защемило — хоть бы скорее закончилось все это!

— Мужчины моются...— Мирзоппа, наострив уши, прислушивался к доносящимся из этого маленького окошка стукам тазов, журчанию воды и по этим звукам различал, кто моется, — Мамедаге стало ясно, что Мирзоппа провел у голубятни немало вечеров.

Голуби, почуяв людей, начали ворковать, и от их воркования сердце Мамедаги забилось еще сильнее. Мирзоппа взял его за руку тоже вспотевшей рукой.

— Не бойся, — сказал он.

Мамедага выдернул свою руку, ему показалось, что рука Мирзоппы вымазана слюной, текущей изо рта Дуду; он всмотрелся в едва различаемое в темноте мясистое лицо настороженного, прислушивающегося Мирзоппы, — это был настоящий Мирзоппа, это уже был не тот Мирзоппа, который тайком скармливал Дуду шекербуру и обещал Дуду конфеты. Разумом Мамедага понимал — нужно бежать отсюда, чтобы покончить с этим позором, сверх того, следовало бы отколотить Мирзоппу, но вот ноги его не слушались и сердце тревожно колотилось в ожидании чего-то.

Мирзоппа снова сжал ему запястье своей потной рукой — мол, слушай. Из маленького окошка бани больше не доносилось ни звука, видимо, люди кончили мыться и вышли из номера. Некоторое время стояла тишина, и в этой тишине только голуби ворковали в голубятне гушбаза Агамехти; потом из окошка снова послышались звуки, и Мирзоппа прошептал:

— Это Шарабану, она чистит номер.

Шарабану была уборщицей в Желтой бане. В Желтой бане кроме общего мужского и общего женского отделений было еще три отдельных номера, и маленькое окошко находилось в одном из этих номеров.

Снова наступила тишина, и снова через некоторое время послышались стук тазов, кашель, журчание воды, Мирзоппа на этот раз прошептал уже совсем тихо:

— Поднимайся.

Мамедага по деревянной лестнице взобрался наверх и на голубятне, приподнявшись на носках, прикинул к маленькому окошку. Вдруг все его тело задрожало, перед глазами появилась пелена, и за этой пеленой совершенно голая женщина намывивала голову и тело совершенно голый девушке; девушке было лет семнадцать-восемнадцать, и Мамедага с пересохшим горлом, дрожа от волнения всем телом, не мог глаз оторвать от этой девушки, смотрел и смотрел на ее ноги, груди, заросшие волосами подмышки; ему казалось, что сейчас земля под его ногами исчезнет и он провалится куда-то, полетит и провалится. Женщина вылила на голову девушки полный таз воды, и, когда вода смыла мыльную пену с волос девушки, ее лица и тела, Мамедага вадрогнул оттого, что эта худая, невзрачная девушка, которую он по сто раз в день видит у них на улице, так необыкновенна, так загадочна и волшебна!

Мирзоппа снизу подергал Мамедагу за брюки: мол, сле-

¹ Гушбаз — любитель птиц (преимущественно голубей и левши).

зай, дай и я немного посмотрю; Мамедага вспомнил, что Мирзоппа стоит внизу, и в ужасе поднял другую ногу и оттолкнул его руку. Мамедагу охватил ужас, и в этом ужасе он видел, что на этот раз женщина намыливается сама и девушка, нагибаясь, ей помогает, намыливает матеря спину, поясницу, и каждый раз, когда девушка наклонялась и выпрямлялась, у Мамедаги дрожало все тело, в тот момент он и сам не знал, что это означает.

Мирзоппа больше не мог оставаться внизу; от нетерпения он поднялся по лестнице и, оттеснив Мамедагу в сторону, наклонился. Мамедага, затаив дыхание, ждал, что сейчас произойдет. Вдруг из груди Мирзоппы вырвался стон, и он стал биться своей большой головой о старую стену бани. Мамедага, опомнившись, спрыгнул прямо с крыши голубятни и упал на землю, на сырую из-за соседства с баней землю. Голуби в голубятне заворковали еще громче, и, когда Мамедага открыл глаза, он увидел, что Мирзоппа тоже спрыгнул; некоторое время они так и глядели в темноте друг на друга: Мирзоппа — стоя на ногах, Мамедага — лежа на земле, потом Мирзоппа начал плакать, рыдая так, как никогда не видел и не мог себе представить Мамедага.

Мывшаяся в бане женщина была мать Мирзоппы, а девушка — сестра Мирзоппы — Адиля.

После того вечера Мамедага долго не мог прийти в себя — несколько месяцев, и не потому, что впервые в жизни увидел голую женщину и голую девушку, нет, его пугала мужская честь, он не мог открыто смотреть в глаза ребятам и парням своего квартала, задыхался от сознания того, что на женщину, изредка заходившую к ним во двор и беседовавшую с его матерью, и на девушку, которую встречал на улице каждый день, он смотрел тайком, через окно бани. Иной раз он внезапно просыпался ночью с мыслью о том, что совершил позорное дело, и, корчась в постели, называл себя самым дурным человеком на свете.

В эти месяцы, мучаясь совестью, Мамедага сполна узнал цену благородству, мужеству, честности; прошли годы, и со временем случай этот в его памяти постепенно превратился в некий сон детских лет, и действительно уже трудно было отличить, что было наяву и чего не было. Но с тех пор Мамедага ни разу в жизни не поступал так, чтобы ему пришлось перед кем бы то ни было опускать глаза. И когда речь заходила о Мамедаге, женщины квартала говорили:

— Дай ему бог долгую жизнь, пусть живет столько, сколько земля. С лица как будто Китабулла, и характер — золото! Настоящий мужчина.

У Сакины-хала, ясное дело, от этих и подобных слов только что крылья не отрастали, чтоб летать, но вела себя она достойно: мол, так и должно быть, ее сын и сын Али другим быть не мог. А Солмаз тотчас доводила эти слова до сведения Мамедаги, и за это Мамедага на нее ворчал:

— Не передавай мне таких слов.

Конечно, никто из ребят квартала так ничего и не узнал о ночном приключении — Мамедага никому не рассказал, но Мирзоппа уже редко показывался в квартале. А через некоторое время кирпичики и вовсе уехали из города. Алиабасс-киши говорил аксакалам квартала:

— Лет через шесть-семь в Баку не останется домов, где надо заливать крыши киром. Старые сносят, а новые строят в пять-семь этажей, через некоторое время в девять-десять будут строить. И все с кровлей. Лучше мне уже сейчас переселиться в одно из сел. На Апшероне у всех домов крыши кировые, в какое село ни поеду, без дела не останусь.

С тех пор большой котел для варки кира не показывался в квартале, где жил Мамедага, и все постепенно к этому привыкли, никому уже не казалось, будто без котла что-то не на месте или чего-то не хватает на улице...

А было это лет пятнадцать-шестнадцать тому назад. И вспомнил Мамедага свое детство сегодня благодаря этому непонятно удивительному вечеру да еще и из-за Мирзоппы. Разглядывая в ярком свете фургона расплывшееся лицо Мирзоппы, он вдруг почувствовал в себе какую-то виновность перед ним, и в этом чувстве вины ощущались тепло детских воспоминаний; тепло и печаль вошли в сердце Мамедаги, что никак не вязалось с самодовольным смехом нагло смотревшего на него Мирзоппы.

Худой парень, снова подняв руки, выдал свой лозунг:

— Постреляем!

Милиционер Сафар, поглядев на худого парня, подумал, что в голове этого болвана, кроме слова «постреляем», нет ничего, он жаждет ружья, жаждет пули. Такие вот и проливают понапрасну кровь свою и чужую, и хотя их собственная особа копейки не стоит, но детей они оставляют сиротами, а женщин — безутешными.

Мирзоппа, все так же самодовольно улыбаясь, оглядел Мамедагу с ног до головы.

— Неплохо выглядишь, — сказал он. — Ну, ладно, неужели своему старому другу по кварталу не дашь пострелять?

Самодовольная, самоуверенная повадка Мирзоппы была обратительна, она была точно рассчитана на унижение окружающих, но Мамедага не подал виду, а про себя даже искренне пожалел, что Мирзоппа так много выпил в этот вечер. Если бы он не был пьян, конечно, Мамедага хоть до утра разрешил бы ему стрелять. И денег бы с него не взял. Правда, Мамедага всегда считал, что надо быть щедрым за свой счет, а не за счет государства, но сейчас вообще об этом не стоило и думать, потому что Мирзоппа с трудом держался на ногах, а парень рядом с ним был ни на что не способен, кроме как поднимать руки и твердить одно и то же слово. Дело было не в том, что пуля Мирзоппы могла попасть в кого-нибудь, хотя в тирах такие случаи бывали (у работавшего в Баку в тире на улице Самеда Вургуня одноглазого Исрафила глаз выбила пуля такого вот пьяного), нет, дело было в том, что в инструкции черным по белому запрещалось стрелять в тире людям в нетрезвом состоянии, а Мамедага не хотел поступать так, чтобы быть вынужденным опускать глаза хотя бы и перед инструкцией.

— В другой раз, — ответил Мамедага.

— Слушай, чего это ты со мной всю дорогу не ладишь?! — вроде бы спросил Мирзоппа, но в его грубом голосе была откровенная угроза.

— Постреляем!

Ну, это, ясное дело, сказал худой парень и поднял руки вверх.

— Не постреляете! — сказал милиционер Сафар, снова доставший из кармана мокрый платок и вытерший им потное лицо.

— А ты не лай! — Мирзоппа вытаращил на милиционера Сафара свои пьяные глаза.

И милиционер Сафар вздрогнул — он услышал стон своего сердца: о сын гор, до чего же ты дошел, что какой-то щенок говорит с тобой на собачьем языке! Сунув в карман мокрый платок, он схватил Мирзоппу за руку:

— Пошли в отделение!

Мирзоппа выдернул руку:

— Отстань от меня!

— Пойдем!

— Сказал тебе, отстань!

— Пошли, и все!

Милиционер Сафар снова попытался схватить Мирзоппу за руку, но тут раздался звук пощечины, и на худом смуглом лице милиционера Сафара остались белые следы от толстых пальцев Мирзоппы.

Это было совершенно неожиданно. Первым пришел в себя худой парень, — с удивлением взглянув на Мирзоппу и милиционера Сафара, он ударил себя рукой по кепке «азеродром» и, в мгновение ока выскочив из фургона, исчез в темноте ночи.

— Ах ты... на представителя власти руку поднимаешь?! Звук пощечины и торопливое бегство киномеханика Агаюля (того самого худого парня) отрезвили Мирзоппу, и, взглянув на поднимающийся и опускающийся большой кадык задыхающегося от ярости милиционера Сафара, он понял, что дела его плохи.

Милиционер Сафар схватил его за грудки:

— Иди впереди меня!

Мирзоппа уже не вырывался из рук милиционера Сафара, только язык свой сдержать он не мог:

— Ну идем, идем! Куда хочешь идем. Тебя никто не боится. Один раз звякну Наджафу, он твои погоны снимет! Увидишь!

— Меньше болтай, иди! — Милиционер Сафар сказал эти слова так грозно, что Мирзоппе стало ясно: если он еще издаст хоть звук, этот крестьянский сын подомнет его под себя, как медведь; поняв это, он замолчал и пошел вниз по лестнице из фургона.

Мамедага вышел вместе с ними, но милиционер Сафар, повернув к Мамедаге свое словно бы еще больше потемневшее лицо, сказал:

— Ты не ходи, гага! Сафар его из рук не выпустит. Таких много перевидал Сафар!

Мирзоппа, громко прочистив горло, резко сплюнул на песок, но сказал без прежней наглости:

— Ладно, из отделения позвоню Наджафу, тогда увидишь!

Мамедага постоял перед фургоном, глядя на удаляющихся в лунном свете милиционера Сафара и Мирзоппу, а потом, взрыхляя носами туюфель мелкий береговой песок Загульбы, медленно побрел в сторону моря.

Весь берег был совершенно пуст, и казалось, будто в этих местах никогда никого и не было, будто море здесь всегда было одиноко и берег всегда был один на один с

морем. Эта пустота делала море еще более огромным и бескрайним, но таким же огромным и бескрайним казалось теперь одиночество моря, и это стало еще одной печалью в эту летнюю ночь; море не гудело глухо, как обычно, море журчало, будто река или даже ручеек. Текущие с гор милиционера Сафара реки, наверно, тоже журчат, и им невдомек, что оставивший им свое сердце милиционер Сафар этой ночью на краю села под названием Загульба на Апшероне, на берегу моря, в тире от парня по имени Мирзоппа получил незаслуженную пощечину!

Может быть, низость этой пощечины и сделала эту ночь грустной, а море таким одиноким? Мамедага посмотрел на начинающиеся сразу за песчаным берегом загульбинские скалы, и монолитные скалы в лунном свете показались ему более внушительными, чем обычно. Мамедага подумал, что придет время, эта пощечина забудется, дурное эхо от ее звука совершенно уляжется, придет и такое время, когда на свете не станет ни Мамедаги, ни милиционера Сафара, ни Мирзоппы, но эти скалы будут все так же мерцать в лунном свете. Мамедага понимал, что это не очень-то и глубокая мысль, все ясно и так — на свет приходят мамедаги, уходили мамедаги, и всегда так будет, но вот в чем дело: раз уж на свете есть такие монолитные скалы и они так внушительны, есть такие огромные моря, луна и звезды, которые вечны, а жизнь, данная тебе, коротка, то ее надо прожить чисто, соблюдая свое мужское достоинство, чтобы ночью, когда ты, засыпая, вспоминаешь свой день, нечего было стыдиться. Если уж на свете есть милиционер Сафар, у которого есть сын, названный Начальником, и который в жизни своей не съел куска, добытого нечестным путем, и помнит горы, с которых он пришел, потому что оставил там свое сердце, то на этом морском берегу, рядом с этими скалами и в этом лунном свете, он не должен получать несправедливую пощечину!

Издали послышался шум электрички, идущей в Баку, и стук колес сейчас стал пульсом загульбинской ночи, этой безлюдной ночи, — он бился в ней, и, вслушиваясь в этот ночной пульс, Мамедага подумал, что и жизнь — тоже нечто вроде поезда, который довозит тебя до остановки, высаживает, берет взамен другого, возвращается обратно и, ссадив его, берет нового, и так до бесконечности: туда — обратно, туда — обратно; и раз у этого пути есть начало и есть конец, раз поезд не сойдет с рельсов и не нарушит расписания, то положи перед собой папаху и подумай, будь

на этом пути человеком, живи, как мужчина, и, как мужчина, умри.

Потихоньку дул норд и понемногу приносил в эту ночь прохладу; комары исчезали, и Мамедага подумал, что и комары относятся к природе, и ветер относится к природе, но ветер — враг комаров, и вообще этот мир так устроен, что у каждого зла, у каждой подлости есть свой враг; конечно, и эта мысль не была столь уж глубокой, но за ней пришла догадка, что, может быть, эту ночь сделало удивительной как раз то, что Мамедаге впервые захотелось пофилософствовать?

Появился какой-то новый звук, и около своего алюминиевого фургона, отсвечивавшего серебром в лунном свете, Мамедага увидел чью-то тень. Кто-то ходил вокруг фургона и звал его:

— Э-эй!.. Эй-эй!..

Кричала женщина, но Мамедага не мог понять, почему это среди ночи женщина должна бродить около фургона? Он, не отвечая, пошел ей навстречу.

— Эй!.. Э-эй!..

Когда Мамедага подошел к фургону, девушка лет восемнадцати-девятнадцати буквально расстреляла его свирепым, но опять-таки непонятным набором бранных слов.

— Людей в тюрьму сажаешь, а сам гуляешь по берегу моря?.. Отдыхаешь, да? Дышишь свежим воздухом? Люди для тебя не люди? Чего ты лезешь к людям? Рысью прискакал сюда, чтобы людей сажать?

Разглядывая в электрическом свете, падающем из открытой двери фургона, округлое смуглое лицо, сверкающие черные глаза, ладную небольшую фигурку в желтой трикотажной кофте и синей юбке, Мамедага никак не мог понять, чего хочет от него эта разгневанная девушка и что она здесь делает?

— Погоди, ай баджи, что случилось? В чем дело?

— Какая я тебе сестра? Никакая я тебе не сестра! Посмотрите на него! Братец нашелся, а мы и не знали!.. Человека посадил — не был ему братом, а меня увидел — сразу, ай баджи, сестрица!.. Хорош гусь!

Удивительная летняя ночь продолжалась, и поднятый этой смуглянкой шум показался Мамедаге смешным; он подумал, что, если так пойдет и дальше, эта девушка кинется на него и расцарапает ему лицо. Мамедага еще не понимал, что, в сущности, эту летнюю ночь сделал такой удивительной внезапный приход этой смуглой девушки, а

все, что было до этого, было лишь предчувствием ее прихода — иногда и такое случается в жизни, но Мамедага не знал об этом, он действительно растерялся.

— Какие люди, кого я посадил?

— Люди — мой муж!.. Понял? Идем сейчас же, ты посадил его, ты и освободи!

— Ты говоришь о Мирзоппе?!

Имя Мирзоппы как будто несколько остудило пыл разгневанной смуглянки, и она, все еще не отводя глаз от Мамедаги, сказала, словно извиняясь:

— Да. О ком же еще?

Мамедага понял, эта девушка — жена Мирзоппы, но почему-то и это, как многое в ту ночь, показалось ему неожиданным и непонятным. Пройдя мимо так внезапно, среди ночи появившейся девушки, он решительно поднялся в фургон.

— Я тут ни при чем, — сказал он.

И снова эта девушка, начавшая бурно и потом притихшая, услышав его ответ и проводив его взглядом, уперла руки в бока и снизу вверх стала швырять в Мамедагу слова, как камни:

— Как то есть... «ни при чем»? Сначала сажаешь, потом говоришь: я «ни при чем»? Ну и гусь! Ты за кого нас принимаешь? Мы тебе чушки какие-нибудь? Идем сейчас же, выпусти его! — Девушка тоже поднялась по ступеням и вошла в фургон.

Яркий свет фургона, выстроенные вдоль стены ружья, призы: бутылка шампанского, настольное зеркало, кукла-невеста, фотоаппарат, висящие на стене деревянные зайцы, лиса, медведь, лев и никому не ведомый зверь — все это как бы несколько смутило девушку, и она, бегло оглядевшись, молча устремилась на Мамедагу свои черные глаза: мол, идешь или нет?

— Я твоего мужа не сажал, баджи. Он и его товарищ пришли сюда пьяные...

Девушка быстро прервала его.

— Пусть провалится этот товарищ! Разве не товарищи сбивали его с пути? — крикнула она, но, будто сама не веря в весомость своих слов, уже тихо добавила: — Ну и что ж, что выпил? В Советском государстве нет такого закона, чтобы за выпивку людей сажать!

— За выпивку не сажают, а вот за то, что дают пощечину милиционеру, сажают!

Но и девушка, как пегух, бросилась в бой:

— Милиционер Сафа план выполняет, потому и посадил его!

— Что?! План выполняет?! — У Мамедаги просто не нашлось слов, чтобы ответить, — так он был изумлен. — Ай баджи, прямо при мне ударил его, ни за что...

Немного помолчав, девушка сердито сказала:

— Бесстыжий он, да...

И Мамедага не было ясно, к кому относится это слово, к Мирзоппе или к милиционеру Сафару.

Девушка снова искоса оглядела деревянных зверюшек и подумала, что, если бы этот тир не приехал и не остановился здесь на ночь, Мирзоппа сюда бы не пришел, не встретился с милиционером Сафаром и ничего бы тогда не произошло из того, что теперь произошло.

— Ну и тир!

Конечно, Мамедага не знал, о чем думала сейчас девушка, и ее откровенная ненависть к его тире показалась ему опять-таки смешной; да и вообще в шуме, крике, поднятом ею, ему виделось чистое ребячество, чуть ли не розыгрыш, как и ее решительное утверждение, будто она чья-то жена. Мамедаге казалось все это забавной шуткой и хотелось, чтобы это на самом деле было шуткой.

Мамедага огляделся по сторонам и, оставшись довольным порядком в фургоне и своей аккуратностью, улыбнулся:

— Тебе не нравится мой тир?

Эта безоблачно-самодовольная улыбка Мамедаги вновь взбесила девушку:

— Твой? А почему это он твой? Это наш, государственный тир! Или, может быть, твой отец его тебе подарил?

Если вы помните, Мамедага по известным причинам с детства не переносил малейшего неуважения к памяти отца. А сейчас от этой задиристой ночной гостьи тем более не мог снести — ведь она могла решиться на все, вплоть до брани с упоминанием его отца, и потому Мамедага сразу же стал серьезен.

— Отец не мог подарить, — отвечал он и, чтобы прекратить разговор об отце, добавил, словно бы мимоходом, а прозвучало это скорее как признание пятнадцатилетнего мальчика, чем тридцатилетнего мужчины: — Отец погиб на фронте.

Девушка уже готовилась снова что-то там проорать:

но, услышав не слова его, а этот странный, словно из детства дошедший голос, умолкла.

Мамедага никогда не откровенничал с незнакомыми людьми (да и со знакомыми тоже) и почувствовал себя неловко оттого, что он что-то важное сказал о себе этой девушке, которую видел впервые, а ее понимание важности сказанного смутило его.

— Как тебя зовут? — спросил он, чтобы хоть чем-то нарушить неожиданное и неловкое молчание.

— Зачем тебе?

— Когда человек разговаривает с человеком, он должен знать, кто есть кто.

— Месмеханум.

Ответ не принес облегчения. Ни ему, ни ей.

Мамедага и не догадывался, какой заветной струны в душе Месмеханум он коснулся; он не знал, что в сердце девушки появилась сейчас тихая ноющая боль.

Ей казалось, что это было много-много лет назад, когда она была маленькой девочкой и у этой девочки не было никаких забот. Не было и отца, но мать всегда говорила ей: твой папа погиб на войне. Мать часто бывала в поездках, и Месмеханум привыкла целыми днями оставаться одна, и в такие дни она беседовала с отцом; во время этих бесед, продолжавшихся и в школе-интернате, гремели пушки, взрывались снаряды; Месмеханум перевязывала отцу раны, а отец гладил ее по черным волосам своей крупной мужской рукой и улыбался. Тепло и ласка его больших мужских рук разливались по всему ее телу и пробуждали в ее сердце такую ответную любовь, что от умиления у нее иногда появлялись слезы. Но однажды, в один из самых обычных дней, Месмеханум поняла, что отец ее никак не мог погибнуть на фронте, потому что она родилась через три года после окончания войны. После такого открытия Месмеханум прекратила всякие разговоры с матерью об отце. Молчала и мать. Может быть, Гюльдесте постепенно забыла о прежних разговорах с дочерью или, как знать, не забыла, но, как и дочка, затаилась?

Все же тепло и ласку больших отцовских рук долгое время еще помнила Месмеханум, да, по сути дела, и теперь они согрели ее — пусть изредка, пусть совсем немного.

А Мамедага смотрел на высокую грудь стоявшей перед ним сердитой девушки, на ее круглые коленки, красивые лодыжки, пальцы ног в сандалиях — и сердце его тревожно заколотилось. Давно он уже не испытывал этой тревоги, и

порой ему казалось, что она навсегда прошла вместе с юностью. Но сейчас тревога росла, окатывая волнами, так, что дух захватывало, и начисто смывая, погребая под собой все первые впечатления Мамедаги, и смешное перестало быть смешным, забавное — забавным, от задиристости не осталось даже следа: в резком свете фургона перед Мамедагой стояла Она.

Дни и ночи колеся по дорогам Аншерона, Мамедага, конечно, навиделся всякого и смотрел на жизнь трезво, — вот почему теперь это забытое волнение, возвращавшее его к юношеской поре, он воспринял как еще одну частицу этой удивительной ночи в Загульбе; только на этот раз он ощутил ее загадочную прелесть не одной душой, но и всем своим существом.

Заметив наконец, что глаза Мамедаги беспокойно бегают по ее желтой кофте, синей юбке и босым ногам, Месмеханум по-своему истолковала волнение этого высокого широкоплечего парня и с испугом покосилась через открытую дверь фургона на море с белеющими гребешками волн, ощутила безлюдность берега и поэтому скорее для собственного успокоения, чем для Мамедаги сказала:

— Я не из тех, не думай!

— А кто они — те, о которых я думаю? — Мамедага сел на перила и обхватил колено руками. — А?

— Я не знаю кто...

Взглянув в голубые глаза парня, девушка поняла, что встревожилась зря, и еще она поняла, что в его взгляде есть что-то очень родное, будто она много раз видела этот взгляд. Почему ей так показалось? Она с удивлением посмотрела на Мамедагу.

— Что сказали в милиции?

— Сказали, что на этот раз дела его плохи... Пятнадцать сутками не отделаешься...

— А Наджафу он позвонил?

Месмеханум снова удивилась этому парню — нет ничего на свете, чего бы он не знал! Но, как раз про это он, видно, не знает, и она сказала ему, чтобы знал и это:

— Наджаф в прошлом году выгнал его из своего кабинета...

Сказала — и сама изумилась, как будто не она, а совсем другой человек произнес эти слова. Уж сколько лет Месмеханум привыкла молчать при посторонних, — никто не знал, каково ей приходится с мужем, их домашние разговоры остались дома, и Месмеханум считала, что так будет

всегда, до самой смерти. Умрет она, и люди будут говорить, что жила, мол, на свете такая Месмеханум и у этой Месмеханум был муж по имени Мирзоппа, они жили вместе... Но как они жили — этого никто не будет знать, и какая была она, эта Месмеханум, и что бывало у нее на сердце — тоже никто не будет знать. Ладно, пусть так. Но если никто ничего не должен узнать, тогда что же ей нужно сейчас, здесь, в этом фургоне, рядом с этими деревянными зайцами, лисой, медведем, львом и неведомым зверем, рядом с этим чужим мужчиной? Отчего она не уходит? Разгневанная, ты пришла сюда, а теперь видишь, что парень ни в чем не виноват и от него ничего не зависит, все произошло из-за твоего непутевого мужа, так чего же ты не уходишь и чего еще ждешь?

Месмеханум подумала об этом, и ей вспомнился ее дом, вспомнилась ее кровать, вспомнилось, что она снова одна-одинешенька в этом доме; утром встанет, пойдет на работу, продаст помидоры, огурцы, виноград — что придется, а вечером снова одна-одинешенька будет, сидя в комнате, смотреть из окна на большое инжирное дерево перед их домом и с тоской думать о том, что нет ничего хуже, чем вот так одиноко сидеть перед окном, лучше уж сорваться, ругаться, драться с Мирзоппой, слушать, как его громко рвет в туалете, а потом — как он спит, храпя и прихвистывая...

Однажды, как всегда, в комнате запахло водочным перегаром, вошел Мирзоппа и, громко плача, как будто сообщая самую горестную весть (после выпивки он частенько начинал плакать), сказал, что Наджаф выгнал его из кабинета.

— В одном квартале выросли, в одном месте в альчики играли, строгали палочки шимагадер на одном асфальте, а теперь он меня выгоняет из кабинета!..

Так, страдая и переживая, он поплакал немного, пожаловался на неверность мира, а потом, как обычно, излил свою злость на Месмеханум, выдумав причину, пустил в ход руки, ноги, а Месмеханум расцарапала до крови его жирную физиономию. Но до всего этого никому не было дела. И этому сидящему на перилах, разглядывающему ее в ярком свете фургона голубоглазому парню тоже не было до нее дела, и Месмеханум сейчас же, выйдя отсюда, пойдет сначала в отделение милиции и снова подымет там крик-шум, и снова из этого крика-шума ничего не выйдет, после чего одна-одинешенька она вернется домой, и пройдет еще одна тоскливая ночь, только и всего.

— Сколько тебе лет? — спросил Мамедага.

— Двадцать четыре.— Месмеханум снова удивилась сама себе: с чего это она отвечает этому чужому парню на такие вопросы?

— Тебе больше девятнадцати не дашь.

— Да, все так говорят...— Месмеханум улыбнулась и, сама не ожидая того, спросила:— А тебе сколько?

— Как по-твоему?

— Тридцать... два!

— Два года прибавила...

— Тридцать?

Как будто вчера это было: счет возраста Мамедаги оканчивался на «надцать» — пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать... И тридцать казалось тогда ему чем-то очень далеким, он не мог представить себя в тридцать лет. Но верил: когда придет это время, мир станет совсем другим. Солнце — солнцем, луна — луной, звезды — звездами, но Мамедага уже мальчишкой понял, что под одним солнцем, луной и звездами у каждого свой мир; об этом он думал по ночам, особенно в летние ночи, когда спал на крыше; Сакина-хала с вечера стелила на крыше палас, клала толстый шерстяной тюфяк, большую подушку, простыню — и постель Мамедаге готова. Ложась в полночь, Мамедага смотрел на луну, на звезды, ощущая прохладу выметенной мокрым веником крыши, и думал о том, что через много-много лет ему исполнится тридцать и мир станет другим; в чем будет состоять эта перемена, он не знал, но верил, что совершенно иным станет мир. Закрывая глаза, он вел по улицам Баку новенькую «Победу» — такси. Самой большой мальчишеской мечтой Мамедаги было стать шофером такси, и он каждую ночь, перед тем как заснуть, накачивал насосом шины своей «Победы», проверял мотор, осматривал аккумулятор, вытирал смоченными в бензине концами мазут со своих рук, а потом вел такси по улицам города.

Но казавшиеся такими далекими тридцать пришли мгновенно — так думал Мамедага сейчас. Он мотался по улицам Баку шофером такси, а потом перешел в этот тир. О, если бы в те летние ночи, когда он спал на крыше, ему пришло в голову, что когда-то у него будет серебристый тир-фургон, он не смог бы уснуть от нетерпения! Да, прошли годы, и теперь этот мир отдельного человека изменится, как и он сам, полнеет или худеет, но суть его неизменна — новые люди приходят в этот мир, другие

уходят из него и забываются, но сам этот мир человека, как и большой мир людей, не становится совершенно другим: как постоянны солнце, луна, звезды, так всегда есть желанные добра и зла, мужество и подлость, жадность и мечта — есть все, только у каждого это проявляется по-своему.

— А как тебя зовут? — спросила Месмеханум, и у нее просто опустились руки: что за вопросы она задает? Зачем ей знать, как зовут этого голубоглазого парня? Почему она так унижает себя?

— Мамедага, — он улыбался. — В детстве меня дразнили так:

Мамедага,
в носу серьга,
ходил на бега,
выиграл рога!

— Меня тоже дразнили. Когда я не знала урока, очень боялась, что учитель вызовет, у меня руки-ноги дрожали. А ребята смеялись:

От страха Месме
не ханум, а... «ммеел».

Месмеханум рассмеялась громко, с удовольствием, вспомнив ту маленькую беззаботную девочку, боявшуюся вызова к доске: но вдруг перед ее глазами появилась жирная физиономия Мирзоппы, она словно почувствовала запах спиртного и вспомнила о том, что Мирзоппа сидит сейчас в отделении милиции и получит самое меньшее пятнадцать суток, а она... Она изумилась своему бесстыдству, но решила: будь что будет, но она не желает уходить из этого ярко освещенного фургона.

— Вот уж не сказал бы, что ты пугливая овечка!

— Теперь я не такая!

— Да, теперь ты бедовая! — Мамедага тоже громко и с удовольствием рассмеялся.

Месмеханум посмотрела в глаза парня, подумала: странный парень, такие большие голубые глаза, а брови, ресницы, волосы черные; правда, голова уже начала седеть, но ведь ему только тридцать...

— О чем ты думаешь?

— Ни о чем, — соврала Месмеханум и почувствовала, что краснеет.

Месмеханум разучилась краснеть с тех пор, как вошла в дом Мирзоппы, и теперь, когда она почувствовала, что краснеет, ей показалось, что на свете нет никакого Мирзоппы,

она никогда не выходила замуж, все это неправда, и она снова прежняя Месмеханум, плачущая на индийских фильмах, и горечь всех этих лет — просто сон; на один только миг ей так показалось, но она поняла, что пора уходить отсюда — от голубых глаз этого парня, о существовании которого еще час назад она просто не знала.

— Ну ладно, я пошла...

Мамедага не отвечал. Что ж, это совершенно естественно: уходит девушка, случайно здесь появившаяся. Так он подумал, но сердце его охватило какое-то беспокойство. Он еще не знал, но уже почувствовал: уйдет она — и вся таинственная красота вечера исчезнет, а внушительные скалы всю ночь будут шептать ему о бессмысленности его жизни. Мамедага молчал, не понимая самого себя.

Месмеханум не сошла по приставной лестнице, а спрыгнула прямо из открытой двери фургона на песок и посмотрела в сторону Загульбы: в селе все еще мерцали огни. Месмеханум знала там многих и могла сейчас представить каждого из этих знакомых ей людей, а вот из них никто не знал, что продающая с восьми утра до шести вечера в овощном киоске помидоры, огурцы, виноград и дыни Месмеханум в это время ночи смотрит на льющийся из окон свет, стоя на берегу моря; никто из них не знает, что в сердце глядящей на свет их окон Месмеханум, чей муж сидит в отделении милиции и ждет наказания — самое меньшее пятнадцать суток! — вернется домой уже не одна: с ней будет память о голубых глазах парня, которого она знает только по имени. Да, этого никто не знает и не узнает, хотя, в сущности, и сама Месмеханум знает только то, что скоро этого серебрящегося в лунном свете фургона здесь не будет и ей останется вспоминать эти голубые глаза, думать об этих голубых глазах, сидя по вечерам у окна и глядя на инжировое дерево.

Сердцем она вдруг почувствовала сходство или даже родство между взглядом этих голубых глаз и теплом ласковых отцовских рук, которые когда-то гладили ее по голове в ее мечтах — и дома, и в школе-интернате. Давно уже Месмеханум не чувствовала в себе столько доброты и нежности.

Мамедага, спустившись по лестнице, пошел было за девушкой, но повернул к морю и сказал:

— Ветер стих...

Месмеханум остановилась и, подняв ладонь, сказала:

— Да, стих... Вечером дула хорошая морьяна.

Мамедага сказал:

— Моряна — теплый ветер... А ветер должен быть прохладным...

Месмеханум сказала:

— Я люблю моряну... Моряна дует в сторону моря, и можно с морем разговаривать...

Невероятное изумление охватило Мамедагу:

— Ты приходишь на берег, чтобы разговаривать с морем?!

— Почему, разве нельзя говорить из дома? Моряна относит слова к морю...

Месмеханум сказала — и на этот раз здорово на себя рассердилась: да кто такой этот парень, с чего это она раскрывает перед ним свою душу? И для чего? Месмеханум задала себе этот вопрос и, остановившись, обернулась.

Мамедага посмотрел в глаза стоящей перед ним девушки. В лунном свете эти глаза казались черными и сверкали ярче, чем в фургоне. В этом мире есть село под названием Загульба, а там — красивая девушка по имени Месмеханум, и она любит моряну за то, что, когда дует моряна, можно беседовать с морем, — ведь сказанные человеком слова моряна передаст морю. Этого не знал не только Мамедага, на всей земле вообще никто не знал, что эта шумливая, крикливая, скандальная девушка, когда дует моряна, садится у окна и разговаривает с морем...

Месмеханум уже ясно понимала, что отсюда надо поскорее уходить. Приблизившись к девушке, Мамедага некоторое время постоял перед нею, потом нерешительно спросил:

— О чем ты думаешь?

Глядя прямо в его голубые глаза, Месмеханум сказала:

— А тебе какое дело, о чем я думаю? Кто ты такой? — Она сказала это и сама себе ответила, что эти глаза совершенно не виноваты в том, что она все им выкладывает.

— Я — Мамедага.

Месмеханум усмехнулась.

Мамедага,
в носу серьга,
ходил на бега,
а выиграл рога!

Мамедага усмехнулся:

От страха Месме,
не ханум, а сммее!.

Месмеханум рассмеялась — снова перед ее глазами появилась та беззаботная девочка.

— Да, меня дразнили ужасно!

И Мамедага рассмеялся — ему вспомнился мальчишка, который бегал за всеми проезжавшими по кварталу машинами.

И вдруг у Месмеханум пропала вся злость на этого высокого голубоглазого парня, внезапно он стал ей чуть ли не родным человеком; будто они познакомились не час назад, а очень давно, еще в детстве, и тогда этот голубоглазый парень — он еще не стал таким представительным! — много раз видел Месмеханум, идущую в школу в красном пионерском галстуке и из школы домой с перепачканными чернилами пальцами.

Мамедага пошел к морю, остановился и обернулся, глядя на скалы. Норд уже не бросал на них волны, и молилитные скалы теперь не казались суровыми, неприступными башнями, они стали легкими, как лодки, вот-вот поплывут, осторожно разрезая воду.

И Месмеханум глядела на скалы и, махнув в их сторону рукой, сказала, улыбаясь:

— В детстве я боялась этих скал, особенно вечером. Когда я не слушалась, мама говорила: «Смотри, эти скалы по ночам приходят и забирают непослушных детей!» И я начинала дрожать... Я даже не спрашивала, куда они забирают? А тебя пугали в детстве?

— Нет...

— И ты ни разу не дрожал от страха?

— Однажды было.

Пристально посмотрела Месмеханум на Мамедагу, так пристально, что Мамедаге показалось, что эта разговаривающая с морем, когда дует моряна, смуглая девушка сейчас прочтет все его мысли, узнает все, что у него на сердце. Поймет то, в чем Мамедага, честно говоря, сам пока не мог разобраться, он только чувствовал какое-то нежное тепло в сердце, как будто и там дует легкая моряна. Давно уже, очень давно, с тех летних ночей, когда он спал на кировой крыше их дома, в сердце Мамедаги не было такого тепла, то есть, конечно, за все эти годы у него было немало причин для радости и веселья, но вот такого нежного тепла не было в его сердце, и теперь он понял, что все эти годы тосковал по такому теплу.

Помолчав, Месмеханум спросила:

— Чего же ты испугался?

— Да так...

В последнее время, колеся по дорогам Апшерона, он почему-то вспоминал эту старую историю и порой снова, как и двадцать лет назад, видел Китабулла улыбающимся, а когда Китабулла улыбался, то в уголке рта у него поблескивал золотой зуб, и вот сейчас, в эту удивительную летнюю ночь на песчаном морском берегу Загульбы, снова улыбнулся Китабулла, и сверкнул его золотой зуб.

— Ну, а все-таки?

— Так... Ветер улетел. Эта старая история, просто к слову пришлась. Хочешь, я тебе что-нибудь другое расскажу, смешное?

— Не хочу, расскажи, чего ты испугался.

— Жили-были три брата, Самедулла, Ядулла и Китабулла. Самедулла, самый старший, носил закрученные вверх усы и работал в море. Когда в праздник он надевал свои медали и шел на демонстрацию, ребята с нашей улицы бежали за ним, глаз не отрывая от его груди. Средний брат, Ядулла, был сапожником. Его будка стояла на бульваре рядом с нынешним Кукольным театром. Ребята из квартала часто забегали к Ядулле, потому что их ботинки он чинил бесплатно. Младшему — Китабулле — было двадцать пять; работал он шофером на полуторке, и, когда грузовик Китабуллы останавливался в Узком тупике, ребята гурьбой залезали в кузов, а один, самый достойный, садился в кабину рядом с шофером; покатав ребят, Китабулла привозил их снова к Узкому тупику.

А кабина у Китабуллы всегда выглядела нарядно и образцово. За стеклом торчали две открытки, надписи на которых ребята знали наизусть. На одной открытке был изображен Сталин: с трубкой в руке, он улыбался, смотрел на карту СССР. На краю карты был нарисован рейхстаг с развевающимся над ним красным флагом. Сталин говорил: «Победили врага, победим и засуху!» На второй, в обрамлении красного сердечка, улыбалась девушка, склонив голову на плечо парня и прижав к своей груди букет фиолетовых, красных и желтых цветов. А над головами влюбленных пархали два целующихся голубка, и надпись на открытке гласила:

Пусть наша дружба будет вечной,
Как дружба этих голубей.

Многие девушки квартала были без ума от Китабуллы, и ребята об этом знали (разве могло быть такое, чего не зна-

ли бы мальчишки!). Конечно, у нас было немало молодых, симпатичных парней, но Китабулла был среди них звездой. Баладжоханум, жена мясника Аганаджафа, сидя перед своим окном с железной решеткой на маленькой деревянной табуретке, грызла семечки и говорила, подмигивая в сторону Узкого тупика, собравшимся вокруг нее девушкам: «У этого чертова парня лицо как у Юсифа Прекрасного; если режешь лук, на него не засматривайся, а то и охнуть не успеешь, как вместо лука палец порежешь!..»

Ребята и Мамедага не раз слышали подобные беседы; они сразу смеялись, что речь идет о Китабулле. Как только полуторка Китабуллы останавливалась перед Узким тупиком, девушки квартала начинали тайком поглядывать из окон в сторону машины и под каким-нибудь предлогом выходили на улицу; но и ребята, и девушки — все знали, что Китабулла влюблен в девушку из другого квартала; она любит его, но вот родители почему-то противятся их браку. И сколько бы ни обсуждалась эта тема, никто не мог понять: как это можно не доверять девушку такому парню, как Китабулла?

И вот однажды вечером, по всему кварталу разнеслась весть, что возлюбленная Китабуллы сбежала из дома; сейчас она у Самедуллы, а послезавтра состоится свадьба.

Китабулла с братьями жил в конце Узкого тупика. В их дворике было три дома. В квартале их называли «Мансур шушабенди» — терраса Мансура; Мансур был дедом Китабуллы, и все эти три одноэтажных дома он выстроил собственными руками. У каждого дома имелась терраса, украшенная деревянными решетками — шебеке, и фотографии этих шебеке висели в музее. В одном из домов жил Самедулла с семьей, в другом — Ядулла, а в третьем должна была жить семья Китабуллы.

В тот вечер Мамедага с ребятами разожгли перед Узким тупиком костер, а девушки их квартала, прогуливаясь по двое, по трое мимо Узкого тупика, старались просверлить взглядом ворота Китабуллы.

Утром Самедулла с праздничными медалями на груди, словно в день демонстрации, обходил всех соседей, зашел он и во двор, где жила семья Мамедаги, и Сакине-хала была вручена маленькая фотооткрытка-приглашение. На ней был изображен голубь, держащий в клюве письмо, а на письме было написано: «Приглашаем Вас на бракосочетание нашего дорогого Китабуллы с дорогой Тамиллой. Торжество состоится 17 сентября 1951 года в доме стар-

шего брата жениха Самедуллы». А понижее шли две строчки:

Любовь и в наши дни, как встарь,
суть жизни и ее алтарь.

— Сакина-баджи, — сказал Самедулла, — Али нет, не есть ты. Что значит для меня Али, ты знаешь. Он был для меня всем, но что делать, его не вернешь. Прошу тебя, приходи завтра к нам, у Китабуллы свадьба.

Отцы Мамедаги и Самедуллы были друзьями с детства, вместе пошли они воевать, но Самедулла вернулся один.

Сакина-хала ответила:

— Пусть будут счастливы молодые! Пусть у них будет много сыновей и дочерей, пусть они вместе встретят старость! Большое спасибо за приглашение.

В тот день весь квартал доставал из нафталина наряды, гладил костюмы, стирал рубашки. Говорили лишь о том, как Китабулла любит Тамиллу и как Тамилла любит Китабуллу. Теперь уже все знали, что девушка, по которой столько времени страдал Китабулла, то есть Тамилла, учится в институте, и родители хотели выдать ее за преподавателя истории, но Тамилла любила только Китабуллу и однажды вечером собрала чемодан и ушла из дома. Почти все сведения были получены от жены Ядуллы — Фатьмы. В зеленом шелковом платье, сшитом ею за одну ночь, Фатьма ходила из дома в дом, занимала казаны, тарелки, стаканы, блюда и всем повторяла одно и то же:

— До чего умная девушка и какая красивая, в жизни такой красивой девушки не видела, не девушка, а лунный серп. Она достойна Китабуллы. Они без ума друг от друга. Зато отец у нее — настоящий тиран. Утром Самедулла-гадеш пошел к ним мириться, хотел пригласить на свадьбу их и всех их знакомых — пусть будут нашими дорогими гостями! — но его даже в дом не пустили. Это Самедулла-гадеша, а? Самедуллу, старшего брата, не пустили в дом!

Мамедага вместе со всеми ребятами прямо-таки застывал от изумления: у человека столько медалей, а его не пустили в дом?!

Фатьма рассказывала:

— Большой человек отец Тамиллы! Каждое утро за ним машина приходит с работы, «эмка». Ну и что? Говорят, он сказал: «Тамилла втоптала мою папаху в грязь, нет у меня больше дочери, до конца жизни нет, не показывайся мне на глаза!» А был бы умный, спасибо сказал:

разве можно найти для дочери лучшего жениха, чем Китабулла? Да, но дочка его — что за девушка! Ум — при ней, воспитание — при ней. Девушка, достойная Китабуллы! Оба как лепестки розы, тьфу-тьфу, не взглянуть бы!

Всем в квартале было известно, что Фатьма очень привязана к своему младшему деверю, но ей верили, когда она расхваливала и Тамиллу — умна да красива, потому что девушка, которую такой парень, как Китабулла, ждал четыре года, девушка, которая отказалась выйти замуж за имеющего диплом учителя истории, — такая девушка просто не могла быть не чем иным, как лепестком розы.

Живший в нижней части квартала кларнетист Алекпер, прочистив свой кларнет с серебряными клавишами, говорил:

— Давненько уже в квартале не было свадеб — и вот, пожалуйста, да еще свадьба Китабуллы! Завтра я так зальюсь, чтобы даже у моллы Сулеймана косточки сами во себе в пляс пошли! Афлатуну я велел принести нагару, а Сиявуш возьмет зурну — все будет достойно Китабуллы! Пусть знает девушка, за какого молодца она выходит!

В тот день Солмаз то и дело спрашивала у брата:

— Ты принесешь мне конфетные обертки?

Мамедага важно отвечал:

— Сколько раз можно говорить об одном и том же?

— Много-много?

— Да, очень много!

Завтра на свадьбе будут, по обычаю, осыпать ребят самыми разными конфетами, и они, конечно, их съедят, но красивые обертки разглядят и соберут.

Сакина-хала, открыв давно не открывавшийся сундук, достала из него давно не надевавшееся желтое шелковое платье и, вывесив его на террасе, чтобы ушел запах нафталина, сказала:

— Не могу обидеть Самедуллу, да и дух Али будет недоволен, если я не пойду на свадьбу. Али, пусть земля ему будет пухом, очень любил Китабуллу и всегда говорил: хорошим парнем станет Китабулла!

В тот день у ворот Китабуллы бляели два барана с красными ленточками вокруг шеи, а ребята, взобравшись на тутовое дерево перед Узким тупиком, срывали листья и насыпали их перед этими баранами с красными лентами. Скоро на туге листьев совсем не осталось: мясо баранов должно быть вкусным, ведь всему кварталу известно замечательное высказывание Алхасбека: «Эх, вкус у баранины

исчез!.. А баран в чем виноват?.. Если баран сидит в городе и ест вместе с человеком борщ, слушает радио, гуляет по асфальту, то какой же вкус будет иметь его мясо?» Но эти бараны с красными лентами в ночь перед свадьбой съели столько тутовых листьев, что завтра даже Алхасбек будет восторгаться вкусом их мяса!

В ту же ночь, лежа в постели, Мамедага думал о завтрашней свадебной суете, видел радостную улыбку Китабуллы и сверкающий золотой зуб в уголке его рта, видел свою мать, надевшую желтое шелковое платье, и радовался, что наконец-то мама смеется; видел, как его мама вместе с другими сидит в комнате для женщины, хлопает в ладоши и наслаждается игрой гармонистки Нисы, приговаривая: «Ай джан! Ай джан!» Потом Мамедага задумался о двух строчках, которые прочел на фотооткрытке-приглашении, и попытался понять смысл этих стихов, но, как ни старался, понять не смог, хотя знал твердо: если в честь любви баранам на шею повязывают красные ленточки, а его мама, достав из сундука желтое шелковое платье, вешает его проветриться, значит, любовь необходима живущим на земле людям, значит, придет день, и такое вот фото-приглашение от его имени пойдет гулять по рукам людей в квартале, и все люди прочтут на нем две строчки:

Любовь и в наши дни, как ветарь,
суть жизни и ее алтарь.

И только Мамедага, думая обо всем этом, заснул, как в Узком тупике поднялся плач. В квартале, где жил Мамедага, много происходило событий, но такого плача он не слышал ни разу в жизни. Среди ночи крики, вопли и рыдания женщин в узком тупике слышались так, будто весь тупик взвыл от неожиданного и страшного горя. В одну минуту волосы на голове Мамедаги встали дыбом. Раздался крик вскочившей с постели и выбежавшей во двор Сакины-хала, и у Мамедаги задрожало все тело.

Весь квартал поднялся на ноги, от детей до стариков, все бежали на улицу, и в ту ночь перед Узким тупиком было столько народу, и все эти люди подняли такой плач, что прошли дни, месяцы, даже годы, но эта ночная толпа, этот ночной ужас врезался навсегда в память людей, звучал у них в ушах.

«Китабулла попал в аварию и погиб!» Эта весть в ту ночь поразила в квартале всех.

Вечером, доставляя груз из Локбатана, неподалеку от

Шихова, Китабулла столкнулся с пустым автобусом. Руль придавил грудь Китабуллы, вдавился ему в живот. Он тут же скончался. С пьяным водителем автобуса ничего не случилось.

Когда тело Китабуллы сняли с машины и понесли в Узкий тупик, распахнулись ворота дальнего двора и, вырвавшись из рук женщины, к гробу кинулась простоволосая босая девушка. Она ухватила обеими руками за гроб, и у мужчин, несших гроб на плечах, задрожали руки; они остановились, пораженные ее безумным взглядом; девушка дернула гроб так, что тело чуть не выпало из него, и мужчины, быстро сняв с плеч, положили его на землю; в тот же миг девушка кинулась на труп, и вырвавшийся из ее груди вопль слился с общим стоном этой почной толпы.

Вот такой впервые увидели Тамиллу жители квартала.

А утром Фатима, разодравшая себе лицо, кричала сорванным голосом так, что у нее чуть не лопались вены на шее:

— Приготовленных для твоей свадьбы баранов режут тебе на поминки, ай Китабулла, ва-а-ай!..

И гости, приглашенные на свадьбу, пошли хоронить Китабуллу — весь квартал пошел. Десятиметровый путь от квартала до кладбища катафалк пронесли на плечах, и никто не сел в машину.

Друзья Китабуллы, шоферы, приехали на своих машинах и загрохотали ими квартал. Всю дорогу до кладбища сигналили их машины.

На кладбище Алекпер трясущимися руками вытер слезы, вынул кларнет из футляра, собрал его и сыграл над катафалком Китабуллы сейгах¹. Кларнет Алекпера продался с Китабуллой от имени всего квартала. В тот сентябрьский день кларнет звучал так, словно звуки мугама рассказывали о всех горестях мира.

Голова Китабуллы тоже была повреждена, поэтому лицо ему не открыли, и Мамедага никак не мог поверить, что этот длинный, завернутый с ног до головы в саван предмет — Китабулла.

Мамедага впервые в жизни попал на кладбище, и теперь он никак не мог осознать, что сейчас не что-нибудь, а тело Китабуллы в этой длинной белой оболочке снимут с катафалка и положат в свежевырытую могилу, насыплют

¹ Сейгах — азербайджанский мугам (музыкально-вокальный жанр).

сверху земли и польют водой, после чего все вернутся в квартал, а эта могила останется здесь, и будет лить дождь и дуть ветер, а эта могила не сможет никуда уйти, и черви набросаются на нее. Все тело Мамедаги содрогнулось, ему показалось, что черви поползли по его собственному телу; в этот сентябрьский день он понял, что придет время, и его самого положат в такую же могилу, укроют сверху землей, а мир останется прежним: в кинотеатрах, как и прежде, будут показывать кинофильмы; в театрах, как и прежде, будут ставить спектакли; люди, как и прежде, будут беседовать друг с другом; дети, как и прежде, будут готовить уроки... Мамедагу объял ужас, вылезавшими из орбит глазами он смотрел на длинный белый кокон, он задыхался, перед глазами его вместо Китабуллы, чей рот и нос были замотаны саваном, поднялся белый туман, и вдруг Китабулла улыбнулся, и в белом-пребелом тумане сверкнул его золотой зуб; Мамедага помнил только, что громко вскрикнул, а что было потом, он не знал, — он пришел в себя уже дома, на своей кровати, спустя двое суток после похорон.

В тот год зимой в Баку шел сильный снег, уроки были отменены, стояли машины, трамваи. Старики квартала говорили, что не помнят в Баку такой снежной, такой морозной зимы.

Однажды распространилась весть о том, что в одном из верхних кварталов появился волк. Согнувшийся за три месяца Самедулла, услышав об этом, произнес трясущимися губами:

— В наш дом волк пришел в сентябре...

А Алхасбек повторял слова Деде Коркута:

О бранный, бранный, бранный мир,
где смертен человек и сир...

...Они медленно брели по мокрому песку берегом моря. Месмеханум, помолчав, спросила:

— А что стало с девушкой?

— Тамиллой?

— Да.

— У Фатьмы было двое детей, но когда прошло сорок дней со дня смерти Китабуллы, она взяла обоих детей и ушла к отцу, развелась с Ядуллой и заключила кебин¹ Тамиллы с Ядуллой. Фатьма говорила: Тамилла — моя

¹ Кебин — брачный договор.

сестра, и Ядулла будет теперь моим братом. Все знали, что Фатьма сделала это в память о Китабулле...

— А почему Тамилла не вернулась в отцовский дом?

— Откуда мне знать?.. Наверное, не могла вернуться.

да...

Все знали, что Фатьма заставила Ядуллу, потому что Ядулла и Фатьма очень любили друг друга.

Луна поднялась совсем высоко, и теперь линия горизонта, где соединялось полное бесчисленных звезд небо с морем, стала невидимой в далекой мгле; вместо горизонта была черная-черная пустота, а далеко-далеко, там, где проходила электричка, огни станции Бузовны отражались в море, и эти огни казались сейчас звездами моря; звезды моря и небесные звезды смешались между собой, но и среди этого множества выделялась утренняя звезда — большая, светлая, одинокая...

— А разве Тамилла любила Ядуллу? — спросила Месмеханум.

— Откуда мне знать... — сказал Мамедага и подумал: почему же этот простой вопрос до сих пор не приходил ему в голову, почему он не задумывался, любила Тамилла Ядуллу или нет?

Мамедага посмотрел на Месмеханум, не отрывавшую глаз от моря, и вдруг ему показалось, что эта смуглая девушка, неожиданно возникшая среди ночи на морском берегу Загульбы, — самый дорогой и родной для него человек.

— Бедные... — сказала Месмеханум.

— Китабулла?

— И Китабулла, и Тамилла, и Ядулла, и Фатьма, и ты...

— А я почему?

— Потому что мальчишкой увидел такое... До сих пор не забылось — и не забудется...

Конечно, откуда было Мамедаге знать, что и Месмеханум в бессонные длинные ночи думала о жизни и смерти? В те самые ночи, когда, с трудом дотаскив Мирзоппу до кровати, свалила его на постель, и Мирзоппа, издавая ртом, носом и животом разнообразные звуки, впадал в пьяный сон. В такие ночи у Месмеханум горело сердце, и она думала о своей жизни и о своей смерти, но почему-то ее думы заканчивались всегда тем, что Месмеханум попадала в какой-то сказочный мир и бродила среди волшебников, которые ее любят и лелеют. Где-то в середине ночи Мирзоппу начинало мутить, частенько он бывал не в состоянии встать

и дойти до туалета, поэтому, вытянув шею, он прямо с кровати блевал на пол. Однако, если Месмеханум с вечера ставила к кровати таз, Мирзоппа, являясь пьяным и замечая таз, выходил из себя:

— Ты за кого меня принимаешь? Пьяница я, что ли?!

И начинался скандал, пускались в ход руки-ноги, царапались лица, извергались ругательства; после чего таз уже больше не появлялся рядом с кроватью Мирзоппы, а он снова блевал с кровати на пол, но Месмеханум больше ни запаха не чувствовала, ни мычания Мирзоппы не слышала — она уходила в свой сказочный мир, пребывала там, среди добрых волшебников, на их ласку отзывалось не только ее сердце, но и все ее тело, оставшееся нетронутым неделями, а то и месяцами; и, ощущая эту нежную ласку, Месмеханум засыпала.

И сейчас, в эту странную ночь, Месмеханум показало, что она наяву попала в придуманную ею сказку, и поняла, почему ей не хотелось уходить из фургона, где на стенах висели деревянные зайцы, лиса, медведь, лев и неведомый зверь и который сверкал серебром в лунном свете, будто вышел из мира ее бессонных ночей для того, чтобы этой ночью появиться здесь, на морском берегу Загульбы; и большие голубые глаза высокого симпатичного парня так похожи на добрые, ласковые глаза ее волшебников...

— У тебя есть на небе своя звезда? — спросила Месмеханум.

— Моя звезда?... — Мамедага посмотрел на небо. — Нет, у меня нет своей звезды.

На дорогах Апшерона у Мамедаги было много знакомых автоинспекторов, но в небе Апшерона своей звезды у него не было. Мамедага забыл, что человек выбирает себе на небе звезду и всегда может найти ее среди других; для Мамедаги все это осталось в детстве, как и другие игры.

— А у тебя есть звезда!.. — Месмеханум посмотрела на Мамедагу с такой гордостью, словно ей принадлежал весь мир. — Взгляни. — Протянув руку, она показала на еле различимую звездочку под утренней звездой.

— Как ты ее разыскала? — Мамедага отвел глаза от этой едва различимой звездочки и, улыбаясь, посмотрел на Месмеханум.

А Месмеханум спросила:

— Твоя улыбка похожа на улыбку Китабуллы?

Месмеханум спросила, но тут же испугалась, что этот голубоглазый парень, улыбающийся ей в лунном свете,

сидя за рулем своего фургона, тоже может встретиться с машиной пьяного и превратиться в длинный белый предмет; она испуганно посмотрела на свою звезду, чей свет с трудом пробивался на морской берег Загульбы.

Месмеханум не случайно выбрала себе такую далекую, едва различимую звезду. Глядя порою по вечерам на большое инжировое дерево перед окном, она думала о том, что и счастье ее так же непостижимо, как эта звезда. А потом, когда у Месмеханум появился волшебный сказочный мир, расстояние до той звезды перестало быть непреодолимым, оно просто стало расстоянием до этого волшебного мира.

Вопрос Месмеханум озадачил и Мамедагу — словно он снова увидел улыбающееся лицо Китабуллы, и его золотой зуб сверкнул в лунном свете.

— Не знаю...

Месмеханум сказала:

— Знаешь, о чем говорит мне моя звезда?

Мамедага молчал.

— Моя звезда говорит мне: Месмеханум, ты никогда не умрешь! Месмеханум, ты всегда будешь жить! Месмеханум, черная земля тебя не увидит!..

Месмеханум захотелось, махая руками, громко закричать в эту странную летнюю ночь прямо своей звездой: «Э-ге-ге-гей!», но она сдержалась, потому что и без того уже вывернула всю свою душу.

Мамедага спросил:

— А больше тебе ни о чем не говорит звезда?

Месмеханум отвела глаза от своей далекой звезды и, услышав в голосе Мамедаги смех, сама рассмеялась:

— А больше ни о чем не говорит!

— Разве не говорит она тебе, Месмеханум, что, в сущности, ты не Месмеханум, а Месмебебе?..

— А-а-а... Это я-то ребенок? — Месмеханум ответила ему усмехаясь, но ей все же понравились его слова. В устах Мамедаги «Месмебебе» прозвучало как-то очень ласково, по-родному, и теплота этого слова разлилась по сердцу Месмеханум. Но тут же ей вспомнилось, как три-четыре месяца назад она поругалась с милиционером Сафаром.

Милиционер Сафар в очередной раз задержал пьяного Мирзоппу и повел его в отделение милиции. Узнав об этом, Месмеханум, как всегда, чуть не выпарапала милиционеру Сафару глаза. Милиционер Сафар, вытирая мокрым платком лицо, сказал:

— Дочка, ты еще ребенок, просто ребенок! Жалко мне тебя!..

Тогда эти слова сильно задели Месмеханум, ей показалось, что милиционер Сафар своими маленькими глазками, в сущности, многое видит и читает в чужой душе. У нее даже опустились руки, и она подумала: почему из-за безобразных поступков Мирзоппы она прибегает в милицию и проявляет такое неуважение к пожилому мужчине? Ведь каков бы он ни был, этот мужчина, он в десять раз лучше Мирзоппы! Месмеханум хорошо понимала и хорошо знала, что о своем муже нельзя такие слова говорить и даже думать такое. Говорить-то, конечно, Месмеханум никому ничего и не говорила, а мысли эти с тех пор то и дело приходили к ней. Правда, и после, каждый раз, когда Мирзоппа, напившись, устраивал дебош и попадал в отделение милиции, Месмеханум отпирывалась за ним и поднимала там скандал: мол, выпустите моего мужа, — ведь Мирзоппа был ее мужем, и она должна была вести себя так, но все это она прodelывала уже механически, а душа ее была далеко...

Месмеханум захотелось забыть обо всем этом. Сейчас она не хотела думать ни о чем плохом на свете, и она шепотом сообщила Мамедаге нечто очень важное:

— Знаешь, моя звезда шутить не любит!

— Правда? — ответил ей тоже шепотом Мамедага.

— Да, — совсем уж тихо прошептала Месмеханум. — Давай и тебе выберем звезду?

Мамедага шепнул:

— Давай выберем...

Месмеханум прошептала:

— Выбирай какую хочешь...

— Вон ту... — Протянув руку, Мамедага пальцем показала на еще одну еле различимую звездочку рядом со звездой Месмеханум.

— Пусть навсегда будет твоей...

— Хорошо...

И опять на Месмеханум навалилось предчувствие, что игра со звездами на безлюдном морском берегу Загульбы ничем хорошим для нее не кончится; конечно, ничего плохого и не произойдет, но горечь останется от этой игры и никогда не уйдет из сердца Месмеханум. А Месмеханум хорошо знала свое сердце: фургон, чье алюминиевое покрытие серебрится в лунном свете, уедет с морского берега Загульбы, и тогда звезда голубоглазого парня рядом со

звездой Месмеханум превратит в ничто ее волшебный сказочный мир.

— Нет, эту нельзя! — громко сказала Месмеханум.

— А какую можно? — Мамедага понял, что в душу Месмеханум вошла какая-то тревога. — Столько звезд, какую же мне выбрать?

— Какую хочешь, только мне не показывай.

— Почему?

Месмеханум не хотела объяснять. Она хотела бы скрыть и от себя самой-то, что казалось ей неизбежным: пройдут дни, месяцы, кто знает, годы, и ветер, дождь, снег унесут и след серебристого фургона из этих мест, и тогда, подняв голову, она увидит звезду некогда случайно встретившегося ей голубоглазого парня; ему придется каждую ночь видеть эту звезду, и ей будет тяжело, ей и этой звезде, потому что голубоглазый парень быстро забудет звезду, которую он выбрал себе в одну из ночей в небе Загульбы, и горечь человеческого одиночества забытой звезды почувствует тогда Месмеханум...

— Свою звезду никому нельзя показывать.

— А ты почему показала?

Месмеханум снова посмотрела на свою звезду и растерянно повела круглыми плечами, туго обтянутыми желтой трикотажной кофточкой.

Снова подул норд. Он понемногу крещал: если дальше так пойдет, ветер за ночь похозяйничает в этих местах. Мамедага знал, что апшеронские ветры непостоянны — в течение часа взвевается такой ураган, только берегись. Ему вообще нравился ветер, а многие терпеть не могут апшеронских ветров, особенно те, кто приехал из других районов; они никак привыкнуть не могут к этим ветрам. А он много колесил по дорогам Апшерона, разрывая ветер своей тяжелой машиной, но в эту удивительную летнюю ночь на этом морском берегу Загульбы не надо бы ветру дуть так сильно, чтобы песок забивался в нос и уши; в эту ночь ветру надо бы дуть так, чтобы эти скалы, превратившись в легкие лодки, хотели уплыть в море.

Мамедага сказал:

— Норд крепчает, кажется...

А Месмеханум посмотрела на него и сказала:

— Хочешь, остановлю ветер?

Мамедага пошутил:

— Ты колдунья?

— Да, я ужасная колдунья... — И Месмеханум оглянулась по сторонам.

— Что ты ищешь?

— Надо с деревом поговорить. Сказать дереву, чтобы оно остановило ветер.

Мамедага посмеялся над мудрой Месмебебе, но продолжил игру:

— А какое дерево тебе нужно?

— Любое.

Кто-кто, а Мамедага знал, что на песчаном морском берегу Апшерона найти растущее дерево — трудная задача; остов сгнившей лодки можно найти, водочные, пивные бутылки, засыпанные песком с довоенного времени, вымазанное мазутом весло, выброшенных на берег рыб, даже тюленья можно найти, но найти зеленое дерево, чтобы остановить ветер, — почти безнадежное дело.

— Вот на том холме растут маслины, пойдем туда... — И она, не дожидаясь ответа Мамедаги, сняла с ног сандалии и по еще не остывшему после полуденной жары песку быстрыми шагами пошла к темнеющему вдалеке холму.

Мамедага, в туфлях, полных песка, шел за колдуньей и чувствовал, что за этой быстро идущей босой девушкой с сандалиями в руках он шел бы вот так хоть на край света.

Месмеханум, обернувшись к нему, сказала, смеясь над горожанином:

— Сразу видно, что ты человек с асфальта. Снимай туфли, иди быстрее.

Сняв туфли и носки, Мамедага взял их в руки и подбежал к ожидавшей его в лунном свете колдунье.

— Ты не веришь, что я остановлю ветер?

— Верю!

— Крепко веришь? Сейчас увидишь!

Мамедага шел за ней по остывающему песку, плотному под ступней, но сыпавшемуся сквозь пальцы ног, и ему казалось, что он не по земле идет, а в какой-то черной пустоте, проникнутой смирением и печалью; это смирение и эта печаль возникали и были только по ночам, а поутру они пропадали; днем начинались заботы и движение, днем ночной человек менялся и становился другим, но ведь то днем, — почему же сейчас в сердце Мамедаги проникло уже некоторое утреннее беспокойство?

Апшеронский ветер надул на морском берегу большой холм из песка, и, как только они дошли до этого песчаного

холма, Месмеханум начала взбираться; оглядываясь, девушка насмешливо говорила:

— Осторожнее, а то вдруг упадешь...

Мамедага, при каждом шаге проваливаясь в песок чуть ли не по колено, отвечал ей в тон:

— Не бойся! Я иду за тобой!

Песок на холме был очень теплый, и это согревало ноги Мамедаги.

Месмеханум сверху кричала:

— Какой чудный горячий песок!

Мамедага знал, что в летний зной песок чудесным образом приносит разгоряченному телу прохладу.

А Месмеханум снова кричала:

— Жалко, что в будущем году сюда уже нельзя будет заобратиться!

— Почему?

— Санаторий* здесь построят! Со всех концов мира люди съедутся сюда. Во всем мире станет знаменитой Загубльба. Во всех уголках мира узнают, что на Апшероне, на берегу Каспия, есть место, называемое Загубльбой. Но жаль, что тогда уже этого песчаного холма не будет... Тогда я буду приходить, смотреть на этот санаторий, и мне будет вспоминаться, что в свое время здесь был песчаный холм...

С вершины холма в сторону загубльбинского пансионата белела тропинка, и справа от этой тропинки сплошь росли маслиновые деревья.

— Здесь много змей, не наступи!

— В такой ветер какие могут быть змеи?..

— С ветром я сейчас справлюсь!

В ночное время змеи часто выползали на дорогу, и Мамедага на дорогах Апшерона летом, можно сказать, каждую ночь встречал ползущих прямо по асфальту самых различных змей. Большинство их оставалось под колесами машин, но по ночам другие снова выползали на асфальт. Асфальт хорошо сохранял дневное тепло, и, наверное, поэтому апшеронские дороги по ночам влекли к себе змей.

А норд незаметно набрал силу.

Месмеханум, быстро обойдя мелкие деревца, остановилась в зарослях маслин, перед раскидистым оливковым деревом. Мамедага, задыхаясь, наконец догнал ее. Ему показалось, что Месмеханум очень хорошо знает это ветвистое дерево. В одной руке она держала свои сандалии, а в другой сжимала мелкие листочки маслинового дерева. Повернув голову, снизу вверх посмотрела она Мамедаге прямо

в глаза, улыбнулась, а потом, снова обернувшись к дереву, потрясла его за ветку и сказала:

Я у мамы первенец,
Я лиса с черной пастью.
Норд, уйди,
Моряна, приди!..

И обернулась к Мамедаге:

— Ты у мамы какой по счету?

— Первый.

— Правда? — Месмеханум обрадовалась, как ребенок. — Тогда и ты скажи.

И Месмеханум снова, тряся ветку маслинового дерева, стала медленно и тихо повторять свое заклинание, а Мамедага так же медленно и тихо повторял ее слова:

Я у мамы первенец,
Я лиса с черной пастью.
Норд, уйди,
Моряна, приди!..

Некоторое время они стояли молча. В зарослях маслин было тихо; мелкие, но частые листочки преградили путь лунному свету, и в темноте Мамедага чувствовал дыхание стоящей рядом с ним колдуньи, слышал, казалось, стук ее сердца, словно все это происходило во сне, когда он, как обычно в разъездах, спал в своей кабине на мягком кожаном сиденье. Только сон на этот раз какой-то необычный.

И вдруг — в эту удивительную летнюю ночь было все возможно — произошло в самом деле чудо: усиливавшийся норд внезапно прекратился, и цикады, почувствовав это, отали стрекотать громче.

— Видишь? — Черные глаза Месмеханум светились в темноте.

— Вижу! — отвечал застывший в изумлении Мамедага.

Так же ловко, как вошла, Месмеханум вышла из зарослей и быстро полевла на песчаный холм. Попадая босыми ногами на колючки и щепочки, Мамедага торопливо пошел за ней.

Ноги их снова проваливались, и тепло глубокого песка снова согревало их, и оба думали сейчас об одном: какая хорошая ночь! Конечно, они не знали, что думают об одном, но, думая об одном, оба одновременно посмотрели друг на друга и поняли: эта ночь была хорошей, потому

что рядом с морем и с этим несчастным холмом под звездами в лунном свете серебрится стоящий недалеко алюминиевый фургон; эта ночь еще и потому была хорошей, что в самом центре ее, между морем, звездами и песчаным холмом, стояла девушка, которая умела разговаривать с морем и дружила с деревьями, а рядом с ней стоял парень, чьи голубые глаза источали тепло, напоминавшее о ласке крупных отцовских рук, которые в свое время Месмеханум выдумала, но забыть не могла.

А шум моря, прежде усиливавшийся под ветром, теперь вместе с ветром слабел, и пенные гребешки волн белели все реже, и море в лунном свете постепенно темнело; с вершины песчаного холма море казалось еще более огромным, просто гигантским.

Месмеханум вздохнула:

— Завтра будет жарко.

Мамедага ответил словно нехотя:

— Да, жарко будет...

И оба они вдруг почувствовали, что думать о завтра им не хочется; ночи, которая есть, одинокого фургона, что серебрится в ночи, маслинового дерева, что может остановить ветер, им вполне достаточно; они снова думали об одном — и их одновременно коснулась тревога.

Среди звезд показались зеленая и красная, послышался гул самолета; красная и зеленая звезды, пролетев над их головами, направились к аэродрому в Бина; огоньки исчезли, но гул еще некоторое время слышался, и Месмеханум, прислушиваясь к уходящему гулу, спросила:

— А ты откуда сюда приехал?

— Из Фатман.

Месмеханум громко рассмеялась:

— А-а-а... Мне казалось, ты с небес спустился, а ты говоришь — из Фатман... Ты в самом деле приехал из Фатман?

Мамедага тоже рассмеялся.

— Да, я приехал из Фатман, — сказал он и, отметив про себя, что гул самолета вовсе прекратился, подумал, что вчера, проведя самую обыкновенную ночь в Фатман, он даже представить себе не мог, что завтра в Загульбе его ждет такая ночь; Мамедага подумал о том, что человек находится в дороге не только, когда садится в машину, поезд, самолет или на пароход, — человек находится в пути с момента своего появления на свет, в дороге из сегодня завтра, и эта дорога отличается от обычной лишь тем, что

сегодня ты не знаешь, где выйдешь завтра — на станции Радость или на станции Печаль? Вроде бы и эта мысль опять не очень-то нова, но вот в чем дело: прежде о таких вещах Мамедага вовсе не задумывался, и подобное направление своих мыслей он ощущал как частицу этой удивительной летней ночи, как нечто совершенно новое для себя.

Но сказал он вслух самое простое:

— Вчера ночью в Фатмай шел дождь... А здесь?

— Нет.

— Совсем не было?

— Нет, — подтвердила Месмеханум, но тут ей показалось странным, что вчерашней ночью один из них пошел под дождь, а другой нет.

— Ты была в Фатмай?

— Нет, не была.

— Хорошее село.

— Правда? — Месмеханум совершенно искренне удивилась, как будто место, где жил Агададаш, не могло быть хорошим; ей сразу вспомнился Агададаш, а этот человек, по мнению Месмеханум, был самым подлым человеком на свете, и каждый раз, когда он появлялся хотя бы только в памяти, у нее начинало все дрожать так, будто к ее телу прикасалась лягушка...

...Агададаш приходился Месмеханум далеким родственником, и мать Месмеханум, Гюльдесте, при знакомых, приятелях и соседях, к месту и не к месту, часто упоминала его и рассказывала о нем — пусть, мол, все знают, какие у них родственники! Агададаш был заведующим цехом чемоданов, имел в Фатмай большой двухэтажный особняк, и прозвище у него было подходящее — все его звали «золотой Агададаш». Однажды Гюльдесте и Месмеханум, возвращаясь с базара домой, встретились с его белоснежной «Волгой», и Агададаш, остановив машину, посадил их и отвез прямо к ним во двор.

Это было время, когда Месмеханум только что перешла в десятый класс и все свои деньги, собранные по гривеннику, отдавала фотографу Николаю за «открытки», на которых были кадры из индийских и арабских фильмов.

Месмеханум много раз слышала имя Агададаша, но в лицо его не видела, и, когда белоснежная «Волга» остановилась во дворе их дома, девушке показалось, что она стала героиней одного из своих любимых фильмов. Соседи, увидев белую «Волгу», высовывались из окон, удивленно тараща глаза и многозначительно покачивая головами.

Гюльдесте, выйдя из машины, победоносно посмотрела на соседские окна и быстренько, не дожидаясь, когда выйдет Месмеханум, сказала:

Хлеб-то мы купить забыли!..

Когда они шли на базар, мать и не собиралась покупать хлеб. Гюльдесте для того сказала о хлебе, чтобы некоторые из их соседей, глядя и слушая из окон, от зависти сгорели.

Агададаш, посмотрев в переднее зеркальце машины на Месмеханум, сказала:

— Забыли? Ну и что, мы сейчас съездим, купим и привезем.

Месмеханум тоже посмотрела на Агададаша в зеркальце и улыбнулась.

Гюльдесте, глядя скорее на соседей, чем на Агададаша, сказала опять-таки для тех же завистливых соседей:

— Мы тебя замучили совсем...

А Агададаш, улыбаясь Месмеханум в зеркальце, возразил:

— Помочь вам — для меня удовольствие.

И белая «Волга» тронулась с места.

Гюльдесте, подняв с земли тяжелую плетеную корзину, нагруженную картофелем и луком, пошла к дому, с удовлетворением приговаривая:

— Вот какой он, сын моей тети — Агададаш!..

Прежде она всегда говорила «наш близкий родственник Агададаш», но история с белой «Волгой» привела ее в такой восторг, что Агададаш сразу стал сыном тети. Кое-кто из соседей усомнился, конечно, в этой новости, но кое-кто, глядя вслед белой «Волге», подумал: гляди-ка, а Гюльдесте правду говорила, шикарный у нее родственник!

Выехав со двора, Агададаш остановил машину и на этот раз обошелся без помощи зеркала, обернулся к Месмеханум:

— Пересаживайся вперед, — предложил он.

Месмеханум пришла в совершенное умиление от уважительности Агададаша и, смущаясь, сказала:

— Большое спасибо... Здесь тоже хорошо...

Агададаш крепко потянул Месмеханум за руку:

— Иди, иди! Что ты, хуже других?

Конечно, раз такой родственник, как Агададаш, хотел, чтобы Месмеханум пересела вперед и чувствовала себя более удобно, нельзя было ему отказать; Месмеханум молча вышла из машины и села впереди, рядом с Агададашем.

Агададаш сказал:

— Ты мне поправились, хорошая девочка! — Потом спросил: — Сколько тебе лет?

Похвала Агададаша маслом разлилась по сердцу девушки, и Месмеханум, краснея, сказала:

— Шестнадцать исполнилось, пошел семнадцатый... Держа левой рукой руль, Агададаш правой рукой коснулся голых коленок Месмеханум, выступавших из-под ее черной юбки.

— Э-э, да ты просто «табака»!..

Месмеханум в жизни не была в ресторане и не знала, что, когда цыпленка распяливают, как лягушку, и поджаривают до красноты, его называют «табака» и это очень вкусная штука — цыпленок «табака»; Месмеханум не поняла слов Агададаша и, глядя на эту дорогу, которую всегда проходила пешком, подумала о том, как хорошо иметь такого родственника, как Агададаш; одно только тревожило Месмеханум и очень мешало получить полное удовлетворение от этой прекрасной прогулки, заставляя все сильнее биться ее сердце: ее тревожила правая рука Агададаша, поскольку эта рука все еще лежала на голой коленке Месмеханум.

Внезапно у Месмеханум сердце ушло в пятки — она почувствовала, что рука Агададаша потихоньку поднимается вверх, к ее бедру; она не знала, что делать, она так растерялась, что не издавала ни звука; рука Агададаша под черной юбкой постепенно поднималась выше, и Месмеханум, не в силах больше сдерживаться, хотела сказать, что дома у них есть хлеб и не надо покупать никакого хлеба, что она хочет только быстрее вернуться домой...

— Дядя Агададаш...

— Дядя? Не ожидал от тебя такого!.. — Агададаш, отведя глаза от дороги, с упреком посмотрел на Месмеханум, потом сжал бедро девушки. — Говори мне просто Агададаш, хочешь — называй Ага или Дада, как тебе захочется... Как для других, так и для тебя! Ты не ниже других, как тебе захочется, так и зови меня! Ты будешь у меня как сыр в масле кататься. Раз в месяц я буду покупать тебе роскошный наряд и шубу куплю, клянусь здоровьем! Клянусь могилкой Эт-Ага!

Месмеханум ничего не понимала из слов Агададаша, только чувствовала, что рука на бедре поднималась все

выше, и, когда пальцы Агададаша пролезли внутрь ее трусиков, девушка вне себя закричала:

— Останови! Я выхожу! Мама!..

Словно ужаленный змеей, Агададаш мгновенно отдернул руку и нажал на тормоз — он никак не ожидал скандала. А Месмеханум пришла в себя только тогда, когда поняла, что бежит по улице к дому.

Их квартира находилась на втором этаже большого двухэтажного дома, и Гюльдете, выйдя на балкон, ждала белую «Волгу». Увидев возбужденную Месмеханум, бегом проскочившую двор, некоторые соседи покачали головой, некоторые удивились, а некоторые подумали, что такие вот дела: дерево, по которому взобралась мать, дочь проходит по веткам...

Гюльдете бросилась открывать дочери дверь:

— Что с тобой? Что произошло? Где Агададаш?

Гюльдете придумала замечательный план: она задержит Агададаша, заварит чай, поставит перед ним варенье, которое хранила для особо важных гостей, а белая «Волга» часа два постоит во дворе, и... Увидев дочь в таком возбужденном состоянии, Гюльдете было решила, что белая «Волга» совершила аварию или задавила человека.

Но Месмеханум, всхлипывая, кинулась на старый пружинный диван:

— Убежала я, убежала! Убежала!

У Гюльдете был немалый жизненный опыт, и тут уже она, кажется, догадалась о чем-то, но потребовала от дочери точного ответа:

— Почему убежала?

— Он залез рукой мне под юбку!..

Догадка Гюльдете подтвердилась, и она, хлопнув ладонью о ладонь, крикнула:

— Вай, сукин сын! Пепел на голову такого мужичины! Да какой это мужчина — мартышка, мартышка!

Месмеханум обычно сердилась, когда мать говорила плохие слова, но на этот раз, всхлипывая, девушка только повторяла:

— А ты всегда говорила, что он наш родственник... родственник... и бог знает кто...

Гюльдете эти упреки дочери словно кшипяток на голову.

— Родственник? Да провалился он! Родственник нашелся! Проходя по мосту, мы с ним задами столкнулись, вот и все! Оставил дома жену в сто килограммов, а сам ребенку под юбку лезет! — Потом, будто Агададаш стоял

¹ Эт-Ага — разбитый параличом человек, который у верующих Апшерона считается святым.

рядом, она растопырила пальцы и обеими руками отвесила ему пощечины: — Вот тебе! Вот! Чтоб ты провалился!

После случившегося разговоры об Агададаше в доме совершенно прекратились, Гюльдесте ни разу не упоминала его имени при дочери, но, когда Месмеханум не было рядом, при знакомых и соседях она порою все же не могла удержаться, чтобы не похвастать:

— Золотой Агададаш — наш родственник!..

Мамедага смотрел на задумавшуюся Месмеханум, и ему очень хотелось, чтобы в эту удивительную летнюю ночь он обрел способность читать в сердце этой девушки.

— О чем ты думаешь?

Легко ступая босыми ногами, Месмеханум спускалась с песчаного холма.

— Думаю о том, что есть на свете дурные люди и поступки у этих людей дурные.

— К чему это?

— Есть один в Фатмаи... Вроде бы наш родственник...

Фатмаи было маленькое село, и Мамедага знал большинство живущих там.

— Как его зовут?

— Агададаш.

— Какой Агададаш? Золотой Агададаш?

— Да, золотой Агададаш. — Месмеханум с новым удивлением посмотрела на этого всеведущего парня, спустившегося к ней с холма в лунном свете, и почувствовала, что сейчас она услышит от него что-то неожиданное.

— Так его же арестовали...

— Правда? — У Месмеханум, казалось, вспыхнули глаза, и по этой искре, мелькнувшей в глазах девушки, останавливающий ветер, Мамедага понял, что Агададаш был, видно, очень плохой человек.

— Да. Государственный чемоданный цех он превратил в свою лавку... И все собранное им золото отобрали — нечестное ведь!

— Да буду я жертвой советской власти! — Месмеханум сказала эти слова так, будто они годами накапливались у нее в душе и теперь вдруг вышли, дождавшись случая.

— А ты как думала? Теперь жуликам стало туго. Паника у них, собачьих детей.

— Да если их будут вешать у меня на глазах — не охну! — Месмеханум явно не могла сдержаться.

— Он что тебе — много плохого сделал?

— Агададаш? Давно это было... Я была еще робкой

овечкой... — Месмеханум улыбнулась, но Мамедага заметил горечь в улыбке ее полных губ.

Сердце его дрогнуло — он понял, что эта смуглая девушка, говорящая с морем по ночам, когда дует моряна, совсем одинока, не на кого ей положиться и нечем похвастать.

А Месмеханум, не подозревая о мыслях Мамедаги, ушла в себя, ею овладела тоска по детству, по прежней Месмеханум. Если бы теперь Агададаш сунул руку под юбку Месмеханум, она выцарапала бы ему глаза. Остались позади те времена, когда Месмеханум терялась от страха перед любимым негодяем, теперь она чувствовала себя совсем другой, она знала все обо всем на свете, и если кто-нибудь скажет ей слово, то получит пять в ответ, как получил недавно Нерсес Вартанович.

Помидорный киоск Месмеханум работал от большого районного магазина «Фрукты — овощи», где заведующим был лет сорок крутившийся в торговой системе Нерсес Вартанович Гюльбекян. Позади киоска Месмеханум росло большое тутовое дерево, и Нерсес Вартанович на своем выигранном в лотерее желтом «Москвиче» (все, правда, оворили, что Нерсес Вартанович вовсе не выиграл машину у лотереи, а купил у кого-то счастливый билет за большую сумму, поскольку Нерсес Вартанович был хитрец и не тотел, чтобы однажды ему задали такой вопрос: «У тебя зарплата всего сто рублей в месяц, у тебя жена и дети, откуда же у тебя столько денег, чтобы машину купить?»), поднимая пыль, часто приезжал сюда и говорил:

— Вах!.. — Потом, сдвинув соломенную шляпу на жирный затылок, смотрел вверх. — Душа горит, ахчи, полезай, нарви немного тута, поедем!

Месмеханум не отказывала этому пожилому человеку в его просьбе; скинув белую ситцевую куртку, она в один миг взбиралась на дерево и наполняла тарелку спелыми ягодами, поскольку нельзя было трясти дерево — везде вокруг был песок. Минут десять — ятнадцать восседала Месмеханум на дереве и однажды заметила, что храбрец Нерсес Вартанович тайком подглядывает за ней снизу из окна ее киоска.

Месмеханум чуть не кинула прямо с дерева на голову Нерсесу Вартановичу тарелку с ягодами, так она рассердилась, сделав свое открытие:

— Ах, старая перечница! Меня на дерево заставляешь лезть, а сам снизу подсматриваешь! Негодяй! Ну, погоди!

Нерсес Вартанович, покраснев, как выкрашенное к новруз-байраму яйцо, растерялся.

— Ахчи, я старый человек!..

— Ах, лиса, ты в Мекку едешь? ¹ Подожди, я спущусь сейчас!..

Ясное дело, что Нерсес Вартанович, не дождавшись, пока Месмеханум спустится с дерева, бросился к своему желтому «Москвичу», и, когда Месмеханум прыгнула с нижней ветки на землю, машина тронулась с места, поднимая пыль. Нерсес Вартанович сваялся в тот день от гнева Месмеханум, но и после этого старался не показываться ей на глаза...

Месмеханум вспоминала, но в эту странную летнюю ночь на песчаном морском берегу Загульбы даже лихая победа над трусливым заведующим не развеселила ее — она с сожалением повяла, что годы отняли у нее и унесли с собой ту чистую кротость, из-за которой она растерянно молчала, а потом чуть не выбросилась из белой как молоко «Волги»; невинность, девичий трепет и дрожь от предчувствия огромного счастья — все это потеряно безвозвратно: прожитые годы были как болото, они поглотили всю чистоту, что была в ней, и на поверхности этого болота даже следа не осталось от того, что было, а если и осталось что, так это или еле слышимый иногда отзвук детского голоса, едва различимый аромат детства, чуть видная тень девочки, и от этих неуловимых воспоминаний начинает щекотать в носу и переполняет печаль.

Вот о чем думала Месмеханум, пока Мамедага, сидя на песке и завязывая шнурки туфель, пришел к твердому выводу, что эта красивая смуглая девушка считает себя бойкой женщиной, смеется над своей робостью в детстве и думает, будто детские годы давно засыпаны песком жизненного опыта, а на самом деле она и теперь та же самая девочка, потому что и та робкая девочка была драчливой, и у нее был длинный язык и острые ногти, но все-таки она была робкой овечкой, поскольку, в сущности, вся ее бойкость была необходима для того, чтобы прикрыть ее робость, тогда и скрыть от всех теперь то, что она умеет беседовать с морем и останавливать ветер. Вот о чем думал Мамедага.

¹ Есть такая азербайджанская притча, лиса обманывает кур, говоря, что стала верующей, едет якобы в Мекку на паломничество. Куры верят и становятся ее добычей.

А море успокоилось, и монолитные скалы, превратившись в легкие лодки, хотели куда-нибудь плыть; море журчало как река, и Месмеханум, подойдя к самой воде, стояла босыми ногами на влажном песке; она посмотрела вдаль, потом взглянула на ласкающую голые теплую воду, потом, нагнувшись, зачерпнула горсть воды, разжала пальцы, и вода снова ушла в море; Месмеханум побрела вдоль берега, и ей пришло в голову, что иногда ночью в воде капает вода из крана, и человек до утра не может заснуть, а вот бесконечное журчание такого количества воды не только не раздражает, а прямо облегчает душу, и человек, как эти монолитные скалы, хочет стать лодкой и плыть; идя вдоль берега, Месмеханум не забывала о том, что сейчас за нею следит пара голубых глаз, но она помнила и о том, что скоро уже ей придется вспоминать эти голубые глаза, она закроет свои и увидит эти, но никто на свете не узнает об этом, никто, и знать об этом будет только один человек — Месмеханум.

— Ты много видела плохого тогда?

— Когда?

— Ну, когда была робкой овечкой...

Мамедага хотел пошутить, но слова с трудом пролезли через внезапно пересохшее горло.

— А... Ты о том времени говоришь... — Месмеханум легко улыбнулась. — Нет. Один-два раза...

— А потом как? Потом чаще встречалось плохое?

— А что ты называешь плохим?

— Что называю? Не знаю... Плохое, и все...

Конечно, если бы Мамедага, положив перед собой папачу, подумал, он мог бы ответить, то есть он ответил бы, что плохое — это неблагодарность, эгоизм, нечестность, неуважительность, безжалостность, скупость и все такое подобное, но сейчас Мамедага подумал иначе: плохо не только то, что может сделать один человек другому; человек одинок — ему не на кого опереться, нечему порадоваться — вот это плохо. И он вдруг решил, что, в сущности, человеку плохо и тогда, когда ночью дует моряна, а человек под шум ветра разговаривает с морем, — не человек плох, но что-то в его жизни плохо.

— Бить человека — плохо?

— Плохо, конечно...

— Вот посмотри! — Месмеханум оттянула ворот своей желтой кофты, и на полном гладком плече девушки Мамедага увидел синяк; Месмеханум никогда бы не подумала,

что вдруг в лунном свете, оголив плечо, покажет сияя чужому парню, и этот чужой парень, стоя перед нею, так потрясенно будет смотреть на сияк у нее на плече, а потом будет водить ладонью по ее плечу, задержит руку на больном месте, и по всему телу Месмеханум разольется истинное, никогда ею не испытанное тепло, и она поймет, что это происходит не в ее сказочном мире, а на самом деле, и ей покажется, что эта рука — рука самого родного для нее человека в мире, ей покажется, что это — рука ее отца, которого она никогда не видела...

ГЛАВА II

В конце этой главы удивительную летнюю ночь в Загюльбе прогоняет рассвет, и Месмеханум расстается с Мамедагой, так и не поняв, почему она вспомнила всю свою еще такую короткую жизнь, — впрочем, как и оба они не поняли, и это было едва ли не самым удивительным, что всю ночь напролет из волновал, в сущности, главный вопрос всего человечества: для кого и для чего жить?

Гюльдесте работала проводником в поезде Баку — Воронже, и три дня жила дома, а пять — в поезде. Месмеханум с первого класса училась в школе-интернате, и поездки матери не сжимали ее сердце: раз или два в неделю она приходила домой и думала, что так и должно быть. Но прошли годы, Месмеханум окончила седьмой класс, и Гюльдесте решила, что дочь уже выросла, сможет сама себе все сделать, что надо делать, и не побоятся остаться одна. Мать забрала дочку из интерната, и Месмеханум стала жить дома, как все дети, готовила дома уроки, как все дети, а по ночам, как все дети, спала, — впрочем, нет, не всегда, она спала, потому что сердечко ее теперь сжималось каждый раз, когда мать уезжала.

Гюльдесте взяла Месмеханум домой не только потому, что очень любила дочь, хотя, конечно, она очень ее любила и думала о том, что пора уже присматривать за ней, потому что Месмеханум становилась девушкой и нельзя было предоставлять ее самой себе. Но Гюльдесте еще и потому взяла дочь домой, что ей хотелось, возвращаясь из поездки, знать, что ее дома ждут, ей кто-то радуется, а когда она отправляется в поездку, плеснет ей вслед воды...

Конечно, со временем Месмеханум более или менее привыкла оставаться без матери на целых пять дней через

каждые три, иногда ей даже казалось странным, что другие матери безотлучно живут со своими детьми. Словом, тоска незаметно ушла из ее сердца, в котором так же незаметно возник второй фантастический мир, — он разрастался, становился все красивее, Месмеханум уже не хотелось уходить от него.

Месмеханум жила теперь сразу в двух мирах: в первом она учила уроки, ходила в школу, готовила себе еду, порола старые платья, шила новые, приспосабливала себе те, которые уже не годились матери, вечерами смотрела в клубе кинофильмы, ждала мать и вместе с нею ездила в Баку, бродила там по магазинам и занималась разными другими подобными делами, то есть такими, какими занимаются все; но второй мир Месмеханум был только ее миром, в этом мире по ее желанию шел дождь, падал снег, всходило солнце, в любое время можно было стать ребенком, или, наоборот, у тебя появлялся собственный ребенок, — Месмеханум его лелеяла, убаюкивала и под эти баюканья, проносимые в душе, и сама засыпала.

Удивительно, но у Месмеханум кроме этих двух миров было и еще «что-то». Она не знала, что это такое, но верила, что это существует, и ждала этого, убежденная в том, что придет время и «что-то» произойдет.

Произошло это весной, когда второй мир Месмеханум приобретал все краски первого — весенних деревьев, цветов, кустов, и ее солнце изливало на ее мир беспричинную радость. В один из таких весенних дней, придя домой, Месмеханум увидела в комнате незнакомого ей мужчину, который сидел за их круглым столом, покрытым белой скатертью, и беседовал с матерью. Белая скатерть иногда стелилась на стол, чтобы подчеркнуть особое уважение к гостю, и Месмеханум поняла, что этот гость — уважаемый гость.

Месмеханум второй раз видела у себя дома чужого мужчину, а первый раз это случилось, когда она только переехала из интерната домой. Тогда она училась в восьмом классе, был ветреный осенний день, и преподаватель географии Азизов, заболев, не пришел на урок. Месмеханум раньше обычного ушла из школы, открыла дверь своим ключом, вошла и увидела в комнате чужого мужчину в одних голубых трусах, а Гюльдесте лежала в постели. На деревянной табуретке у кровати валялись ее лифчик, комбинезон, трусы, и Месмеханум поняла, что мать раздета.

Чужой мужчина, торопливо надев брюки, смылся, а Гюльдесте залезла с головой под одеяло.

На этот раз чужой мужчина был не в трусах, на нем был чесучовый костюм, и, увидев Месмеханум, ни мать, ни он нисколько не растерялись, — сидя друг против друга, они продолжали пить чай. Наливая в блюдце, мужчина с шумом втягивал в себя чай, и по его толстому лицу катились ручейки пота. Когда он, попрощавшись, ушел, Гюльдесте многозначительно сказала:

— Хороший парень!..

Потом этот толстый мужчина зачастил к ним, и Месмеханум поняла, что мать собирается за него замуж. Теперь, приходя домой, девушка не открывала дверь своим ключом, а нажимала кнопку звонка — она боялась увидеть и этого мужчину без брюк. Он был значительно моложе первого, к тому же первый был длинный и худой, немного похож на милиционера Сафара, и голова у него была тоже лысая, а этот парень был полный.

Месмеханум молча ждала, когда мать выйдет замуж, она думала об этом чаще всего ночью, перед тем как заснуть, и в такие ночи в ее втором мире, где ей как сироте некуда было идти, мели метели, ураганы, снегопады, от холода у нее стучали зубы, но вдруг появлялся кто-то, похожий на сказочного принца, и спасал ее от этого ужасного холода. Все эти печальные и радостные события происходили в ее мире по ночам, а в обычном мире днем к ним приходил толстый молодой мужчина, садился на накрытый белой скатертью стол, наливал себе чай в блюдце, с шумом выпивал, и по его жирному лицу скатывались капли пота.

Конечно, Месмеханум была уже взрослой девушкой и понимала, что ее мать несчастна, потому что у всех знакомых соседей был мужчина в доме, у кого муж, у кого отец, у кого брат, а у них никого, — все это Месмеханум понимала, но одного она понять не могла: что нашла ее мать в этом толстом мужчине — ни красоты в нем, ни поговорить толком не умеет!

Так все и шло до поры до времени, пока не произошло самое неожиданное событие на свете: Месмеханум узнала, что этот толстый мужчина ходит к ним не ради матери, а ради нее самой!

— Дочка, неужели ты еще не прозрела? Твои сверстницы такое вытворяют!.. Ради тебя приходит Мирзоппа, из-за кого же еще?.. Ради тебя. Неплохой парень и зарабатывает

неплохо, водит городской автобус, и дом у него есть отдельный. Надо по одежде протягивать ножки. Он нам ровня!..

Вот что сказала Гюльдесте уставившейся на нее в изумлении дочери, и вот какими словами она ее благословила.

Остается только добавить, что тот толстый мужчина действительно был Мирзоппа.

После того как семья Мирзоппы переехала из Баку в Загульбу, котел Алиаббаса-киши постоял здесь перед каждым из крытых киром домов, но и в этих местах число таких домов понемногу уменьшалось. Здесь тоже строились государственные дома, как в городе, — трехэтажные, а потом и пятиэтажные. Старые дома рушились, сносились, а новые дома с кировой крышей не строились. Алиаббас-киши был мастером своего дела, и если он однажды заливал крышу киром, то она начинала протекать лет через семь-восемь. В общем, заказчиков становилось все меньше.

Однажды Мирзоппа сказал отцу:

— А ты заливай крыши так, чтобы на следующий год тебя снова вызвали, понял?

Алиаббас-киши не любил читать мораль, он только посмотрел на сына и понял, что Мирзоппа сделан из другого теста, чем он.

Через одиннадцать лет после переселения в Загульбу Алиаббас-киши умер прямо на работе, разогревая котел, и тогда Мирзоппа прицепил отцовский котел к своему автобусу, оттащил его в металллом (найти охотника на котел уже было невозможно), и, продав за десять рублей семьдесят копеек, купил три бутылки водки и вечером вместе с кинемехаником Агаюлем крепко выпил.

Но, само собой, обо всем этом ни Гюльдесте, ни Месмеханум понятия не имели. Мирзоппа увидел Месмеханум в кино, и она ему понравилась. Месмеханум часто ходила в кино, а Мирзоппа часто навещал Агаюля. Кинемеханик, увидев, что Мирзоппа из окна его будки разглядывает Месмеханум, подмигнул.

— Дочка Гюльдесте... Хороша штучка, не хуже своей матери!..

Мирзоппа не поддержал такой поворот разговора, а в один прекрасный день вошел в дом Гюльдесте сватом для самого себя — вот после этого сватовства он стал часто заходить к ним.

У Гюльдесте было три причины, по которым она не могла отказывать Мирзоппе. Во-первых, по мнению Гюль-

десте, чем раньше Месмеханум выйдет замуж, тем лучше, потому что, как говорится, с кем это случилось, тот уже умный. Теперь Гюльдесте не хотела, чтобы взрослая дочь целыми днями бывала дома одна, боялась, как бы дочка и пошла по дурной дорожке. Во-вторых, Мирзоппа не спрашивал Гюльдесте, кто отец Месмеханум, и вообще не заводил об этом разговора. Наконец, была и третья причина в которой Гюльдесте сама себе не хотела признаваться за долгие годы она так привыкла жить одна и делать все, что ей хочется, что с тех пор, как дочь вернулась из интерната, Гюльдесте словно заперли в клетке, и она была вынуждена играть с дочерью в прятки; она тосковала, скучала, порою у нее прямо-таки кончик носа чесался от воспоминаний о свободе и воле прежних дней.

Естественно, Месмеханум ничего не знала обо всех этих причинах, она не поняла, как случилось, что этот толстый парень, который с шумом, потя, пил из блюдечка чай, вдруг показался ей совсем другим. Тот день был для Месмеханум днем открытий. Месмеханум обнаружила удивительные вещи. Месмеханум открыла, что в течение всего этого времени она, в сущности, жила в этом доме как чужой человек и эти комнаты всегда были для нее чужими и холодными. Правда, Месмеханум очень любила свою мать, но однажды до нее донесся аромат осени, печаль листопада проникла в ее сердце, и она подумала, что проводимая ею в этом доме жизнь пуста, как осеннее утро. Так она подумала — прямо как поэт, сказала она себе, — и тут же решила, что необязательно писать стихи, каждый человек где-то и когда-то бывает поэтом. А самое главное, Месмеханум поняла, что у человека должно быть не две мира, а один мир и надо жить так, чтобы одного мира хватало. Месмеханум поняла это и рассмеялась над тем как в ее втором мире девушка-сиротка попадала в пургу и ее спасал юноша, похожий на принца.

Так девушка-сиротка и юноша-принц исчезли, как и появились, и теперь по ночам, перед тем как Месмеханум засыпала, в мыслях ее с дальней дороги возвращался автобус, усталый Мирзоппа приходил домой и, вымыв руки, намазанные мазутом, ел приготовленный для него Месмеханум кюфта-бозбаш; в сон Месмеханум пришел запах бензина, ее волшебный сказочный мир спустился с седьмого неба на асфальт, и по этому асфальту покатился из Баку в Загульбу и обратно автобус...

Тогда еще не было известно, что Мирзоппа — пьяница,

что он прямо-таки влезает внутрь бутылки с водкой, как не было известно и то, что всего через два месяца после женитьбы Мирзоппа, напившись до чертиков, среди ночи устроит дома скандал и, вытаращив свои красные глаза, скажет ужасные слова:

— Люди женятся на дочерях замминистров, а я нашел себе бидж¹...

Да, поначалу еще многое не было известно; кто бы, например, мог предположить, что снова появится волшебный сказочный мир Месмеханум...

...Синяк на плече Месмеханум будто жег ладонь Мамедаги, и у него ваныло сердце: сердцу было так больно, будто умирает самый родной человек или на его долю выпало самое горькое испытание, — Мамедага чувствовал, что пройдет много лет, но он по-прежнему будет ощущать в своей ладони этот жар.

Месмеханум поняла, что сейчас заплачет, но, если бы она сейчас заплакала, она бы всю жизнь себе этого не простила и потому, глядя прямо в глаза Мамедаги, быстро сказала:

— Когда он бьет, то всегда по телу, чтобы другим не было видно.

Мамедага молчал.

Месмеханум добавила:

— И рука у него ужасно тяжелая...

Мамедага молчал.

Месмеханум тихо сказала:

— Как будто кирпич...

Слова, которые, она сейчас, говорила, надали на Мамедагу словно удары, предназначенные ей. Месмеханум почувствовала, что сердце этого голубоглазого парня — а рука его все еще лежала на ее плече — вылает. Но вдруг ей подумалось: а что, если он просто жалеет ее? У нее засверкали глаза.

— Я тоже не остаюсь в долгу, — сказала Месмеханум и, вспомнив, как три дня назад Мирзоппа ревел словно бык, ухватив себя между ног, улынулась.

А Мамедага увидел смеющиеся черные глаза девушки, улыбку на ее полных губах — и сердце его оттаяло. Он ласково провел ладонью по ее плечу, по руке, поглядел ее черные волосы — и Месмеханум всем своим существом потянулась к этой руке. Хозяин этой руки может сделать

¹ Бидж — ребенок от неизвестного отца.

с ней сейчас все, что захочет, и она не станет сопротивляться, не издаст ни звука, потому что его ласковая ладонь перенесла Месмеханум в ее волшебный сказочный мир наяву.

В квартале, где жил Мамедага, был неписанный закон: нельзя заглядываться на жену знакомого, если ты с кем-то сидел и ел за одним столом, то его жена для тебя сестра, и все. Мамедага никогда не нарушал этого закона, но не потому, что закон нельзя нарушать, а потому, что этот неписанный закон был у него в крови.

Но в эту удивительную летнюю ночь на морском берегу Загульбы Мамедага совсем позабыл, что на свете есть человек по имени Мирзоппа, а эта беспомощная, эта беседающая с морем девушка — жена Мирзоппы. Сняв руку с черных волос девушки, он молча стоял, он никак не мог поверить в то, что Месмеханум не то что Мирзоппы, а вообще чья бы то ни было жена. Он знал одно: синяк на плече этой девушки, только что с трудом удерживавшейся от слез, — самое подлое дело и самая большая несправедливость, с какой он до сих пор сталкивался в жизни. И Мирзоппа недостойна называться женщиной.

— Где работает Мирзоппа?

— Раньше он водил автобус до Баку, а потом за пьянство его сняли, и теперь он продает билеты в том же автобусе...

— А Дуду жив?

— Дуду? Ты и его знал? — Месмеханум, нагнувшись, надела на ноги сандалии. — Давно умер... Я совсем его не видела. Говорят, хороший был парень, умный, воспитанный... Немного помолчав, Месмеханум нерешительно добавила: — Говорят, после его смерти Мирзоппа начал пить...

Месмеханум нарочно говорила «говорят», — ведь обо всем этом, кроме Мирзоппы, никто ничего ей не мог сказать. Вообще-то Месмеханум не верила словам Мирзоппы, но его рассказам о Дуду поверила: поверила и в красоту Дуду, и в его ум. Пьяный Мирзоппа частенько вспоминал Дуду и говорил о нем так искренне, что Месмеханум не сомневалась в великих достоинствах юноши, умершего так рано. Мирзоппа, как обычно, выдыхал густые пары спирта, садился на кровать, снимал носки и, вытирая грязь между пальцами ног, рассуждал:

— Если бы Дуду был жив, разве бы я теперь дошел до этого? Разве бы меня сняли с шоферов и поставили бы

как женщину продавать в автобусе билеты? Из-за чего я пью? С горя! Он был цветок, единственный в этом мире, и аллах считал его лишним для нас!

И каждый раз, вспомнив Дуду, Мирзоппа плакал. Эти слова Мирзоппы не были пьяными слезами, Месмеханум это сразу почувствовала: когда Мирзоппа вспоминал о Дуду, в глазах его появлялось настоящее страдание, и в такие минуты Месмеханум казалось, что Мирзоппа тоже человек и в груди у него тоже есть сердце. Месмеханум с горечью думала о том, что преждевременная смерть умных и красивых людей, таких как Дуду, — самое большое несчастье на свете. От этой мысли у нее самой глаза наполнялись слезами. Мирзоппа рассказывал, что в свое время они переехали в Загульбу из Баку из-за девушек. Девушки не давали покоя Дуду, писали ему письма, бегали за ним, и в один прекрасный день в квартале семнадцатилетняя красавица из-за любви к Дуду покончила с собой, а после их переселения в Загульбу еще одна бакинская красавица восемнадцати лет облила себе лицо кислотой — пусть никому, кроме Дуду, не достанется!

Мирзоппа говорил вдохновенно:

— Он был настоящий ученый. Не уснет, если за день не прочтет три толстые книги. Институты спорили между собой, в каком из них ему учиться. Если бы он был жив, то быть бы ему сейчас замминистром! Вот тогда все поняли бы, кто такой я — Мирзоппа!

Во все это поверила Месмеханум, как поверила она и тому, что, если бы Дуду был жив, может быть, Мирзоппа и в самом деле не был бы таким, каков он теперь.

— Ты знал Дуду, да? — жадно спросила Месмеханум. — Скажи, девушка, которая покончила с собой из-за него, была из вашего квартала?

Конечно, Мамедага знал, что такие дети, как Дуду, долго не живут на свете, но все же, услышав о его смерти, он расстроился, живо представил себе лицо Дуду и его ничего не выражающий взгляд. Мамедага давно понял, что Мирзоппа искренне любил Дуду, а теперь он, возможно, и сам верит в то, что сочиняет для Месмеханум.

— Бедный Дуду... — вот и все, что ответил ей Мамедага.

— Все умрем... — с удивительным равнодушием возразила Месмеханум.

Мамедага улыбнулся:

— Но твоя звезда говорила, что Месмеханум никогда не умрет?

— Если бы все зависело от звезды, я бы никогда не умерла, — уверенно ответила девушка и, подняв голову, снова взглянула на свою звезду. — И я никому не позволила умереть...

Мамедага подхватил:

— Знаю, что не позволила бы.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю, и все.

— А вдруг — наоборот?

— Нет, я знаю, какая ты.

— У меня что, на лбу написано?

Мамедаге, откровенно говоря, казалось, что она вся как на ладони, но он не сказал ей этого.

— Ты боишься умереть? Я ужасно боюсь!

Месмеханум говорила с такой искренностью, что он ответил ей совершенно серьезно:

— Если не будешь думать о смерти, проживешь доста лет.

— Ну и что? А потом все равно умру... — Месмеханум рассмеялась. — Мне вспомнилась отличная история, рассказать тебе?

— Конечно!

Эту историю рассказала ей Бикебаджи, — тогда Месмеханум только что переехала домой из школы-интерната, и Бикебаджи оказалась соседкой, у которой муж погиб на войне, а две дочери уже были замужем, вследствие чего Бикебаджи жила одна в двухкомнатной квартире. Бикебаджи не любила Гюльдесте, но деликатно скрывала это от Месмеханум (Гюльдесте тоже не любила Бикебаджи и нередко говорила: «Эх, мои бы несчастья на ее голову! Как она фасонит, посмотрите. А чем она лучше меня? Подумаешь: дочери удачно вышли замуж! Еще неизвестно что эти хорошие мужья делают тайком от ее дочерей!» Так говорила Гюльдесте, но в душе она хорошо понимала что до Бикебаджи ей далеко). Когда Гюльдесте бывали в поездках, Бикебаджи иногда приходил к Месмеханум иногда приглашала девушку к себе домой, и они вместе готовили джюшбере¹, сидели за одним столом и ели, а Бикебаджи все рассказывала да рассказывала без умолку. Однажды зимним вечером, когда они сидели вдвоем и играли в лото, Бикебаджи рассказала вот такую историю:

— Жил-был столетний мужчина. Однажды этот муж-

¹ Джюшбере — пальмени по-азербайджански из свежей баранины.

чина нес из лесу домой вязанку дров. Ноша была такой тяжелой, что старик едва держался на ногах. Вязанка извела его, терла ему спину, и наконец старик, сбросив дрова на землю, решил позвать Азраила: все равно уже сто лет он прожил на этом свете, хватит, пусть Азраил придет и забрет его.

«Азраил! Азраил!»

И вдруг действительно перед стариком возник Азраил и спросил:

«Чего тебе, киши, что ты хочешь?»

Столетний старик, увидев перед собой Азраила, испугался смерти и схитрил:

«Я позвал тебя, чтобы ты помог мне положить на спину эту вязанку...»

...Ступая точно по кромке берега, Месмеханум назидательно заметила:

— Вот видишь, столетний старик, но и он испугался смерти. Жизнь — сладкая...

— О да, конечно, — Мамедага чуть не рассмеялся над многоопытностью этого юного существа.

Месмеханум, опять подняв голову, смотрела на свою едва различимую звезду.

— У тебя много желаний? — вдруг спросила она.

— Не считал, — Мамедага улыбнулся.

Но Месмеханум было, видимо, не до шуток — она спрашивала его как самая строгая учительница математики:

— Как это — не считал? Свои желания не знаешь?

— Мало ли какие бывают желания!

— Желания не бывают какие-то. Желание — это желание, да! Если ты хочешь, чтобы всю ночь шел дождь и стучал в окна, — это желание. Если ты хочешь, чтобы на свете никто никому не делал плохо, — это желание. Желание — это желание, большое или малое — все равно! Вот сейчас чего ты хочешь?

— Я?! — Мамедага изумился, но девушка была по-прежнему серьезна.

— Да, ты, и сейчас.

— Сейчас я хочу есть.

— Что? — теперь изумилась Месмеханум.

— Есть!

— А-а-а... — Месмеханум в лунном свете внимательно посмотрела в голубые глаза парня и громко расмеялась. — Проголодался?

— Помираю с голоду...— Мамедага показалось, что смех девушки, как весенний дождик, принес чистоту и прохладу. словно внезапно разрешилась ливнем черная туча, в течение минуты все омыла — и этот песчаный берег Загульбы, и море, и апшеронское небо с луной и звездами, и всю эту засверкавшую свежестью красоту заново увидел Мамедага и изумился. Вдруг он почувствовал вали себя так, словно вернулись времена, когда он пускал воздушного змея с крыши, на сердце нет забот, а на всей земле под этим апшеронским небом с луной и звездами, рядом с морем, на песчаном берегу Загульбы есть только они двое, всего два человека на всей земле, и одного зовут Мамедага, а другую — Месмеханум.

— Знаешь, я тоже проголодалась.

Еще утром по дороге в Загульбу, в Бильгя, Мамедага купил тендирный¹ хлеб, который в Бильгя бывал особенно хорош. Сейчас в фургоне осталось всего понемногу: хлеба, винограда и сыра. С собой в дорогу Мамедага никогда не брал ни колбасы, ни сосисок, ни консервов, только натуральную еду; масло, сыр, зелень, овощи, фрукты. В горах милиционера Сафара на каждом шагу попадались родники, а на дорогах Апшерона — шашлычные, и иногда, если хотелось, Мамедага останавливал машину возле какой-нибудь шашлычной и, хорошенько вымыв руки, усаживался — летом на открытой веранде, а осенью или зимой — перед окном, чтобы съесть два-три шампура шашлыка из грудинки с тендирным хлебом — чуреком. Работники придорожных шашлычных знали всех своих постоянных клиентов, большей частью шоферов грузовых машин, знали они и Мамедагу. Когда не было свежего мяса, они предупреждали его и пиво даже не предлагали, только «Бадамлы», если оно имелось, — Мамедага за рулем не пил ничего иного, кроме воды или чая, а в другое время это зависело от места и настроения. Например, в воскресные дни, выйдя из Желтой башни, приятно выпить одну-две кружки пива с соленым горохом перед пивным киоском Асадуллы в верхней части квартала. Сакина-хала беспокоилась: «Выйдя из бани, холодное не пьют, сынок, ангийной заболешь». На что Мамедага отвечал: «Не бойся, мама, ничего не случится», но в следующий раз после Желтой бани вместо «гвардейского» пива Асадуллы пил бархатистый чай Сакины-хала.

¹ Тендир — особая печь для выпечки хлеба.

...Мамедага сказал:

— Виноград, сыр, хлеб — устраивают?

Месмеханум сказала:

— Виноград, сыр, хлеб — устраивают!

Она посмотрела на алюминиевый фургон, одиноко сверкавший серебром в лунном свете, и издалека почувствовала все его белое одиночество в этом мире. Но для нее свет алюминиевого фургона означал как раз конец ее одиночества. Месмеханум понимала, что уже за полночь и ей надо уходить домой, потому что у нее есть свой дом, и есть муж, и посреди ночи ей здесь делать нечего, — все это она понимала, конечно, но все это сейчас не имело значения, потому что сейчас на земле их было всего двое, — она, по имени Месмеханум, и он — Мамедага, хозяин больших теплых рук и голубых глаз.

Само собой, Месмеханум и Мамедага не знали ничего о том, что думал про себя каждый из них, но в эту удивительную летнюю ночь оба они часто думали об одном и том же.

Когда Мамедага и Месмеханум вошли в фургон, свет двухсотваттной электрической лампы ослепил их, и Месмеханум показалось, что развешанные на стене деревянные зайцы, деревянная лиса, медведь, лев и неведомый зверь весело смеются. Над чем же они смеялись? Над Месмеханум? Над Мамедагой? Или над этой ночью? Может быть, их развеселило, как они оба внезапно проголодались, и сейчас они сквозь смех говорили: «Эй, Месмеханум, Мамедага, вы — дети земли, вы испытываете голод, так потрудитесь спуститься с неба на землю!»

Мамедага, перемахнув через стойку тира, открыл дверцу маленькой тумбочки, на которой стоял радиоприемник «Араз», и вытащил завернутые в газету хлеб, сыр, виноград.

Глядя на склонившегося перед маленькой тумбочкой Мамедагу, Месмеханум подумала, что всю эту ночь до утра она бы раскатывала тесто и готовила бы для этого парня дюшбере и кутабы, а этот парень, с удовольствием поедая ее дюшбере и кутабы, считал бы себя самым счастливым человеком на свете! Давно, уже очень давно Месмеханум не мечтала о том, чтобы готовить для кого-нибудь, давно уже ей было безразлично, что ест она сама, но иногда по ночам, перед тем как заснуть, в ее волшебном сказочном мире совершенно другая девушка по имени Месмеханум из мяса молочного барашка, только что зарезанного мяс-

ником Мирзой, готовила для кого-то плов с говурмой, каштанами и альбухарой, поджаривала из верблюжьего мяса кутабы с гранатами, варила халву с кунжутом...

Мамедага поставил все, что было, на стойку, перенес на противоположную сторону стойки деревянный табурет с лоскутной подушкой и сказал:

— Садись. Есть такая поговорка: «Кто отдает все, что есть, тому не стыдно».

— Я знаю другую: «Незванный гость ест из своего мешка».

— А ты разве гость? — Мамедага совершенно искренне удивился, и он был прав: разве Месмеханум — гость в этом фургоне?

Мамедага, развернув газету, аккуратно расстелил ее на стойке, разложил виноград, сыр, хотел разрезать хлеб пополам, и тут обнаружилось, что тонкий тендерный хлеб, весь день пролежавший в тумбочке, засох.

— Твердым стал хлеб.

— Ничего.

— Хочешь, подогреем?

— Да, подогреем! — У Месмеханум тотчас заблестели глаза. — Пусть появится аромат хлеба!..

Раньше, отправляясь в путь, Мамедага брал с собой маленькую электрическую плитку, от аккумулятора он сделал внутри фургона проводку и иногда заваривал себе чай или жарил яичницу. Но однажды он с этим покончил раз и навсегда, потому что решил: тир — не кухня, в тире не должно пахнуть плиткой, маслом, чаем. Правда, аромат хорошо заваренного чая порой очень приятен, особенно безлюдной ночью в каком-нибудь апшеронском селе, в этом аромате были уют и теплота, но что делать, тир — не дом, тир — это тир.

— Ты посиди, а я на берегу разожгу костер, подогрею хлеб и принесу.

— Да, разведи костер! Пусть смешается аромат хлеба с запахом костра! Я пойду с тобой, зачем мне сидеть здесь.

— Ладно, пошли, — Мамедага улыбнулся.

— Знаешь, хорошо разводить костер, слушать его треск, глядеть в его пламя, играть со своей тенью... Он и в море отразится, и там, в воде, запыляет... Только потом грустно заливать угли водой, правда?

— Да, это верно... — Мамедага вспомнил, что в детстве, разведя костер прямо перед Узким тупиком, они прыгали через него и считали, что на свете нет ничего лучше,

но им тоже было не по себе, когда после приходилось заливать водой угли, которые шипят как живые.

— Ты Янаргай знаешь? — спросила Месмеханум с новым блеском в глазах.

— Янаргай? Нет...

— Даже не слышал?

— Нет.

— Пошли! — И в мгновение ока Месмеханум отобрала у Мамедаги приготовленный им сверток с виноградом, сыром, хлебом.

— Куда?

Месмеханум сунула под мышку сверток и сказала:

— Иди за мной.

И Мамедага понял, что девушка, останавливающая ветер, и на этот раз зовет его не в простое место, потому что — и это само собой разумеется — эта девушка сама была не простым человеком, как и эта ночь была не простой ночью, и вообще этой ночью все в мире было не простым; Мамедага пошел за Месмеханум, но она внезапно остановилась в дверях фургона, обернулась и, глядя на деревянного зайца, сказала:

— В него стрелять нельзя.

— Почему? — Мамедага тоже посмотрел на деревянного зайца.

— Такой красивый смешной зайчик... Зачем же в него пулей?..

— А его пуля не берет! К тому же, если выстрелить хорошо, из него другой заяц вылезает.

— Ну да! — Месмеханум, недоверчиво улыбнувшись, смотрела то на Мамедагу, то на зайца.

— Хочешь, выстрели и посмотри.

— Я? Я в жизни не стреляла...

— Не стреляла, а теперь выстрелишь. Иди сюда.

Месмеханум положила сверток на табуретку, а Мамедага взяла с маленького четырехугольного столика перед стойкой одну из разложенных там винтовок; он одинаково следил за всеми винтовками, и все они — старые и новые — были в полном порядке. Засунув в ствол пулю со щеточкой, Мамедага объяснил:

— Видишь красную точку? Целься в нее.

— Я не умею целиться...

— А сейчас ты отлично выстрелишь.

Месмеханум взяла винтовку; прищурив один глаз,

посмотрела на деревянного зайца, и заяц начал плясать под ее взглядом туда-сюда.

— Нет, не могу...

Левой рукой ухватив приклад ружья, Мамедага правую протянул вперед поверх ее плеча, положил палец на ее палец на курке и, прижавшись щекой к волосам Месмеханум, прицелился. От черных волос Месмеханум шел удивительный запах. Руками и грудью Мамедага ощущал спину девушки, ее плечи, шею; в этом ощущении было что-то такое, будто он своими руками, своей грудью хотел прикрыть обнаженные руки девушки, ее плечи, как будто ее надо было защищать от кого-то и как будто Мамедага хотел принять на себя удары, готовые обрушиться на кажущееся таким беспомощным, таким незащитным тело. Сейчас ему казалось, что это тело, это существо в его сильных руках — тело ребенка, существо ребенка, но его правое запястье коснулось груди девушки. Мамедага ощутил округлость, твердость этой груди и вместе с пальцем Месмеханум нажал на курок.

Увидев, как деревянный заяц упал направо, а появившийся из-за него второй заяц упал налево, Месмеханум обродованно закричала:

— Ура-а! — и, обернувшись, посмотрела снизу вверх в эти голубые глаза. Она впервые видела их так близко, дыхание этого парня опалило ей лицо, и девушка захотела поцеловать его — захотела и поцеловала, вот такая была Месмеханум...

...Чтобы не скучать одной в квартире, Бикебаджи иногда сдавала комнату, чаще всего молодым девушкам, приезжавшим в Загульбу работать. Но девушки снимали комнату на один-два месяца, а потом убегали обратно в Баку или получали от государства квартиру. Когда Месмеханум училась в девятом классе, у Бикебаджи на квартире жила девушка по имени Гюльзар, — она окончила в Баку библиотечный техникум и получила назначение в загульбинскую библиотеку.

Однажды в полночь Месмеханум мыла на кухне посуду. Все давно спали, только окно Месмеханум светилось. В этот день Месмеханум, посмотрев двухсерийный арабский фильм, вернулась поздно. Фильм произвел такое впечатление, что и после возвращения домой Месмеханум долго не могла прийти в себя. Эта была история из жизни летчика Ахмеда. У Ахмеда была красивая возлюбленная — Хабиба. Уже была назначена их свадьба и приглашены

гости. Однако врач Махмуд, который тоже любил Хабибу, в день свадьбы вывел из строя какие-то приборы в самолете Ахмеда, и Ахмед потерпел аварию. Часть лица у него обгорела; Ахмед попал в больницу, но Хабибе ничего не сообщили: он не хотел показаться ей с таким уродливым лицом! Хабиба же думала, что Ахмед изменил ей, бросил ее. Доктор Махмуд пытается силой овладеть ею, но Хабиба выбегает на улицу, бежит по городу, чуть не сходит с ума, попадает в руки воров и картежников... Вдруг Хабиба приходит в себя. Она узнает подробности аварии, происшедшей с Ахмедом, и на дальнем курорте разыскивает укрывшегося от всех героя. После долгой разлуки они обнимают друг друга и целуются. Доктор Махмуд раскаивается в своих поступках и плачет горькими слезами. Он лечит Ахмеда, летчик становится красивым как прежде. Ахмед и Хабиба играют свадьбу, они счастливы. Доктор Махмуд в финале фильма плачет от радости.

Моя грязные тарелки, Месмеханум продолжала думать об Ахмеди и Хабибе со слезами на глазах. Все влюбленные должны любить друг друга, как Ахмед и Хабиба, думала Месмеханум, и тогда доктора махмуды обязательно раскаются. Внезапно Месмеханум что-то показалось, и, высувшись из окна, она увидела, как у подъезда целуются парень с девушкой. Это была Гюльзар.

Месмеханум впервые в жизни видела, как парень и девушка обнимаются и целуются не в шутку, а всерьез, не подозревая, что кто-нибудь их увидит в этот поздний час.

Каждую ночь Гюльзар целовалась с этим парнем, прислонившись к косяку двери, и каждую ночь Месмеханум, спрятавшись перед окном кухни, поджидала их. Месмеханум не знала этого парня, он, видимо, тоже был приезжий. Она слышала его мягкий голос, идущий, казалось, прямо из сердца; Месмеханум не разбирала слов, но видела, что сначала парень что-то ласково говорит Гюльзар, а потом они целуются. Гюльзар первой целовала парня, она не ждала, когда он кончит говорить, прерывала его на полуслове. Напоследок Гюльзар целовала его, крепко прижимая к своей груди, после чего поднималась домой, а парень еще некоторое время стоял во дворе и смотрел на окно Бикебаджи.

Месмеханум каждую ночь подглядывала за ними, а потом, засыпая, слушала, как уже ей самой какой-то парень говорил тем же мягким голосом, идущим прямо из сердца, какие-то ласковые слова. И опять Месмеханум не понимала

значения этих слов, но все равно они теплом разливались по всему ее телу — и она засыпала.

Но однажды ночью Месмеханум напрасно ждала их, сидя перед своим кухонным окном. Они не пришли, чтобы, как всегда, прислониться к двери. В следующую ночь Месмеханум увидела этого парня — он одиноко стоял у входа во двор и смотрел на окно Бикебаджи. На третью ночь парень не пришел, и в четвертую ночь... Месмеханум решила было, что теперь эта дверь обречена навеки стоять всю ночь без влюбленных, но на пятую Месмеханум вновь услышала знакомые голоса и тайком из кухонного окна посмотрела вниз; в темноте она тотчас узнала Гюльзар, но сразу же поняла, что парень, с которым в этот раз обнималась и целовалась Гюльзар, — это уже другой парень.

Правда, Гюльзар и этого парня целовала, как того, но у Месмеханум вдруг сжалось сердце, и она ушла от окна и села на свою кровать, уставившись в пол: в мире существовала неверность! Слезы капали на ее ноги, и Месмеханум больше никогда не ждала Гюльзар, стоя у окна.

Дни прошли, и месяцы пролетели, но известно, что каждой девушке предназначен свой парень, и на долю Месмеханум выпал Мирзоппа. А потом снова прошли годы, и Месмеханум теперь уже не могла бы припомнить, когда она в последний раз целовала Мирзоппу. И когда Мирзоппа в последний раз целовал ее — этого она тоже не могла вспомнить. Водка отбила у Мирзоппы всякую охоту к любви, но, скрывая свою слабость, Мирзоппа упрекал жену:

— Ты бесплодна! Не рожаешь! — будто бы поэтому неделями не подходил к ней.

Иногда, дыша алкоголем, он все же хватал Месмеханум, но тут уже не было речи ни о поцелуях, ни о ласках.

А детей по-прежнему не было, и однажды Месмеханум пошла к врачу, которого все хвалили. Месропян, осмотрев ее, попросил, чтобы и муж пришел на обследование. Вечером Месмеханум сказал Мирзоппе:

— Сходи завтра к Месропяну.

Мирзоппа подумал было, что Месропян этот из милиции и, значит, опять его вызывают туда. Вытаращив покрасневшие от водки глаза, он спросил:

— Это какой Месропян?

— Доктора Месропяна знаешь?

— А какого черта мне делать у доктора?!

— Пусть посмотрит тебя — надо же узнать, почему у нас нет детей!

Мирзоппа не поверил своим ушам:

— Что?! Я пойду, разденусь перед Месропяном и скажу ему: осмотри меня — где?! Свой позор на меня валишь?

В тот день у них в доме снова был скандал, но соседи уже привыкли к их семейной жизни.

...Месмеханум со свертком под мышкой вышла из фургона. Все еще ощущая на своем подбородке прохладные, сухие, полные губы Месмеханум, Мамедага полпелся вслед за девушкой.

Месмеханум показала на скалы:

— Туда пойдем.

Она быстро шла по камням, ни разу не оступившись, не споткнувшись, точно зная здесь каждую яму, каждую расщелину. Она спешила, как будто боялась наступления утра.

На Апшероне не было такой асфальтированной дороги, которую бы Мамедага не знал, но за много лет он впервые шел по камням. Он не ведал, куда они идут, но мысли его были заняты другим: Мамедага с трудом удерживался от того, чтобы, подобно юноше, у которого еще не наметились усы, не погладить рукой то место на подбородке, которого коснулись прохладные, сухие, полные губы Месмеханум.

Обернувшись, Месмеханум улыбнулась и сказала:

— Уже скоро, потерпи.

Впадины между камнями заполняла теплая вода, и все было покрыто мхом.

— Здесь скользко, иди осторожно...

— Не бойся...

Когда они снова, спустившись со скал, вышли на песок, море уже было далеко от них. А вокруг все было совершенно голо, все казалось серым в лунном свете, не было ни куста, ни деревца. Они прошли мимо совсем маленького озера, но в эту удивительную летнюю ночь Большая Медведица и все прочие звезды апшеронского неба легко уместились на поверхности этого маленького озера.

Остановившись, Месмеханум, словно опытный гид этих мест, сказала:

— Это Соленое озеро.

— Почему?

— Во время войны жители добывали здесь соль. Говорят, хорошую.

Казалось, будто от серебряного в лунном свете фургона они ушли не на какие-нибудь три-четыре километра, а на другой конец земли, и если кто и знал об этом месте, то это была Месмеханум. И вдруг родной Баку и их квартал показались Мамедаге такими далекими, что теперь он и представить не мог, как это всего через несколько часов он вернется к своей жизни и, сидя дома, станет пить чай, приготовленный мамой, а выйдя в Узкий тупик беседовать с парнями, — неужели обычное войдет в свои права, а эта удивительная летняя ночь и водившая его по побережью Месмеханум уйдут в мир бесплотных воспоминаний?

— Слышишь, как лягушки квакают? — спросила Месмеханум.

Лягушки квакали очень громко, и это наглое кваканье лягушек под тихий далекий гул моря заставило сердце Мамедаги сжаться в предчувствии одиночества. Схватив девушку за руку, он сказал:

— Месме... — и сам удивился своему голосу. Он удивился тому, что его голос прозвучал на берегу этого Соленого озера сквозь нестройное кваканье лягушек и далекое дыхание моря. Впрочем, самым удивительным было то, что девушку, беседующую с морем и останавливающую ветер, он назвал так просто: Месме...

Месмеханум отняла у него свою руку, приложила палец к губам и сказала:

— Тс-с-с... — И прошептала: — Здесь шуметь нельзя...

Конечно, на берегу Соленого озера можно было шуметь и даже петь можно было, только Месмеханум — и понять это было не так уж трудно — не хотела слушать того, что он скажет. Правда, сам Мамедага не знал, что он хотел сказать, он знал одно; он что-то скажет, и его голос вместе с этим лягушачьим кваканьем и шорохом далекого моря некоторое время будет звучать на берегу Соленого озера.

Мамедага не понял, что Месмеханум сейчас боится, что слова, которые произнесет на берегу Соленого озера Мамедага, превратят эту удивительную летнюю ночь в ее полную противоположность и волшебный сказочный мир мгновенно уйдет.

Только сейчас, спускаясь со скал на серый песок, Месмеханум почувствовала, что до утра остается мало. Ночь заканчивается, а утром снова, надев бязевую куртку, она встанет за весы в помидорном киоске. Она вспомнила, что Мирзоппа сейчас спит в отделении милиции и его

опять посадят минимум на пятнадцать суток, если только на этот раз милиционер Сафар не обозлился всерьез, а тогда и дело может стать серьезным.

И вдруг в тот момент, когда она подумала о Мирзоппе, ей показалось, что Мирзоппа — чужой, из чужого далекого мира, он не имеет ничего общего с ее миром, и неправда, будто она столько лет прожила с Мирзоппой, будто все эти годы она была женой Мирзоппы, а он ее мужем и они клали головы на одну подушку. А пьянство Мирзоппы и его скандалы, всю его мужскую грубость она увидела теперь в свете этой удивительной летней ночи как нечто мелкое, ничтожное, бессмысленное и, главное, недостойное мужчины. Она сердцем поняла, что за одну эту ночь перестала быть прежней Месмеханум, хотя имя ее не изменилось, как и лицо, и фигура, и это было хорошо, потому что и лицо, и имя, и фигура, как ни странно, больше соответствовала этой новой Месмеханум, чем прежней. Когда Мамедага взял ее за руку и назвал просто Месме... Месмеханум охватил страх, что весь ее новый, только что родившийся хрупкий мир, которым она втайне наслаждалась, рассыплется в прах, обернется чужим и далеким миром, — а зачем, ведь утро еще не наступило, еще оставалось какое-то время до беспощадного утра.

И Месмеханум прошептала:

— Ты устал?

И Мамедага ответил ей шепотом:

— Нет...

— Иди, уже скоро...

После Соленого озера, увязая по щиколотку в песке, они преодолели подъем и снова взобрались на скалы. Это были те же самые скалы, но с другой судьбой. Те скалы, что остались позади, на морском берегу, мечтали, превратившись в легкие лодки, уплыть в море, лизавшее им ноги. Но эти скалы никогда не смогут уплыть в море, которое так далеко отступило от них. Эти скалы останутся на своем месте до тех пор, пока они — скалы, пока ветер и дождь не обратят их в пыль, в ничто. А когда-то, давнее, и здесь тоже плескалось море, и они тоже могли мечтать о том, чтобы, превратившись в легкие лодки, куда-нибудь уплыть.

Мамедага знал, что Каспий мелеет. Алхасбек из их квартала, сидя на деревянном табурете и глядя в газеты сквозь толстые стекла очков, говорил, что ученые сейчас занимаются этим вопросом. Каспий мелел, а это означало,

что через тысячу лет море так далеко уйдет от нижних скал, что они тоже не смогут никуда уплыть. Но все это если и будет, то через тысячу лет, а тысяча лет дышит на человека вечностью, в сравнении с которой человеческая жизнь совершенно ничтожна. Так подумал Мамедага и испугался: а вдруг и Месмеханум сейчас почувствует ничтожность нашей жизни и ее хрупкое сердце не выдержит испытаний бездной?

Его туфли были полны песка. Прислонившись к скале, он снял их и вытряхнул. Месмеханум, обернувшись, рассмеялась:

— Уже совсем скоро, потерпи...

Сама Месмеханум, пользуясь тем, что в этом месте камни лежат на близком расстоянии друг от друга, перескакивала, как горная козочка, с одного камня на другой, убегая вперед.

И вдруг Мамедаге показалось, будто прямо перед ними, у подножия песчаного холма, восходит солнце, — словно не на всем Апшероне, а только здесь, у подножия этого песчаного холма.

И Месмеханум сказала:

— Пришли.

Мамедага сразу заметил большую монолитную скалу, испещренную будто бы норами ящериц, однако из них струились язычки синеватого пламени, как если бы в скале провели газовые трубы и спичкой зажгли все эти «конфорки», и этот свет показался Мамедаге светом восходящего солнца. Глядя на огромную монолитную скалу, горевшую множеством синеватых язычков, Мамедага снова почувствовал себя не в четырех-пяти километрах от фургона с привычной надписью «Пневматический тир», а в каком-то неправдоподобном мире, и хозяйка этого полного чудес мира — Месмеханум, в синеватом свете Янаргая задумавшаяся о чем-то Месмеханум.

Но Мамедага нехотая вспомнил, что на плече хозяйки этого волшебного мира синяк, что подбородок ему холодит прикосновение ее нежных, сухих, полных губ, и ему показалось, будто он в самолете, а самолет падает, и сердце Мамедаги хочет вырваться из груди.

— Ты слышишь эти звуки? — спросила Месмеханум.

Мамедага услышал странные звуки, как только увидел «солнце» у подножия песчаного холма.

— А знаешь, что это такое?

— Нет.

— Летучая мышь. Пугается света Янаргая и поднимает крик...

Некоторое время они помолчали, стоя перед Янаргаем, — неизвестно, что видела Месмеханум, а Мамедага видел теперь только Месмеханум.

— За всю жизнь не привыкла к Янаргаю?

— К Янаргаю нельзя привыкнуть...

Опять помолчали.

Мамедага спросил:

— Ты часто сюда приходишь?

Месмеханум ответила:

— Иногда.

Мамедага спросил:

— Одна?

Месмеханум обернулась удивленная, и Мамедага пораился своему идиотскому вопросу: конечно же Месмеханум приходила сюда одна, это был ее мир, и никого не было у Месмеханум, с кем бы она могла прийти сюда, — и в этот свой одинокий мир она ввела его.

— Уедем в Баку!

Эти слова прозвучали так, будто их произнес не Мамедага, а сказал Янаргай, их повторили тут же со всех сторон, и все, что было вокруг, заговорило: уезжай, Месмеханум, уезжай, нечего тебе здесь делать одной!

Но Месмеханум молча смотрела на Мамедагу.

— Ты слышишь меня? Поедем со мной в Баку!

Голос Мамедаги прозвучал теперь слишком громко для этих мест. Месмеханум отвернулась и, глядя в огни Янаргая, резко ответила:

— Из меня Тамиллы не выйдет...

Летучие мыши, услышав человеческие голоса, зашумели и закричали сильнее, но Мамедага слышал в их галденье тревожный стук — стук своего сердца. Он растерялся.

Иногда человек не знает, что надо сказать и что сделать, потому что ему кажется, что любое его слово и движение — лишние, да и сам он лишний на этом свете, ненужное и бесполезное существо; и тогда человек становится сам себе противен, — так чувствовал себя сейчас Мамедага, стоя перед Янаргаем и не понимая, зачем он вообще родился на этот свет.

А Месмеханум рассмеялась:

— И ты тоже немного себе... Иди сюда, сядь на этот камень, а я разогрею хлеб! Увидишь, какой будет аромат!.. Садись.

На маленьком камне Месмеханум развернула газету, аккуратно разложив на ней сыр и виноград, а хлеб положила на край поближе к Анаргаю, и в эту странную летнюю ночь вокруг Янаргая разнесся аромат подогреваемого на огне хлеба. И этот распространившийся вокруг них запах хлеба изменил настроение Мамедаги. Он посмотрел на Месмеханум, присевшую на корточки около Янаргая и переворачивающую на огне тендирный чурек, взглянул в бесчисленные огненные глаза Янаргая, поднял лицо к небу Апшерона, где светло сияли луна и звезды, и подумал, что мир велик и прекрасен и почему бы человеку не радоваться этому прекрасному миру, почему не быть всегда в отличном расположении духа? А если в мире есть еще и девушка по имени Месмеханум, чьи прохладные сухие и полные губы касаются твоего подбородка, то почему бы не считать себя первым счастливецом на земле? И если ты честный человек, который никому не изменил, а в руках у тебя сила и ты крепко стоишь на земле, то все у тебя в жизни должно быть просто и ясно и все, чего ты желаешь, должно исполниться, — почему бы и нет?

И Мамедага взглядом нашел едва различимую среди всех звезд звезду Месмеханум, и Месмеханум, перекидывая с руки на руку нагретый Янаргаем хлеб, тоже посмотрела на свою звезду, Мамедага спросил:

— Твоя звезда ничего не говорит тебе?

— Говорит.

В синеватом свете Янаргая голубые глаза Мамедаги казались еще больше, и Месмеханум сказала:

— Сказать тебе, о чем она говорит?

— Да, скажи.

— Она говорит: Месмеханум, в эту ночь на тебя упала тень царственной птицы, пролетевшей над твоей головой...

...Сколько раз аромат поджаренного хлеба разносился во все стороны Янаргая, свидетелем скольких таких ночей был Янаргай — этого не знали и не могли знать ни Мамедага, ни Месмеханум. А может быть, не только хлеб жарили здесь, — могло быть и так, что тысячу лет назад, в то время когда здесь было море, человек еще был рабом, а не победителем природы, он жарил на огнях этой скалы мясо, добытое на охоте.

...Понемногу светало. Отсюда, конечно, не увидеть, как солнце поднимается из моря, но, когда оно поднимется, его лучи рассеют тьму и вокруг Янаргая, и всюду.

Сидя на обломке скалы, Месмеханум всматривалась

в загоревшее и даже почерневшее на дорогах Апшерона лицо Мамедаги, жующего теплый хлеб с сыром и виноградом, как будто старалась запомнить навсегда черты его лица, его улыбку, выражение глаз. Янаргай — это не костер, в эту странную летнюю ночь она разожгла этот костер для Мамедаги. Ей казалось, что и хлеб она сама замесила и испекла, и виноград сама вырастила и собрала, и сыр сама заквасила, и все это она сделала для того, чтобы в один прекрасный день голубоглазый парень, присев на этот камень, со вкусом поел этот виноград, сыр и хлеб — а вернее, в ту ночь, когда царственная птица, пролетев, накрыла Месмеханум своей тенью. Жаль только, что век тени очень короток. Сейчас в свете Анаргая на песок падали тени Месмеханум и Мамедаги, но скоро наступит утро, и тень царственной птицы исчезнет, как и обе их тени... Печаль проникла в самую глубину ее сердца, куда не доходил аромат подогретого на Янаргае хлеба, и жаль, что печаль пришла тогда, когда еще оставалось немного времени до наступления утра. И еще хуже было то, что Месмеханум хорошо знала: если печаль пропитана вот таким запахом горячего хлеба, перенести ее будет особенно трудно.

Месмеханум представила, как сейчас на морском берегу Загульбы стоит алюминиевый фургон, и все еще серебрится в рассветных сумерках, и чувствует себя таким одиноким на пустынном берегу, и не понимает, что на свете есть девушка по имени Месмеханум, а у этой Месмеханум есть на небе звезда, и эта звезда смотрит на этот фургон и отныне будет всегда смотреть на него — и ночью, и днем, всегда и везде, где бы ни оказался этот алюминиевый фургон.

От огня Янаргая было жарко, у Мамедаги на лбу и на носу выступили капельки пота.

— Жарко тебе? — спросила Месмеханум.

— Да, немного.

— Хорошо бы сейчас дождь пошел, правда? Хочешь, я вызову дождь?

— Нет.

— Испугался, что не смогу? — Месмеханум резко рассмеялась. — Не веришь...

...Чайчи Газанфар, как обычно придя в чайхану рано утром, разжег огонь в большом самоваре и теперь, усевшись по-турецки на паласе, постеленном на деревянном

полу, колот топориком головку сахара. Изредка поднимая голову, он поглядывал на асфальтовое шоссе, ведущее в Баку, и когда увидел на этой дороге алюминиевый фургон-тир, сверкавший в солнечном свете, то с удовлетворением подумал, что сегодня все его постоянные клиенты вернутся к нему.

...Старший сын тетушки Ханум, Абульфаз, работал садовником в Бина, там же был и его дом. И тетушка Ханум, нарвав в своем дворе в Бузовнах инжира, винограда, гранат и айвы, везет все это в Бина. Абульфаз говорил ей: «Зачем ты, ай арвад, везла такую тяжесть? Видишь, сколько у меня инжира-винограда?» А Ханум-гары отвечала: «Эти плоды с деревьев, посаженных твоим отцом и дедом. Вкус их должен быть особым для тебя. И для тебя, и для твоих детей».

Ханум-гары отправлялась в Бина рано утром, чтобы застать сына дома. Стоя в Бузовнах у шоссе, она дожидаясь автобуса, сдувшего в Баку. Известно, что на ашперонских дорогах водители проявляют уважение к старым людям, и маршрутные автобусы останавливались перед Ханум-гары, она садилась, а потом просила остановить так, чтобы выйти, где надо. Когда на этот раз рядом с ней остановилась большая машина, старуха удивилась:

— А-а-а... Это что за машина? Холодильник?

Но это был не рефрижератор, это был алюминиевый фургон Мамедаги, и на бортах его разноцветные буквы складывались в слова «Пневматический тир».

Открыв дверцу кабинки, Мамедага сказал:

— Это не холодильник, ай хала, а куда тебе надо?

— Я еду в Бина. Показалось, что автобус, вот и махнула рукой.

— Садись.

Все-таки Ханум-гары сначала внимательно оглядела фургон, потом, видимо, решила, что в такой большой машине можно ехать спокойно, и, подняв плетеную корзину, полную инжира, попыталась взобраться в кабину, но ступенька была слишком высока для нее, и попытка Ханум-гары оказалась безуспешной. Тогда Мамедага, спустившись на дорогу, помог ей. Когда фургон тронулся в путь, Ханум-гары, втягивая щеки и приводя в порядок искусственные зубы во рту, сказала:

— Молодость моя прошла в этих местах, как ястреб, отсюда влетела, оттуда вылетела. А теперь в божью машину

сесть не могу... Правильно сказано, валлахи, что, хотя все смотрят на время, время ни на кого не смотрит.

В переднем зеркале Мамедага разглядывал выцветшие маленькие глаза этой старухи, ее сморщенное лицо, выбивающиеся из-под черного келаяга и красные от хны седые волосы, и вдруг подумал, что, может быть, было время, когда и эта старуха беседовала с морем и, может быть, тоже разогревала для кого-то хлеб на-Янаргае? Мамедага подумал об этом с болью в сердце: годы пролетят, как птицы, и эта удивительная летняя ночь на пустынном берегу Загульбы станет засохшим, как цветок, воспоминанием.

Но неужели все действительно так и будет?!

Сын Самедуллы Фазиль учился в университете на физическом факультете. Раньше большинство детей в квартале, где жил Мамедага, мечтали стать шоферами и, вырастая, осуществляли свою мечту. Помимо шоферов в моде были специальности зубного техника и сапожника. Но теперь времена изменились, квартальские ребята, окончив школы, поступали в институты и становились кто врачом, кто инженером, а сын продавца бензина Мейрангулу — Алигулу стал поэтом и писал стихи, как Маяковский, «лестницей»... Алхасбек, поставив деревянный табурет на тротуар возле своего дома, садился и, нацепив очки с толстыми стеклами, читал в газетах стихи Алигулу и приговаривал: «Молодец! Берикаллах!»

Так вот, Фазиль этим летом закончил третий курс и говорил иногда такие странные вещи, что ни у кого в квартале не оставалось сомнений в том, что Фазиль в будущем станет великим ученым. Фазиль рассказывал: на ровном месте перед куском железа устраивают разные преграды, вроде лабиринта, а за ним устанавливают магнит, и кусок железа начинает двигаться к магниту, но задевая преграды, останавливается: и так повторяется и раз, и два раза, и три, и четыре, но на пятый кусок железа, как бы прозрев, находит путь между преградами и добирается до магнита.

Мамедага вспомнил этот разговор с Фазилем и подумал, что кусок железа — это всего лишь кусок железа, но и он находит путь к своему магниту. Подумав так, он прибавил газу и пожелал, чтобы в ближайшие дни в Загульбе дула только моряна.

А Ханум-гары все еще ворчала по поводу своего возраста, глядя на убегающую под колеса асфальтированную дорогу, и думала, что эта машина идет мягче автобуса.

...В овощной ларек с утра завезли свежие помидоры, и перед ним собралось много народу. Надевшая белую бязевую куртку продавщица набирала помидоры в пластмассовую миску, ставила ее на весы, высыпала овощи в сумки покупателей.

Милиционер Сафар, медленными шагами приблизившись к киоску, посмотрел на поставленные друг на друга помидорные ящики и подумал, что в этом году отличный урожай овощей и фруктов. Милиционер Сафар подумал и о том, что никакие помидоры на свете не сравнятся с ашшеронскими, что бы ни говорили, даже помидоры из его родных мест.

Милиционер Сафар, по обыкновению, начистил свои форменные металлические пуговицы зубным порошком, и теперь на кителе и на фуражке пуговицы сверкали, посылая лучи во все стороны.

Милиционер Сафар подошел к весам и, протянув руку, взял из ящика помидор, оглядел его со всех сторон и, как бы разговаривая с самим собою, тихо сказал:

— Жаль мне тебя, и я не стал оформлять рапорт... Минимум два года получил бы. Но пятнадцать суток опять просидит...

— И очень напрасно. Не делай мне одолжений.

Милиционер Сафар, снова повертев помидор в разные стороны, сказал:

— Не считай это одолжением. — И, немного смущаясь, добавил: — Пока молодая, подумай о себе, потом будет поздно... Не человек он... Нет!

«Собака он, собака!» Но эти слова милиционер Сафар произнес не вслух, а про себя. И, положив наконец помидор обратно в ящик, пошел от овощного ларька.

Продавщица, накладывая помидоры в пластмассовую миску, ставила ее на весы.

Покупатели требовали выбирать помидоры получше, протягивали деньги, получали сдачу, и никто из них не знал, что в эту ночь, когда они сладко спали, в небе Загульбы летала царственная птица и тень этой царственной птицы упала на девушку в белой вязевой куртке, которая сейчас, как всегда, продавала помидоры.

КУМАН

— Я ведь просто советуюсь с тобой, Агабаба, дорогой, а ты уж, наверно, подумал, что мы первому встречному дом сдадим, не так ведь это, посоветоваться-то можно... Я ведь не о плохом говорю, о твоих детях забочусь, не о чужих же, не о себе думаю, Агабаба, мне что, у меня уж больше ушло, чем осталось, а хочется для детей что-нибудь сделать или нет?

Агабаджи в первый раз в жизни говорила мужу о себе такие вещи, намекала на то, что состарилась, как будто Агабаджи была уже не та Агабаджи, которая с утра, как просыпалась, проходила в заднюю комнату и, запершись там на ключ, чтобы дети не вошли, минут десять — пятнадцать умащивала свое лицо, ни на один день не опаздывала красить волосы хной, и первая сплетница села Зубейда каждый раз — на свадьбе, на поминках или в бане, — увидев Агабаджи, выходила из себя: «Вы только посмотрите на нее, э, в возрасте моей бабушки (но тут уж Зубейда совсем завиралась, потому что сама она была старше Агабаджи на восемь — десять лет: во всяком случае, Агабаджи так говорила, и, поскольку почти все женщины поселка терпеть не могли Зубейду, они были на стороне Агабаджи). Ну да, в возрасте моей бабушки, а как мажется, вы только поглядите!... Для мужа своего накрашивается-прихорашивается, да, для Агабабы» (выводило из себя Зубейду как раз это, потому что у нее самой не было ни мужа, ни детей, одна-одинешенька, и вся вина была в ней самой, потому что, как предки хорошо говорили, то, что ты другим желаешь, то с тобой и случится). Такое было впервые, что в серьезных домашних делах, не в мелочах, мнения Агабаджи и Агабабы не сходились.

— Ведь выросли дети, ой, Агабаба, дорогой, большие уже стали, у них ведь, аллах даст, все впереди, им жениться надо, замуж выходить, ну, родной мой, нельзя разве что-нибудь придумать?! Хотя бы по кольцу им купим, чтобы не краснеть перед людьми, когда свататься пойдем, ну, что ты на меня так смотришь, Агабаба!.. Ну ладно, с парнями проще, машаллах, они сами знают, что делать, а дочери? С дочерьми-то что делать? Большие они уже, совсем уже подросли, машаллах! Эта гадина, Зубейда, бесстыжая, в бане трепалась, будто Агагюля с одной девушкой, по имени ее не назвала, врет, значит, в привокзальном садике видела, будто они целовались! Треплет языком, думает, я расстроюсь, вот дура, почему это меня должно беспокоить, мне еще лучше, мой сын — мужчина, что тут плохого? Еще об Агагюле она сболтнула, да ну ее, Агабаба, дорогой, Агагюль только через два года вернется из армии, а Балададаш, ты забыл, что ли, через месяц-два приезжает ребенок, да! Откуда ты знаешь, может, и у него девушка здесь есть, а мы и не знаем? Надо нам что-нибудь придумать или нет? Дочек-то ведь замуж мы будем выдавать, никто другой... — Агабаджи взяла блюдце и стала им выдавливать из раскатанного на толке теста кружочки; кружочки все были одинаковые и через некоторое время, сложенные вдвое, должны были превратиться в одинаковые большие пельмени — кутабы. — Что случится, Агабаба, ну спустимся вниз, сорок дней до сентября осталось, что тут такого, все ведь при нас останется, поживем внизу, это же не позор, сдадим комнаты приличной семье, и все, ну что тут такого, что ты на меня опять так смотришь, э, родной ты мой?

Этот разговор начался два дня назад, в те самые два дня, когда была не его смена, он сидел дома, отдыхал и за всю их жизнь впервые получился такой разговор, из-за которого Агабаба не мог отдыхать как следует.

Агабаба водил маршрутный автобус Баку — Бузовны, три дня работал, два дня бывал дома, и когда он бывал дома, то занимался двором-огородом, зимой подрезал лозы, летом поливал овощи, да и мало ли всяких других домашних дел скапливалось. Последние двенадцать лет так было, то есть так было с тех пор, как он стал работать на маршрутном автобусе, а вообще-то Агабаба уже тридцать два года работал шофером, с восемнадцати лет, то есть с тысяча девятьсот сорок шестого года, а теперь уже, слава богу, семьдесят восьмой год, с полуторки начал, теперь «Ика-

рус» водил и знал совершенно точно, что «Икарус» — последняя его машина, пенсию получит, дома будет сидеть, проживет как-нибудь, устал Агабаба.

— Если бы мы как люди сдавали комнаты летом! Сколько денег уже потеряли! Не позор же это, Агабаба, наш собственный дом, сами строили, на свои деньги, ну, сдадим верх на месяц-два приличной семье, совестливым людям, и им будет хорошо, воздухом тут подышат, в море покупаются, и нам будет хорошо, деньги нам нужны, о детях надо помнить, ну, почему же ты на это не соглашаешься, дорогой мой, ну, Агабаба? Ведь святое же дело!

Агабаба, перебирая подаренные садовником Асадуллой желтые дешевые четки, очень похожие на янтарные, сидел перед открытым окном застекленной веранды и смотрел на море. Отсюда, с веранды, море было видно как на ладони: были видны и скалы, тянущиеся от Бузовнов до Загубьбы, ниже скал — все море, то есть до самого горизонта сплошная голубизна, а по береговой кромке ярко-желтый песок: голубизна же морская где-то была светлее, где-то чуть темнее, и в этой бескрайней голубизне пряталась такая бездонная глубина, огромный мир воды, и еще в этой голубизне таился ласковый мягкий свет, от моря как будто ни звука не доносилось, потому что тихий переплеск набегающих на берег мелких волн не нарушал тишину, это безмолвие и этот плеск дополняли друг друга, и в этот момент человеку вполне могло показаться, что море всегда бывает таким, как будто никогда оно не грохочет и не ревет, никогда серые дожди не душат море, обесцвечивая эту голубизну, как будто никогда эти мелкие спокойные волны не собираются в огромные седые валы и не обрушиваются на скалы, пузырясь на них, как пена на морде бешеного скакуна.

С утра в этой невинной голубизне, в этом морском безмолвии купался один человек, и когда этот человек насытился морем и вышел на берег, стало ясно, что этот человек — не один, а два человека, парень и девушка...

Агабаба встал и своими широкими плечами заслонил открытое окно веранды, а потом повернулся, чтобы и самому не смотреть на это зрелище, на этого парня и на эту девушку, что с утра в море были одним человеком, а теперь раздвоились (здешние такого не позволяют, а пара, конечно, приехала из города, из Баку, и в сегодняшнем безлюдном понедельник море окунулась в воду).

Агабаба некоторое время смотрел, как его жена раска-

тывает еще один кусок теста, потом вдруг раздраженно сказал:

— Хватит! Я еще не умер! Пока я жив, в этом доме чужой человек ни одной копейки не потратит! Влей это себе в ухо! Поняла?

Агабаба сказал эти слова и сердито почесал большим пальцем свой поседевший еще в молодости густой ус, потом прошел в комнату и, сев за стол, уперся взглядом в картину на стене.

Агабаба говорил так сердито потому, что сильно расстроился, причем расстроился не только из-за того, что Агабаджи вдруг загорелась сдать комнаты внаем; в этот тихий летний день, нерабочий для него день, когда никто его не трогал, не трепал, почему все же он так разозлился, было непонятно, однако внезапно он затосковал по Балададашу, затосковал по Агагюлю, потом перед его глазами словно прошли-проплыли дочери, и выяснилось, что на сердце у Агабабы очень беспокойно, тревожно, причем тревога эта поднимается откуда-то из глубины, из какого-то мрака; потом Агабаба посмотрел на льва, посмотрел на человека с кинжалом в руке, и как-то так получилось, что ему вдруг стало жалко льва; лев-то, он лев, но на кинжал в руке человека смотрел так, как будто был не лев, а заяц...

...Эту картину на стене большой комнаты нарисовал три года назад один художник, приехавший из Баку для того, чтобы на красных полотнищах написать лозунги, а также изобразить голубя как символ мира у входа в поселковый клуб (в прошлом году зимой ветер унес изображение голубя, правда, и без того от дождя и снега оно совсем выцвело). Этот художник, окончив работу в клубе, в Баку не уехал и начал за деньги рисовать картины на стенах. В поселке такая мода пошла, куда там, кто заказывал себе рисунок голубя, кто — павлина, а кто — цветы; садовник Асадулла пожелал во всю стену изображение корабля с надписью на борту «Красный Кавказ», потому что во время войны служил на этом корабле; плотник Музафар заказал большую русалку-красавицу, в накиннутой на плечи шали, с рассыпавшимися по волнам желтыми волосами, из-за чего Зохра, жена плотника Музафара, ровно сорок дней с мужем не разговаривала, обиду держала; птицелов Фазиль заимел портрет охотника, который делится из ружья в слона, и этот Фазиль говорил, будто лицо этого охотника — его собственное лицо, будто художник

смотрел, смотрел на него — и вот так нарисовал эту картину. А все началось после Амиргулу. Амиргулу подружился с этим художником, они частенько пили вместе вино, и попивая вино, Амиргулу вспоминал свою покойную мать и так плакал, что наконец этот художник, когда Хейрансы не было дома, на стене большой комнаты Амиргулу нарисовал портрет женщины — матери Амиргулу, которую никогда не видел и от которой ни одной фотокарточки не осталось, вот после этого в поселке и пошла мода. Этот художник нарисовал у Агабабы в верхней большой комнате льва и храбреца, убивающего этого льва, и Агабаджи, сложив руки на груди, долго смотрела на картину, а потом спросила, что это такое; художник сказал, что будто бы у грузин есть большой поэт, его зовут Шота, а здесь нарисовано то, что он писал. Вечером этот художник, как обычно, выпил с Амиргулу вина, пришел и, с минуту посмотрев на картину, разрыдался, Амиргулу тоже проследил и сказал Агабабе, что другого такого великого художника нет во всем свете, но в Баку не дают ему ходу, не продвигают, нет у него никакой поддержки и жена поэтому бросила его и ушла к другому. Эта картина очень понравилась всем в поселке, и все решили, что художник ничего лучше не написал. Даже Зубейда этого не отрицала и не проронила ни слова, когда Агабаджи в бане расхваливала эту свою картину; правда, руки у храбреца вышли какие-то не такие, и библиотекарь Наджаф сказал, будто в живописи самое трудное дело — рисовать руки человека; и еще одна нога у героя была вроде немного длиннее другой, а на голове непонятно что — то ли волосы, то ли мохнатая шапка. Но, во всяком случае, сначала и самому Агабабе очень нравилась эта картина, потом, правда, надоело на нее смотреть, но вот теперь как-то так случилось, что он вдруг пожалел льва, потому что, кажется, этот лев чем-то вроде похож на Амиргулу...

...Агабабе стало жаль и художника, и, что уж было и вовсе через край, внезапно ему стало жалко Амиргулу, как будто Агабаба — был не тот Агабаба, который, глядя в окно на улицу и видя, как Амиргулу опять пьяный валяется, что-то бормоча, под тутовым деревом, называл соседа не иначе как сукиным сыном.

Отчего это было, почему Агабабе приходили в голову такие мысли, почему становилось жаль весь белый свет, даже сердце сжималось.

Как будто Амиргулу ждал, что Агабаба смягчится, с

улицы снова послышался его голос, и Агабаба, в последний раз посмотрев на льва, похожего на зайца, поднялся, пошел к уличному окну и отдернул занавеску.

Амиргулу обычно выпивал в день четыре стакана портвейна. Жена Амиргулу, несчастная Хейранса, устроила несколько скандалов — сначала в поселковой винной лавке, а потом в большом магазине, где заведующим был Варган Нерсесович, и теперь в поселке никто не давал Амиргулу вина, вот почему милейший Амиргулу каждое утро садился в автобус и то в Маштагах, то в Бузовнях, Мардакянах или Шувелянах выпивал два тонких стакана (по двести пятьдесят граммов каждый) своего сладкого напитка и еще раз вечером таким же манером выпивал два стакана: этих четырех стаканов вина хватало Амиргулу на весь день, всегда он был, что называется, под парами, но если он выпивал лишку, если нарушал свой график, тогда этот паршивец приходил и падал под тутовое дерево на улице. Иногда Хейранса, заливаясь краской стыда, говорила Агабабе:

— Агабаба-гедеш, чтоб я умерла под твоими ногами, не сажай его в свою машину.

Но как много на этих апшеронских дорогах маршрутных автобусов, как много самых разных машин, поэтому такая борьба с Амиргулу никакого результата не давала; тут надо было, как говорил библиотекарь Наджаф, позвонить в город, пусть приедут с санитарной машиной, заберут и лечат болезнь, но Хейранса, ясное дело, на такие предложения не соглашалась, потому что у Хейрансы тоже была своя гордость и она не могла на глазах у всего поселка отвезти своего мужа неизвестно куда, может, в сумасшедший дом.

И теперь Амиргулу, сидя под тутовым деревом на улице против их дома, прислонился спиной к толстому стволу и распевал:

Я — на фронте, я — на фронте!
И уж вы со мной не спорьте,
Я палю из пулемета,
Подбиваю самолеты!

Хейранса, готовившая на своем балконе фарш для кюфти-бозбаша, поглядела вниз со второго этажа и сказала:

— Куда тебе!

— Клянусь жизнью, подбиваю! Из «катюши» тоже стреляю, клянусь, да! — закричал Амиргулу.

...Иной раз, под вечер, когда действие двух утренних стаканов уже кончалось, а вечерние два стакана он еще не выпил, то есть когда Амиргулу бывал относительно трезв, и если у него спрашивали, что за дурацкую песню ты поешь, он говорил: слушай, а почему она дурацкая, ведь я живу вместе с Хейрансой, — а это все равно что на фронте, да...

Агабаба на этот раз не выругал про себя Амиргулу, подумал только, чем давать женщине такого мужа, лучше бы аллах дал ей черный камень.

Агабаба в этом смысле мог не беспокоиться, потому что сам он пил от силы три-четыре раза в год, и сыновья пошли в него: ни Балададаш, ни Агагюль, ни Нухбала никогда не забирались с водкой в скалы, не привозили из города ящиками пиво и не пили его с горохом, играя в нарды на улице, не оставляли попавшие в их руки деньги в шашлычной серебряного Малика.

У Агабабы с Агабаджи было три сына и шесть дочерей, причем сначала родились мальчики, а потом девочки. Старший сын, Балададаш, был в армии, вернее, он уже кончил служить, учился на каких-то курсах, через два месяца должен был вернуться, а потом сдавать экзамены в военное училище. И второй сын, Агагюль, тот самый Агагюль, про которого спекулянтка Зубейда в бане болтала, будто видела, как он в привокзальном садике целовался с девушкой, два месяца назад ушел в армию и, как Балададаш, был в Амурской области. Третий сын, Нухбала, перешел в десятый класс, будущим летом, кончив школу, тоже пойдет в армию. Наила перешла в девятый класс, Фируза перешла в седьмой класс, Кямаля перешла в шестой класс, Амаля перешла в четвертый класс, Дильшад перешла в третий класс. Последней была Бекюханум, и Бекюханум уже перешла во второй класс.

Девятеро детей было, и когда родилась Бекюханум, Агабаба назвал ее именем своей матери, в том смысле, что самое дорогое имя — у последнего ребенка, но теперь стало ясно, что Бекюханум — не последняя.

Дело было в том, что неделю назад, когда они ложились спать, Агабаджи, стесняясь и краснея, сказала:

— Агабаба, родной мой, кажется, я опять жду ребенка...

Апшерон не был Апшероном в этот момент, Апшероп был просто раем, где от прибрежного песка до самого горизонта море было голубым и спокойным.

Кумган, поглядывая на море, бежал вдоль берега к скалам от легчайшего северного ветерка. Белоснежный Кумган бежал по желтому песку под голубым небом, он бежал впереди, а Товар и Сарыбаш бежали за ним следом. Кумган временами останавливался, крутнувшись на месте, высоко поднимал голову, встречая Товара и Сарыбаша, пропускал их вперед, потом снова перегонял.

Большие агатовые глаза Кумгана весело поблескивали в солнечном свете; Кумгану было четыре года, и в поселке никто не мог сообразить, что за порода у этой собаки...

...В ту дождливую ночь, когда Агабаба привел маленького Кумгана, их сосед, охранник Гасанулла, пришел посмотреть на щенка и сказал:

— Это — ханты-мансийская собака.

Потом сказал:

— Это коми-мансийская собака.

А потом сказал:

— Нет, нет, это коми-хантыйская собака...

Гасанулла еще до войны — так получилось — попал в Ханты-Мансийский округ и обошел много деревень и стойбищ на берегах Иртыша и Оби. (В поселке говорили, что в каждом из тех далеких мест у Гасануллы осталось по жене; Балададаш написал в письме, что познакомился с одним парнем, прибывшим на службу из Ханты-Мансийского округа, и этот парень будто на одно лицо с охранником Гасануллой.) После войны кто живой остался — в поселок вернулся, а в начале пятидесятых годов и Гасанулла возвратился: на голове шляпа, на шее галстук, в полосатом костюме с узкими брюками, начал работать в Баку охранником, привез себе оттуда вдовушку, и до сих пор у него на голове та же шляпа, пиджак от того же костюма, а брюки порвались.

Охранник Гасанулла считался в поселке первым знатоком собак, и в дождливую ночь Агагюль побежал и позвал охранника Гасанулла. Охранник Гасанулла позвал азербайджанский язык, но и русский не выучил хорошо и обычно изъяснялся на причудливой смеси из двух языков. (Почтальон Фатош говорил, что в письмах, приходивших охраннику Гасанулле из тех далеких мест

в пятидесятых годах, Гасанулла называли Григорий Михайлович; имя отца охранника Гасануллы было Мехти; теперь-то Гасанулле никакие письма не приходили, но почему-то никто не спрашивал у почтальона Фатоша: слушай, а почему ты вскрывал эти письма и читал, что в них написано?)

Охранник Гасанулла, увидев щенка, сказал:

— Молоко! Нужно молоко!

Дети принесли молоко в узкогорлом старинном медном кумгане, и охраннику Гасанулле этот кумган очень понравился.

— Хороший кумган! — сказал он.

Агабаба спросил:

— А щенок как? Хороший щенок?

Охранник Гасанулла сказал:

— Да, да, хороший кумган!

И с того вечера дети стали называть щенка Кумганом.

...Кумган добежал до скальной гряды, остановился и обвел глазами скалы, глаза Кумгана весело посверкивали, он чуть ли не подмигивал толстым плитам, заигрывая с ними, мол, что вы тут стоите, давайте побегаем наперегонки.

Бродячие собаки издавна жили в скалах, беспризорные суки в этих скалах щенились, выкармливали своих щенков, щенки здесь и вырастали, кое-кто находил себе хозяев, остальные убирались прочь, потому что поселковые собаки хорошо знали друг друга и хотя временами грызлись между собой, но чужаков дружно прогоняли со своей территории.

В поселке держали только кобелей, у кого была дворняга, у кого волкодав, а у кого и легавая (Зубейда терпеть не могла собак и говорила: слушай, животное если хочешь кормить, так корми овец, корову, а собаку на что?). Некоторые бакинские хозяева породистых сук были ужасные дельцы, они ездили по всему Апшерону, выискивали породистых кобелей, а потом продавали породистых щенков и зарабатывали деньги. Чистопородных псов в поселке было три: один — Алабаш садовника Асадуллы, это был волкодав, и садовник Асадулла уже давно обрезал ему уши, чтобы лучше слышал, отрубил хвост, чтобы в холод не спал, лениво прикрывая нос лохматым хвостом; второй — легавая охотника Фазилья — Сарыбаш, тот самый Сарыбаш, который бежал сейчас к скальной гряде с Кумганом. Фазилья брал его с собой на охоту, и Фазилья, который

в жизни ни о ком доброго слова не сказал, признавался, что, если бы не Сарыбаш, добыча даже такого удачливого охотника, как он, была вполтину меньшей; и еще один — немецкая овчарка Вартана Нерсесовича — Рекс; все остальные были дворняги.

Вот уже три дня, как пропал Алабаш садовника Асадуллы. Летом в поселке почти все на ночь спускали своих псов; собаки бродили по дворам и улицам, выбегали на берег моря, обследовали скалы, а утром возвращались в свои дворы, в свои будки. Уже три дня пес садовника Асадуллы — тот самый безухий, безхвостый, громадный и красивый Алабаш никому не попадался на глаза, и вчера днем по всему поселку пронесся слух, что кобель садовника Асадуллы взбесился. Однако ни Товар, ни Сарыбаш, ни Кумган ничего об этом не знали, и в этот ясный спокойный летний день Товар с Сарыбашем спокойно обнюхивали расщелины в скалах. Кумган побежал обратно к морю, посмотрел на небо, на тянущийся, насколько видит глаз, берег с мелким желтым песком, и как будто не захотелось ему расставаться с этим чистым прибрежным песком, ярким солнцем, этой небесной голубизной, Кумган снова побежал вдоль берега.

В тот спокойный летний день прилетел на берег моря кулик. В этой части Апшерона кулик встречается редко, и называют его соленым куликом, потому что он обычно обитает на Соленом озере вблизи селения Мухамедлы.

И вот неведомо как залетевший в эти края кулик, оставшись в одиночестве на этом пустом берегу, тоже будто заскучал по живому существу, и когда бегущий вдоль берега Кумган приближался к нему, кулик отлетал в сторону спокойного моря и, описав полукруг, снова садился на мокрый песок, дожидаясь, когда Кумган приблизится к нему, и, как только Кумган приближался, снова взмывал в воздух и, описав полукруг, садился на мокрый песок впереди; следуя за птицей, Кумган бежал мимо пустых навесов пляжа, всем своим видом выражавших тоску по людям, детям, бежал мимо кутабных киосков — без продавцов и покупателей, без шума и крика, без запахов и ароматов; наконец у качелей Кумган закончил свою игру с куликом, пронесся от моря по прямой к пляжной кабине и на этот раз уже повернувшись промчался обратно к скалам.

Надо сказать, места эти не так уж близко от Баку, поэтому большинство бакинцев ездили на шиховский пляж, но в субботу и воскресенье, когда устанавливалась

хорошая погода, то есть стояли такие, как сегодня, спокойные солнечные дни, тут было, что называется, не протолкнуться. Приезжали все больше на собственных машинах, у кого же не было своей машины — набивались в автобусы. Примерно в середине дня жители поселка отвязывали своих собак, и собаки, хорошо зная свое дело, тут же убегали на пляж, подъедали там колбасные огрызки, остатки кутабов, куриные косточки, остатки мороженого, просто невозможно было их оторвать от этой вкуснотищи, а вечером, когда купальщики, загорев под солнцем до красноты петушиного гребня, наконец уезжали, собаки долго еще бродили по берегу, перерывали газетные кульки и свертки, вылизывали консервные банки. А потом берег начинали прочесывать поселковые ребятишки, каждый с большим мешком в руках, они собирали пустые бутылки, а наутро относили и сдавали их в магазин Вартана Нерсевича; они так же сгребали рваные газеты, бумагу, сдавали эту макулатуру, получали талоны и на эти талоны покупали в Баку книги, а потом, продавая книги, покупали себе, кто держал голубей — голубя, кто держал рыбок — рыбку, кто хотел смотреть кино — ходил в кино на индийские, арабские фильмы. Вполне можно сказать, и при этом не ошибиться, что и поселковые собаки с нетерпением ждали очередную субботу. Все собаки, кроме одного Кумгана. Кумган ничего не знал об огрызках колбасы, остатках кутабов, куриных косточках, растаявшем мороженом на пляже в субботние и воскресные дни, потому что хозяин Кумгана Агабаба косо смотрел на эти вещи. По убеждению Агабабы, у мужчины должен быть мужской характер, мужчина должен жить как мужчина, у такого человека и все домашние должны быть его достойны, и это убеждение Агабабы было таким крепким, что оно оказало влияние и на судьбу Кумгана, и вообще, по существу, в доме Агабабы было не одиннадцать человек, а как бы двенадцать — взрослые, дети и Кумган.

Кумган, может быть, вообще не знал вкуса колбасы, не знал, что на свете есть такие вкусные вещи, потому что сам Агабаба колбасы не ел, и, естественно, никто не покупал колбасу специально для Кумгана. (Агабаба говорил, будто логман (великий врач) сказал: пойдя на базар, купи джан (живое), то есть купи мясо; если не будет джан, купи полуджан, то есть яйца; если и этого не будет, тогда купи захримар (яд), то есть простоквашу.

Обычно Кумгану давали есть три раза в день; утром, днем, вечером, и еду для Кумгана Агабаджи готовила сама: замешивала ячменную муку, делала из нее колобок, иногда из ячменной муки и подсоленной воды делала болтушку, и еще, если от обеда оставалось что-нибудь, эти остатки давали Кумгану. Иногда бывали косточки. Агабаджи обычно покупала мякоть мяса, потому что это было выгоднее, она или долму готовила, или кюфту-бозбаш, или каждому из детей по котлетке, но в большинстве случаев она выпекала из теста дюшбере или кутабы. Правда, возиться с тестом дело хлопотное, но это себя оправдывало, никто голодным не ходил. Иной раз Агабаба утром, еще до работы, совсем равно, вытаскивал из курятника курицу, через некоторое время Агабаджи разделявала ее, и в такой день Кумган бывал очень доволен, потому что, разумеется, все кости ему доставались и вот особенно в зимние дни, когда все вокруг покрывал снег и Кумган, выглядывая из своей будки во двор, хрустел куриными косточками, в черных глазах собаки было столько тепла и света, что этот свет, это тепло никак не вязались с зимним холодом, метелью. Когда же Агабаба с лопатой в руках расчищал от снега подходы к будке, Кумган осторожно откладывал в угол куриную кость, выходил из своего убежища и так славно терся своей белой, неотличимой от снега головой о ноги Агабабы, что эта благодарность животного откровенно трогала даже такого мужчину, как Агабаба, проездившего полжизни по дорогам Апшерона, попадавшего в разные переделки.

Тогда был самый конец весны, и в один из последних весенних вечеров, ровно четыре года назад, внезапно разразилась гроза, засверкали молнии, начался такой дождь — ужас, поднялся такой ветер, какой может дуть только на Апшероне в один из последних весенних вечеров, и Агабаба и Агабаджи испугались, что виноградные лозы во дворе, инжир, гранат, тутовник — все пропадет, но дождь так же внезапно прекратился, как начался, а ветер все не унимался.

В этот последний весенний вечер Агабаба сидел на веранде, пил чай и смотрел во двор. Тускло поблескивали иокрывшиеся свежими листочками ветки деревьев. Внезапно сердце Агабабы сжалось, он вдруг подумал о детях. Балададаш, Агагюль, Нухбала, Наила, Фируза, Кямаля,

Амаля, Дильшад, Беюкханум по очереди прошли перед глазами Агабабы, когда они вырастут, кем будут, кому достанутся девочки, как они будут жить, что станет с мальчиками? Вдруг Агабаба подумал и о том, что пройдут дни, пройдут годы, на этом свете наступит такое время когда на земле не будет не только Агабабы, не только Агабаджи, но и ни одного из этих детей; придет день когда эти дети, которые сейчас открывают рты, просят есть, болтают, смеются, шумят, лягут в конце концов в сырую землю, то есть вырастут, состарятся и умрут. От этой внезапной мысли все тело Агабабы мгновенно покрылось холодным потом, сердце заколотилось, и Агабаба, не допив чаю, на ватных ногах вышел во двор, он и сам не понимал, как спустился к морю в этот ветреный весенний вечер, как подошел к скалам.

Ясное дело, в этой внезапно пришедшей в голову Агабабы мысли не было ничего нового, кто пришел однажды в этот мир, должен однажды и уйти, это было известно, но вдруг стало известно и то, что когда поставишь перед своим мысленным взором всех своих детей поодиночке и подумаешь, что когда-нибудь в будущем наступят девять отделенных друг от друга дней и эти девять дней унесут девять жизней — по одному в сырую землю, тут можно сойти с ума, все теряет цену: и это море, и эти скалы, и этот песок, и этот ветреный весенний вечер — весь мир показался Агабабе несостоящим одной черной копейки.

Потом Агабаба, медленно прохаживаясь по морскому берегу, много думал о людях, о мире, думал, что если мир такой бранный, то почему их завгар Кямалов такой мерзавец, стоит человеку вынуть руку из кармана, чтобы, извините, почесать спину, он тотчас же решает, что ты даешь ему взятку, и вообще, если этот мир такой бранный, если всех в конце концов примет сырая земля, почему люди ссорятся друг с другом, ругаются, не ладят и даже пишут друг на друга доносы. (Зимой приходили двое, проверяли двор Агабабы, потому что в районный исполнительный комитет пришло анонимное письмо, будто Агабаба устроил в своем дворе парник, выращивает розы, отвозит и продает их в Москве на площади перед Ярославским вокзалом.) Агабаба подумал обо всем этом, ругнулся про себя, потом ему вспомнились две строчки из стихов, которые библиотекарь Наджав читал на поминках. на свадьбах:

Он обманет тебя, этот старый колдун,
Этот молодой остающийся мир,—

и Агабаба вдруг увидел, что рядом с ним идет большой щенок.

Агабаба остановился. И щенок остановился. Мокрый, с грязными от песка лапами, этот щенок дрожал от холода на пустынном морском берегу, и Агабаба прямо как ребенок подумал: несчастный зверек, в чем твоя вина, что ты пришел в этот мир, пришел и остался совсем один, попал под дождь; щенок как будто почувствовал, что его пожалело другое, единственное кроме него живое существо в этой огромности моря, в этой огромности земли и неба, в этот ветреный темный вечер, и прижался к ногам Агабабы. Какое-то время они стояли так, потом Агабаба решил вернуться домой, вернуться к своим большим и малым детям, но щенок не отставал, путался в ногах, и, конечно, Агабаба в то время не знал, что этот щенок уже навсегда связан с его домом, этот щенок вырастет у них во дворе, станет их собакой, причем умной собакой, и имя у нее будет Кумган.

Поднимаясь в поселок, Агабаба хотел запутать щенка, но это было похоже на игру в кошки-мышки, причем кошкой был щенок — запутать его оказалось невозможно, щенок не отставал ни на шаг.

Это был смешной щенок, и самым странным было то, что он совершенно освободил голову Агабабы от печальных мыслей, развеселил его своим упорством...

...Из-за скалы сначала послышался голос Амиргулу:

— Я знаю, где он прячется!

Потом показался сам Амиргулу — как будто в этот гихий день, в этот дневной зной дул сильнейший ветер, и этот ветер действовал только на Амиргулу: Амиргулу раскачивался, как бельё на веревке, за ним показались птицелов и охотник Фазиль с ружьем в руке, потом садовник Асадулла, а с ним галдящие ребятишки.

Амиргулу, подняв руку вверх, говорил:

— Я знаю, где он пропадает! — Причем, произнося эти слова, он смотрел себе под ноги, как будто потерялся не Алабаш, а обручальное кольцо Хейрансы, и Амиргулу искал это кольцо в песке. (Хейранса иногда говорила Амиргулу: «В тот день, когда я надела твое обручальное кольцо, лучше бы мне на голову черный камень упал, о аллах, да ведь так и получилось!»)

Охотник Фазиль и все эти люди в этот тихий летний день искали Алабаша.

По поселку разнесся слух, что Алабаш прячется в скалах и сегодня утром чуть не укусил милиционера Сафара, а у милиционера Сафара в кобуре не пистолет, а, как обычно, бутерброд на завтрак, поэтому он не мог застрелить пса. (Потихоньку занимавшаяся мелкой спекуляцией и больше всех в поселке ненавидевшая милиционера Зубейда, услышав об этом, сказала: «Чтоб ему пусто было, проклятому!»)

Свое ружье садовник Асадулла оставил дома.

— У меня рука не поднимется убить Алабаша! — сказал он и пошел к охотнику Фазилю, который любил такие вещи, теперь они все вместе поднялись на скалы и стали искать Алабаша.

Кумган внимательно посмотрел на этих людей. Он знал их всех, и знал, что за длинная штука в руках охотника Фазилия.

Кумган посмотрел на этих людей, потом на спокойное синее-синее море, на голубое чистое небо, на неподвижный желтый песок, снова посмотрел на людей и как будто не понял их, не понял, почему эти люди вместо того, чтобы купаться в море, лежать на этом песке, загорать под этим солнцем, полезли на скалы с шумом и криком.

Амиргулу, поднимая руку вверх, все говорил:

— Я знаю, где он! Знаю!

Голые скалы так раскалились под солнцем, что Кумган не мог устоять на месте и часто поднимал лапы. Несколько дней назад в такую вот жару небо внезапно нахмурилось — мгновенными переменами погоды и знаменит Апшерон! — пошел дождь, поэтому во впадинах скал, выбоинах все еще оставалась вода, и Кумган, как только видел эти лужицы, бросался туда, мочил лапы, а когда люди, заглядывая в расщелины, удалялись, снова бежал их догонять.

— Я знаю, где он! Знаю!

Охотник Фазиль поднял ружье и выстрелил в воздух.

От этого внезапного звука все вздрогнули, вздрогнул и тот одинокий кулик на морском берегу, вздрогнул и залетел... Кумган, поджав одну лапу, сощурил свои черные глаза, посмотрел в небо и как будто удивился, раз с неба ничего не упало, значит, в небе ничего нет, а раз ничего нет, зачем направили в это чистое, спокойное небо длинную штуку и выстрелили?

Охотник Фазиль сказал:

— Из этого ружья я медведя свалил, э, что мне пес?! Сейчас у него только мозги брызнут!

Садовник Асадулла, шагая за охотником Фазилем, говорил мысленно: «Чтоб ты провалился! И отец твой был такой же шакал. Этому негодяю как будто медаль дадут за убийство!»

Амиргулу, поджав руку, снова сказал:

— Я знаю, где он! Знаю! — Потом, сильно качнувшись, обеими руками подтянул брюки, потому что они, как всегда, сползали с него.

В это время из-за скалы выскочила собака, и тут же Фазиль вскинул свое ружье, приложился, а садовник Асадулла отвел дуло в сторону, и пуля на этот раз улетела в море.

Садовник Асадулла закричал:

— Не видишь, это другая собака?!

Бежавший к людям Товар испугался выстрела и, будто в него попали, повизгивая, помчался прочь; Товар был в диком страхе.

Кумган посмотрел на Товара, потом, поджимая лапы, снова двинулся за людьми, и тут внезапно послышались такие дикие звуки собачьей грызни, что у людей волосы встали дыбом. Все застыли на месте, словно пораженные неистовым собачьим визгом и лаем: у охотника Фазилия задрожали руки, и садовник Асадулла, посмотрев на дрожащие руки охотника Фазилия, подумал: «Вы только посмотрите на этого хрябца! Медведя убил! На тебе!.. Убил...»

Амиргулу сделал четыре шага вперед, причем он больше не качался, как будто произошло чудо, и в это время дня Амиргулу оказался трезвым.

Охотник Фазиль и садовник Асадулла тоже потихоньку двинулись вперед. Дети, умолкнув, не трогались с места. Кумган, усевшись на задние лапы между детьми и взрослыми, открыл пасть и задышал часто-часто. Охотник Фазиль, обернувшись, посмотрел на Кумгана и удивился, что собака Агабабы даже не лает в сторону грызущихся псов.

Амиргулу еще немного продвинулся вперед, и тут из-за скалы выкатились клубком две собаки, Алабаш, оторвавшись от глотки Сарыбаша, бросился на Амиргулу. Несчастный Амиргулу мигом повернулся и побежал, издавая животные вопли.

Алабаша можно было узнать только по размерам, обрезанным ушам и хвосту, а так Алабаш больше уже не был Алабашем, за эти три дня он облысел, покрытые белым налетом глаза расширились, взгляд стал диким, из рта шла пена.

Амиргулу мчался с этими животными воплями (дети потом пустили слух, что, когда взбесившийся пес садовника Асадуллы преследовал Амиргулу, Амиргулу со страху звал на помощь Хейрансу), и, когда Алабаш уже почти достигал его, садовник Асадулла закричал прямо в ухо Фазилю:

— Слушай, ну стреляй же!

Охотник Фазиль, отведя взгляд от взвизгивающего и корчащегося на земле Сарыбаша, прижал ружье к груди, и одновременно с выстрелом Алабаш подпрыгнул и упал на землю, садовник Асадулла на этот раз невольно подумал: хорошо стреляет, сукин сын.

Алабаш поскреб когтями землю и, вытянув задние лапы, испустил дух.

Сарыбаш, лизнув свой ободранный бок, покачиваясь, поднялся на ноги, посмотрел на лежавшего недвижно Алабаша, потом на охотника Фазиля с ружьем в руках, и в полных ужаса и боли глазах пса вдруг сверкнула искорка радости, Сарыбаш, покачиваясь, оставляя за собой кровавые следы, поплелся к своему хозяину.

Все, отведя глаза от Алабаша, смотрела на Сарыбаша, тишина была полная.

Охотник Фазиль сказал:

— Из тебя больше собаки не выйдет! — и, нарушая традиции поселковых мужчин, очень неприлично выругался при детях, затем, прижав ружье к плечу, выстрелил Сарыбашу прямо в лоб.

Вот так четвертый выстрел охотника Фазиля нарушил тишину этого летнего дня, и Кумган, оставшийся сидеть на задних лапах, после этого четвертого выстрела два раза тявкнул на охотника Фазиля.

Охотник Фазиль, проходя мимо Кумгана, хотел от злости пнуть ногой эту собаку, чтобы она завизжала, но вспомнил, что это как будто собака Агабабы, и подумал, что такие шутки с Агабабой кончатся для него плохо, он не ударил Кумгана, только плюнул в его сторону и на этот раз не громко, а тихонько, очень неприлично выругался.

Охотник Фазиль, садовник Асадулла и дети направи-

лись в поселок: охотник Фазиль шел, чтобы на кого-нибудь излить свою злость — на жену, тещу или на другого человека, садовник Асадулла пошел за лопатой и киркой, чтобы вернуться и закопать собаку, дети пошли, чтобы рассказать эту историю всем, кто не видел.

Все ушли. Только Кумган остался там же, где стоял все это время.

Море, как и прежде, было синее-синее и спокойное. Небо — безоблачное, солнечное. Берег опять был пуст. Вдоль берега от песка поднималось легкое марево, и сейчас в этой тишине, казалось, что недавно прозвучавшие четыре выстрела были давным-давно, как будто в этой тишине, в этой благодати ни стрельбы не могло быть, ни собачей грызни.

Кумган снова посмотрел на небо, на море, на берег и снова увидел на берегу того же одинокого кулика, но теперь уже Кумган не стал играть с ним в догонялки.

Что же касается Амиргулу, то у Амиргулу брюки спереди промокли, и Амиргулу устроился на скале, чтобы снять брюки и высушить, а потом пораскинуть умом, что ему делать.

Амиргулу давно уже не был таким трезвым, и, понятно, терпеть такую трезвость было очень трудно.

Как говорится, такие вот дела.

3

Был вечер этого тихого жаркого летнего дня, вся немалая семья Агабабы собралась на веранде. Могло быть три причины для такого всеобщего семейного сбора: или Агабаджи приготовила что-нибудь вкусное, или по телевизору должен начаться концерт Зейнаб Ханларовой, или пришло письмо от Балададаша либо от Агагюля.

На этот раз это было письмо, и письмо это Агагюль написал Нухбале, и теперь Нухбала громко читал это письмо, а все внимательно слушали.

Агагюль написал такое письмо:

«Я тебе, мой брат, пишу.

И тебя писать прошу.

Мой дорогой младший братик Нухбала, если ты спрашиваешь обо мне, то я жив и здоров, чего и тебе желаю.

Нухбала, ты теперь у нас в доме единственный брат, и ты теперь должен делать так, чтобы никто не втоптал в грязь и мою, и нашего старшего брата Балададаша папаху, присматривай за девочками, ты теперь должен сле-

дить так, чтобы они были достойными девочками, как наша мама Агабаджи — достойная женщина. (В этом месте Агабаджи не выдержала и, вытирая слезы полотенцем, сказала: «Да буду я твоей жертвой, Агагюль!»)

Нухбала, ты теперь должен больше помогать нашему отцу Агабабе, потому что содержать такую большую семью очень трудно, к тому же наш отец Агабаба — настоящий мужчина (тут Агабаба очень быстро отвернулся к окну, как будто кто окликнул его со двора, но и Агабаджи, и дети поняли, что он смутился, растрогался...).

Нухбала, когда человек далеко, он о многом думает. Когда вернусь, я тоже должен засучить рукава, начать зарабатывать деньги, потому что мы должны выдать замуж наших девочек достойно нашего имени.

Нухбала, остальное я напишу в следующем письме. Сократив расстояние, целую всех домашних. Передай от меня приветы нашему отцу Агабабе, нашей матери Агабаджи, Наиле, Фирузе, Кямале, Амале, Дильшад-Беюкханум.

Нухбала, не забывай заботиться о Кумгане.

Подпись — я сам,
Конец — словам.

Твой средний брат *Агагюль*.

Агагюль вложил в конверт и фотокарточку, где он снят в военной форме, а на обратной стороне Агагюль красным карандашом провел во всю длину расчески три волнистые линии и на этих трех волнистых линиях написал:

«Мой дорогой младший брат Нухбала!
Не вспоминай, как посмотришь,
А как вспомнишь, посмотри!»

На этой веранде вечером этого тихого жаркого дня фотокарточка Агагюля в военной форме несколько раз перекочевывала из рук в руки, и Агабаба, поглядывая на своих дочек, словно припоминал что-то, поднявшись с места и спускаясь с веранды во двор, в первый раз с полудня он заговорил с женой:

— Завтра сделай плов!

Это означало, что завтра рано утром перед работой Агабаба вытащит из курятника двух кур, зарежет и под вечер все, собравшись на веранде, будут есть плов и Агабаджи положит порцию Агабабы в кастрюльку и отставит в сторону; когда ночью Агабаба придет с работы, Агабаджи разогреет кастрюльку, подаст Агабабе его порцию, а сама

сядет рядом и, выкладывая одну за другой поселковые новости, будет смотреть, как Агабаба ест плов.

Агабаджи сказала:

— А ну-ка поскорей! Наиля, принеси рис! Фируза, принеси стакан! Дильшад, подай таз!

Когда Агабаджи готовила плов, она варила десять — двенадцать стаканов, потому что семья была большая, приправы было маловато, к тому же дети хлеб с рисом не ели, а так как риса было много, Агабаджи начинала его перебирать с вечера.

Наиля принесла рис. Фируза стакан. Дильшад принесла таз. Кямале, Амале, Беюкханум тоже собрались вокруг стола. Агабаджи отсыпала из мешка двенадцать стаканов риса, высыпала его в таз и поставила таз на середину стола. Девочки и Агабаджи, каждая со своей стороны, взяли по горстке, высыпали перед собой на клеенку и стали перебирать рис, купленный Агабабой по сходной цене у Мкртыча, водителя маршрутного автобуса Баку — Ленкорань.

Нухбала вложил письмо Агагюля в конверт и отнес конверт в то отделение платяного шкафа, где лежали самые ценные вещи семьи — обручальное кольцо Агабаджи и еще ее кольцо с изумрудом, партийный билет Агабабы, письмо Балададаша, квитанции об уплате за электросвет и другие подобные вещи, потом Нухбала поместил фотографию Агагюля в щель между рамкой и стеклом круглого зеркала, висевшего на стене рядом с фотографией Балададаша в военной форме, выйдя из дома, забрался под навес посреди двора, снял брюки, рубашку, сел на постель, вынул из кармана брюк сигарету «Аврора», потихоньку закурил, держа сигарету в кулаке, чтобы Агабаба не видел, откинулся на подушку, посмотрел на луну, на звезды. Вдруг Нухбала увидел себя в военной форме, увидел, что он послал домой письмо, и все, собравшись на веранде, читает его письмо, а мать, Агабаджи, вытерев слезы полотенцем, говорит о нем: «Да буду я твоей жертвой, Нухбала!» Отец Агабаба из-за него расстроится и распорядится приготовить завтра плов, и такое же солдатское письмо Нухбалы будет читать Наргиз, прячась от братьев, потихоньку. Наргиз разделется и, лежа в постели, будет читать письмо Нухбалы при лунном свете. Нухбала увидел Наргиз, с которой учился в одном классе, в постели, и тут он очень глубоко затыкнулся сигаретой.

В пижней части поселка построили санаторий для военных, санаторий уже работает, и с этого года стало меньше комаров, потому что военные с вертолета обсыпали камыши между скалами и поселком каким-то порошком, после этого Нухбала лежал под навесом без всякого полога и, глядя на звезды, думал о Наргиз и вообще о том, что такое любовь.

Эта ночь была очень тихой и звездной, и луна, как обычно в такие тихие ночи, проложила на море блестящую дорожку, и мелкие волны все гнали и гнали эту полоску света к берегу. Поселок еще не спал, окна светились, горели электрические лампочки, висящие над воротами, на улицах было пусто, даже молодежь, юнцы не говорили о футболе, и пели, собравшись в привокзальном садике, из-за этого зноя все разошлись по дворам, тишину временами нарушали только гудки бегущих в Баку и из Баку электричек, да еще по радио передавали концерт в исполнении Гаджибабы Гусейнова, из многих домов поселка доносился голос Гаджибабы Гусейнова; казалось, что несколько певцов тихонько поют хором.

А теперь Гаджибаба Гусейнов пел на слова Физули, и эта песня красноречиво рассказывала о том, что творится в сердце Нухбалы, но во всем поселке никто не знал об этом, никто в поселке об этом даже и не догадывался.

В этот вечер Агабаба, словно постоянно припоминая что-то, не мог найти себе места во дворе и, открыв калитку, вышел на улицу, может, там есть кто-нибудь, с кем можно парой слов перекинуться, хоть немного развеяться, но в этот вечер на Агабабу будто кошка кашлянула, только он вышел на улицу, сразу на него пахнуло сивушным запахом, из-за угла прыгнул Амиргулу и, увидев Агабабу, остановился, покачиваясь, потом сказал:

— Жаль, тебя не было, Агабаба, сейчас я наелся верблюжьих кутабов, так наелся — больше некуда!

Агабаба произнес:

— Хорошо сделал. На здоровье!

И, сказав эти слова, Агабаба повернулся, снова открыл калитку и опять зашел к себе во двор.

Ясное дело, Амиргулу все выдумал, в этом поселке, да и вообще в этих краях, последнего верблюда зарезали самое близкое двадцать — двадцать пять лет тому назад, и Амиргулу верблюжьи кутабы мог есть разве только во сне — это было совершенно ясно, но неясно было, что же все-таки случилось с Агабабой? Вместо того чтобы радо-

ваться прекрасным словам в письме Агагюля, снова внезапно сжалось сердце, хотя сыновья, что ж, сыновья, они — ничего, растут мужчинами, но вот дочери, дочери опять прошли поодиночке перед глазами Агабабы — и Наляля, и Фируза, и Кямаля, и Амаля, и Дильшад, и Бекюкханум; они посмотрели Агабабе прямо в глаза, и — будто их так уж мало — еще одна готовилась — собиралась на белый свет, но откуда он знает, кто будет на этот раз? Девочка или мальчик, ребенок есть ребенок, дело было не в этом. А в чем?

Поселок понемногу засыпал, гасли окна, выключались телевизоры. Вылетели на охоту летучие мыши. Задул легкий ветерок, и этот легкий ветерок, поколыхивая виноградные инжирные листья, слегка отгибал их в сторону моря.

И в ту же ночь Агабаба перед тем, как погасить свет и лечь в постель рядом с Агабаджи, сказал:

— Ладно, делай, как знаешь, только чтоб люди были приличные.

Агабаба сказал эти слова, а про себя вроде усмехнулся — мол, где теперь приличные люди, потом лег в постель, нога Агабаджи коснулась его ноги, и на этот раз он подумал: что еще за разговоры: приличные люди, неприличные люди, в чем дело, что случилось?

Агабаджи вздохнула свободно — у женщины будто камень упал с души — и сказала:

— Да буду я твоей жертвой, Агабаба, большое спасибо!

Через некоторое время храп Агабабы разнесся по всему их двору — и не только по двору. (Однажды их соседка Хейранса пожаловалась женщинам в поселковой бане, что по ночам спать не может из-за храпа Агабабы, и Агабаджи, услышав об этом, поскандалила с Хейрансой, лучше, мол, думай по ночам о своем несчастном Амиргулу, а какое тебе дело до моего мужа? Но это было давно, и уже давно Хейранса и Агабаджи помирились. И дети, и сама Агабаджи так привыкли к храпу Агабабы, что когда Агабаба не ночевал дома, работал в ночную смену, то есть, когда не раздавался храп Агабабы, они не могли заснуть, будто весь этот дом, этот двор, без головы, без хозяина был уже совсем не их дом, не их двор.)

В летнее время Агабаба и Агабаджи спали в маленькой пристройке, девочкам же стелили палас на веранде. Мальчики с конца весны спали под навесом во дворе, и под этим

навесом остался теперь один Нухбала, и Нухбала, как следует поразмыслив о том, что такое любовь, сейчас сладко спал. И уснули все девочки, улегшись рядышком на паласе. Агабаджи думала о своих будущих квартирантах до тех пор, пока не сморил ее сон.

Кумган, стоя под тутовым деревом, наострил уши и, устремив глаза на дыру в нижней части забора, сорвался с места, но заяц оказался проворнее собаки и сканнул в свою нору.

В последнее время, с одной стороны, совхоз на свои поля, с другой стороны, торговцы зеленью, цветами на свои личные участки высыпали столько ядохимикатов, столько удобрений, что зайцы переселились с полей во дворы. Как будто зайцы поняли, что хозяин этого дома, то есть Агабаба, — человек, живущий честным трудом, с ядами, химическими веществами дела не имеет. Агабаба не носил зелень на базар мешками, в зимние месяцы перед московскими, ленинградскими вокзалами не продавал роз. Агабаба ухаживал за землей в своем дворе по обычаям предков, и овощи с его огорода, инжир, виноград, гранаты, абрикосы, айву, миндаль видела только его семья. Конечно, тут была еще одна сторона, которой зайцы не понимали: прежде всего Агабаба брезговал заячьим мясом, он говорил, что заячьи ноги похожи на кошачьи и, чем есть заячье мясо, лучше пожарить картошку, а с другой стороны, Агабабе казалось, что убивать зайцев и разорять их норы — это все равно что срубить под корень вот это, к примеру, инжировое дерево или айву.

А Кумган знал свое дело, не подпускал зайцев близко к огороду позади дома, и зайцы уже тоже знали Кумгана, зайцы знали, что ночью, когда наступит тишина, уйдут люди, эта белая собака начнет здесь прогуливаться, и она — не такая уж злая, не страшная, во всяком случае, с этой собакой во дворе жить можно.

Милицционер Сафар говорил: какой характер у хозяина, такой характер и у собаки. Милицционер Сафар говорил: вот, например, легавая охотника Фазили (тот самый Сарыбаш, который был сегодня в полдень укушен забесившейся собакой садовника Асадулла и застрелен охотником Фазилем) по характеру и даже по внешнему виду — как будто копия своего хозяина. (Поселковые ребята говорили, что охотник Фазиль отрезал у подстреленных им птиц головы и давал Сарыбашу, и легавая так к этому привыкла, что, как только находила добычу, не дожидаясь

хозяина, отгрызала и съедала голову, а охотник Фазиль как ни в чем не бывало отвозил этих птиц в Баку и продавал их людям на базарах, и будто бы из-за этого кто-то заболел в Баку, и еще говорили, что легавая охотника Фазили ест поганое мясо, потому что Сарыбаш с утра до вечера пил воду.) Милицционер Сафар говорил: вот, например, возьмем этого белого пса Агабабы, ясно, что он перенял характер своего хозяина, совсем нежадная собака.

На огороде опять лопнула дыня, и Кумган, наострив уши, посмотрел в сторону огорода. Садовник Асадулла привез из Узбекистана скороспелый сорт дыни; посадил у себя во дворе, и еще до сбора винограда эти большие желтые дыни уже поспевали. Садовник Асадулла в знак особого расположения дал и Агабабе семена этой скороспелой дыни, и в этом году в огороде Агабабы прибывшие из Узбекистана дыни выросли, пожелтели и созрели. По ночам, когда становилось прохладнее, у дынь сама по себе с немалым шумом растрескивалась кожура. Кумган сначала не понимал, что это за треск, а потом все же разобрался, чьи это проделки.

Кумган в свете электрической лампочки, висящей на столбе у колодца, еле успел проводить глазами быстро пролетевшую летучую мышь, потом взобрался на широкий грабовый пенек, на котором рубили дрова, оттуда махнул на крышу курятника, а с крыши курятника — на широкий каменный забор.

Некоторое время Кумган не отводил от моря своих посверкивающих в лунном свете черных глаз.

Может быть, Кумган вспомнил того одинокого кулика, может быть, у него были другие воспоминания, связанные с морем, — во всяком случае, Кумган думал; по крайней мере, всей своей позой он выражал глубокую задумчивость, потом, отвернувшись от моря, посмотрел на спящие дома поселка и, наострив уши, прислушался, кроме храпа хозяина, кроме редких стуков падающих на землю еловых шишек да еще шороха листьев большого тутового дерева, других звуков не было, и Кумган, задрал голову, долго всматривался в сплошную темную массу шелестящих над ним ветвей и листьев.

В поселке говорили, что это тутовое дерево сто с лишним лет назад посадил человек по имени Мешади Мухтар и будто бы этот Мешади Мухтар — прадед жены милиционера Сафара; у Мешади Мухтара утонул в море девятилетний сын Ахмед, и Мешади Мухтар посадил тутовое

дерево на улице, чтобы дух Ахмеда радовался, когда каждый будет класть себе в рот по яголке. В поселке Ахмедово дерево называли обычно «поминальный тут». Конечно, Кумган обо всем этом не знал, но в эту пору лета, то есть в начале июля, под сенью этого дерева сидели на толстых ветках и лакомились тутовыми ягодами ребятишки, шумели, галдели, и, может быть, Кумган вспоминал сейчас об этом — после того дневного шума и крика, выстрелов, суматохи и переполоха. Кумган отвернулся от поминального тута, словно нехотя, посмотрел на скалы, и сразу же отвел от них взгляд, будто он был виноват в чем-то, связанном с этими скалами, будто сделал что-то не то; дважды тихонько твякнул в сторону скал, сложил рюкзак передние лапы, опустил на них голову и тихонько заскулил, как бы прощаясь навсегда в эту летнюю ночь с Алабашем и Сарыбашем.

Потом Кумган прыгнул на крышу курятника. с нее — прямо на землю и побежал к своему огороду.

4

Сначала парень взмолился тонким визгливым голосом:
— Лейли! Лейли!
Потом девушка низко, чуть ли не баритоном спросила:
— Что, Меджнун?
Потом они запели вместе:

Что же нам делать?
Иби-Сина идет свататься,
О горе, горе!

И снова визгливо взвился голос парня:

Мой цветок, моя перль!
Не могу без тебя!

Недаром говорят: лучше быть дураком, и пусть тогда у других голова болит, подумала Агабаджи. Агабаджи подумала это, но было неясно, чем она недовольна, этой пластинкой или своими квартирантами. Вчера ночью, когда они ложились спать и Агабаба сказал, что ему не по душе эти, что наверху, Агабаджи успокоила Агабабу: «Груша не бывает без червяка, а человек — без недостатков, спи, Агабаба...» Но Агабаба уходил с утра, возвращался поздно и ничего не знал об этих делах.

Ровно пять дней продолжался этот концерт, ровно пять

дней этот парень женским голосом зывал к Лейли, и девушка чуть ли не баритоном спрашивала: «Что, Меджнун?» — а потом они пели вместе.

Амина-ханум завила эту пластинку в полдень, включала звук на полную мощность, стоя у окна застекленной веранды, принималась за черешню.

О аллах, разве можно есть столько черешни? Ведь говорят, что от черешни у человека живот болит, так почему же у нее с животом ничего не случается? Агабаджи очень старалась не сердиться на квартирантов, но это было совершенно невозможно. Агабаджи откровенно злилась на них, но по известной причине враждовала она с ними в глубине души, и такая вот тайная злоба превратила жизнь Агабаджи в ад (предки как раз в таких случаях говорили: нет ничего хуже, если огонь пожирает тебя изнутри; предки были мудрые старики и обычно слов на ветер не бросали).

Вот уже пять дней, как Агабаджи с Агабабой сдали свои комнаты внаем, а сами перебрались в полуподвал и маленькую кладовку рядом с кухней (зимой здесь хранили дрова). Агабаба положил брезент под верандой. Агабаджи расстелила там палас, и девочки спали на паласе. Вчера ночью было так жарко, что Агабаджи и Агабаба не вынесли этой жары, выйдя из кухни, впервые в своей жизни, то есть впервые, когда оба они были дома, спали врозь, причем вместе с детьми, Агабаджи постелила Агабабе под верандой в одном конце, а себе — в другом, так что девочки спали между ними.

И вот уже пять дней, как Нухбала приходил домой поздно, приходил после того, как жильцы гасили свет и засыпали, потому что Наргиз сказала Нухбале: поклонись, что никогда в жизни не полюбишь никого, кроме меня; и Нухбала поклялся жизнью своего старшего брата Балададаша, что в жизни не полюбит никого, кроме Наргиз, на другую девушку не посмотрит даже уголком глаза, и поэтому Нухбала приходил домой поздно, чтобы не видеть в окне второго этажа, как Амина-ханум раздевается, не видеть ее грудь, похожую на полное молоко коровье вымя, большой зад, не видеть, как эта женщина расхаживает по комнате перед мужем голая. (Нухбала злился не только на Аминю-ханум, но и на Башира-муаллима: «Этот сводник-муж почему свет не гасит или хотя бы занавеску не задергивает?!»)

Их было четверо, новых жильцов во дворе и в доме

Агабабы, целых четыре новых человека: Башир-муаллим, лет пятидесяти, среднего роста, смуглый, с кудрявыми черными волосами, но потом обнаружилось, что и волосы, и свои тонкие усы он красит. Агабаба, внимательно приглядевшись, понял это и после этого уже не мог смотреть на Башира-муаллима, и потом, от Башира-муаллима всегда пахло духами или одеколоном; Амина-ханум, ей было меньше сорока, беленькая, как яйцо, каштановые волосы, светлые глаза, нельзя сказать, что некрасивая; сын их Адиль, они звали его Адиком, и Адик в этом году кончил школу; дочка Офелия, ее звали Офа, перешла в шестой класс, и было, наконец, то, что всю эту семью объединяло, и отец был толстый, и мать была толстая, и дети были толстые, все были толстые. (Жена Амиргулу Хейранса, когда впервые увидела квартирантов своих соседей, чуть не покатила со смеху, потому что, как только она увидела этих толстых людей, ей вспомнился один известный всему поселку разговор, над которым мужчины смеялись в чайхане, а женщины в бане: после того как охранник Гасанулла вернулся из мест отдаленных, он некоторое время жил в поселке холостяком, потом решил жениться, и, когда один из аксакалов села, мясник Ага-киши, спросил, на ком охранник Гасанулла хочет жениться, охранник Гасанулла сказал: жените меня на ком хотите, только чтобы она была как можно толще! Мясник Ага-киши, сидя со своими сверстниками в поселковой чайхане и попивая чай, сказал: «Оказывается, этот несчастный хочет жениться на квашне или на бочке. Ему не жена нужна в дом, а товар для пользования». И когда эта весть разнеслась по поселку, ясное дело, ни одна женщина не пошла за охранника Гасанулла, и охранник Гасанулла в конце концов сказал: «Шайган их всех возьми!» — поехал в Баку, подыскал там себе вдовушку, причем это была очень полная женщина.)

Да, все четверо квартирантов Агабабы были полные, но на самом деле их было не четверо, а пятеро, потому что у них был приятель, звали его Калантар-муаллим, и этот Калантар-муаллим каждый божий день бывал в доме Агабабы, то есть приходил к квартирантам, но Калантар-муаллим был худой и длинный, у него была очень длинная шея и очень большой кадык, в общем, он был очень тощий человек.

Девушка с мужским голосом теперь запела другую песню, и от того, что пластинка, на которой была записана

эта песня, треснула посередине, певица будто запиналась и на весь двор неслось:

С зеленой «Волгой» па-а-арень, Гани, Гани!
С золотыми зубами па-а-арень, Гани, Гани!
Смотри не задевай ме-е-еня,
Потому что я бессты-ы-ыжая, Гани, Гани!

«Чтоб ты провалилась! Чтоб ты сквозь землю провалилась. — Агабаджи с такой злостью поставила чайник на самовар, чтоб чайник наклонился и кипящая вода ошпарила ей большой палец. — Так мне и надо!» — сказала Агабаджи.

Потому что я бессты-ы-ыжая, Гани, Гани!

Эта самодельная пластинка была записана на какой-то ладье, такие пластинки продавали с рук у кафе «Наргиз» в Баку по очень дорогой цене, и все же находились любители, у которых в карманах всегда полно; Амина-ханум просила мужа покупать ей эти пластинки у кафе «Наргиз», и вообще Амина-ханум очень любила такие самодельные пластинки и с удовольствием слушала их с утра до вечера.

Потом снова завопил женским голосом парень:

Захмелел я, красавица,
Ох, захмелел я, красавица!

Будь проклята маклерша Зубейда, Зубейда привела этих квартирантов к Агабаджи. «Хорошие люди, — сказала она, — очень культурные люди!» Чтоб черный камень упал на голову этой сводни за то, что нашла квартиру, аллах знает, сколько она с них взяла, чтоб она добра от них не имела, так ей будто мало было, что она их привела, еще и пять рублей сорвала, мол, я тебе квартирантов отыскала! Очень хорошо сделала маклерша Зубейда, отлично сделала, потому что у того, кто слушает такого человека, как Зубейда, ничего путного не получится. Потом Агабаджи подумала: в доме что мужчина сказал, то и должно быть: Агабаба говорит, что не надо квартирантов пускать, и был, конечно, прав.

На этот раз, когда девушка опять пробасила: «Гани, Гани!», Кумган, стоявший под тутовым деревом, раза три тявкнул в сторону веранды, и тут стало ясно, что и Кумган тоже недоволен.

Кумган еще в первый день, наблюдая, присматриваясь к этим новым людям, к их повадкам, слушая их разго-

воры, сумел определить свое отношение к ним, и, наверно, милиционер Сафар правильно говорил, что характер собаки похож на характер ее хозяина, потому что Кумгану тоже, кажется, с первого же дня эти новые люди не понравились и потом он уже на них не смотрел и даже отворачивался от них.

Конечно, эти новые люди не думали, понравились они Кумгану или не понравились, и вообще они были не из тех людей, которые переживают, только Офелия хотела найти общий язык с Кумганом, но у нее ничего не получалось.

Офелия с изумлением смотрела на дочек Агабабы, на этих босоногих девчонок, бегущих по двору с непокрытыми головами, едящих, когда вздумается, не едящих, когда не хочется, пьющих сырую колодезную воду: девочки эти были будто совсем из другого мира, и Офелия, скучая, хотела подружиться хотя бы с Кумганом.

Офелия тоже начинала день с черешни, после черешни — шоколад, после шоколада — котлеты, после котлет — курица, рыба, уставшая от всего этого, Офелия спускалась во двор, стояла в тени финиковой пальмы рядом с собачьей будкой или сидела на одном из сколоченных Агабабой деревянных табуреток и смотрела на Кумгана, изредка позвякивавшего своей цепью.

Кумган не обращал внимания на эту чисто одетую, аккуратно причесанную толстую девочку с красным бантом в волосах, а когда девочка подходила к нему поближе, Кумган лаял, и Офелия тотчас испуганно отступала, а видевшая это с веранды Амина-ханум говорила с чувством: — Совсем спятила!

Амина-ханум говорила так потому, что Офелия выносила из дома и бросала перед Кумганом котлеты и целые куриные ножки, кюфту, долму без листьев, но Кумган ничего этого не ел, и забредавшие во двор кошки воровато растаскивали все. Офелия расстраивалась чуть не до слез. Ведь она так ласково разговаривала, так его обхаживала, Кумган не смотрел на Офелию и не дотрагивался ни до одного лакомого кусочка.

Амина-ханум любила готовить и готовила хорошо, вкусно — об этом можно было понять по запаху, по аромату. С утра — хаш, мясные блинчики, тавакебаб, днем и вечером — долма, довга, плов, чихыртма, гызартма, базартма, но больше всего удавались ей особые, как она говорила, «фирменные» котлеты. (Жена Амиргулу, Хейранса все удивлялась: «Очень богатые люди у тебя

живут!» — «Богатые — для себя, мне-то что?» — отвечала Агабаджи и кляла себя: верно предки говорили, богач да глупая женщина делают что хотят...)

Уже больше недели они жили здесь, но за это время Амина-ханум ни разу не вышла со двора на улицу, если бы уборная не была в дальнем конце двора, эта злодейка, наверно, и с веранды не спускалась бы. Башир-муаллим каждый день приезжал из Баку на такси и по утрам уезжал на такси. (Агабаджи говорила: раз у этого человека столько денег, пусть купит себе машину, а Хейранса говорила: да он, наверно, боится, зарплата маленькая, конечно, иначе почему бы не купить?) И каждый раз, приезжая из города, Башир-муаллим вылезал из такси и шел по двору, держа по полной корзине в руках, и Амина-ханум сразу же начинала готовить вкусные блюда из продуктов, что были в этих корзинах.

Нухбала весь день проводил на берегу моря, загорел дочерна и, несчастный по известным причинам, домой приходил поздно ночью, домашние, можно сказать, его почти не видели. Девочки, нанюхавшись кулинарных ароматов Амины-ханум, уходили каждая к какой-нибудь подруге, и Агабаджи, догадываясь о причине этого, только стискивала зубы. Что она могла сделать? Нарезать и пожарить на сковородке картошку, баклажаны... Агабаджи стала как будто стыдиться своих детей, до этого времени в доме Агабабы такого не было, и это было самое ужасное.

Офелия говорила:

— Кумган! Кумган! — и все еще не теряла надежды подружиться с этой белой собакой. — Возьми! — она бросала перед Кумганом только что приготовленную Аминой-ханум фирменную котлету из телатины, но Кумган отказывался от этой дружбы, и все тут.

Однажды у Агабаджи волосы на голове зашевелились, женщине показалось, что Кумган отвел глаза от брошенной Офелией котлеты, отвернулся и заплакал.

Вечером Агабаджи сказала Агабабе, чтобы утром он зарезал трех кур; на завтра, когда она приготовила из этих трех кур чихыртму и все поели, Агабаджи собрала кости в одну посуду, вынесла и поставила ее перед Кумганом. Кумган все эти кости с хрустом перемолол за пять минут.

В общем, тысяча и одна ночь, как говорил Агабаба, привели ишака и нагрузи его своими печальми.

Башир-муаллим и Амина-ханум этим летом далеко не поехали и сняли дачу потому, что сын их Адиль в этом году поступал в институт и Калантар-муаллим поэтому приходили сюда каждый день, так как было известно, что Калантар-муаллим преподает в институте; во всяком случае, Калантар-муаллим был человеком, как-то связанным с институтом.

У Калантара-муаллима была красная машина «Жигули», и когда эта машина останавливалась у ворот Агабабы, это означало, что Калантар-муаллим привез из города какую-то новость, он торопливо поднимался на веранду, тихонько шептался с Баширом-муаллимом, а когда Башир-муаллима не бывало дома — с Аминой-ханум; иногда, посадив Адилья в машину, он вез его в Баку или готовиться к экзаменам, или с кем-то знакомить; Агабаджи точно этого не знала, но было ясно, что ребенка устраивает в институте Калантар-муаллим.

Где работал Башир-муаллим, было непонятно, он ездил на работу, в общем-то, когда хотел, но однажды Нухбала услышал на пляже от ребят, будто Башир-муаллим — директор одного из рынков в Баку; во всяком случае, ни Агабаба, ни Агабаджи никогда об этом не спрашивали, потому что, где работал Башир-муаллим, их не касалось; Агабаджи в душе считала дни до конца августа, когда эти квартиранты должны уехать. И Агабаба в душе считала дни, когда эта история кончится.

С тех пор как Агабаба женился на Агабаджи, он почти всегда спешил домой, и особенно в последние годы — то ли из-за возраста, то ли еще почему, — сидя за рулем маршрутного автобуса Баку — Бузовны (за день шесть раз туда, шесть раз обратно), Агабаба, проезжая мимо своего поселка, с трудом удерживался, чтобы не бросить на произвол судьбы полный людей автобус, не пойти к себе домой, чтобы Агабаджи, набрав ведро прохладной колодезной воды, прямо в середине двора опрокинула это ведро Агабабе на шею и на спину, а потом еще, и Агабаба, хорошенько умывшись, поднялся бы на свою веранду и, попивая крепкий чай из грушевидного стаканчика — армуду, смотрел бы телевизор.

Кто бы мог подумать, что сейчас Агабаба не спешит домой, наоборот, попросился на дополнительные рейсы, а дома говорит неправду, говорит: Агабаджи, мой напарник заболел, поэтому надо еще одну смену отработать.

Агабаджи все понимала, но вида не показывала, она уже устала корить себя и утешалась лишь тем, что больше никогда и никому не сдаст комнаты.

Словом, это была действительно не очень приятная история, недаром предки говорили: выигрывает покупающий, а не продающий. И еще эта история с шашлыком.

Суэта с шашлыком началась в тот августовский вечер, когда запахи и ароматы кушаний Амины-ханум улетучились со двора и девочки вернулись от своих подруг домой и собрались вокруг телевизора. Еще до того, как в доме поселились квартиранты, Агабаба отнес свой телевизор вниз, под веранду. (У Башира-муаллима было целых два транзисторных телевизора, один они поставили на веранде, и этот телевизор смотрела Амина-ханум, а другой телевизор — японский — Офелия носила с собой по двору, и, поскольку Кумган поворачивался к ней задом, Офелия была самой одинокой на всем Апшероне, у нее не было другого выхода, кроме как смотреть телевизор; конечно, этот маленький переносной телевизор был чудо как хорош, и, сидя в тени финиковой пальмы, смотреть такой телевизор было интересно; однажды Офелия даже Иран поймала, но ни одна из дочек Агабабы не приходила смотреть вместе с Офелией; Адиль тоже не смотрел, положив перед собой толстую книгу, он в эту апшеронскую жару сидел в комнате, потев, он готовился к экзаменам, и, верно, книга всегда лежала перед несчастным Адилем, но в мыслях он улетал аллах его знает куда, иной раз он приходил в себя, смотрел на льва на стене и снова уносился куда-то, что же касается Башира-муаллима, то Башир-муаллим терпеть не мог телевизор, не увлекался он также газетами и журналами, потому что Башир-муаллим говорил, что человек должен жить «натурально», и точка!

Да, так вот, в этот августовский вечер и Агабаджи, и девочки собрались перед телевизором под верандой, правда, это был старый телевизор, не так уж хорошо показывал, и Агабаджи много думала о том, чтобы заменить его, купить новый, с экраном побольше, да чтоб яснее показывал, а то в этом изображении дергается, действует на нервы, но теперь это было ни к чему, потому что через некоторое время должен начаться концерт оркестра народных инструментов и, как говорили, будет петь какая-то девушка, и петь еще лучше, чем Зейнаб Хандарова.

Поднялся легкий ветерок.

Агабаджи, поудобнее усевшись перед телевизором и с

большим удовольствием ожидая начала концерта, сказала:

— Да нет, что ты, нет!.. Не может быть! Как бы они там ни старались, до Зейнаб им далеко! Одна-единственная! Нет таких больше!

В это время красная машина Калантара-муаллима остановилась перед воротами, и на этот раз из машины, кроме Калантара-муаллима, вылезли еще четверо мужчин, и, как только они вылезли, начался переполох.

— Башир-муаллим! Ай, Башир-муаллим. Иди посмотри, кто приехал!

В своих широких полосатых пижамных брюках Башир-муаллим с необычным для его полноты проворством спустился по ступенькам веранды:

— Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать!

Гости вошли во двор, они, как видно, недавно где-то встали из-за стола, потому что распространяли вокруг себя запахи спирта и курдючного шашлыка, один что-то выкрикнул, другой громко расхохотался, третий сорвал гвоздичку, будто она ему мешала, четвертый, плешивый, подпрыгнул, чтобы сорвать туговую ягоду, и при этом белую свою рубашку красным соком выпачкал и ветку сломал, — Агабаджи под верандой только благодарил аллаха, что Агабабы нет дома; у Агабабы сердце бы разорвалось, не вынес бы он этого, тут бы кровь была, неизвестно, что бы он сделал.

Тем временем Калантар-муаллим за руку вытащил из комнаты Адила, один из гостей спросил:

— Это наш герой? Сразу видно, храбрый парень! — Потом, показав на плешивого, сказал: — Завтра ты будешь сдавать экзамен вот этому преподавателю, уважаемому Джаббару-муаллиму. Держись крепче! Не бойся, он тебя не съест!

Амина-ханум, спустившись вниз, заглянула под веранду, срочно потребовала у Агабаджи мангал, шампуры, щипцы, угли и, услышав, что в доме нет ни мангала, ни шампуров, ни щипцов, ни угля, искренне удивилась:

— Ой, ну что тебе сказать, женщина! Военное время сейчас, что ли? Вы что, шашлыков не делаете?

Однако долго говорить у Амины-ханум времени не было, и Амина-ханум, отвернувшись от Агабаджи, торопливо приблизилась к Калантару-муаллиму, Калантар-муаллим как близкий человек наклонил голову, приблизил ухо к губам Амины-ханум, и Амина-ханум стала что-то

быстро шептать ему на ухо; Калантар-муаллим, внимательно слушая Амину-ханум, посмотрел в сторону семейства Агабаджи, укоризненно покачал головой и, поспешно выйдя со двора, сел в машину, красная машина помчалась к шашлычной серебряного Малика на берегу моря.

Через некоторое время по всему двору, по всей округе распространился аромат шашлыка, все заволокло шашлычным чадом, и жена Амиргулу Хейранса высунула голову из окна, чтобы посмотреть, что случилось, потом поняла, в чем дело, и наглухо затворила окно, чтобы в дом не набивался дразнящий запах.

Калантар-муаллим на привезенном из шашлычной серебряного Малика мангале жарил шашлык посреди двора, и, так как баранина была очень жирная, жир с шипением капал на угли, и чад заволакивал все вокруг; Калантар-муаллим со слезящимися от дыма глазами раздувал угли, размахивая крышкой большого бака, в котором Агабаджи варила белье, Адиль же носил готовые шашлыки на веранду, капая жиром по всему двору, по лестнице.

А на веранде пиршество было в разгаре.

Башир-муаллим говорил:

— Честное слово, это армянский коньяк! А это — чечено-ингушский коньяк! Честное слово, чечено-ингушский коньяк! А это — дагестанский! Горные орлы произвели его! Честное слово, так!

Джаббар-муаллим говорил:

— По-моему, вы — необыкновенный человек!

Сафар-муаллим говорил:

— Выпьем за здоровье этого необыкновенного человека потому, что, если бы не было таких необыкновенных людей, этот мир слишком много бы потерял!

Алисахиб-муаллим сокрушался по поводу утраты добрых старых обычаев и говорил: «О аллах, что со всеми нами будет, почему у нас так мало таких мужчин, их так мало — таких мужчин, что не сыщешь и днем с огнем, и как хорошо сделал Калантар-муаллим, что привел их сюда и посадил рядом с таким мужчиной, как Башир-муаллим».

— Вы только взгляните на стол! — говорил Алисахиб-муаллим. — Вы посмотрите, какой стол, причем буквально за пять минут! Этот стол, я бы сказал, олицетворение нашей нации, да!

Только Фарман-муаллим ничего не говорил, потому

что часто икал, лицо его пожелтело, и было ясно, что Фарману-муаллиму нехорошо, мутит его.

Башир-муаллим сказал:

— Амина-ханум, если нетрудно, принеси Фарману-муаллиму простокваши, ему будет легче.

Джаббар-муаллим сказал:

— Слушайте, этот человек — чудо, клянусь совестью, чудо!

Калантар-муаллим снимал с мангала шампуры, по одному давал их Адилю, и Адиль бояливо брался за них, он боялся обжечься. Калантар-муаллим был в отличном настроении, и, находясь в таком настроении, Калантар-муаллим потирал руки и говорил:

— Чего ты боишься, дурачок? Ты уже поступил в институт, поступил, клянусь твоим отцом! — Потом Калантар-муаллим, чтобы уж совершенно уверить Адиля, кивнул в сторону веранды: — Клянусь, поступил!

Адиль бодро ухватился за шампуры.

Калантара-муаллима тянуло к веранде, и на какое-то время он как будто забыл о шашлыках на мангале, потому что Амина-ханум поглядывала с веранды во двор, причем из расстегнутого ворота шелкового халата Амины-ханум ясно виднелась ложбинка между ее грудями; потом Калантар-муаллим все-таки взял себя в руки и снова занялся мангалом.

И Агабаджи в тот вечер пришла в себя только после того, как девочки разбежались кто куда от этого острого запаха шашлыка, шашлычного чада, и девушка в телевизоре пела только для себя одной, потому что в то время в этом дворе поющую по телевизору девушку никто не слушал; потом Агабаджи услышала звяканье цепи, рычание Кумгана, вышла из-под веранды и направилась к собачьей будке.

Кумган сидел на цепи, и легкий ветерок относил прямо на него шашлычные запахи и ароматы.

Кумган, словно забыл, что он на цепи, бросался в разные стороны, рычал. Шерсть на загривке Кумгана встала дыбом, из пасти текла слюна, в глазах появился безумный блеск.

Когда Агабаджи подошла к будке, Кумган зарычал совсем грозно, и Агабаджи испугалась, да и мудрено было не испугаться при виде обезумевшего пса, из пасти которого капала слюна, вдруг женщине показалось, что Кумган не рычит, а воет как раненый волк; наконец Агабаджи

опомнилась, быстро отстегнула цепь от ошейника Кумгана. Кумган в три больших прыжка бросился к Калантару-муаллиму и внезапно, будто ужаленный, завертелся на месте.

Калантар-муаллим, раздувавший мангал крышкой от бака, топнул ногой и прикрикнул на собаку:

— Убирайся отсюда!

Кумган присел на задние лапы, поднял голову, посмотрел прямо в глаза Калантару-муаллиму, и Агабаджи показалось, что Кумган сейчас вцепится в Калантара-муаллима, укусит его, но, к счастью, Кумган только залаял громко, обежал вокруг мангала и стремглав выскочил на улицу.

Кумган понесся по направлению к морю, но берега не достиг, дал большой круг и, снова забежав в поселок, по той же улице вернулся обратно, влетел через калитку во двор, остановился, высунул язык и посмотрел на Калантара-муаллима.

Шашлыки с шипением зажаривались на мангале.

Офелия закричала:

— Кумган! Кумган!

Кумган посмотрел на веранду.

Офелия, торопливо спустившись с веранды, замедлила шаги, не решаясь подойти совсем близко к собаке, и, взяв из тарелки, которую держала в руке, несколько теплых кусочков шашлыка, бросила Кумгану; Кумган понюхал эти кусочки, слюна пузырилась у него по краям закрытой пасти, поднял голову, посмотрел на Офелию и вдруг стал громко лаять, Агабаджи испугалась, что Кумган действительно укусит эту девочку, или суетящегося вокруг мангала Калантара-муаллима, или кого-нибудь другого, но опять, к счастью, Кумган никого не тронул, выбежал на улицу понесся к морю, и на этот раз до самой ночи уже не возвращался.

Когда ночью Кумган вернулся во двор, гости уже уехали.

На мангал давно вылили ведро воды, девочки спали под верандой, в комнатах Башира-муаллима свет был погашен. Нухбала устал проклинать в душе могилу отца Башира-муаллима и наконец заснул под навесом. Только Агабаджи не спала в такую пору и лопатой перекапывала землю у забора. Накануне, когда гости уходили, Фарман-муаллим осрамился: несмотря на то что он выпил много простокваши, его все же вырвало у забора, и теперь

Агабаджи пришлось хорошенько поработать лопатой, чтобы Агабаба, вернувшись домой, не увидел этого безобразия; Агабаба вскоре должен был появиться после своей второй смены.

В эту ночь Агабаджи подумала, что на деньги, которые получит от этих квартирантов, она ни колец для своих невесток не станет покупать, ни для дочек ничего не делает, потому что деньги таких людей пользы не принесут. Может быть, подумала Агабаджи, купить телевизор, только ведь на их деньги, как назло, плохой, неудачный телевизор купишь.

В эту ночь Кумган посмотрел на Агабаджи, послушал тихое бормотание женщины, воровато, уголком глаз посмотрел на второй этаж, потом между деревьями прошел в дальний конец двора.

И в эту ночь кошки обнаружили вкусные куски шашлыка, брошенные Офелией Кумгану, и насладились ими, Кумган не прогнал кошек со двора и с зайцами не стал связываться, можно сказать, всю ночь просидел на каменном заборе, глядя на море и скалы.

У этой истории с шашлыком оказалось продолжение. После этого дня чуть ли не каждый вечер на машине Калантара-муаллима приезжали гости, и приготовленные Калантаром-муаллимом шашлыки Адиль таскал на веранду; Калантара-муаллима не покидало превосходное настроение. (Однажды так получилось, что Калантар-муаллим в присутствии Агабаджи пошутил с Баширом-муаллимом, хотя Калантар-муаллим при других не разговаривал с Баширом-муаллимом и вообще был неразговорчивый человек: Калантар-муаллим, показывая на свои красные «Жигули», сказал Баширу-муаллиму: «Маленькая машина, Башир-муаллим, гости не помещаются».)

Калантар-муаллим сказал это и рассмеялся; когда Калантар-муаллим смеялся, у него на тонкой и длинной шее надувались жилы, а во рту зубы золотые блестящие. «Ничего, аллах даст, скоро купишь «Волгу»... Честное слово, купишь! Пусть только мой ребенок сдаст экзамены...» И Башир-муаллим тоже расхохотался, но Агабаджи не поняла, что тут смешного, вообще-то Башир-муаллим был человеком, который иной раз смеялся просто так.)

Запах шашлыка впитался в эти деревья, в этот забор, в эти стены. И казалось, вся округа пропахла шашлыком,

и жена Амиргулу Хейранса в субботу в бане пожаловалась поселковым женщинам:

— Из-за этого шашлычного запаха по вечерам все окна, двери закрываю! Амиргулу, бедняга, в такой духоте дома сидеть не может.

Зубейда, натгряя спину стоявшей перед ней секретарше поселкового Совета Сугре, не смогла удержаться, съязвила:

— Ну и ну! Вот, значит, почему твой пьяница дома не сидит!

Из-за этих слов разразился такой скандал, какого в это лето в бане еще не было, и женщины с трудом растащили Хейрансу и Зубейду. (Секретарь поселкового Совета Сугра с недотертой спиной закричала, что вызовет сюда милиционера, и Хейранса, а особенно Зубейда, хорошо знавшие секретаря поселкового Совета Сугру, поняли, что пора кончать, обычно у Сугры слово не расходилось с делом.)

Агабаджи про себя сказала: «Вы-то чего не поделили... Никому и невдомек, что я, дура, терплю...»

Однажды вечером Нухбала распетушился по поводу квартирантов и сердито спросил у Агабаджи: когда они уберутся отсюда?

«Глупость я сделала, Нухбала! Без ножа меня зарежут, потом уберутся к себе в ад!» Это Агабаджи сказала мысленно, а сыну ответила так:

— Большой торопится, хочет есть, но груша вырастает в свое время, Нухбала! Уж мало осталось, родной!

6

Насколько домоседкой была Амина-ханум, настолько непоседливым был Башир-муаллим, это был человек как ртуть, и, когда днем он бывал дома и никаких гостей не предвиделось, Башир-муаллим, надев полосатые пижамные брюки, часто спускался во двор, ходил на море, а дома расхаживал в широких трусах. У этого мужчины была привычка, стоя перед курятником, кормить кур хлебом, и каждый раз он прихватывал для этой цели большой тендерный чурек.

— Цып-цып-цып-цып, — повторяя это, он разламывал, крошил хлеб, бросал курам и наблюдал, как они клюют крошки.

Башир-муаллим говорил Агабабе:

— Слушай, ну что за куры теперь пошли! Клянусь тобой. — Башир-муаллим вытягивал полные мясистые губы, как будто кто возражал против этих слов Башира-

муаллима. — Да будет весь мир твоей жертвой, у нас в районе были куры прямо как павлины, все, какие есть на свете цвета, все были у этих кур. Клянусь! А теперь, куда ни приедешь, во всех дворах — белые инкубаторские! Слушай, разве так можно?! И почему так получилось?! Слушай, можешь ты мне это объяснить?

Иногда Башир-муаллим садился на скамейку под тутовым деревом и, широко разведя в стороны руки, прохладился в тени. У Башира-муаллима была еще одна своеобразная манера спастись от жары, она состояла в том, что Башир-муаллим одним духом выпивал полный тонкий стакан водки, потом садился на скамейку во дворе, потому что, говорил Башир-муаллим, в такую жаркую погоду у человека внутри должно быть так же горячо, как снаружи, и вот, после того как температура внутри и снаружи уравнивается, человек будто бы почувствует прохладу. Башир-муаллим много говорил, потому что если бы говорил меньше, то не смог бы усидеть на скамейке.

Башир-муаллим говорил Агабабе:

— Мой отец, да упокойт аллах твоих отца и мать, завещал мне, что надо прятать от людей три вещи. Клянусь, только три вещи! Первое, это — деньги! Клянусь! Прячь, потому что деньги вызывают зависть, а кому какое дело, что у тебя есть?! Второе, клянусь тобой, прячь жену! А третье — не говори никому, куда идешь! Не говори — и все! Если едешь в Шемаху, скажи еду в Шеки, пусть тебя ищут в Шеки, да, пусть тебя разыскивают в Шеки!

Агабаба не мог смотреть на Башира-муаллима, потому что, как уже было сказано, Башир-муаллим красил волосы и усы и от него всегда пахло духами или одеколоном, а Агабаба такие вещи терпеть не мог; и все же красить волосы или не красить — это было личное дело Башира-муаллима, ему виднее, но было и еще одно обстоятельство, которое каким-то боком касалось и Агабабы, потому что Башир-муаллим и Амина-ханум жили в доме Агабабы и были они мужем и женой, то есть состояли в законном браке.

Агабабе, в общем, было все равно, где Башир-муаллим прячет свои деньги и почему скрывает свое местонахождение, но вот что касается его жены, то Агабабе совсем не нравилось, что Калантар-муаллим так часто ходит к Баширу-муаллиму. Конечно, было известно, что Калантар-муаллим каждый день бывает здесь потому, что устраивает сына Башира-муаллима в институт, навещает по

дружбе или почему-либо еще, им самим виднее, это Агабабы не касалось, но то, как Калантар-муаллим иногда смотрел вслед Амине-ханум, Агабабе очень не нравилось и еще Агабабе очень не нравилось, что Амина-ханум и сама, кажется, понимает смысл этих взглядов Калантара-муаллима и судорожных движений его кадыка на длинной шее.

Агабаба и вообще все мужчины в поселке были такие люди, которые все могли бы вытерпеть, но в вопросах, касающихся чести, никому бы не спустили.

7

Адил сдал два экзамена и оба, кажется, хорошо, потому что настроение у Калантара-муаллима не менялось. Как только красные «Жигули» останавливались перед воротами, Калантар-муаллим, вылезая из машины, перешагивая через три ступеньки, поднимался на веранду и через некоторое время выводил аккуратно причесанного Адиля в накрахмаленной Амине-ханум рубашке и отутюженных брюках, сажал в машину и, сверкая золотыми зубами, говорил:

— Герой, ну герой! Просто молодец!

Потом красная машина трогалась с места и возвращалась только вечером, в машине опять оказывались гости, и после этого опять начиналось все сначала.

Дочери Агабаджи уже больше не разбегались куда глаза глядят из-под веранды, во-первых, потому, что смысла в этом не было, все равно запах шашлыка со двора не выветривался, а во-вторых, девочки уже к нему попривыкли, жена Амиргулу Хейранса по вечерам уже оставляла окна открытыми, а поселковым женщинам объясняла: деньги есть — и прекрасно, если бы и я каждый день могла покупать мясо на шашлык, ей-богу, в голову бы не пришло, хорошо ли моим соседям, не мешает ли им запах. Хейранса так говорила, но поселковые женщины знали, что Хейранса — не такой человек, и вообще в этом поселке нет таких людей, даже Зубейда так бы не поступила: если кто в поселке в кои веки, раз в год готовил шашлык, он обязательно всем близким соседям, независимо хороши они или плохи, все же посылал один-два шампура, потому что в поселке без детей жил только охранник Гасанулла, у всех остальных было по четверо-пятеро детей, и все они сразу чуяли запах шашлыка.

Агабаджи, как будто во всем была виновата маклерша Зубейда, больше с Зубейдой не здоровалась, встречая Зубейду, отворачивалась, и маклерша Зубейда выходила из себя: «Жена Агабабы на мне зло срывает, как будто я виновата, что они каждый день шашлык жарят, я-то причем, слушай, я что, в карты заглядывала, будут они каждый день шашлык жарить или нет? Ты квартирантов просила, я тебе нашла, мать моя, сестра моя, что тебе от меня надо? Когда Агабаба так храпит, кто еще будет жить у вас в доме?»

Агабаба все переживал про себя, вслух ни слова не говорил, потому что Агабаба видел, до чего дошла Агабаджи, и поэтому терпел и суегу с шашлыком и песни, которые заводила Амина-ханум; терпел и этот шум, и обрывки бумаги в своем всегда тихом и чистом дворе, и низкие дела Башира-муаллима.

Однажды в полдень Башир-муаллим сам развел во дворе огонь, согрел пять-шесть ведер воды, мол, Амина-ханум хочет искупаться, потом взял у Агабаджи большой таз для стирки, поднял его на веранду и ведра по одному поднял на веранду, попросил у Агабабы, сидевшего в тот день дома, большую кружку, чтобы набирать из ведра воду и поливать Амине-ханум на голову; Агабаба ничего не ответил, вышел со двора, хлопнув за собой дверью калитки; Башир-муаллим ничего не понял и попросил кружку у Агабаджи, и Агабаджи, сказав про себя: «Пенел на голову такому мужчине!», краснея от стыда, дала Баширу-муаллиму медную кружку, и Башир-муаллим, поднявшись на веранду, стал лить воду на голову Амине-ханум, раздевшейся и сидевшей в тазу для стирки белья.

В общем, каждый терпел как мог, потому что, как предки говорили, плохой день когда-нибудь все-таки кончается.

Кумгану было, пожалуй, хуже всех.

За последние десять дней он совсем отошал, ребра можно было пересчитать, в глазах появился какой-то нездоровый блеск. Кумган, можно сказать, ничего не ел, и приготовленные Агабаджи ячменные лепешки и болтушка так и оставались нетронутыми. Неожиданно Кумган заболел. Громко лая, пес не подпускал Офелию к будке, и она даже не могла теперь подойти к финиковой пальме; высовываясь из окна веранды, Офелия кричала:

— Кумган! Кумган! — и прямо с веранды кидала Кумгану куриное мясо, тавакебаб, котлеты.

Кумган рвался с цепи, громко лаял в сторону веранды, и Амина-ханум, высунувшись из окна, говорила: — Совсем взбесился! — и стаскивала Офелию с окна.

И после этого Кумган успокаивался, тихо вытягивался в своей будке, высовывал голову наружу и смотрел перед собой ничего не выражающими, потухшими глазами.

Кумган по звуку узнавал красную машину Калантар-муаллима и под вечер, как только раздавался этот звук, начинал метаться перед своей будкой, из пасти его текла слюна, Кумган встречал этого человека лаем, потом он облаивал каждого из привезенных Калантаром-муаллимом гостей, но никто не обращал внимания на собачий лай.

Когда Калантар-муаллим, поглядывая на видневшуюся в окне веранды Амину-ханум, разжигал мангал серебряного Малика, пламя сразу же отражалось в черных глазах Кумгана. Кумган лаял, дергался на цепи, и Агабаджи подходила и отвязывала его, Кумган бросался к мангалу, принимался бегать вокруг него и лаял, как будто не на Калантара-муаллима, а на обволакивающий все вокруг чад от шашлыка, потом выскакивал на улицу, покружив по поселку, снова залетал во двор и снова убежал со двора; Кумган не мог найти себе места.

Как-то ночью, когда Агабаба пришел с работы после второй смены, все спали, и даже Агабаджи, утомленная знанием, улеглась одетая, не дождавшись Агабабы, сон сморил женщину; Агабаба вошел во двор, и вдруг ему показалось, что этот двор — не его двор, а совершенно другой, были те же деревья, тот же дом, тот же забор, но все это было как будто чужое, и Агабаба удивился: каждое дерево, каждый куст посажен его рукой, здесь он знает каждый камень, каждую щепку, почему же все стало чужим, — Агабаба не мог понять, он покачал головой, подошел к курятнику и увидел, что Кумган стоит на заборе и смотрит на него.

В ту ночь ярко светила луна и звезды, небо было абсолютно чистым, и в эту ясную ночь Агабаба и Кумган какое-то время смотрели друг на друга. И снова Агабаба удивился: глаза у Кумгана были какие-то жалкие, беспомощные, и, самое главное, что произвело наибольшее впечатление на Агабабу, глаза Кумгана словно извинялись за что-то, умоляли простить...

Одним словом, тоску нагнал пес на хозяина, и Агабаба в эту ночь спал беспокойно, а утром он сказал Агабаджи.

— Хорошенько присмотри за Кумганом, — и, вытащив из курятника трех кур, зарезал их, а потом ушел на работу.

В этот день и Агабаджи, и Нухбала, и Наиля, Фируза, Кямалья, Амаля, Дильшад, Беокуханум поняли, что эти куры зарезаны, в основном, ради Кумгана, и поэтому в обед они только слегка объели косточки, хрящи на них остались, шейки не разделали по позвонкам, ребрышки не вычистили по одному, и все эти вкусные остатки Агабаджи, с большой охотой собрав в железную миску, поставила перед Кумганом, и в этот момент произошло то, чего никто не ждал. Кумган не бросился радостно на куриные косточки с хрящами, с непонятным выражением посмотрел он в глаза остолбеневшей от изумления Агабаджи, потом неохотно поднялся, понюхал миску и, взяв одну из куриных ножек, слегка надкусил ее.

Агабаджи была поражена.

Через некоторое время весь двор заполнил аромат жарившегося на сковородке мяса. Амина-ханум жарила бараньи ребрышки; она жарила бараньи ребрышки и одновременно ела черешню, рассеянно поглядывая с веранды во двор. (Амина-ханум, можно сказать, совсем не входила в комнату, весь день проводила на веранде, и дело было не только в том, что на веранде прохладнее, чем в комнате, — это само собой, но была еще одна причина, и она состояла в том, что ей очень не нравилась картина на стене комнаты: и лев не нравился, и герой не нравился: «Подумать только, что это за бред нарисовали в доме!»)

Офелия с телевизором в руках бродила по двору между деревьями, и, когда подошла и остановилась под финиковой пальмой, Кумган не залаял на девочку, не зарычал, а спокойно улегся рядом со своей будкой. Офелия была просто ошеломлена и не знала, что делать, потом она взглянула в черные глаза Кумгана и увидела в этих глазах какое-то безразличие — так поняла это Офелия, но, по существу, произошло нечто другое, и девочка почувствовала это; поставив телевизор под финиковую пальму, она бегом поднялась на веранду и, схватив с тарелки три-четыре зажаренных Аминой-ханум ребрышка, обжигая руки, спустилась вниз и стала бросать Кумгану теплые бараньи ребрышки, с которых капал жир.

— Кумган! Возьми! Возьми! Кумган! Возьми!

Первый кусок упал рядом с правой передней лапой

Кумгана, и у собаки непроизвольно раскрылась пасть, потекла слюна.

Второй кусок, ударившись о грудь Кумгана, упал на землю.

Третий кусок не упал на землю, исчез в воздухе, и Офелия сначала не поняла, что произошло, но, когда увидела, что Кумган остервенело двигает челюстями, бросила последний кусок, и Кумган этот последний кусок тоже поймал на лету и съел.

Офелия в жизни еще так не радовалась, поскакала на веранду и там взяла полную тарелку жареного мяса.

Амина-ханум пожала плечами.

— Ты что, с ума сошла, куда ты несешь?

Офелия ничего ей не ответила.

С полной тарелкой снова прибежала она к финиковой пальме, и, пока ее не было, Кумган съел и те два куска, что лежали на земле. Пес поднялся на задние лапы и, задыхаясь, хватал в воздухе теплые бараньи ребрышки. Офелия постепенно подошла совсем близко к Кумгану, он ел с такой жадностью, с таким хрустом разжевывал косточки, что когда мясо кончилось и Офелия поставила перед Кумганом пустую тарелку, Кумган старательно вылизал ее.

Агабаджи, сидя под верандой, раскатывала тесто для кутабов с зеленью, и, когда взгляд ее упал на Кумгана, она вдруг застыла со скалкой в руке, женщина уставилась на Кумгана, лизавшего дно тарелки квартирантов, потом горестно произнесла про себя: «Бедная собака!..»

С зеленой «Волгой» па-а-арень, Гани, Гани!
С золотыми зубами па-а-арень, Гани, Гани!
Смотри не задавай мевя,
Потому что я бессты-мная, Гани, Гани!

Потом включился парень с визгливым женским голо-
сом:

Захмелел я, красавица,
Ох, захмелел я, красавица!

И с этого дня Кумган, не обращая ни малейшего внимания на лепешки Агабаджи, на болтушку из ячменной муки, стал на лету ловить и пожирать то, что бросала ему Офелия, — котлеты, тавакебаб, кюфту, жареное мясо.

С этого дня Кумган стал тенью Офелии, и с этого дня Офелия играла с Кумганом как хотела, потом поссорилась с Кумганом, потом стала насмехаться над Кумганом, гнать

его, издеваться над ним, но Кумган все равно не обижался; когда Офелия сердилась, она не давала Кумгану есть, Кумган умолял ее черными глазами, просил, кланчил и каждый раз смягчал сердце Офелии и снова ловил на лету вкусные кусочки.

Кумган уже больше не лаял и на Калантара-муаллима, мало того, стал путаться под ногами у готовящего во дворе шашлык Калантара-муаллима, упрашивать его и у Калантара-муаллима тоже иногда сердце смягчалось, он снимал кусочек с конца шампура, бросал Кумгану, и Кумган, обжигаясь, хватал на лету шкворчащее мясо.

Однажды Калантар-муаллим, колдующий, весь в поту, над пылающим мангалом, разлился на Кумгана — ну, что он все время под ногами путается — и пинком отбросил Кумгана в сторону.

До сих пор Кумган ни от кого не получал пинков, и, повизгивая от пинка Калантара-муаллима, Кумган побежал к своей будке, некоторое время постоял там, посмотрел на Калантара-муаллима, на истекающие жиром шашлыки, которые Адиль носил гостям на веранду, потом подошел к Калантару-муаллиму, наконец, поймал в воздухе два куска, брошенных ему, и проглотил их, почти не разжевывая.

Кошки от страха перед Кумганом больше не осмеливались заходить в этот двор, а когда и заглядывали крадучись, то не находили ничего вкусного — все, что было вкусного, подьедал сам Кумган.

Зайцы делали что хотели на огороде Агабабы, потому что Кумган утром и днем поглощал то, что готовила Аминаханум, а вечером ел шашлыки Калантара-муаллима и, отяжелев к ночи, не вылезал из своей будки.

За неделю Кумган начал набирать вес.

Агабаджи вела себя так, будто ничего не случилось, но больше не делала болтушку из ячменной муки, не месила лепешки, потому что Кумган все равно до них не дотрагивался.

И Нухбала, и девочки словно закрыли глаза на это дело и друг с другом об этом не говорили, однако Нухбала в душе ругал теперь своих квартирантов семизатжными ругательствами.

Правда, Агабаба днем, можно сказать, дома не бывал и всего этого своими глазами не видел, но какая разница, Агабаба все то, что не видел, чувствовал, и все же, когда Агабаба впервые воочию увидел, как пресмыкается Ку

ган перед квартирантами, у него сердце зашло. «Что за мерзкий мир!» — проговорил он потом. Агабаба подумал, что ведь бедняжка Агабаджи беременна, ждет десятилетнего ребенка, и это нехорошо, что Агабаджи столько нюхает шашлычных запахов. Не может быть, чтобы ей не хотелось поест шашлыка, а ведь желание беременной женщины надо выполнять — об этом и предки говорили, то есть Агабабе надо купить мясо, найти мангал и приготовить шашлык, иначе действительно все это плохо кончится, но Агабаба не знал, что Агабаджи всерьез думает, что ее новый ребенок возненавидит шашлык, потому что этот несчастный ребенок так надыхался им в материнской утробе, что будет брезговать им, и хорошо сделает, во всяком случае Агабаджи находила себе такое утешение.

Кумган жирел на глазах, он, как Аминаханум, можно сказать, и не выходил со двора на улицу, день и ночь торчал во дворе; правда, Офелия уже пресытилась Кумганом и ему не так уж часто доставалась вкусная еда — котлеты, тавакебаб, кюфта и прочее, однако Кумган не очень расстраивался, потому что ему доставались все кости, обрезки, недожденные куски от вчерашнего шашлыка.

Каждый раз, когда во двор с двумя полными корзинами входил Башир-муаллим, Кумган тотчас выбегал ему навстречу, как будто догадывался, что вся эта снедь, эти шашлыки, эти чихыртмы, эти гызартмы, по существу, исходят не от Офелии, не от Аминыханум и не от Калантара-муаллима, все это исходит от этого вот толстого мужчины, черноволосого и черноусого, и в последнее время Кумган особенно пресмыкался именно перед Баширом-муаллимом.

Однажды, когда Башир-муаллим вошел во двор с двумя набитыми до отказа соломенными корзинами — зембиями и Кумган тотчас бросился к нему навстречу, Офелия не очень хорошо высказалась по поводу Кумгана, с которым она так хотела подружиться еще неделю назад:

— Очень назойливая, какая-то настырная эта собака!

Башир-муаллим, в общем-то, был доволен особенным вниманием со стороны Кумгана и сказал, милостиво улыбувшись:

— Ах ты, божья тварь! — Потом Башир-муаллим вытащил из соломенного зембия круг полукопченой колбасы и бросил Кумгану.

Кумган будто испугался, что ему кто-то может помешать, и в полминуты прикончил колбасу, а сидевшая

под верандой и чистившая лук для постного супа Агабаджи видела, слышала все это и чувствовала, что ее душат рыдания, она сейчас заплачет. Отчего заплачет — этого она точно сказать не могла, но поняла, что сейчас заплачет, и, бросив недочищенную луковичу в тарелку, поднялась, вышла из-за веранды и подалась со двора.

Теперь Кумган откровенно избегал Агабабу, и, как только хозяин заходил во двор, Кумган исчезал, а иногда, стоя в сторонке, прятал свои черные глаза от Агабабы.

8

До конца августа оставалось мало, и теперь Агабаджи считала уже не дни, а часы, хотя в глубине души почему-то не могла поверить, что эти люди наконец уйдут отсюда и снова в этом дворе не будет никого, кроме них самих, женщина не могла верить, что выветрится когда-нибудь запах шашлыка, а эта паршивая девка с мужским голосом больше не будет звать Меджнуна и паршивец Гани со своим женским голосом провалится в преисподнюю.

И как будто всего этого было мало, однажды произошло нечто такое, что Агабаджи совсем растерялась, ну просто не знала, как себя вести, прямо, как говорится, хоть стой, хоть падай.

В тот день, не слишком рано, Башир-муаллим, как обычно, ушел, чтобы у клуба поймать такси и поехать на работу. Через некоторое время красные «Жигули» Калантара-муаллима остановились у ворот, и Калантар-муаллим усадив Адюлю в машину, увез его в Баку; Амина-ханум высунув голову в окно веранды, проводила красную машину взглядом своих светлых глаз; а потом, как обычно, Офелия поднялась на веранду, чтобы получить в комнате свою порцию полуденного сна, но Амина-ханум, сама спустив с веранды вниз раскладушку, постелила Офелии под финиковой пальмой и сказала, что теперь днем Офелия будет спать здесь, потому что надо дышать свежим воздухом, и Офелия, очень довольная этим новым решением, с удовольствием заснула под финиковой пальмой. Прошло немного времени, и красные «Жигули» Калантара-муаллима снова остановились у ворот, и Агабаджи, стиравшая рубашки Нухбалы (девочки стирали свою одежду сами), поставив таз на деревянный табурет под верандой, сначала не придавала этому значения. Адюля в машине не было. Калантар-муаллим был один, и когда Калантар-муаллим

вышел из красной машины, он как-то воровато огляделся по сторонам. Это было что-то новенькое, и Агабаджи почему-то почувствовала беспокойство, какое-то сомнение закралось ей в душу, потом, когда Калантар-муаллим проходил мимо спящей под финиковой пальмой Офелией, Кумган выскочил из будки навстречу этому худому длинному мужчине, но Калантар-муаллим тихо и сердито прошептал: «Убирайся! Убирайся!» — и торопливо поднялся на веранду, после чего Амина-ханум, высунув голову из окна веранды, огляделась вокруг, и с веранды донесся смех Амины-ханум, потом наступила тишина, причем это была такая тишина, которая говорила о многом.

Дрожащие руки Агабаджи так и остались в тазу...

Кумган, подняв голову, какое-то время смотрел на веранду, взглянул на спящую под финиковой пальмой Офелию, широко зевнул, улегся в тени своей будки и задремал.

С веранды донесся шепот, потом какой-то шорох, а потом с легким стуком закрылась задвижка на двери, выходящей на лестницу.

Агабаджи, стоя под верандой, с колотящимся сердцем, говорила себе: «Ах чтоб вы сгорели! Чтоб сгорели! Мерзавцы! Так вот ты кто оказывается — шлюха!» — и хотела, поднявшись на веранду, опозорить эту толстозадую женщину, но у нее будто ноги отнялись, совсем Агабаджи растерялась, не могла двинуться с места, и только за одно она благодарила небо: хорошо, что детей дома нет, если бы дома были девочки, они бы все умерли со стыда.

Назавтра Башир-муаллим, поймав такси, опять уехал в Баку, через некоторое время приехала красная машина, остановилась у ворот, и Калантар-муаллим, опять усадив Адюлю в машину, увез его. Амина-ханум для полуденного сна постелила Офелии под финиковой пальмой, и Агабаджи срочно услала всех девочек купаться в море (девочки не поняли, что же такое случилось и почему Агабаджи так усердствует?), потому что действительно через некоторое время красная машина снова подъехала, остановилась у ворот, и Калантар-муаллим снова, воровато оглядываясь по сторонам, поднялся на веранду и снова защелкнулась задвижка наверху...

Кумган на этот раз не бросился навстречу Калантару-муаллиму, как будто и Кумган понял, в чем тут дело; пару раз искоса взглянул на веранду, причем как будто

с пониманием (или Агабаджи так показалось?), потом залез в свою будку.

Бесстыдные дела Калантара-муаллима с Аминой-ханум продолжались таким вот образом несколько дней, и Агабаджи, подумав, перестала здороваться с Аминой-ханум, перестала отвечать на вопросы Амины-ханум, но такое отношение Агабаджи не произвело на Амину-ханум абсолютно никакого впечатления, прокручивая пластинки, она ела черешню, в полдень укладывала Офелию спать под финиковую пальму, после того как красная машина возвращалась без Адиля, защелкивала задвижку на двери, а по вечерам как ни в чем не бывало, когда Калантар-муаллим снова приезжал и привозил с собой гостей, накрывала для гостей стол.

Агабаджи каждый день под разными предлогамиставляла девочек со двора (Нухбала и без того утром уходил и ночью возвращался). Когда Калантар-муаллим, озираясь, шел по двору, Агабаджи старалась на него не смотреть, зато она часто поглядывала на веранду своих соседей, смотрит жена Амиргулу Хейранса из окна или нет; Агабаджи боялась, что весть об этом неслыханном позоре разлетится по всему поселку.

Как назло, получилось то, что получилось: в один из таких дней открылась калитка и во двор вошла первейшая сплетница поселка маклерша Зубейда, причем именно в такое время, когда Офелия спала под финиковой пальмой, а красная машина стояла у ворот и задвижка на двери веранды была защелкнута (как будто у маклерши Зубейды был нюх на такие дела). Маклерша Зубейда посмотрела в сторону веранды, потом прошла под веранду к Агабаджи и, несмотря на то что Агабаджи с ней давно уже не разговаривала, спросила:

— Ну что, слушай, поступил их ребенок в институт?

— Не знаю, — ответила Агабаджи и сильно покраснела, она с ужасом прислушивалась к тому, что происходило наверху.

Маклерша Зубейда сочла нужным продолжить разговор:

— А-а-а... ты в баню в субботу пойдешь, да?

Агабаджи сказала:

— Да.

Маклерша Зубейда сказала:

— А-а-а... Может, и мне в баню сходить, слушай? Агабаджи больше не отвечала, а стала заниматься своим

делом (она пришивала пуговицы к брюкам Агабабы).

— Слышала новость? У собаководов Гасануллы опять собака сдохла! (Жители поселка иногда называли охранника Гасанулла «собаководом Гасануллой», потому что охранник Гасанулла держал дома маленькую собачонку, кормил ее по-особому, купал каждый день; четыре года назад собака, которую держал охранник Гасанулла, заболела и отправилась на тот свет, и охранник Гасанулла, не стесняясь поселковых мужчин, громко, всхлипывая, плакал, потом поехал и купил себе новую собаку: это была маленькая собачка с длинной шерстью, и название этой породы никто в поселке, кроме библиотекаря Наджафа, не мог запомнить — скотчтерьер, и теперь вот, как стало известно из сообщения маклерши Зубейды, у бедного охранника Гасануллы и эта собака околела.)

Маклерша Зубейда сказала:

— Мужчины соберутся и пойдут к собаководу Гасанулле сочувствие выразить, а ты только послушай! — Маклерша Зубейда громко рассмеялась, но увидев, что у Агабаджи нет никакой охоты разговаривать, сказала: — Прощай! — и вышла со двора, чтобы найти себе другую женщину, которая уши развесит и с которой можно поболтать.

У Агабаджи так тряслись руки, что она два раза укололась иголкой.

Скоро наступил день, который был нерабочим днем Агабабы, и Агабаба весь этот день должен был пробыть дома.

Надо ли говорить, что Агабаджи уже несколько дней ждала этого дня и боялась его, как Страшного суда.

Всю ночь проворочалась Агабаджи, раздумывая, что завтра сделать, сначала она решила, что и сама вместе с девочками уйдет куда-нибудь из дому, потом подумала, может быть, Агабабу под каким-нибудь предлогом отослать, все равно плохо — и так, и этак; а в конце концов уже ближе к утру Агабаджи пришло в голову, что ведь и эти нечестивцы — все-таки тоже люди и если они увидят, что такой серьезный мужчина, как Агабаба, дома, как-нибудь сумеют сдержаться.

В этот день утром Башир-муаллим опять, как обычно, уехал на работу. Через некоторое время у ворот остановились красные «Жигули» и Калантар-муаллим, забрав Адиля, увез его в город, но, к сожалению, Калантар-муаллим не заметил Агабабу, потому что Агабаба дремал,

сидя под верандой (он уже не выдерживал двусмысленной работы), и поэтому Агабаджи три-четыре раза громко повторила остолбеневшим девочкам, тихо занимавшимся каждая своим делом, чтобы они не шумели, Агабаба сегодня дома, отдыхает, и девочки удивились этим словам Агабаджи, потому что они знали, что Агабаба дома и никто не шумел; Агабаджи для того говорила это громко, чтобы Амина-ханум услышала эти слова, но, когда через некоторое время Амина-ханум, спустившись во двор, стала стелить Офелии под финиковой пальмой, у Агабаджи сильно заколотилось сердце.

Хорошо, что девочки сами собрались и пошли на море. Кумган спрятался в своей будке; когда Агабаба бывал дома, Кумган теперь почти всегда там отсиживался.

Агабаба, выйдя из-под веранды, подошел к колодцу и, доставая воду ведрами, стал наполнять небольшой бассейн.

Опять сначала парень замолился визгливым голосом:

Лейли! Лейли!

Потом девушка чуть не баритоном спросила:

Что, Меджнул?

Потом они стали петь вместе:

Что же нам делать?
Ибн-Сина идет свататься,
О горе, горе!

(Однажды, когда Амина-ханум с утра завела эту пластинку, Нухбала, не удержавшись, сказал Адилю: «Слушай, болван, пойдй скажи своей матери, что не Ибн-Сина, а сам Шайтан посылает сватов».)

Красная машина остановилась у ворот в облаке пыли, и Агабаджи прошептала про себя: «О аллах, они в самом деле не считают нас людьми! За собак нас принимают! Сами вы собаки! На глазах у людей спариваются!» Потом Агабаджи зашла в кухню на первом этаже, затворила за собой дверь, чтобы не быть свидетельницей их позора при Агабабе.

Когда Калантар-муаллим вошел во двор и торопливо поднялся на веранду, Агабаба сначала не обратил на это внимания, то есть сначала Агабабе ничего такого не пришло в голову, и он обеими руками вытащил ведро из колодца, но когда щелкнула задвижка на двери веранды и этот звук достиг его слуха, Агабаба как стоял у колодца

с ведром, так и остался стоять неподвижно, только лицо у него сильно побледнело; наконец он посмотрел на воду в ведре, поставил ведро на песок рядом с колодцем и направился прямо к веранде:

— Муаллим! Эй, муаллим!

При звуке голоса Агабабы у Агабаджи упало сердце: «Убьет! — сказала она себе. — Выпустит кишки из этого сукина сына! Пропадём! О Агабаба!.. Да умру я у твоих ног, Агабаба, не пачкайся ты кровью этого мерзавца, Агабаба!..» Потом Агабаджи хотела выбежать во двор, схватить Агабабу за руки, за ноги, закричать, позвать на помощь соседей, чтобы Агабаба не запачкался грязной кровью Калантара-муаллима, но Агабаджи не смогла выйти из кухни, потому что Агабаджи скорее умерла бы, чем показала на глаза Агабабе среди всей этой грязи и срама.

— Эй, муаллим!

Щелкнула задвижка на двери веранды, потом открылась сама дверь, потом Калантар-муаллим высунул в дверь голову, в этот момент волосы у Калантара-муаллима были растрепаны, рубашка расстегнута, виднелась волосатая грудь, болтался ремень на брюках.

Калантар-муаллим, вытаращив глаза, посмотрел на Агабабу, мол, чего тебе здесь надо, какие у нас могут быть с тобой дела?

Агабаба сказал:

— Выйди сюда на минутку...

Агабаба сказал эти слова спокойно, негромко, но так сказал, так посмотрел Калантару-муаллиму прямо в глаза, что Калантар-муаллим как бы независимо от своей воли спустился по ступенькам и предстал перед Агабабой. Агабаба только этого и ждал, он схватил Калантара-муаллима за грудки и притиснул свой кулак к острому его кадыку. Калантар-муаллим чуть не задохнулся, открыв рот, он что-то хотел сказать, но не мог произнести ни слова; Агабаба, ведя Калантара-муаллима спиной вперед, толкнул калитку его тощим телом, от удара калитка, скригнув, отворилась, но Агабаба, не выпуская из правой руки ворот Калантара-муаллима, вытолкнул его на улицу, другой рукой открыл дверцу красной машины и закинул в нее Калантара-муаллима, потом хотел захлопнуть дверцу, но в этот момент Агабабе вспомнился мангал во дворе, он снова вытащил Калантара-муаллима из машины, поволок во двор, к мангалу, и сказал:

— Возьми!

Калантар-муаллим, высвободившийся из рук Агабабы, мигом схватил мангал и умчался со двора, Агабаба не успел даже дать пинка под деревянный зад Калантара-муаллима.

Красная машина сорвалась с места и, поднимая пыль, исчезла с глаз, как будто и она, эта красная машина, испугалась Агабабы.

Амина-ханум, придерживая рукой ворот халата, выгнулась в окно веранды:

— Эй, ты! Мало того что ты храпишь...

Но Агабаба позволил себе прервать женщину:

— Если вы сегодня же не уберетесь отсюда, топором нас всех зарублю!

Амина-ханум, посмотрев на Агабабу, поняла, что Агабаба сделает, что сказал, то есть возьмет в руки топор и отрубит голову и Амина-ханум, и Баширу-муаллиму, и Калантару-муаллиму, и Амина-ханум захлопнула окрестные веранды.

Агабаджи прошептала:

— Слава тебе, аллах! Слава тебе! Слава!

Агабаба поразился собственному хладнокровию.

И вечером, когда Башир-муаллим, как обычно, вернулся из города с полными корзинами, что там ему Амина-ханум сказала — неизвестно, но Башир-муаллим пошел к клубу, взял такси, и Башир-муаллим, Амина-ханум, Офелия (Адиля Калантар-муаллим из города не привез), вместе со своими вещами, безо всякого «до свидания» уехали.

Кумган, наблюдая из будки все эти события, не издал ни звука, только один раз тихонько тявкнул. Агабабе показалось, что Кумган тявкнул на него.

9

Два дня Агабаджи выскребала весь двор, комнату на втором этаже, веранду, пристройку, мыла, чистила, и дело было не в том, что квартиранты оказались неаккуратными людьми, это было не так, но, сколько ни скребла, ни мыла Агабаджи полы, стены, перила, поверхность стола, внутренность шкафа, и все, абсолютно все, а особенно газовую плиту на веранде и маленький столик под плитой, этого ей казалось мало. Ее передергивало при воспоминании о том, как Амина-ханум с Калантаром-муаллимом зашел-

кивали задвижку и после этого с веранды слышалось как бы дыхание загнанной лошади, запыхавшейся собаки, и, представляя, что на этой веранде будут спать Наиля, Фируза, Кямаля, Амаля, Дильшад, Бекюкханум, Агабаджи, с еще большим усердием продолжала чистить и отмывать.

И в этот вечер семья Агабабы снова поднялась наверх, и старый телевизор Агабаба притащил на веранду, и в эту ночь каждый спал на своем месте, как было все эти годы. Агабаджи, выбившись из сил, заснула рядом с Агабабой, храп Агабабы сотрясал всю округу, девочки спали на веранде, Нухбала с вечера залег под навесом и спокойно заснул, как будто улыбался во сне (вполне могло быть, что Нухбала улыбался во сне, потому что днем Наргиз села в электричку и поехала в Баку, мол, мне нужно купить книжки и тетрадки, а Нухбала сел в автобус и поехал тоже в Баку, и Наргиз с Нухбалой в Баку вместе сходили в кино, где Нухбала положил руку на плечо Наргиз, так они и просидели все кино, потому что в Баку их никто не знал, потом Наргиз снова села в электричку и приехала в поселок, а Нухбала сел в автобус и вернулся домой и после этой незабываемой поездки в Баку сладко спал под навесом, и поднявшийся ветер был ему ни о чем).

Между тем ветер постепенно усиливался, в темноте зашелестели деревья, шишки со стуком стали падать на землю, и все явственнее слышался шум и плеск морских волн, набегавших на берег.

После полуночи ветер набрал силу, в эту темную, ветреную, беззвездную апшеронскую ночь Кумган сидел на заборе и слушал, как шумят волны, докатывающиеся до скальной гряды. Кумган отвернулся от моря и посмотрел в сторону дома садовника Асадуллы; дом садовника Асадуллы был выше всех домов в поселке, теперь и он растворился в темноте, потому что погасла электрическая лампочка перед его воротами, потом Кумган посмотрел туда, где должен был стоять дом охотника Фазиля, и будто в эту безлунную, ветреную апшеронскую ночь вспомнил Алабаша, вспомнил Сарыбаша, будто вспомнил тот тихий, жаркий летний день, игравшего с ним в догонялки кулика, вспомнил выстрелы, прозвучавшие в тот ясный, тихий летний день.

Кумган за эти два дня опять похудел, от еды отказывался, даже воду не пил, бродил вокруг дома, останавливаясь на том месте, где Калантар-муаллим ставил мангал, нюхал землю, потом, улегшись рядом с будкой, пожи-

рал глазами веранду, будто надеялся, что сейчас выйдет Офелия, а когда слышался шум мотора, переводил взгляд на дорогу, словно высматривая красную машину.

Агабаба чувствовал, что Кумган тоскует по квартирантам, и то, что Кумган тоскует по таким недостойным людям, больно ранило Агабабу.

В этот день в полдень Агабаджи опять приготовила из ячменной муки болтушку и поставила перед Кумганом; но Кумган не дотронулся до болтушки, посмотрел на железную миску, на Агабабу и залаял на Агабаджи.

Агабаджи очень расстроилась.

— Ну что? Чего ты хочешь? — спросила она.

Кумган опять залаял на Агабаджи и с ненавистью, с откровенной ненавистью посмотрел на болтушку в миске.

Агабаджи сказала:

— А-а-а... Я знаю, он шашлык хочет!

И в это время Наиля, стиравшая белье у колодца, сказала:

— И я тоже шашлык хочу...

Фируза, сидевшая с книгой под верандой, сказала:

— И я тоже шашлык хочу...

Кямаля сказала:

— И я тоже шашлык хочу...

Амаля сказала:

— И я тоже шашлык хочу...

Дильшад сказала:

— И я тоже шашлык хочу...

Беюкханум сказала:

— И я тоже шашлык хочу...

Агабаджи, оглядывая одну за другой своих дочерей, думала о своем еще не родившемся ребенке. Эта кроха, наверно, тоже хочет шашлык, потом посмотрела на Агабабу, у которого сегодня был нерабочий день...

...А на завтра Кумган исчез...

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Серебряного Малика называли серебряным Маликом не потому, что намекали на его богатство, в таком случае его называли бы золотым Маликом, ибо, как говорила маклерша Зубейда (всем было известно, что нет ничего такого, чего не знает маклерша Зубейда!), золота у серебряного Малика было столько же, сколько в английском банке; серебряного Малика называли серебряным Маликом

потому, что серебряный Малик беспрестанно повторял, что серебро — самая полезная вещь для здоровья, и дома у него все ножи и вилки, рюмки и даже тарелки были серебряные, причем в доме серебряного Малика эти вещи ставились не только перед гостями, его двенадцать детей, он сам, жена, мать, теща, свояченица-вдова и семеро детей свояченицы-вдовы во время завтрака, обеда и ужина пользовались только серебряными вилками, ножами и тарелками. Что поделаешь, у каждого свой характер, и, как говорится, одни живут для того, чтобы есть, другие едят для того, чтобы жить...

Шашлычная серебряного Малика располагалась довольно далеко от поселка, в самом конце пляжа, на песчаном холме и называлась «Гвоздика», потому что была якобы не шашлычной, а чайной и люди будто бы приходили сюда пить гвоздичный чай; конечно, что касается чая, то чай здесь пили, но не на голодный желудок, а после шашлыка из свежей осетрины и севрюги, из молочного барашка, из кур и индюшек, пили также после люля-кебаба, кутабов, дюшперы, кюрзы, хингала, короче говоря, после самых вкусных блюд на свете. Когда речь заходила об этой шашлычной, библиотекарь Наджаф негодовал, говорил: посмотрите на него, устроил из государственной чайханы шашлычную, рыбу и все прочее покупает на свои деньги у спекулянтов, потом готовит и в десять раз дороже продает людям, как будто отец серебряного Малика амбал Исрафил завещал эту чайхану серебряному Малику и завещал грабить народ и никого не бояться — ни ревизоров, ни контролеров, ни кого-либо другого; мясник Агакиши, слушая эти слова библиотекаря Наджафа, говорил: слушай, все это дело добровольное, пусть не ходят, пусть не обедают в шашлычной серебряного Малика! Библиотекарь Наджаф так отвечал на эти слова мясника Агакиши: те, кто ходят в шашлычную серебряного Малика, и сами такие же, как серебряный Малик.

У серебряного Малика шашлык готовил Гаджимамедкиши, люди называли его Мангалом, потому что он с самого утра разводил огонь в мангалах, стоявших рядами за шашлычной, нанизывал мясо на шампуры, и в чистые, безветренные летние дни с чердака дома Агабабы, если внимательно присмотреться, можно было увидеть дымок над шашлычной серебряного Малика.

В тот день у Агабабы был нерабочий день, а в дни, когда он не работал, ухаживал за своим огородом и дво-

ром, отдыхал в доме, одним словом, он стал жить как и раньше; все снова вернулось в свою колею, запах готовившихся Калаитаром-муаллимом шашлыков, можно сказать, выветрился со двора, этот двор, этот дом, эти деревья понемногу забывали неприличные голоса с пластинок Амины-ханум и даже как будто не очень хорошо помнили совсем недавно здесь жившую белую собаку с черными глазами.

Ровно шесть дней и шесть ночей минуло с тех пор, как она пропала, и Агабаба даже думал, что Кумган отправился в Баку, нашел там этих квартирантов и теперь живет у них; Агабаба подумал об этом и забеспокоился, потому что, если Кумган и разыскал их, те люди не стали бы держать Кумгана у себя; потом Агабаба пошел в скалы поискать свою собаку, может быть, Кумган в скалах живет, и поселковые ребяташки, увидев Агабабу, разбежались (поселковые ребяташки иногда днем потихоньку забирались в скалы и подсматривали за городскими парнями и девушками, которые, как будто в Баку им места мало, приезжали сюда миловаться), но сколько ни искал Агабаба, Кумгана не обнаружил, и охотник Фазиль сказал Агабабе, что Кумган, наверное, вообще убежал из этих мест.

В этот ясный безветренный день в самом конце августа Агабаба, взяв молоток и гвозди, поднялся на лестницу, чтобы укрепить доски навеса, и, увидев слабый дымок, поднимающийся над шашлычной серебряного Малика, внезапно понял, что должен сделать, причем сделать непременно сегодня же.

Агабаба спустился с лестницы, отнес в кухню молоток и гвозди, потом, поднявшись наверх, сказал Агабаджи и девочкам, занятым каждая своим делом:

— Собирайтесь, идем есть шашлык!

Причем Агабаба сказал это тоном, не терпящим возражений.

Наилия пошла к соседям, Амалия побежала звать Наилю, Дильшад, сбегав к берегу моря, позвала Нухбалу, Агабаджи достала из шкафа крепдешинное платье, которое давно не надевала, погладила его, погладила белую рубашку Агабабы с короткими рукавами, девочки, набрав воды из колодца, вымыли руки и ноги, и после получасовой подготовки, впереди Агабаба, за ним Агабаджи с девочками, а в самом конце — Нухбала, выйдя из своей калитки, направились к шашлычной серебряного Малика.

Амиргуду опять где-то перебрал и, сидя под тutowым

деревом на улице, прислонясь к толстому стволу спиной, чатевал:

Я — на фронте, я — на фронте,
И уж вы со мной не спорьте,
Я палю из пулемета,
Подбиваю самолеты!

А Хейранса стояла на балконе своего дома и, увидев Агабабу с семьей, смущенно спряталась за занавеску, от стыда за Амиргуду она даже не могла спросить, куда это в такую жару идет разряженное в пух и прах семейство Агабабы; правда, и без того завтра в поселке узнают, куда ходила семья Агабабы. Хейранса прошла в комнату, потому что вскоре должен был прийти мастер Мартирос для того, чтобы соскоблить рисунок со стены (в последнее время мастер Мартирос прилично зарабатывал, потому что теперь в поселке стало модно иметь голые стены и все спешили извратиться от рисунков на стенах; завтра мастер Мартирос должен был прийти к Агабабе).

От жары все разбрелись по своим дворам, и на пустынной улице первым встретил семейство Агабабы охранник Гасанулла. Охранник Гасанулла широко улыбался, только крыльез ему не хватало, чтобы взлететь, он прижимал к груди двух щенков: это были маленькые, кудрявые щеночки кофейного цвета, и охранник Гасанулла сказал:

— Ты видишь, что я купил, а?! Эта порода называется пудель! Брат и сестра! Видишь, какие красивые?!

Было ясно, что охранник Гасанулла опять отдал все, что имел, чтобы купить этих удивительных собак, кобеля и сучку, значит, рассчитывает на потомство...

— Да, очень красивые! — сказал Агабаба и добавил: — Молодец!

Потом они встретились с библиотекарем Наджафом, библиотекарь Наджаф, нацепив очки, сидел в тени инжирового дерева перед своим домом и читал свежие газеты, увидев Агабабу с семьей, поздоровался и спросил:

— К добру ли, куда это вы, Агабаба-муаллим? (Библиотекарь Наджаф ко всем мужчинам села обращался с этой уважительной приставкой к имени; однажды мясник Агакиши даже рассердился, мол, я всю жизнь был мясником, зачем мне этот парень говорит «муаллим»? А садовник Асадулла обьяснил, что библиотекарь Наджаф для того говорит всем «муаллим», чтобы люди и его самого тоже называли «муаллим», объяснение садовника Асадуллы сразу до всех дошло.)

— Идем гулять.

— Ну что же, счастливо вам погулять, — сказал библиотекарь Наджаф и снова начал перелистывать газеты, во всех этих краях невозможно было найти второго такого читателя газет, как библиотекарь Наджаф, ведь библиотекарь Наджаф подписался даже на эстонскую газету на русском языке, чтобы знать, как там в Эстонии дела.

Конечно, если бы библиотекарь Наджаф знал, что Агабаба со всем своим семейством идет в шашлычную серебряного Малика, он бы этому не поверил, потому что Агабаба, по мнению библиотекаря Наджафа, был настоящим мужчиной, даже больше того — праведником...

Семейство Агабабы вышло к морю и двинулось по песку в сторону шашлычной серебряного Малика.

Задувал северный ветер — норд, волны бились о берег, и вдоль волнолома тянулась белоснежная полоса пены; на горизонте синее море переходило в синее небо.

День был не субботний и не воскресный, поэтому берег был совершенно пуст, и Агабаба, шагая по этому пустому берегу, почему-то вдруг вспомнил тот дождливый и ветреный весенний день, вспомнил смешного щенка, который увязался за ним и дошел до самого дома, Агабаба подумал, что многие тысячи таких дождливых и ветреных дней пережил этот морской берег и что значат в сравнении с этим переживания такого человека, как Агабаба? Они так же смешны, как тот маленький щенок.

Почтальон Фатош с полной сумкой писем и газет проехал мимо семейства Агабабы на своем старом велосипеде (во всех здешних краях никто, кроме почтальона Фатоша, не мог ездить по этому песку на велосипеде, почтальону Фатошу по документам было шестьдесят восемь лет, но мясник Ага-киши говорил, что почтальон Фатош как раз его ровесник, то есть получалось так, что почтальону Фатошу исполнился восемьдесят один год), поздоровался и спросил:

— Куда это вы, к добру ли?

Агабаба сказал:

— Идем гулять!

Почтальон Фатош сказал:

— Счастливой вам прогулки! — и уехал на своем велосипеде.

Несмотря на то что день был не субботний и не воскресный, в шашлычной серебряного Малика было полно народу, и не только внутри шашлычной, но и рядом с ней —

в тени инжира, под широкими навесами, обвитыми виноградом, были расставлены столы, стулья, и приезжавшие из Баку гости ели, пили и наслаждались: кто с другом приехал, кто с компанией, кто привез гостя из Москвы, некоторые налегали больше на водку, чем на шашлык, и быстро пьянели.

Серебряный Малик, увидев Агабабу, был немало удивлен:

— Добро пожаловать, братец! — Потом разглядев, что Агабаба пришел со всем семейством, удивился еще больше (мужчины поселка не приводили в шашлычную своих домохозяев). — Отлично сделал, что привел и сестрицу и детей! Проходите вот сюда. Сейчас все будет...

Серебряный Малик был мужчина крупный, дородный (говорили, будто за один присест он съедает яичницу из тридцати трех яиц!); он раньше, как и его отец — знаменитый амбал Исафил, был грузчиком, но после женитьбы, благодаря друзьям и приятелям тестя Алекпера, стал сначала чайханщиком в поселковой чайхане, потом устроился буфетчиком в бузовнинском привокзальном ресторане, а потом стал заведующим этой шашлычной, и дела серебряного Малика пошли в гору, теперь тесть его Алекпер в присутствии серебряного Малика не осмеливался закурить...

В шашлычной у серебряного Малика был кабинет, где он сидел и производил расчеты, говорил по телефону, а когда приходили самые уважаемые люди, он освобождал письменный стол, застилал его скатертью и усаживал здесь дорогих гостей, чтобы им никто не мешал.

Официант Джафаргулу, надевший в такую жару кепку «аэродром», поздоровался с семьей Агабабы, спросил, как дела (официант Джафаргулу был двоюродным братом Хейрансы и терпеть не мог Амиргулу), и положил меню перед Агабабой.

В таких шашлычных на Апшероне дело обходится без меню, однако в заведении серебряного Малика меню было, и все знали, что эту красивую обложку для меню серебряный Малик заказал в Чехословакии, внутрь этой обложки закладывался листок, написанный от руки, и на этом листке были обозначены названия блюд, но цена не проставлялась.

Агабаба посмотрел принесенное официантом Джафаргулу меню и увидел, что здесь первым номером идет шашлык «Сюрприз», и Агабаба кроме зелени, помидоров,

огурцов и сыра заказал всем по порции этого шашлыка.

Из окна кабинета серебряного Малика были видны мангалы Гаджимамеда-киши, и всю свою жизнь занимавшийся приготовлением шашлыков Мангал, весь день носясь от мангала к мангалу, один жарил шашлыки для такого количества людей (в поселке говорили, что Мангал каждый день глотает столько дыму, чада, что поздним вечером вынужден заглатывать кусочек сырого курдюка, обязанного ниткой, потом за нитку вытягивал этот уже ставший черным от сажи кусок курдюка, будто таким образом Мангал каждый вечер предохранял себя от болезни).

Официант Джафаргулу принес зелень, разложил на столе, принес помидоры, огурцы, принес сыр, принес для Агабабы ввести граммов водки, принес пять холодных бутылок минеральной воды «Бадамлы» и сказал:

— Кушайте на здоровье!

Семейство Агабабы отвело от всего, что было на столе, потом Агабаба, налив себе сто граммов, выпил за здоровье Балададаша и Агагюля, а потом все стали ждать шашлык «Сюрприз».

Агабаджи сказала:

— Слушай, а что это за шашлык такой? Вдруг он не из баранины, а из чего-нибудь другого, а?..

Агабаба понял, что Агабаджи опасается, вдруг это свинина окажется, он рассмеялся, Агабаба в последнее время вообще не смеялся, и Нухбала, и девочки стали смеяться, и в это время донеслись звуки кларнета, донеслись звуки зурны, нагары, потом открылась дверь, вошел, приплясывая, официант Джафаргулу с большим блюдом, украшенным сверху помидорами и зеленью, а следом за официантом Джафаргулу вошли, играя на кларнете, зурне и нагаре, кларнетист Мухтар, зурнач Арастун и нагарист Ибрагим, официант Джафаргулу поставил блюдо на середину стола, а Мухтар, Арастун и Ибрагим встали за спиной Агабабы и громко заиграли всегда модную «Невесту».

От неожиданности у Агабабы глаза полезли на лоб, и он спросил:

— Слушай, Джафаргулу, что это такое?

Официант Джафаргулу сказал:

— Так это же шашлык «Сюрприз», братец, ешьте на здоровье!

Мухтар обратил кларнет к потолку, Арастун, раздувая

щеки, изгибался всем телом. Ибрагим старался изо всех сил. Они в самом деле хорошо играли, от души играли, и Агабаджи не удержалась, чтобы не сказать про себя: «Молодцы!»

Агабаба понял, что, пока шашлык не будет съеден, музыканты не уйдут отсюда, потому что сюрприз шашлыка «Сюрприз» в этом и заключался, музыканты должны были над головой клиента играть «Невесту», он протянул руку к блюду, положил шашлык на тарелку перед Агабаджи и девочкам тоже положил шашлык. Нухбала взял сам, каждый взял себе по одному запеченному помидору, Агабаба, налив остальные сто граммов, поднял рюмку за здоровье музыкантов во главе с кларнетистом Мухтаром, и стало ясно, что серебряный Малик действительно организовал для семейства Агабабы отличный шашлык.

Разрезая ножом в меру пропеченный кусок шашлыка, Агабаджи вдруг подумала: интересно, поступил сын квартирантов Адиль в институт или нет? Агабаджи захотелось задать этот вопрос вслух, но она ничего не сказала, потому что в такой чудесный день не хотела портить настроение Агабабе и детям.

Когда семья Агабабы кончила есть и пить, вошел серебряный Малик, Агабаба выразил ему свою благодарность, потом серебряный Малик ушел и послал официанта Джафаргулу произвести расчет, и тут стало ясно, что Нухбале придется сбегать домой и принести еще денег.

Направляясь в шашлычную, Агабаба положил в карман пятьдесят рублей.

Квартиранты, вернее, Башир-муаллим дал Агабаджи сто пятьдесят рублей вперед, а пятьдесят рублей должен был дать в конце, но поскольку Агабаба прогнал семью Башира-муаллима на пять-шесть дней раньше срока, остальные деньги остались при Башире-муаллиме, и Агабаджи о них не спрашивала.

Итак, Нузбала побежал домой, чтобы Агабаба рассчитался с шашлычной, то есть заплатил за шашлык «Сюрприз».

Агабаджи, даже не охнув к своему удивлению, простилась в душе с новым телевизором.

Агабаба тоже как будто и ухом не повел, что такие большие деньги разошлись за два часа.

Как будто так и надо.

Сначала из шашлычной вышли Нухбала с девочками, потом Агабаба и Агабаджи, и, когда они, обойдя шашлыч-

ную сзади, хотели спуститься к морю, чтобы пойти домой, Агабаджи схватила Агабабу за руку:

— Агабаба!

Агабаба сначала посмотрел на Агабаджи, потом в ту сторону, куда смотрела Агабаджи.

Три собаки грызли кости позади шашлычной серебряного Малика, и одной из этих собак был Кумган.

Все беспризорные собаки в этих краях ошивались в окрестностях шашлычной серебряного Малика. Псы-попрошайки, они, стоя в сторонке, внимательно следили за столами и прямо в воздухе ловили кости от шашлыка, терпели пинки, ругань и даже камни, но далеко от шашлычной не уходили. Поселковые собаки близко не подпускали к себе этих псов-попрошаек. В летнюю пору шашлыков жарилось особенно много, потому что было много приезжающих из Баку, и в летнюю пору эти псы-попрошайки на глазах жирели.

Кумган с костью в зубах поднял морду и увидел семейство Агабабы.

Некоторое время он смотрел на семейство Агабабы. Потом, опустив голову, тихонько скуля, вошел во двор шашлычной.

И тут Агабаджи почувствовала первые слабые толчки своего ребенка, ребенок шевельнулся у нее в животе, и в этот августовский день, направляясь вместе с мужем к себе домой, она вспомнила совсем маленьких, только что родившихся Балададаша, Агагюля, Нухбалу, Наилю, Фирузу, Кямалю, Амалю, Дильшад, Бекюханум, представила их себе поодиночке и подумала, что чем больше у человека детей, тем лучше.

ЧУДЕСА
В ПОЧТОВОМ
ОТДЕЛЕНИИ

Мамедов, преодолев стометровку за десять и одну десятую секунды, установил новый республиканский рекорд.

Адиля. Молодец!

Диктор. Вчера на первенстве страны по баскетболу «Спартак» выиграл у «Динамо» со счетом девяносто один — восемьдесят. За «Спартак» выступает самый высокий спортсмен страны Сергей Иванов. Его рост — двести тридцать сантиметров.

Адиля. Подумать только!.. Вот уж действительно полтора Ивана!.. Спросить бы у него, как дела там, наверху? А с меня хватит этой зарядки. Достаточно. Хорошенького понемножку.

Лянься расстегнуть, она стала стягивать пижамную курточку через голову, когда раздался телефонный звонок. С робкой надеждой на чудо Адиля взяла трубку и разочарованно услышала знакомый голос.

— Алло! — сказала она.

— Здравствуй, Ада. Я тебя сразу узнал...

Адиля. А-а... Привет.

Голос. Ты тоже узнала? Видно, эти три года не сделали нас чужими. Как дела?

Адиля. Порядок.

Голос. Я слышал, ты замуж вышла. Поздравляю...

Адиля. Мерси.

Голос. Я тоже ведь женился, Ада.

Адиля. Молодец.

Голос. Ну, ты не меняешься, Ада...

Адиля. А зачем меняться?

Голос. Ты даже не спрашиваешь, откуда я знаю твой телефон?.. Ничего, увидимся — расскажу.

Адиля. А мы с тобой не увидимся.

Голос. Ого, вот это уже новость!

Адиля. Все. Привет.

Голос. Ада, Ада, ты ничего не хочешь мне сказать?

Адиля. Хочу: иди к черту!

Адиля сердито бросила трубку и включила радио.

Диктор. А сейчас прослушайте танцевальные мелодии. Исполняет на гармонии Теюб Теюб-оглу.

Халил появился из кухни с первыми тактами музыкальной мелодии, словно только их и дожидался.

Халил. Ты уже встала? Почему так рано? Как дела, дושечка? Иди посмотри, что я купил на базаре.

Адиля. Доброе утро.

Халил. Ну, здравствуй. Дай поцелую.

1

И в это утро Адиля, как всегда, делала зарядку уже после того, как она прозвучала по радио. Теперь Адиля вполуха слушала последние известия и думала о том, что вчера, и позавчера, и позапозавчера диктор теми же словами и в той же интонации говорил те же или очень похожие вещи и что завтра, и послезавтра, и послепослезавтра она, делая утром зарядку, будет слушать то же самое, и не в ее власти изменить существующий ход вещей. Одно и то же изо дня в день, лишь зима сменяет осень, весна — зиму, потом приходит лето, и снова осень. И все чаще и явственнее чудилась ей сидящая в темном дальнем углу комнаты некая старуха, которая вяжет нескончаемые носки и бормочет под нос: «Четыре сына у меня — один родился зимой, другой весной, третий летом и четвертый осенью. Эти носки я вяжу моему старшему сыну. Он самый лучший мой сын. Самый сильный и смелый, быстрый, как огонь, горячий, как огонь...»

Весна... Весной привычное с детства ожидание чуда, жажда новизны и чего-то необыкновенного смеялось в душе Адиля чувством тоскливой безысходности, и Адиля становилась злой и раздражительной.

Сегодня на рассвете Адиля сквозь сон с нарастающим раздражением слушала, как Халил, стараясь не шуметь, собирался на базар, как захлопотал лифт и захлопала дверь в подъезде, как за стеной в соседней квартире включили радио и пустили в ванной воду. Начинался новый день, не несущий в себе ничего нового, такой же, как вчерашний и завтрашний. Просыпаться не хотелось, но сна уже не было, и Адиля поднялась, включила радио, машинально раскинула в стороны руки и начала делать зарядку.

Диктор... в заключение о спорте. Вчера боксёр Ахмед

Раскрыв объятия и вытянув губы дудочкой, он двинулся на Адилю. Она попыталась избежать встречи с Халилом, но это ей не удалось.

Адиля. Ну, ладно, хватит...

Халил. Ах, ты моя сладкая! Прямо сахар!

Адиля. Хватит, сказала!..

Халил. Не сердись, милая, не сердись... Хватит так хватит. Как говорится, хорошенького понемножку.

Адиля. Опять целую гору укропа накунил?

Халил. Конечно, душечка. Это витамин «С», милая, чистый витамин «С». А витамин «С», ты же знаешь, для всего полезен. И даже для... Салим говорил, я тебе не рассказывал?

Адиля. Не болтай глупости...

Халил. Ах ты, милочка моя! Я ведь жду не дождусь отпуска, в Кисловодск поедем, ты увидишь тогда, каков Халил-петушок!

Диктор. «Гайтагы». Исполняет на кларнете Шамси Иманов.

Халил. На кухне я навел порядок. Помидоры жутко дорогие — рубль шестьдесят кило.

Адиля. Так ты не купил?

Халил. Купил, мамочка, полкило для тебя купил. Я съем одну штучку. Как говорится, хорошенького понемножку.

Адиля. Ну ладно, я пошла, Халилушка.

Халил. Куда?

Адиля. На работу, куда же еще?

Халил. Но ведь еще больше часа до начала твоей работы.

Адиля. Значит, впритык.

Халил. Как это — впритык, мамочка, тебе же десять минут ходу?..

Адиля. Мне эта дорога надоела.

Диктор. Прослушайте в том же исполнении танец «Ханчобаны».

Адиля. Та же дорога, те же дома, те же углы, те же знакомые лица. Каждый день, каждый день... Сегодня пойду на работу по другим улицам.

Халил. Ох, и фантазерка ты у меня! А помнишь, что у нас семьдесят лотерейных билетов? Чует мое сердце, выиграем машину... Салим говорит...

Адиля. О господи боже, как ты надоел мне со своим

Салимом! Салим сказал, Салим говорит... Я о чем тебе говорила, а ты — о чем?

Халим. Я думал, до твоей работы мы немного посидим. Я не рассказывал тебе, вчера Салим из-за меня дал нагоняй бухгалтеру. Подумать только, какие-то вычеты накануне отпуска... Ну, Салим его отчитал...

Адиля. Ради Салима замолчи... Я пошла.

Халил. Ты хоть завтракала?

Адиля. Кажется, да... Ну конечно! Ты приготовь что-нибудь, поешь хорошенько, потом иди на работу.

Халил. Дай я провожу тебя.

Адиля. Нет, Халилушка, ты садись поешь.

Халил. Ну, позволь мне проводить тебя, моя душечка?

Адиля. Я ведь сказала тебе — нет. О, как мне надоело одно и то же! Ну сколько можно видеть тебя — каждый день?! Прости... Не сердись, ладно? Поцелуй меня... Ну, теперь все... Как ты говоришь, хорошенького понемножку.

2

На почте самая горячая пора. Жужжат телетайпы, выдавая ленточки телеграмм, резко звонит междугородный телефон, щелкают кассы, принимая от граждан плату за квартиры и коммунальные услуги, мерно стучит штампомолоточек в руках девушек, регистрирующих заказные письма и бандероли, вполголоса переговариваются клиенты.

Беспрерывно хлопает входная дверь. Только Адиля сидит без дела за окошком номер три, на котором написано «До востребования». Адиля вырезает ножницами полоску бумаги, закрашивает ее чернилами и приклеивает перед тройкой на стекле, получается 13.

Заведующий почтовым отделением, пожилой человек по фамилии Единственнов, следя за порядком, подходит к Адиле. Останавливается, смотрит на число 13 и произносит довольно спокойным тоном:

— Ну так же нельзя, товарищ Адиля! Сколько раз можно человеку говорить?!

Адиля. А в чем дело, товарищ Единственнов?

Единственнов. Вы понимаете, что у вас получилось на стекле?

Адиля. Тринадцать.

Единственнов. Вижу. Я спрашиваю, зачем это вам? Ведь это не в первый раз. На что вы намекаете?

Адиля. Это символ нашей судьбы, товарищ Единственный...

Единственный. Глупости все это. Детство. До каких пор будете в куклы играть? Неприлично? Если повторится еще раз, выговор объявлю, так и знайте.

Адиля. Строгий?

Единственный. Да, строгий! Я не знаю и не хочу знать, что вы имеете в виду, подставляя к тройке единицу. Но ведь что получается? До востребования — в окошке номер тринадцать. Тут что-то не то... Вряд ли это понравится нашим клиентам. Да и не только клиентам. Неужели вы не понимаете? Вдруг начальство заглянет... Или кто-нибудь сверху...

Адиля. Вы имеете в виду товарища Иванова?

Единственный. Кто это — Иванов?

Адиля. Да так... Один человек...

Единственный. Он что, из министерства?

Адиля. Нет, выше... Понимаете, выше...

Единственный. Так... И вы с ним знакомы?

Адиля. Да. Сегодня утром познакомились.

Единственный внимательно смотрит на нее. Потом переводит взгляд на часы, висящие на столе, и вдруг кричит, и крик его покрывает шум почтового отделения.

— Ибрагим!

Ибрагим, заместитель начальника почтового отделения, маленький, лысый, кругленький, подскакивает от окрика, как мячик от стенки, и мгновенно оказывается перед Единственным...

— Да, товарищ Единственный!

Единственный. Не видишь, что ли? Время перерыва.

Ибрагим. Сию минуту, товарищ Единственный!

Ибрагим подходит к двери и, не пуская на почту посетителей, приговаривает:

— Перерыв, товарищи. Нельзя, товарищи, перерыв. Неужели непонятно, товарищи?.. Перерыв!

Ему доставляет удовольствие маленькая, кратковременная, но власть над людьми! Его лысина розовеет и начинает лосниться, голос обретает металлическое звучание, но глазки... Глазки остерегаются — они бегают, прячутся, они все время в движении и подобны дыркам на телефонном диске: словно кто-то внутри Ибрагима все время набирает номер, и в дырках мелькают пустота и знаки, пустота и знаки...

Единственный садится за стол, надевает очки и углуб-

ляется в газету. Помещение постепенно почти пустеет, уходят клиенты, разбегаются на обеденный перерыв служащие. Лишь Адиля остается на месте. Она сидит неподвижно, устремив взгляд в одну точку, когда появляются подруги Адили, женщины лет тридцати, вызывающе одетые. Они останавливаются перед прикрытой дверью...

Ибрагим. Нельзя!

Гюльзар. Ой... Вы нас не узнали, Ибрагим-муаллим? Здравствуйте!

Ибрагим. У нас перерыв.

Зулейха. Адиля, скажи этому типу, пусть нас пропустил.

Адиля. Ибрагим, ну что это такое? Товарищ Единственный! Почему...

Ибрагим. Ну, ладно, ладно. Проходите.

Зулейха и Гюльзар подходят к Адиле и говорят вместе.

— Привет.

Адиля улыбается, придвигает им стулья. Девушки садятся.

Зулейха. Ой, Ада, в универмаг такие пальто-джерси привезли, такие пальто! И красные, и болотного цвета, и мышиного...

Адиля. На что мне джерси...

Гюльзар. Что с тобой творится в последнее время... На что мне то, на что мне это, зачем кино, зачем гулять?

Зулейха. Были бы у меня деньги... Купила бы себе джерси... Не помнишь, почему они были с рук? Послал бы мне аллах такого, как Халил...

Адиля. Дался тебе Халил, сказала же — не трогай его...

Зулейха. Я же ничего плохого не говорю...

Гюльзар. Эх, а я уж ни о чем таком и не мечтаю!

Зулейха. Не ври, пожалуйста. Вот был бы у меня муж... Пусть даже самый никудышный. Какой-нибудь поэт признанный.

Гюльзар. На поэтов надежда плохая, помечтай о ком-нибудь другом.

Зулейха. Почему? Это на них наговаривают. Вот со мной по соседству живет поэт Фикрет Садыг — святой, да и только.

Гюльзар. Раз святой, значит, жениться не может. Эх, недавно шли мы с Зулей, видим, Салех...

Зулейха. Да, Ада, знаешь, какой он теперь стал? Такой представительный — с ним не шутя!

Гюльзар. У него сын уже в школу ходит. Так вот,

остановился Салех, поздоровался с нами. Спросил, как дела. Говорю, все по-прежнему, отлично. А про себя думаю: пусть моим врагам будет так же хорошо... Тебе привет передал, Ада.

Зулейха. Подумаешь, большое дело: привет передал... С нами водились и нас любили, дрались, чтобы только потанцевать с нами, хвастались друг перед другом...

Гюльзар. ...в смысле, мы тоже мужчины.

Зулейха. ...да фасонили, а как пришло время жениться, нашли себе других девушек. Не таких веселых и свободных, как мы. С папами...

Гюльзар. А мы-то, дуры...

Адила. Да хватит вам, ради бога. Не начинайте все сначала, не расстраивайте меня, я и так с утра не в себе.

Зулейха. Она права... Пусть все мужчины катятся к чертовой матери! Интересно, Фира одолжит мне денег?

Гюльзар. Фира теперь не здороваается со старыми знакомыми, а ты хочешь, чтобы она тебе деньги дала?

Единственный поднимается с места, подходит к двери. Задумчиво смотрит на улицу. Ибрагим приближается к нему.

— Какая мерзкая погода...

Единственный. И погода хорошая, и жизнь превосходная, и люди прекрасные, и если есть еще у нас жулики, то ты — один из них!

Ибрагим обижается и отходит к своему столу.

Гюльзар. Ада, кажется, этот ваш заведующий опять не в духе.

Зулейха. Что это с ним?

Адила. Наверно, опять с женой поссорился... Хотите я вас снова познакомлю?

Гюльзар. Сколько раз можно знакомиться? Ты уже трижды нас к нему подводила.

Зулейха. Неважно, от скуки чего не сделаешь. Пусть. Давай снова знакомь нас, Ада, зови его сюда.

Адила. Товарищ Единственный, Зуля и Гюля уже целый год изводят меня: познакомь да познакомь.

Единственный медленно подходит к ним. Он не знает, как держать себя с этими насмешливыми и дерзкими женщинами.

Зулейха. Какая у вас романтическая фамилия, товарищ Единственный!

Адила. Это не совсем так, Зуля. Фамилия нашего

уважаемого заведующего — Гульмамедов, а Единственный — псевдоним.

Гюльзар. Как интересно! Значит, вы один — единственный на свете человек?

Единственный. Да.

Зулейха. Ваше лицо мне очень знакомо. Где-то я вас видела.

Единственный. Возможно.

Зулейха. И я вас откуда-то знаю...

Единственный. Очень может быть.

Адила. Четырнадцать лет назад на Восьмое марта в газете была фотография товарища Единственного. Его сфотографировали, когда он покупал подарок своей супруге. Наверное, там вы его видели.

Гюльзар. Нет, я тогда была слишком мала, чтобы газеты читать.

Зулейха. Товарищ Единственный, а вы в кино не снимались?

Адила. Да нет... Товарищ Единственный — ветеран почтового дела. Сам министр знает товарища Единственного, он даже упомянул о нем однажды в своем докладе.

Гюльзар. А-а-а, вспомнила, где я вас видела! Здесь, на почте. Неделю назад!..

Единственный. Все прекрасно, все хорошо, но еще неизвестно, кто кого разыгрывает!

Адила. Товарищ Единственный, я и не знала, что у вас есть чувство юмора...

Единственный. Хватит, товарищи! Ибрагим, где ты там, Ибрагим!

Ибрагим. Я здесь, товарищ Единственный, я здесь!

Единственный. До конца перерыва осталось пять минут. Ты меня понял?

Ибрагим. Да, товарищ Единственный. У меня к вам маленький вопрос.

Единственный. Ну, давай свой вопрос, Ибрагим.

Единственный с Ибрагимом отходит в сторону, и подруги вновь остаются одни.

Зулейха. Да они просто горят на работе. Откуда только такие берутся?

Гюльзар. Эти два остолопа?

Зулейха. Всюду такие остолопы, и поэтому, как говорит моя бедная мама, мы остались ни с чем.

Гюльзар. Чтоб им всем мурдешир¹ лица вымыл!

Адиля. Тише ты, Ибрагим услышит.

Гюльзар. Ну и пусть услышит, мне-то что?

Адиля. Как что? Ведь Ибрагим — мурдешир и есть.

Гюльзар. Что?

Адиля. Ибрагим — мурдешир.

Зулейха. То есть как это?

Адиля. Ну, обыкновенно, мурдешир... Подрабатывает...

Как выдается свободное время, бежит в мечеть, помогает обмывать покойников.

Гюльзар. Ой, мамал..

Зулейха. Ада, как ты работаешь вместе с таким человеком?

Адиля. Обыкновенно.

Гюльзар. Не боишься?

Адиля. А чего бояться?

Гюльзар. Нет, я тебя не узнаю. Где прежняя Ада?

Адиля. Это потому, что не боюсь Ибрагима? А почему я должна его бояться? Что, другие лучше, что ли? Десять лет назад испугалась бы. Потому что я ничего о жизни не знала, мы порхали себе как бабочки...

Зулейха. И не задумывались даже, что осень не за горами...

Адиля. Вы думаете, все здесь могут разыгрывать этого Единственного? Да все дрожат перед ним. Знаете, как его бояться?! Он такой вредный, а передо мной заискивает...

Гюльзар. А-а-а. А почему это он перед тобой заискивает?

Адиля. Через два года он уйдет на пенсию. Так вот, уже сейчас стелется передо мной, чтобы потом Халил помог ему с пенсией. Иногда он у меня спрашивает: «Адиля, ваш муж по-прежнему работает в министерстве социального обеспечения?»

Гюльзар. Бедняга.

Адиля. Все мы бедняги.

Гюльзар. Не говори...

Единственный. Ибрагим! Перерыв кончился.

Ибрагим. Сию минуту, товарищ Единственный.

Гюльзар. Ну, ладно, Ада, мы пошли.

Адиля. Хорошо, привет.

Гюльзар. Да, забыла сказать, я ведь опять документы в институт подала... На заочное. Помогли, аллах.

Адиля. Аллах поможет, дождайся...

Зулейха. До свидания, Ада. Куплю джерси, вечером принесу показать.

Адиля. Хорошо.

Почтовый зал постепенно заполняется людьми, вновь начинают шуметь аппараты. Единственный, понаблюдав за Адилей со стороны, подходит к ней.

— Так вы говорите, сегодня утром познакомились с товарищем Ивановым?

Адиля. Да-а-а...

Единственный. Вы говорите, он откуда-то... сверху?

Адиля. Да. А что?

Единственный. Вы сегодня с утра не в духе, товарищ Адиля. Может быть, еще что-то произошло? Вы знаете, я всегда близко к сердцу принимаю ваши заботы...

Адиля. У меня, кажется, свекор помер, товарищ Единственный.

Единственный. То есть как это — кажется? Официально скончался?

Адиля. Нет, официально нет.

Единственный. Опять вы меня разыгрываете. Я прошу вас, товарищ Адиля... И когда вы только повзрослеете...

Обидевшись, Единственный удаляется. Адиля механически обслуживает посетителей. И вдруг происходит что-то необычное для почтового отделения: какой-то человек во фраке со скрипкой проходит к нише в стене, устраивается там и начинает играть. Никто его не видит и никто не слышит его игру. Единственный щелкает на счетах, Ибрагим ставит сургучные печати на посылках, все прочие тоже заняты своим делом, — Адиля одна слышит музыку. И никто, кроме нее, не видит мужчину в черном костюме и белой рубашке, который возник ниоткуда и подошел к Адиле. И остались для нее в почтовом отделении только он и она.

— Здравствуйте, — сказал он.

— Здравствуйте, добрый день... — ответила она.

— Есть ли письмо для меня?

— Для вас?.. Сейчас посмотрим.

И Адиля начала торопливо перебирать конверты «до востребования».

— Нет, для вас нет письма...

«Жду тем никому не видимый скрипач стал играть все

¹ Мурдешир — человек, занимающийся ритуальным обмыванием покойников у мусульман.

громче. И сердце Адила забилось в ритме его мелодии.

Мужчина. Нет... Нет и нет, и никто мне не поможет...

Адила. Вы не грустите. Вы будете приходите за письмом каждый день... И спрашивать его у меня... Только у меня, не правда ли?

Мужчина. Да.

Адила. Я знаю, что значит для вас письмо. Но даже если оно запоздает, вы не рассердитесь, не разочаруетесь, вы будете ждать его и разговаривать со мной... Вы и сейчас никуда не уйдете... Мы... мы станем друзьями... Очень близкими друзьями... Или я ошибаюсь?..

Мужчина. Нет, не ошибаетесь.

Адила. Мы доверимся друг другу. Я все вам расскажу. Даже то, что никому на свете не сказала бы. Даже то, что скрываю от себя. Я не скрою от вас ничего. А вы будете меня слушать. И будете говорить:

В горах туман
Упал на колени,
Альпийский луг
Достался оленю.

Вы ведь будете это повторять, не так ли?

Мужчина. Так. В горах — туман...

Адила. Упал на колени...

Мужчина. Альпийский луг...

Адила. Достался оленю... Вы знаете, почему я до конца откроюсь вам? Потому что никто больше не сможет меня понять... Потому что люди стали мне чужими... Потому что я стала сама себе чужой... Я стала пустой... Равнодушной...

Мужчина. Я знаю...

Адила. Знаете? Конечно, конечно, вы знаете. Вы все знаете. Вы ответите на все мои вопросы. Вы не боитесь вопросов... Мы с вами будем путешествовать! Ведь правда? Мы побываем везде! Где мы только не побываем! Но больше всего нам понравится в горном лесу. Вечерами, сидя в палатке, мы будем вслушиваться в шум дождя. Мы забудем, что пройдет время и мы умрем, станем землей, а лес этот останется, и дождь никогда не кончится. Мы забудем, мы забудем обо всем — и о наших заботах, и о наших тревогах, и о наших страхах. Забудем о людях несчастных и о людях счастливых. Мы, только мы будем в нашем мире: вы, я и еще лес... и еще темнота лесная... и деревья... наша маленькая палатка... и дождь... Невдалеке

от нас будет горная речка. Мы будем слушаться ее... Потом наступит тишина, эта тишина принесет нам счастье, мы растворимся в этом счастье и станем по-настоящему свободны. Утром, проснувшись, мы будем купаться в горной реке. Соловьи будут петь: «Цветок, цветок! Раскройся!» И мы будем радоваться, радоваться... ведь так?

Мужчина. Конечно. Ведь мы будем часто видеться...

Адила. Правда? Вы правду говорите? Ну, конечно, вы говорите правду. Конечно, правду. Я больше не буду сомневаться в этом. Мы будем видеться часто, очень часто. Потому что иначе невозможно. Так больше невозможно, вы понимаете? Невозможно так! Я не могу больше так жить! Может ли быть на свете столько бессмысленного, однообразного! Может ли жизнь быть такой пустой! Сколько может человек разговаривать сам с собой? До каких пор он может быть счастлив только в мечтах, в мире, который он сам себе вообразил, — в несуществующем мире? Ну до каких пор можно задавать один и тот же вопрос: «Ну и что?» До каких пор? Ведь больше невозможно это выносить! Невозможно, понимаете?

Мужчина. Понимаю.

Адила. Понимаете, конечно, понимаете. Вы все понимаете.

Мужчина. Мы еще не раз будем беседовать с вами. Пока я не получу письмо. Мы будем видеться, пока я не получу письмо.

Адила. Пока вы не получите письмо. А потом — все?! Конец?! О, не спешите получать это письмо, прошу вас, не спешите. А вдруг оно придет завтра? Нет, и, после того как вы получите письмо, мы будем видеться, потому что в нем будут хорошие вести, я это чувствую, знаю...

Мужчина. Нет, после того как придет это письмо, мы больше не будем нужны друг другу. Не будет уже необходимости в наших встречах...

Адила. Я не хочу этого! Не хочу!

Мужчина. Все будет хорошо, вот увидите... Все будет хорошо...

Адила. Вы... уходите?

Мужчина. Я еще приду... Приду... Обязательно приду...

Мужчина исчезает. Адила закрывает глаза, а когда открывает их, перед окошком стоит старик в очках, с палкой в руке.

Старик. Барышня, милая, красавица моя, который раз я уже говорю, что моя фамилия Алигулузаде, к тому же

я — профессор, а вы опять что за письмо мне даете? Это письмо Гамбар-гу-лу-заде! Детка, что мне за дело до Гамбаргулузаде?! Я ведь Алигулузаде, профессор. Сначала дала мне Мартиросяна, а теперь Гамбаргулузаде!..

Адиля. Что вы говорите? Как ваша фамилия?

Старик. Это уже явное издевательство! Да это просто безобразие! Где тут у вас заведующий? Позовите заведующего!

3

Гюльзар и Зулейха с юных лет тянулись к Адиле, негласно признавая ее превосходство. Им необходимо было видеть ее, и на почту они являлись почти каждый день.

Адиля сидела задумавшись. Весна незаметно переливалась в лето, и старуха, отмеряющая время, казалось Адиле, вязала и приговаривала: «Этот носок я вяжу моему второму сыну. Первый мой сын — неверный. А вот второй — самый лучший сын. Я его больше всех люблю. Он — как родник. Как родник чистый, как волна мягкий, как волна ласковый...»

Лето теснило весну, а Адиля еще не приняла решения...

Зулейха. Не знаю, Ада, что с тобой последнее время...

Адиля. А что?

Гюльзар. Ты стала какая-то такая...

Адиля. Какая такая?

Зулейха. Вот мы у тебя и спрашиваем, какая ты сейчас. Ведь прежней Адили нет...

Адиля. Но ведь и ты не прежняя, Зуля... Ты так же шутишь, смеешься, но все больше по инерции, а может быть, ты играешь, кто знает?.. Прежней Зулейхи больше нет. И прежней Адили — тоже. И прежней Гюльзар.

Гюльзар. Все это понятно. Ада, конечно же я — не прежняя. Мне теперь тридцать четыре, как же я могу быть двадцатилетней? Разве я могу теперь смеяться так, как раньше? От всего сердца, весело, бездумно? Вот в том-то и дело, что бездумно. Ни о чем не думала двадцатилетняя Гюльзар, попусту тратила время, влюблялась в Жана Маре, в Рашида Бейбутова, и не только в них, к сожалению. Любила веселые компании, ну, да вы все это знаете не хуже меня... И вот результат! Не знаю, винить меня теперь двадцатилетнюю Гюльзар или хвалить — что в молодости жила не кривя душой, в свое удовольствие. Но где эта молодость? У моих ровесниц уже дочки чуть ли не на

ыздание, а я? Осталась ни с чем. Кто на мне женится? Никто. Я уже седею... Скоро не помогут ни пудра, ни краска, буду я старая кокетка. Но у тебя ведь по-другому, Ада...

Адиля. А чем это я от тебя отличаюсь?

Зулейха. Я, конечно, понимаю, Ада. Халил — не тот, о которм ты мечтала, совсем не тот... Но все же...

Адиля. Я сказала, не трогай Халила. Не твое это дело!

Зулейха. Ладно, не буду, не сердись...

Гюльзар. А по-моему, любовь — это все пустое. Это для двадцатилетних, потом все проходит... Чего уж тут горевать.

Адиля. Да что вы напали на меня?! Я знаю это не хуже вас. Любовь — как пустая консервная банка! Жизнь — вечные похороны неисполнившихся желаний! Я знаю это получше вас всех. Но почему? Почему это так?

Зулейха. Вот видишь, ты спрашиваешь — почему? Потому что ты не можешь смириться с этим. И напрасно. Ты опять думаешь, как прежняя Адиля, вместо того чтобы смеяться над прежними мечтами, причем смеяться так же беззаботно, как раньше. У тебя есть все, Ада. Завидую тебе. Сейчас только и мечтаю, чтобы у меня появился такой мужчина, как Халил, поженились бы мы и жили себе потихоньку. Это и есть счастье.

Гюльзар. И не говори.

Адиля. Если вы еще раз вспомните про Халила, я вам больше не подруга...

Гюльзар. Ну, хорошо, давай поговорим о чем-нибудь другом. Надо же как-то развеяться...

Зулейха. А о чем другом? Вчера звоню Фире — денег одолжить, туфли на платформе появились. А она мне: клянусь Аликом, нет ни копейки.

Гюльзар. Она только и клянется Аликом, когда врет... Накличет, что этого завмага Алика вытянут из магазина за ушко да на солнышко...

Единственный, сидевший все время над бумагами, поднял голову, посмотрел на часы и крикнул:

— Ибрагим!

Дремавший с открытыми глазами Ибрагим подпрыгнул, как мячик.

— Да, товарищ Единственный!

Единственный. Перерыв окончен!

Ибрагим. Сию минуту, товарищ Единственный!

Зулейха. Ладно, мы пошли, Ада.

Адила. Привет.
Гюльзар. Привет. Не растравляй себя. Что наша жизнь — игра...

Зулейха. Прощайте. Ибрагим-муаллим.

Гюльзар. Спокойной ночи, Ибрагим-муаллим.

Польщенный Ибрагим берет Гюльзар за руку.

— Заходите, девушки, заходите.

Гюльзар вспоминает, что он мурдешир, вздрагивает от омерзения, пытается вырвать у него свою руку и громко кричит:

— Ой! Убери свою руку. Ну!

Единственнов. Что случилось, товарищи?

Зулейха. Эй, мурдешир проклятый, чего живых людей хватаешь? Сейчас получишь...

Ибрагим. Ох, была бы моя воля!.. Я бы ей показал... Я бы ее... Я бы их... Стервы, пробы негде ставить!

Единственнов подходит к Ибрагиму и что-то говорит ему тихо. Ибрагим, потирая покрасневшую лысину и подсакивая на месте от возмущения, выкрикивает:

— Девушки! Ха, девушки! Они уже лет двадцать как не девушки. Шайтаны в юбках, да еще в коротких!

Единственнов. Брось, не связывайся. Эта кошка Адилы их в обиду не даст. Ты с ней поосторожнее, у нее любовник новый, товарищ Иванов.

Ибрагим. А кто такой этот Иванов?

Единственнов. Думаю, важная птица... Оттуда...

Единственнов многозначительно воздевает палец к небу. Ибрагим замирает, весь словно худеет и бледнеет на глазах. В тревожном молчании они расходятся по своим местам. Адилы сидит с отсутствующим видом. Появляется скрипач, встает в свою нишу и начинает играть... Вскоре возникает мужчина в черном костюме. Адилы обрадованно вскакивает.

Адила. Спасибо, что пришли.

Мужчина. Здравствуйте.

Адила. Я боялась, что вы не придете.

Мужчина. Но я обещал вам. Мне письма нет?

Адила. Нет, еще не получено... Дайте-ка посмотрю еще раз... Нет...

Мужчина. Не беда. Собственно, я пришел вас пригласить.

Адила. Пригласить меня? Куда?

Мужчина. Куда хотите.

Адила. Куда я хочу?.. Идемте... поедem в Кисловодск...

Нет, в Джидырскую степь... Пусть ударит нам в нос запах чебреца, ничего вынесем! В детстве нас всегда на лето возили в Шушу. Тогда отец был еще жив... А я смотрела на горы, мечтала скорее подрасти, хотела обнять эти горы, разделить со всеми свою радость... А теперь... А теперь я хотела бы снова стать ребенком... Но больше не будем об этом... Мы поедem в Джидырскую степь!.. Поехали?

Мужчина. Поехали.

Адила. Вы ощущаете запах чебреца? Какой сильный запах... Посмотрите на эти горы... Туман расходится...

Мужчина.

В горах туман
Упал на колени,
Альпийский луг
Достался оленю.

Адила. Мы на самую вершину поднимаемся!.. Смотрите, сколько здесь цветов!.. Я бывал в этих местах, но никогда не было так хорошо... Это потому, что я с вами. Вы слышите крики удонов? Знаете, что они кричат? Одного зовут Иса, а другого — Муса. Один спрашивает: «Иса, нашел?» Другой отвечает: «Муса, нет»... Говорят, было двое братьев-чабанов. Однажды у них пропала любимая овца. Искали-искали, так и не смогли найти ее. Тогда они обратились к аллаху с просьбой сделать их птицами, чтоб они увидели наконец свою овцу. Аллах превратил их в птиц. А они все равно овцу не нашли... Может быть, овцу унес волк? Ведь здесь полно волков... Нет, нет, не будем сегодня говорить о волках, лисах, шакалах... Как сильно пахнет чебрец! Этот запах все нравится, а я бы хотела, чтобы плохие люди не выдерживали запаха чебреца. Чебрец — только для самых лучших...

Мужчина. Значит, на свете нет плохих людей...

Адила. Нет плохих людей? Почему?

Мужчина. Потому что все выдерживают запах чебреца.

Адила. Нет, это неправда, я не так хотела сказать. У нас по соседству жил один слепой, Мамадбагир-киши. Он говорил, на свете нет плохих людей, самое трудное — узнать человека близко, а после того как близко, очень близко его узнаешь, поймешь, что нет плохих людей. Так ли это на самом деле? Ну вот, взяточнику какое оправдание? Как он может быть хорошим человеком? Как может быть хорошим человеком подхалим? Или вор? Правда, всем им нравится запах чебреца, но один вдыхает его, думая о хороших делах, а другой — о плохих... Послушайте, как вы

бъясните, почему многие хорошие люди несчастны? Вы слышите, как он поет? Так вот, несчастный человек никогда не почувствует прелести этого грекотанья.

Мужчина. Почему же?

Адиля. Потому что я часто бывала в этих местах. И совсем не так давно вместе с Халилом. Нюхали чебрец, смотрели на туманные горы, слушали, как журчит речка Дашалты, слушали песню кузнечика, и все это пробудило во мне не радость, а грусть, потому что я опять задумалась о себе, о своей неудавшейся жизни. Даже эта красота наводит на меня только печаль.

Мужчина. А почему вы, созерцая эту красоту, не задумались о том, чтобы распрощаться с вашей неудавшейся жизнью! Изменить ее?

Адиля. Потому что это невозможно.

Мужчина. Своего рода утешение, не так ли? Это ведь утешительно: сказать себе «невозможно» — и продолжать.

Адиля. Нет, это не утешение, это — истина. Все так думают. По крайней мере, те, с кем я встречаюсь каждый день. Для них это тоже невозможно. Хотите, я познакомлю вас с ними? И тогда вы увидите, права я или нет. Хотите?

Мужчина. Ну что ж...

Адиля. Правда? Вы хотите с ними познакомиться? Я знаю, вы делаете это для меня... Может, чтобы лучше меня понять... Помочь мне разобратся в самой себе. Но как познакомить их с вами?.. Знаете что, пусть они расскажут о таком событии в их жизни, которое они считают для себя самым важным, самым замечательным. Только все вопросы задавайте вы. Ну, будто вы судья. А с кого мы начнем?

Мужчина. С товарища Единственного.

Адиля. Договорились! Товарищ Единственный! Товарищ Единственный! Если вам нетрудно, подойдите сюда на минуточку. С вами хочет поговорить один товарищ...

Единственный. Здравствуйте.

Мужчина. Вы Алмамед Ахмед-оглы Гюльмамедов. Единственный — ваш псевдоним. Вам пятьдесят девять лет. Вы женаты. У вас трое детей. Два внука. Вы заведующий почтовым отделением.

Единственный. Да...

Мужчина. Расскажите, пожалуйста, какое событие своей жизни вы считаете самым значительным?

Единственный. Самое значительное событие в моей жизни?

Мужчина. Да, пожалуйста.

Единственный. Самое главное событие в моей жизни? Сейчас... Однажды меня вызвали в министерство и командировали в Кедабек — проводить кампанию подписки на газеты. Ибрагим тоже был со мной. Мы ходили по селам, агитировали... Кедабек, вы же знаете, горный район, выдали нам лошадей, чтобы мы объехали все села. И вот спускались мы в дождь из большого села Гара-Мурад. Вдруг конь споткнулся, и я вместе с ним покатился с обрыва... Очнулся через десять дней в районной больнице. Весь в гипсе. Открыл глаза, рядом Ибрагим на стуле сидит. Мои первые слова были... Нет, лучше пусть сам Ибрагим скажет, Ибрагим, эй, Ибрагим!

Ибрагим. Я здесь, товарищ Единственный.

Единственный. Ну-ка расскажи товарищам, пусть они услышат. Когда я в больнице через десять дней открыл глаза, что я сказал тебе прежде всего?

Ибрагим. Вы сказали: «Ибраги-им». А я сидел около вас и плакал. А вы говорите: «Ибрагим, в каком состоянии колхозный конь? Он не убился?»

Единственный. Да, как только я пришел в себя, я в первую очередь заинтересовался состоянием упавшего вместе со мной колхозного коня!

Мужчина. Значит, это и есть самое главное событие в вашей жизни?

Единственный. Думаю, что да!

Ибрагим. У товарища Единственного на первом месте стоят общественные интересы!

Мужчина. Почему во время войны вы, товарищ Единственный, симулировали болезнь и не пошли на фронт?

Единственный. Я... нет... Это было так давно... У меня есть справка... Я... Я...

Ибрагим. Не может быть... Это просто не может...

Мужчина. Вы Ибрагим Гасым-оглу Азизов. Вам тридцать восемь лет. Женаты. Трое детей. Работаете заместителем заведующего почтовым отделением.

Ибрагим. Да...

Мужчина. Вы должны сейчас же рассказать, какое событие было самым значительным в вашей жизни.

Ибрагим. Я должен?

Мужчина. Пожалуйста!

Единственный. Говори, не бойся.

Ибрагим. Самое главное событие в моей жизни... Какое событие в моей жизни было самым главным, товарищ Единственный?

Единственный. Сам подумай...

Ибрагим. Да! Самое главное в моей жизни то, что судьба свела меня с товарищем Единственным! В результате отеческой заботы товарища Единственного я поднялся от грузчика до заместителя заведующего! Вы сделали меня человеком, товарищ Единственный! Вы воспитали меня по принципам Макаренко! Я этого никогда не забуду!

Единственный. Это мой гражданский долг...

Мужчина. По какой цене, Ибрагим, вы продаете нижнее белье покойников, которых обмываете?

Ибрагим. Нет... Что вы... Да я... Никогда...

Мужчина. Почему вы постоянно желаете смерти товарищу Единственному? Надеетесь стать заведующим?

Ибрагим. Я... Я... Нет...

Мужчина. Можете идти.

Единственный. И я тоже, товарищ э-э-э?

Мужчина. Да, и вы тоже.

Адия. Ну, что вы скажете?

Мужчина. Давайте следующего.

Адия. Халил! Халил!

Халил. Что, мамочка, что, душа моя?

Адия. Иди сюда на минутку.

Халил. Что такое, мамочка?

Мужчина. Вы Халил Юсуф-оглу Керимов. Вам сорок семь лет. Вы работаете в министерстве социального обеспечения. Женаты. Детей нет.

Халил. Да, это так... А дочка не виновата, виноват я...

Мужчина. Вы должны рассказать сейчас о главном, по вашему мнению, событии в вашей жизни.

Халил. С чего это вдруг?

Мужчина. Говорите.

Халил. Если вы настаиваете, пожалуйста... Мамочка, ты и без того знаешь, какое событие главное в моей жизни. Но я могу повторить. Самое главное, самое главное событие всей моей жизни — это женитьба на Адиле.

Мужчина. А другое событие вы не вспомните?

Халил. Другое? Могу, конечно, в моей жизни было много чего... Но...

Мужчина. Не стесняйтесь, говорите.

Халил. Ладно... Это было примерно год назад. Меня вы-

звал к себе начальник отдела Кязимов и говорит: «Халил, мы с тобой уже двадцать четыре года работаем вместе. Я считаю тебя своим другом. С этой минуты называй меня просто по имени, я для тебя — Салим». С тех пор я и при сотрудниках зову его по имени. Потому что мы друзья. Потому что он такой замечательный человек, потому что он...

Мужчина. Вы любите Адилю?

Халил. Я не могу без нее жить.

Мужчина. Вы жертвуете ради нее своей жизнью?

Халил. Я... Когда до нее дотрагиваюсь, весь дрожу...

Мужчина. Отвечайте на вопрос. Жертвуете ли вы ради нее своей жизнью?

Халил мнется: все так необычно, вдруг на самом деле ему придется расстаться с жизнью. Адия такая... Не знаешь, чего от нее ожидать. Он избегает смотреть на Адилю и не знает, что отвечать.

Халил. Я... Я сказал же...

Мужчина. Можете идти.

Адия. Даже забыл со мной попрощаться... Испугался, что ли? Ладно. Ушел — и хорошо. Зуля! Зуля! Где ты? Зулейха. Что, Ада?

Адия. Иди сюда, дело есть.

Зулейха. Здравствуйте.

Мужчина. Зулейха Али-гызы Халилова. Вам тридцать шесть лет. Незамужем. Работали секретаршей, уже месяц, как не работаете вовсе.

Зулейха. Что делать, он был страшный бабник.

Мужчина. Вы должны нам рассказать о самом, на ваш взгляд, значительном событии в вашей жизни. Прошу вас.

Зулейха. Если вы всерьез, тогда и Гюлю позовите, вместе будем рассказывать.

Адия. Гюля, Гюльзар!

Гюльзар. Привет. В чем дело?

Мужчина. Гюльзар Ахмед-гызы Мамедова. Тридцать четыре года. Незамужем. Работаете телефонисткой — в ночную смену.

Гюльзар. Вы из статуправления?

Мужчина. Вы должны рассказать о самом значительном, по вашему мнению, событии в вашей жизни.

Зулейха. Слышала, Гюля, мы должны рассказать о самом главном событии в нашей жизни! Расскажем!

Гюльзар. Расскажем.

Зулейха и Гюльзар берутся за руки словно на эстраде и поют:

Самое главное?
Это просто смешно.
Потому что нам главное
Не дано.

Уж так получилось.
Такая судьба.
А раньше мы думали —
Не беда.

Мы такие красивые,
Чего же еще?
Мы такие счастливые!
Официант, счет!

За границу не ездили,
Проси не проси.
Тебя по уху съездили?
Эй, такси!

Заморочили головы
И себе и другим,
Раньше мы были молодь
И теперь — хотим.

Раньше мы были щедрые —
Ветер в голове.
Дуры мы несусветные.
Обе. Две...

Гюльзар. Ну, что? Достаточно?

Зулейха. Как вам наш репертуар?

Гюльзар. Вы довольны нами?

Зулейха. Пошли, Гюля. Привет.

Гюльзар. До свиданья! Мы поплыли.

Мужчина. Стойте.

Зулейха. Что еще?

Мужчина. Вы любили Салеха, и он любил вас. Он хотел ребенка. Почему вы сделали аборт?

Гюльзар. Ой... Я ничего не знала!

Адиля. Я знала.

Зулейха. Потому что... я была так молода, а он — сдент, я думала, все еще впереди, зачем нам ребенок? А потом уже было поздно... Он женился на скромной чистенькой девушке. Он даже не знает, что творит сейчас эта скромная чистенькая девушка у него за спиной!.. А я бы этого не делала! Нет! Нет! Не делала!!!

Гюльзар. Успокойся, Зуля... Успокойся... Не надо больше ее спрашивать...

Мужчина. Хорошо. Я обращаюсь к вам. Почему вчера вечером вы подняли руку на вашу старую мать?

Гюльзар. Верно... Вы правы. Я вчера подняла на маму руку, толкнула ее. Причем это не первый раз... Потому что... потому что она еще больше, чем я, виновата в том, что мне теперь уже все равно, я никому не нужна, у меня и желаний даже никаких не осталось. А все потому, что, когда я в шестнадцать лет приходила домой в двенадцать ночи, она не наказывала меня, а сладко спала... Ее больше интересовало, сколько она денег получит с проданного пива... И все-таки я очень люблю мою маму...

Мужчина. Можете идти.

Адиля. Вы рассердились на них? Ведь они честно ответили на ваши вопросы. Не соврали. Они такие, как есть, только и всего. И поэтому...

Мужчина. И поэтому?

Адиля. И поэтому они несчастны! Самые несчастные на свете! Нет желаний... Никакой радости впереди... Самые несчастные на свете, потому что уже примирились со своим несчастьем... Наверно, так легче жить. Кто знает, может быть, это и правильно...

Мужчина. Значит, вы счастливее Зулейхи и Гюльзар, не так ли? Вы ведь не примирились со своим несчастьем. Вы ведь страдаете постоянно. Даже если захотите, не сможете примириться, потому что это не в вашем характере.

Адиля. Нет, нет. Мы все несчастные: и Зулейха, и Гюля, и я... Потому что жизнь проскользнула у нас между пальцами... Ну, что из того, что я каждую ночь твержу себе перед тем, как заснуть: «Так жить нельзя! Ты все делаешь не так. Почему? Почему ты не начинаешь жизнь сначала? Это ведь не жизнь, то, что ты делаешь...» И я даже даю себе слово, что так больше не будет. А утром просыпаюсь и... весь день проходит так же, как предыдущие. Все то же самое. Снова Халил, его мелкие радости, желания, не стоящие ржавой копейки... Снова лицемерные речи Единственнова, омерзительное лицо Ибрагима... Снова нерадостное житье Зули и Гюли... А перед тем как заснуть снова, несбыточные мечты. Обманчивые надежды...

Мужчина. Может быть, еще кого-нибудь позовете?

Адиля. Кого? Хватит, наверно. Да больше никого знакомых и нет... Салима, что ли? Меня от него тошнит.

Давайте лучше посмотрим на эти горы... Вы видите облака? Пойдет дождь. Потом перестанет. Мы промокнем, но это ничего. Зато радугу увидим. Потом послушаем кваканье лягушек... Давайте ни о чем не думать, просто смотреть. Видите, мне на ладонь села божья коровка. В детстве распевали мы, а теперь поют нынешние дети:

Божья коровка, улетя на небо,
Там твои детки кушают конфетки.

Мужчина. Вы Адиля Мелик-кызы Керимова. Вам тридцать пять лет. Три года замужем. Детей нет. Работаете в почтовом отделении.

Адиля. Да...

Мужчина. Вы должны рассказать о самом значительном, на ваш взгляд, событии в вашей жизни.

Адиля. Хорошо... Понимаете, мы все умрем... Сколько ни есть людей на земле, все умрут... Их заменят новые люди. И они умрут. Я умру, и моя мама умрет. Если бы у меня был ребенок, и он бы умер. И Зуля умрет. И Гюльзар. И вы, я думаю, тоже умрете...

Мужчина. Верно.

Адиля. Так почему же вы не приходите в ужас? Зачем вам это письмо, если вы все равно умрете?

Мужчина. Вы должны рассказать о самом значительном, на ваш взгляд, событии в вашей жизни.

Адиля. Простите. Простите меня. Я сейчас... Самое значительное событие в моей жизни — это осознание собственной смерти. Однажды ночью, холодной ночью, я поняла, что будь ты счастливым или несчастливым — все равно умрешь. Это и есть самое страшное. Смерть!

Мужчина. Это — не самое страшное.

Адиля. Я бы очень хотела вам поверить...

Мужчина. Ну, так поверьте.

Адиля. Может, и вы скажете, что вокруг бурлит радостная жизнь и нельзя отрываться от коллектива? Может быть, и вы скажете, что надо быть волевым, стойким, еще бог знает каким? Не говорите мне этого! Я не хочу, чтобы вы говорили эти холодные слова! Я много слышала таких слов. По радио, в газетах... Я все это знаю.

Мужчина. Я вам и не говорю о том, что вы знаете.

Адиля. Хорошо... А что же тогда, по-вашему... Что, по-вашему, самое страшное?

Мужчина. Представьте себе одного артиста. Он всю жизнь провел на сцене. Состарился. Его уважают, он зна-

менит, многие его любят. Все привыкли к нему, не представляют себе сцену без него. И никому не придет в голову, что он бездарен. Всюду пишут, что он талантлив, все говорят, что он большой актер. Но вот однажды он пришел домой после спектакля. И вдруг внезапно, неожиданно он осознал, что бездарен, что нет в нем настоящего таланта. Осознал, что всю жизнь был бездарен, что известность — мнимая, и уважение — выдуманное, и любовь — только видимость, а ежедневные девичьи письма с любовными признаниями — бред собачий. Никогда ни одну из этих девушек он не сделал и не сделает счастливой, потому что бездарен, потому что обманывал не только других, но и себя самого. Он играл Отелло, срывал аплодисменты, но никогда не испытывал чувств истинного Отелло. Он играл Гамлета и снова срывал аплодисменты, но гамлетовские переживания были ему всегда чужды... Все это я вам рассказываю для того, чтобы задать следующий вопрос. Почему вы вышли замуж за нелюбимого человека?

Адиля. Сказать правду? Хорошо... Я вам признаюсь... Потому что не было любимого и потому что я не смогла бы выйти за лучшего. Я была уже тридцатидвухлетняя старая дура. Люди, которых я любила, существовали только в моих мечтах, в жизни они мне не встретились.

Мужчина. Да. Вы вышли замуж за нелюбимого человека потому, что вам уже было все равно. К тому времени вы уже примирились с вашей неудавшейся жизнью. Стали равнодушны к своей судьбе...

В их беседу врывается звонок, раздается голос Единственнова, призывающего Ибрагима. Адиля вздрагивает и видит себя сидящей за рабочим столом в почтовом отделении. Ее собеседника нет, он исчез. Ибрагим стоит у дверей и никого не пускает внутрь. Единственнов встает и подходит к Адиле:

— Я объявляю вам благодарность, товарищ Адиля.

Адиля. Что вы говорите?

Единственнов. Я объявляю вам благодарность.

Адиля. За что? За то, что вчера этот смешной старик профессор жаловался на меня?

Единственнов. Нет. Вы прислушались к справедливой критике. Сделали надлежащие выводы из моих замечаний, ведь вы больше не изображаете цифру 13 на окошке.

Адиля. А-а-а...

Единственнов. Да! Я ценю, когда к моим замечаниям прислушиваются!

Адиля. С занесением в личное дело?

Единственнов. Непременно!

4

Адиля в своей квартире лежит на диване, просматривая иллюстрированные журналы, и снова удивится ей старуха, которая сидит на старом стуле, вяжет носки и приговаривает: «Эти носки я вяжу моему третьему сыну. Первые два никудышные получились. Вот третий у меня — самый хороший, самый любимый. Он для меня как воздух. Он всех умнее, всех добрее, такой красивый, такой высокий, светлый, как небо...»

Адиля отбрасывает журналы, встает, включает радио и сразу его выключает. Снова устраивается на диване. Входит Халил.

Халил. Купил наконец подарок для дочери Салима. Ну, и народу было за хрусталем! Дай я тебя поцелую!

Адиля. Ну, пожалуйста, не надо!

Халил. Хорошо-хорошо, мамочка, не сердись. Видишь, хрустальная ваза, мамочка, и всего за двадцать рублей. Посмотри, какая вещица! Я сейчас распакую...

Адиля. Не нужно, не разворачивай.

Халил. Почему же, посмотришь, какая красота.

Адиля. Я же сказала, не разворачивай, не хочу.

Халил. Двадцать рублей, конечно, тоже деньги, особенно перед отпуском...

Адиля. Ради Салима, кончай эти разговоры.

Халил. Что с тобой, Адиля?

Адиля. Ничего, что может быть?..

Халил. Ну, тогда собирайся, пора уже, неудобно опаздывать к Салиму.

Адиля. Прости, Халил, настроения нет, я устала. Не пойду, пожалуй. А ты иди, а то Салим на тебя обидится... Скажи там что-нибудь, почему я не пришла... А ты знаешь, галстук тебе идет...

Халил. Ты же его сама выбирала...

Адиля. А? Да-да. Надо было пару купить. Теперь модно один разрезать и в карман вместо платочка... Очень красиво.

Халил. Неудобно получится... Мы уже три года ходим с

тобой на день рождения дочери Салима. Если теперь никто из нас не придет, будет нехорошо...

Адиля. Ну, конечно, нехорошо...

Халил. Ладно... Я найду и от твоего имени поздравлю, скажу, что ты больная, и быстренько вернусь. Отдыхай. И все-таки хотя Салим мне друг, но все же перед курортом тратить двадцать рублей на подарок — не дело, откровенно говоря... Правда, Салим не такой человек, чтобы обращать особое внимание на подарки, но и с пустыми руками тоже ведь не пойдешь... Слышишь, звонок? Кто это к нам, интересно? Пойду открою.

Зулейха. Здравствуйте, Халим-муаллим.

Гюльзар. Добрый вечер.

Халил. Здравствуйте, здрасте. Проходите, пожалуйста, Адочка дома.

Гюльзар. Привет!

Зулейха. Ее высочество отдыхает...

Адиля. Здравствуйте.

Халил. Хорошо, что вы пришли. Когда я уйду, Адочка не будет скучать.

Зулейха. Куда вы уходите, Халил-муаллим?

Халил. На день рождения дочери моего друга Салима.

Гюльзар. Ада не пойдет?

Адиля. Останусь с вами.

Зулейха. Что это, в гости не хочется?

Халил. Сколько ни зову — не идет. Заварить вам хорошего чаю?

Гюльзар. Большое спасибо, мы сами, Халил-муаллим.

Халил. Ладно, мамочка, уже пора, я пошел. До свидания. Я скоро вернусь.

Гюльзар. Нет на свете человека лучше, чем Халил-муаллим!

Адиля. Сколько раз я говорила — не называй его «муаллим».

Гюльзар. А как называть?

Зулейха. Халилушка...

Адиля. Какие вы жестокие...

Зулейха. Ладно, ладно... Ты даже не спрашиваешь, какую отметку получила Гюля?..

Адиля. Да, правда, сегодня же у тебя экзамен. Сколько?

Гюльзар. Двойку!

Зулейха. Сколько раз я ей говорила, что ничего не

выйдет у нее с институтом, говорила: не трать зря время, кому это надо?

Гюльзар. Мне надо. Летом подам на очный.

Зулейха. Девочки, что вместе с тобой заявление подадут, матерью тебя будут звать!

Гюльзар. Знаешь, Ада, меня злит не то, что я срезалась, а что именно Саадат-ханум меня завалила. Тридцать лет мы соседи. А когда я ей отвечаю, так она будто первый раз меня видит, как залепит двойку А! Солмаз, другой соседке, поставила пять. Я говорю: «Саадат-ханум, почему вы мне двойку поставили, а Солмаз — пятерку, неужели Солмаз знает лучше меня?» А она: «Гюльзар, разве ты не знаешь, как я тебя люблю? С Солмаз я даже не здороваюсь при встрече, а тебя всегда обнимаю и целую». Я говорю: «Саадат-ханум, лучше бы вы Солмаз обнимали и целовали при встрече, а мне бы поставили пятерку».

Адила. А она что?

Гюльзар. Да ничего, улыбается.

Зулейха. Эх, если бы у тебя был такой отец, как у Солмаз.

Гюльзар. Чтоб они все поскорей в руки мурдешира попали!

Зулейха. Тихо, Ибрагим услышит.

Гюльзар. Ада, а как жена Ибрагима с ним спит?

Адила. Откуда я знаю?

Зулейха. Эх, ну их всех к шайтану! Вставайте, пойдем в кино. Хорошая картина идет, Ада, называется «Чушь на постном масле». И погода отличная — моросит потихоньку.

Гюльзар. Одевайся, Ада, одевайся, пойдем. Совсем как прежде. Хоть посмеемся от всего сердца. Подумаем, что нам снова по семнадцать лет. Обо всем забудем.

Зулейха. Может, мне после этого перестанет сниться пальто джерси.

Гюльзар. Слушай, ради аллаха, забудь про пальто джерси. Вставай, Ада, вставай, одевайся.

Адила. Нет, я не пойду.

Зулейха. Ну, Ада...

Гюльзар. Мы ведь не на день рождения дочери Салима идем...

Адила. Нет, не хочется, вы идите. Только не упрашивайте.

Зулейха. Ада, давай поговорим серьезно.

Адила. Серьезный разговор тебе не идет. И мне не хочется говорить серьезно.

Гюльзар. Ну конечно! Зачем это нам?

Зулейха. Ради аллаха, брось ты паясничать!

Гюльзар. Вспомните, что сейчас где-то далеко, в пустыне Атакама, прекрасная девушка мечтает о глотке воды — и благодарите свою судьбу. Вспомните, что сейчас где-то в далеких краях, на острове Ньюфаундленд, прекрасная несчастная девушка готова на все ради куска хлеба — и благодарите судьбу. Вспомните, что...

Адила. Не смешно.

Гюльзар. Конечно, кто будет смеяться над какими-то словами, когда можно над нами самими? Старые кокетки...

Зулейха. Ада, меня злит, что ты никогда ничем не бываешь довольна. Я уж тебе говорила, для меня самым высшим счастьем было вот так, как ты, устроить свою жизнь и сидеть в своей хибаре. А к тебе, когда ни придешь, ты, вместо того чтобы радоваться, дуешься на весь белый свет. А нам больше некуда ходить, кроме как сюда... Что с тобой, Ада?

Адила. Я сказала, прекратите эти разговоры! Надоело!

Зулейха. Вставай, Гюля, пойдем отсюда! В кино или еще куда...

Гюльзар. Пойдем! Представим, что нам снова по семнадцать лет. Пофлиртуем с детишками, что первый пушок над губой холят! Обхохочешься, на них глядя!

Зулейха. Вряд ли ты будешь смеяться от души, подруга. Губы раздвинешь — и ладно...

Гюльзар. И вправду! Мы ведь не лошади, чтобы ржать! Привет, Ада. Передай Халилу-муаллиму наши сожаления по поводу того, что чрезвычайной важности дела не позволили нам его дожидаться.

Адила. Непременно.

Когда подруги уходят, Адила поднимается с дивана, смотрит в окно, включает радио, снова выключает, потом подходит к дивану, садится. Скрипач в черном фраке со скрипкой в руке возникает в комнате, приближается к Адиле, останавливается и начинает играть совсем рядом с ней. И вдруг появляется Мужчина. Увидев его, Адила вскакивает с места.

Адила. Вы пришли? Я знала, что вы придете. Я ждала вас. Знала, что и домой ко мне придете. Заходите. Заходите, садитесь.

Мужчина. А вы приветливы как настоящая хозяйка дома.

Адия. Правда? Ну, что же... Сварить кофе? Может, чаю хотите? Или откроем шампанское? Давайте отпразднуем еще раз Новый год! Да, встретим вдвоем Новый год, послушаем музыку, потанцуем, а?... Хотите, вы будете Дедом Морозом? Вы не обиделись! Может быть, вы расстроены, что не приходит ваше письмо?

Мужчина. Нет, письмо придет рано или поздно. И тогда мы больше не увидимся. Потому что мы больше не будем нужны друг другу.

Адия. Нет, нет. Не хочу. Я не хочу расставаться с вами. Если вас не будет... когда вы не придете, все будет кончено.

Мужчина. Ну что вы...

Адия. А не отдам вам это письмо. Я спрячу его от вас. Я его порву.

Мужчина. Нет, вы не порвете это письмо и не спрячете его, потому что вы знаете, что я его жду.

Адия. Правильно...

Мужчина. А теперь одевайтесь. Одевайтесь, пойдем гулять. Я приглашаю вас на прогулку.

Адия. Правда? Сию минуту... Где мой плащ? Вот он. Пойдемте. Пойдемте. Представим себе, что мы и на самом деле гуляем. Дождь моросит. Такой мокрый весенний вечер... Мне кажется, я всю жизнь ждала такой дождливый весенний вечер. Когда обычно в такую погоду я смотрела из окна на улицу, то думала, что и мокрые тротуары, и эта пустынная каменная улица тоже ждут... Они ждут наших шагов... Будем гулять до утра, не так ли?

Мужчина. До утра?

Адия. Конечно, ведь нас-то никто не ждет. Мы никому не нужны. И вам никто не нужен. Не будем вспоминать, что наша прогулка может кому-то показаться смешной, для кого-то бессмысленной...

Мужчина. А почему эта прогулка должна кому-то казаться смешной?

Адия. Почему? Почему... Не знаю. Я чувствую это... Как вам сказать?... Вы помните, по телевизору показывали футбол с мирового чемпионата. Когда футболисты играли, у нас было уже утро, поэтому игру сняли на пленку, а вечером показывали по телевизору. Люди откладывали из-за футбола свадьбы. Город будто вымер — ни одного мужчины, словно война прошла. Все смотрела телевизор.

Артисты не знали, что делать, — театры пустовали. Все сидели у телевизора. Но не волновались, потому что знали, что мяч в ворота не влетит. Нам был известен счет. Мы знали, на какой минуте в чьи ворота влетит мяч, сколько их будет забито всего, кто будет их забивать. Об этом было в вечерней газете, ну и, конечно, по радио... А игроки во время съемки ничего еще не знали. Забив мяч в ворота, они обнимались, бухались на колени и молились, а мы знали, что они все равно проиграют. Мы знали, что их ждет. Знали, что отчаяние, слезы на глазах их противников — неуместны, потому что они выиграют. А они ничего не знали, они понятия не имели, что их ожидает... Я это запомнила навсегда. Я чувствую это постоянно, непрерывно. Мне все время кажется, что все наши радости, все печали — мнимые, бессмысленные. Десять лет мы проживем, или двадцать, или тридцать — не все ли равно? Но сейчас забудем обо всем... Забудем обо всем, будем гулять по мокрым улицам и радоваться.

Мужчина. Почему бы вам не взглянуть на эти десять, двадцать, сорок лет как на вечность?

Адия. Вечность? По правде сказать, я никогда не понимала, что это такое... Если всерьез...

Мужчина. Есть одна легенда. Стоит алмазная гора высотой в тысячу верст, вершины ее не видно. Раз в тысячу лет на гору садится маленькая пташка и долбит ее своим клювом. Потом снова улетает. Улетает с тем, чтобы вернуться через тысячу лет. Вернуться, чтобы снова потюкать своим крохотным клювом. Когда эта пташка продолбит алмазную гору до основания, пройдет лишь один миг вечности...

Адия. Один раз каждую тысячу лет... Двадцать лет тоже могут быть своего рода вечностью? А если эти двадцать лет живешь рядом с таким человеком, как Единственный, или с таким, как Ибрагим или Халил? А что желать несчастливцам, подобным Зулейхе и Гюльзар?... А на что им эти годы? Зачем им вечность? Ни к чему... Так же как и мне. Ведь вам они все о себе рассказали. И я тоже рассказала...

Мужчина. Вы могли бы позвать и других людей.

Адия. Других людей? Кого это? Может, надо было позвать Салима, начальника отдела, где работает Халил? Было бы то же самое. Каждый раз он смотрит на меня так, что кроме Халила все понимают смысл его взглядов. Или учительницу Саадат-ханум? Эту взяточницу... Или Салеха,

которого жена обманывает. Вы что, открыли бы ему на это глаза? Надо их было вызвать?

Мужчина. Нет.

Адиля. А кого же еще?

Мужчина. Вызвали бы своего Фазиля. День и ночь работает, содержит такую семью, а дома шутки, смех не прекращаются. Мы бы спросили у него, в чем секрет. Или вызвали бы учительницу Месьму, которую вы помните еще по средней школе. Совсем состарилась уже, но школу не оставляет. Мы бы спросили у нее, в чем дело? Наконец, вызвали бы вашего отца.

Адиля. Моего отца нет в живых. Он погиб на войне.

Мужчина. Я знаю. Мы бы спросили у него, почему, раз все так пусто и бессмысленно, вы, тридцатипятилетний мужчина, пошли на войну? Наверно, он ответил бы...

Адиля. Может быть... Может быть, он и ответил бы... Но разве изменилась бы наша жизнь от одного этого ответа?

Мужчина. Нет, от одного этого ответа ваша жизнь не изменилась бы. Потому что вы сами этого не хотите. Вы их забыли — и отца, и учительницу Месьму... Они вам не нужны. Нет, вы меня не прерывайте. Сегодня я должен вам сказать все... Они вам не нужны, потому что вы — сама по себе. Взгляните из вашего окна на город, так надоевший вам. Подумайте, что вы смотрите на него впервые. Подумайте о людях, живущих под этими крышами. Почему вы решили, что их существование бессмысленно? Вы думаете, зачем эти люди строят дома, заводы и фабрики, закладывают буровые? Для чего они так стараются? Ведь вы этого не знаете?

Адиля. И вы повторили эти холодные слова... Эти слова как лед холодные, очень холодные...

Мужчина. Потому что вы боитесь этих слов. В глубине своей души вы чувствуете, что эти слова правдивы, чувствуете, что повсюду жизнь продолжается, и эта жизнь, со всеми ее радостями, со всеми печальями, интересна, богата. Но проходит мимо вас. А вы не осмеливаетесь в нее включиться...

Адиля. Вы стали вдруг таким резким!.. Я не хочу, чтобы вы были таким резким, таким беспощадным. Я не хочу с вами расставаться. Я хочу, чтобы мы с вами до утра бродили по этим улицам...

Мужчина. А утром? Ведь утро не будет таким, как этот дождливый весенний вечер. Утром вы снова встанете и

пойдете на работу. С работы снова вернетесь домой. Ночью, когда уляжетесь спать, еще до того, как уснете, снова поднимет голову ваш внутренний голос. Вы снова уснете под упрёки этого голоса. И снова утром встанете и пойдете на работу. Так пройдут годы. И малая пташка своим крохотным клювом скovyрнет вашу алмазную гору...

Адиля. Ничего. Я больше не боюсь этого. Я больше не боюсь этого, потому что есть вы. Мы каждый день будем встречаться. Снова отправимся в Джидырскую степь. Мы с вами пойдем в Кедабек, разожжем костер чуть пониже селения Большой Гара-Мурад, где упал вместе с колхозным конем мой начальник, испечем в золе картошку и навсегда забудем о моем начальнике...

Мужчина. Ну что вы притворяетесь? Зачем вы лжете?

Адиля. Я... Не понимаю вас...

Мужчина. Разве вы о нем забудете? Вспомните, утром вам придется поздороваться с ним... Или я не прав?

Адиля. Какой вы безжалостный, жестокий!.. Не будьте таким! Прошу вас... Вы мой единственный друг. Я могу обидеться на вас... И тогда уже все будет кончено. Ведь мы с вами еще много раз будем встречаться. Много-много раз, до глубокой старости... До тех пор, пока птичка не продолбит алмазную гору своим крохотным клювиком.

Мужчина. Нет, это невозможно...

Адиля. Невозможно! Почему? Неужели для вас есть невозможные вещи?

Мужчина. Я жду письмо. Когда придет это письмо, мы больше не увидимся.

Адиля. Но ведь вам, наверно, и другие письма будут приходить?

Мужчина. Те письма я буду получать у других...

Адиля. Понимаю... У других, таких, как я, похожих на меня... Я понимаю, вас везде ждут... Это наша последняя встреча?

Мужчина. Возможно.

Адиля. У меня будто что-то оборвалось внутри... Никогда в жизни не было подобного ощущения... Не знаю, что это такое? Я будто лечу в самолете... А самолет то падает, то взлетает, падает, взлетает... Почему эти улицы так пусты, безлюдны?

Мужчина. Вы ведь этого хотели. Вы хотели забыть про всех, никого не хотели видеть.

Адиля. Нет, теперь безлюдье меня пугает... Думаете, я не понимаю, зачем вы приходили ко мне? Чтобы уйти на-

всегда. И тогда мне поневоле придется искать других людей — тех, что под крышами... А вы исчезнете...

Вдруг из коридора раздается голос Халила:

— Вот я и пришел, мамочка, ты не скучала, родная?.. Ну и компания была!.. Жаль, что тебя не было, мамочка, я так расстроился. Салим сам поднял тост за тебя. Он так хорошо говорил, мамочка, у меня прямо сердце сжалось... Что это с тобой, мамочка? Отчего ты такая бледная?

Адиля. Что со мной? Ничего со мной. А что должно быть?

Халил. И в самом деле — что может быть... На улице такой дождь, ужас! Хватайся за дождевик, лезь на небо. Ты у меня все-таки умница, что не пошла, промокла бы насквозь!

Адиля смотрит на него, потом оглядывается, словно видит комнату впервые, вынимает из шкафа плащ, повязывает непромокаемую косынку, снимает домашние туфли и надевает сапожки.

Халил. Куда это ты, мамочка?

Адиля. Я иду гулять.

Халил. В такую погоду идешь гулять?

Адиля. Да. В такую погоду иду гулять

Халил. Тогда и я пойду с тобой.

Адиля. Нет, я буду гулять одна.

Халил. Но, мамочка...

Адиля. Я сказала: я хочу гулять одна...

5

А время идет. Тянется нить в руках старухи, которая не устает приговаривать: «Эти носки я вяжу моему младшему сыну. Все остальные не очень надежные оказались, и старший мой сын, и второй, и третий... Младший — мой самый любимый. Он для меня — все, не могу без него, он самый добрый, щедрый, как земля...»

Лишь в почтовом отделении все по-старому. Посетителей мало. Каждый занимается своим делом. Адиля сидит за своим окошком № 3. Единственный наблюдает за ней, по-прежнему встает и подходит.

Адиля. Я вас слушаю, товарищ Единственный.

Единственный. Опыт показывает, что можно сломить волю даже таких стойких людей, как я.

Он опускает палец в чернильницу и рисует перед тройкой на стекле единицу.

Адиля изумленно смотрит на товарища Единственного.

Единственный. Увы, товарищ Адиля. Вы удивлены, почему товарищ Единственный так пессимистично настроен?.. А вы знаете, сколько лет я работаю в почтовой системе? Ровно сорок один год. Сорок один год! Я прошел славный путь от сельского почтальона до заведующего городским почтовым отделением!.. Ну и что? Я говорю, ну и что? А мое будущее?.. Только вы можете мне помочь, товарищ Адиля...

Адиля. Я? Пожалуйста, чуть яснее, товарищ Единственный.

Единственный. Совершенно верно. Говорить надо всегда ясно, открыто. В министерстве связи освободилось одно местечко, товарищ Адиля, место товарища Меликова. Товарищ Меликов вчера неожиданно скончался.

Адиля. То есть скончался официально?

Единственный. Да. И в газетах писали. А я, вы и сами отлично это знаете, опытный и способный почтовый работник. Так вот, я говорю... Может, вы шепнете обо мне на ушко товарищу Иванову?

Адиля. Аа-а-а... Я подумаю, товарищ Единственный.

Единственный. Вы подумаете?

Адиля. Да.

Единственный. Обо мне?

Адиля. И о вас тоже...

Единственный. Большое спасибо, товарищ Адиля, большое спасибо! Обратите внимание, к вам посетитель.

К окошку Адили подходит старик профессор.

Подходит поближе Ибрагим и прислушивается.

Старик. Здравствуйте. Я — Алигулузаде. Есть для меня письмо?

Адиля. Сейчас посмотрю... Минуточку... Нет. Нет вам писем.

Старик. Нет? Не может быть. Категорически не может быть!

Адиля. Нет, в самом деле, нет. Ну, если хотите, я еще раз посмотрю... Так... А-ли-гу-лу-за-де... Нет!

Старик. У жены склероз! Целых шесть дней, как я приехал из Гянджи, а она все не пишет. Сказал ведь, пиши, чтобы я не беспокоился, так она до сих пор не написала! Я подам на развод!

Единственный. Пожалуйста, не нервничайте, уважаемый товарищ Алигулузаде, не волнуйтесь. Придет письмо. Может, только сейчас пришло? Пойду посмотрю свежую корреспонденцию.

Старик. И я с вами.

Ибрагим. Еще раз здравствуйте, товарищ Адиля. Как дела?

Адиля. Неплохо, товарищ Ибрагим.

Ибрагим. О, товарищ Адиля, никто, кроме вас, не называет меня товарищем. Товарищ Единственный всех называет товарищ, всех, кроме меня... Я так ценю ваше уважение. Товарищ Адиля... У меня к вам большая просьба. Я очень прошу вас помочь... Стесняюсь сказать... В общем, поговорите обо мне с товарищем Ивановым... Я оправдаю ваше доверие, товарищ Адиля!

Адиля. Знаешь, Ибрагим, мне почему-то кажется, что сейчас произойдет какое-то необыкновенное событие...

Ибрагим. Что произойдет?

Адиля. С утра у меня трепещет сердце в ожидании...

В почтовом отделении появляется Скрипач в черном фраке. Он идет прямо к Адиле. На этот раз его все видят, смотрят на него с изумлением. Он поднимает скрипку, собираясь играть. Адиля оглядывается, удивленно смотрит на Скрипача.

Ибрагим. Эй! Что такое?! Кто вы? Что это вы делаете? Товарищ Единственный! Товарищ Единственный!

Единственный. В чем дело? Что случилось? Что вы делаете здесь со скрипкой? Кто вы такой? Кто знает этого товарища?

Ибрагим. Артист, что ли?! А чего ему тут делать? Единственный. Сюда посторонним вход воспрещен. На каком основании вы здесь появились?

Скрипач. Ну что же, если меня видят, значит, я больше не нужен. Я сделал свое дело и могу удалиться.

Единственный. Ну вот. Все в порядке. Продолжайте работу, товарищи! Возьмите, товарищ Адиля, это свежие письма. Может быть, есть и уважаемому товарищу Алигулузаде.

Адиля просматривает письмо. Она не видит, как некий мужчина входит в дверь. Этот человек хотя и похож на знакомого Адиле Мужчину, но все же чем-то отличается: и одет по-другому, и двигается не так. Он садится за стол, вынимает авторучку и задумывается над бланком телеграммы.

Адиля. Вот так письмо! Первый раз такое вижу! На конверте ничего не написано! Не написано, кому предназначается! Абсолютно чистый конверт, видите? Я, кажется, догадываюсь...

Единственный. О чем догадываетесь, товарищ Адиля? И тут Адиля видит мужчину, сидящего за столом, и бросается к нему.

Адиля. Пришло ваше письмо!

Мужчина. Мое письмо? Что за письмо?

Адиля. Да, ваше! Пожалуйста! Это ваше письмо, не видите разве, что на конверте ничего не написано!

Мужчина. При чем тут я? И откуда вы меня знаете?... Странно... С какой стати мне должны писать безымянные письма? Разве у меня нет имени?

Адиля. Простите... Простите... Я, кажется, совсем потеряла голову... Я приняла вас за другого. Простите...

Мужчина. Что все это значит? Кто мне может это объяснить?

Единственный. Товарищ Адиля, что с вами?

Адиля. Ничего...

Старик. Наверно, это мое письмо... Вскройте, взгляните, оно должно начинаться с «Алигулу-джан».

Единственный. Сейчас. Дайте, пожалуйста, письмо, товарищ Адиля.

Адиля. Пожалуйста.

Единственный. Да, тут написано: «Алигулу-джан, здравствуй».

Старик. Видите, мой! Я же говорил, у жены склероз, забыла на конверте имя написать! До свидания, спасибо вам, до свидания...

Единственный. Товарищ Адиля, как вы себя чувствуете? Вы не больны?

Адиля. Нет, не больна.

Единственный. Я понимаю... Переволновались немного из-за этого странного письма?... Что это вы пишете?

Адиля. Я больше не волнуюсь. Все в порядке.

Единственный. Тогда не буду вам мешать. Так вы подумайте, помните, о чем я вам говорил?

Адиля. Нет, я ухожу.

Единственный. Уходите? Домой? Ну что ж, я вам решаю. Пойдите домой, хорошенько отдохните. Что это? Заявление? По собственному желанию? Почему? Что случилось?

Адиля. Я так решила.

Единственный. Куда вы уходите? Не будете больше работать?

Адиля. Буду, конечно. Буду работать, но только не с вами, товарищ Единственный.

Единственный. Ха! Может, пойдете на завод?
Адия. Почему бы и нет? Не вы ли без конца твердили, что общественные интересы превыше личных?
Единственный. Я... Да! Но...
Адия. Привет!
Ибрагим. Что?
Адия. Прощайте!
Единственный. Клянусь жизнью, вот это фокус!
Ибрагим. Да психованные они все, товарищ Единственный.

Единственный. Нет. Хитрюга она! Ибрагим!
Ибрагим. Да, товарищ Единственный!
Единственный. Знаешь, почему она уходит?
Ибрагим. Понятия не имею...
Единственный. Потому что ей предложили жирное место, понял?! Может, даже сам товарищ Иванов! Кто такую душу упустит?
Ибрагим. Вах! Хороша штучка, клянусь аяповьем!.. Я и сам не прочь!..
Единственный. Ибрагим!
Ибрагим. Да, товарищ Единственный!
Единственный. Не забывайся!
Ибрагим. Есть, товарищ Единственный!

6

Адия, поджидая Халила, сидит у себя дома на диване и курит сигарету. Рядом на полу стоит чемодан. Входит Халил.

— Что так рано, моя душечка? Дай я тебя поцелую!
Адия. Нет. Не нужно, Халил.
Халил. Хорошо, мамочка... Ой, ты опять куришь?! Это же так вредно... Ради меня, пожалей свое здоровье.
Адия. Слушай, Халил...
Халил. Ради Халила поменьше кури, мамочка... Наверно, рано пришла и заскучала, да? А я так спешил, хотел что-нибудь приготовить для тебя, придешь с работы, поешь... Что это за чемодан? А, уже готовишься к отпуску? Ах ты моя умница! Ну, дай я тебя поцелую!.. Ну, просто не терпится твоему петушку!
Адия. Слушай, Халил, я уйду...
Халил. Это... Как понять?.. Куда уходишь, мамочка?

Адия. Навсегда уйду, Халил.
Халил. Как?.. Почему?
Адия. Я больше не хочу изменять, Халил.
Халил. Если... если ты мне изменила... я... я прошу тебе это...

Адия. Подумай, что ты говоришь! Ты же мужчина, в конце концов. Я себе не хочу изменять, понимаешь ты? Себе. Я больше так жить не могу и не хочу, Халил. Ведь я не люблю тебя, совсем не люблю, и ты об этом знаешь.

Халил. Но нам, мамочка, тебе... тебе...
Адия. Я больше не хочу этого, Халил. Я не хочу больше. Мы должны разойтись. Чтобы хоть чуточку уважать себя, мы должны разойтись. И ты не расстраивайся, Халил.

Халил. Как это не расстраивайся?.. Как не расстраиваться... А ты... А зачем ты выходила за меня? Зачем?

Адия. Прости, Халил. Такую, как я, ты всегда найдешь.

Халил. Найду, конечно, а через три года она меня оставит.

Адия. Дело не в тебе, Халил. Дело не только в тебе...

Халил. Что я тебе плохого сделал, а?.. Всегда заботился о тебе, всегда о тебе думал, делал все, что ты говоришь... Мы ведь даже не ссорились по-настоящему, почему же ты теперь так поступаешь? Пожалей меня, не спеш. Какие хочешь условия создам тебе. А дочка, какие хочешь условия! Все куплю тебе, все сделаю. Смотри!.. Вот видишь сберкнижку? Ты об этом даже не знаешь, я тебе не говорил до сих пор, скрывал от всех!.. Тут у меня ровно три тысячи, А дочка, ровно три тысячи рублей. Вся жизнь собирал по копейке, все на тебя потрачу, все! Возьми, хочешь, прямо сейчас возьми, положи в свой чемодан!

Адия. Отпусти мою руку, Халил, отпусти. Ты унижаешь себя еще больше.

Халил. Нет! Не пущу, не хочу, чтобы ты ушла! Не пущу! А я? Мне что делать? Может... может, у тебя есть другой? Я на все согласен, А дочка, на все согласен! Хочешь... хочешь... два дня в неделю не приходи домой...

Адия. Пусти меня! Пусти!..

Адиля отталкивает Халила, хватая чемодан и уходит. Халил, прислонившись головой к спинке дивана, сидит, закрыв глаза... Время словно остановилось.

Старуха. Ну и ну!.. Нитки кончились, не смогла довязать носок. Может, и хватит?.. Только это и делаю весь год... Лучше уж пойти сыновей навестить. Пойду всех четверых проведу. Матерью зовусь, а раз в год их вижу. Двенадцать внуков у меня. Пойду-ка навещу всех разом. Прямо сейчас встану и пойду!..

Халил открывает глаза, лихорадочно что-то пишет. Обшаривает карманы брюк, пиджака, обыскивает диван. Шарит по столу. Наконец видит сберегательную книжку на полу, поднимает ее и кладет в нагрудный карман пиджака...

По улице неторопливо, с достоинством, с папкой под мышкой движется Единственный. Его догоняют Зулейха и Гюльзар.

Зулейха. Товарищ Единственный! Товарищ Единственный!

Единственный. Вы ко мне, товарищи?

Зулейха. Да! Я к вам, товарищ Единственный

Гюльзар. Здравствуйте, товарищ Единственный

Единственный. Здравствуйте.

Зулейха. У меня к вам просьба, товарищ Единственный.

Единственный. Я никогда не оставался равнодушным к просьбам моих сограждан. Слушая вас.

Зулейха. Возьми меня работать на место Адили.

Гюльзар. Говорят, в вашем почтовом отделении происходят таинственные явления. Просто чудеса.

Зулейха. Может, и мне повезет, увижу кое-что и я.

Единственный. В наше время разве можно верить в чудеса? Ай-яй-яй... С вами надо бы разъяснительную работу провести... Жаль, времени нет... А где сейчас товарищ Адиля?

Гюльзар. Она живет у матери.

Единственный. И где работает?

Зулейха. Где-то работает. Мы пока не знаем. Ну как, товарищ Единственный? Берете меня на место Адили?

Единственный. А вы... вы тоже знакомы с товарищем Ивановым?

Зулейха. С Ивановым?..

Гюльзар. Говори, что знакомы!

Зулейха. Ах, вы о товарище Иванове. Ну, конечно, а как же? Адиля успела меня с ним познакомиться...

Единственный. Правда?

Зулейха. Зачем мне врать?

Единственный. Ну, тогда завтра выходите на работу! Для меня не может быть лучшей характеристики... А пока — всего вам доброго, товарищи!

Зулейха. Пошли, Гюля. Может, мне повезет, а потом и твоя очередь настанет.

7

Почта. Каждый занят своим делом, и всё по-прежнему. Только на месте Адили сидит Зулейха. Лениво перебирает письма. Появляется Скрипач в черном фраке и сразу направляется к Зулейхе. Его, как и прежде, никто не замечает. Он поднимает скрипку и начинает играть. Мужчина в белой сорочке, черном костюме и черном галстуке подходит к Зулейхе.

Мужчина. Здравствуйте...

Зулейха. Здравствуйте.

Единственный. Ибрагим!

Ибрагим. Да, товарищ Единственный!

Единственный. Время перерыва!

Ибрагим. Сию минуту, товарищ Единственный! Перерыв, товарищ, нельзя... Перерыв...

Мужчина. Есть письмо для меня?

Зулейха. Для вас? Сейчас посмотрю... Нет, вам нет письма...

В дверях почтового отделения появляется профессор Алигулузаде. Ибрагим не пускает его.

— Нельзя, обеденный перерыв.

Профессор. Нельзя? То есть как нельзя! Я профессор Алигулузаде! Через некоторое время начнется моя роль! Как это нельзя?

Единственный. Ибрагим!

Ибрагим. Есть, товарищ Единственный!

Единственный. Впусти уважаемого товарища Алигулузаде.

Ибрагим. Есть, товарищ Единственный!
Единственный. Через некоторое время начинается уважаемого профессора Алигулузаде. Его спутают с баргулузаде, дадут ему его письмо. Уважаемый гулузаде снова придет ко мне жаловаться. Ви его.

Ибрагим. Входите, пожалуйста, уважаемый това Алигулузаде.

Старик входит и садится на стул в ожидании своей роли.

Мужчина между тем говорит Зулейхе в окошко:

— Смотрите внимательнее, прошу вас.

Зулейха снова начинает перебирать конверты. А Скрипач в черном фраке играет все громче...

СОДЕРЖАНИЕ

БЕЛЫЙ ВЕРБЛЮД. Роман. Перевод В. Портнова	3
СЕРЕБРИСТЫЙ ФУРГОН. Повесть. Перевод Г. Митина	213
КУМГАН. Повесть. Перевод А. Орлова	307
ЧУДЕСА В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ. Повесть в диалогах. Перевод А. Орлова	371

Эфендиев Эльчин Ильяс оглы

БЕЛЫЙ ВЕРБЛЮД

Редактор
Н. С. Гудкова

Художественный редактор
А. С. Томилин

Технические редакторы
Г. В. Климушкина,
Н. Г. Тимченко

Корректор
Н. П. Задорнова

ИБ № 7168

Сдано в набор 08.02.89. Подписано к печати 28.11.89
Формат 84×108^{1/32}. Бумага тип. № 2. Обыкновенная
гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,84. Уч.
лж. л. 23,0. Тираж 100 000 экз. Заказ № 62. Цена 2 р. 20 к.
Ордена Дружбы народов издательство «Советский экска-
ватор», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типо-
графия Союзполиграфпрома при Государственном комите-
те СССР по печати, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

Эльчин.
) 53 Белый верблюд. Роман, повести. Пер. с азерб.—
М.: Советский писатель, 1990—416 с.

ISBN 5—265—00767—9

Всесоюзному читателю давно известна проза азербайджанского писателя Эльчина. В ней часто реальное переплетается с фантастикой, а многообразный мир человеческих отношений опозитиврован волшебной южной природой.

В новом романе, по которому названа книга, через воспоминания бывшего подростка рассказывается о жизни бакинского двора военного времени.

В книгу вошли уже публиковавшиеся и завоевавшие признание повести «Серебряный фургон», «Кумчи» и «Чудеса в почтовом отделении».

4702060201—512

Э 269—89

083(02)—90

ББК 84 Аз7

2

721282